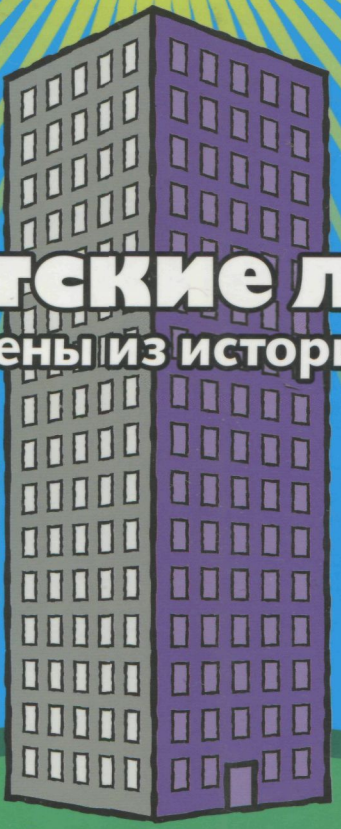
НАТАЛЬЯ
КОЗЛОВА

советские люди

сцены из истории



ЕВРОПА

Наталья КОЗЛОВА
Советские люди.
Сцены из истории

«Любовь к непутевым героям приближает труд Натальи Козловой к идеалу историописания, что поразительно для мелочных, душных 90-х. Спасая смысл оболганных жизней, которые, отбиваясь от помощи, миллионами рвались на дно, она делала свою основную работу».

Глеб Павловский

«Читателю предложен первый капитальный труд, созданный по материалам «Народного архива». Истории борьбы за существования, борьбы за место под солнцем, рассказанные в дневниках и письмах людьми незатейливыми и не очень грамотными, говорят за себя сами. Читатель, не лишенный любознательности, может почерпнуть из нее больше, чем из великого множества скороспелых обобщений по поводу жизни советского человека в советской (по номиналу) стране».

Вячеслав Глазычев,
директор издательства «Европа»

«...Замечательный аналитик повседневности... Наталья Козлова – исследователь честный, вдумчивый и очень человечный».

Владимир Кудрявцев,
доктор психологических наук, профессор

Наталья Никитична Козлова (14.01.1946 – 07.01.2002) – российский философ и социолог. Окончила филологический факультет МГУ в 1967 г., аспирантуру философского факультета МГУ в 1975 г. В 1976–1997 гг. работала в Институте философии РАН. С 1997 г. – профессор РГГУ. На протяжении всей творческой жизни занималась проблемами общественного сознания в его различных ипостасях. Начав с «глобальных» вопросов (массовая культура, работы Маклюэна), постепенно перешла к анализу советского «недавнего прошлого». Особое внимание уделяла повседневности в ее многочисленных проявлениях, биографическому жанру, основанному на «человеческих документах» (дневниках, письмах и т. д.), обнаруженных в ходе архивных поисков.

Серия «Империи»

Наталья Козлова

СОВЕТСКИЕ ЛЮДИ. СЦЕНЫ ИЗ ИСТОРИИ

Москва
Издательство «Европа»
2005

УДК 316.728
ББК 63.2
К 17

Серия «Империи»
Серия основана в 2005 году

Наталья Козлова
Советские люди. Сцены из истории. –
М.: Издательство «Европа». – 2005. – 544 с. –
(«Империи»)

Предисловие Г.О. Павловского
Послесловие В.Л. Глазычева

Охраняется законом РФ об авторском праве.
Воспроизведение всей книги или любой
ее части запрещается без письменного разрешения издателя.

ISBN 5-9739-0017-7

© Издательство «Европа», 2005

ЖИЗНЬ В СССР И «СОВЕТСКАЯ ПРОБЛЕМА»

Последний труд Натальи Никитичны Козловой появляется через три года после ее смерти, но уже в совершенно иной интеллектуальной атмосфере. Кончаются годы, когда **советское** относили к уходящей натуре. Во введении автор грустила о том, что, пока ее книга писалась, Союз отошел навсегда – *«привязка к недавнему прошлому исчезла»*. Да, но так же некогда уходил Рим – теснимый, разграбленный, предаваемый, однако оставляя латынь и книги народам. И едва обманчиво «недавнее» вытерлось, стало ясно, что прошлое состоялось вполне.

Советское попросту отделилось и освободилось от ностальгии по СССР. И вырисовывается сокровище советской цивилизации, которое предстоит оценить. Она здесь, ее чеканы и образцы уже не выскоблить из опыта будущего человечества. Наталья Козлова одной из первых приступила к осознанию и восстановлению **смысла советского вне СССР**.

У подлинного историка не найдешь следа превосходства над мертвыми. Любовь к непутевым героям приближает труд Н. Козловой к идеалу историописания, что поразительно для мелочных, душных 90-х. Спасая смысл оболганных жизней, которые, отбиваясь от помощи, миллионами рвались на дно, она делала свою основную работу.

Историк любит своих смертных героев, но не любуется ими. Великие времена сполна выбирают положенную им квоту на советских мерзавцев. Сегодня тех трудно припомнить – негодяев, приучавших нравственно прекрасных людей именоваться *«совками»* (концепт, по которому опознаешь расиста с легкостью, как по «жиду» и «черному»). Читателю стоит обратить внимание на последнюю главу книги, «Реконверсия», повествующую о

жизни благополучных, *устроенных*, как тогда говорили, людей в благополучные 60–70-е. Эта, пожалуй, самая горькая часть ее апокалипсиса в картинках содержит одну из наиболее убедительных версий тайны крушения СССР. Мертвенный хардкор столичной элиты, что в ничтожных блядках на улице Горького да порывах к баночкам растворимого кофе рушила Периклов век... Послезавтра их дети – *«холёные, милые, интеллигентные» «алёши»* – откушавшие в светлой кухне, отделанной реечкою под лак, выйдут в подворотню на дело, став теми, кого позднее назовут олигархами. Но комсомольская тяга к баночке кофе-на-крови у них не пройдет.

Козлова еще осторожно (годы-то какие – 1994, 1996-й!..) оспаривает тоталитарную гипотезу: *«не вполне убедительная концепция»*. Сегодня этот тезис – общее место (что не сбавляет расистского пафоса обличения «тоталитарных русских»). В гуманитарных науках, в той мере, в какой они работают на мировом уровне и имеют дело с актуальным, вырисовывается **советская проблема** (если угодно – проблема **советского**), сопоставимая по эвристике и креативной силе с образами-предшественниками – Классической Греции для Ренессанса и Римской Республики для XVIII века.

Сегодня, когда нехватка справедливого руководства и благой общей воли на мировом уровне стали глобальной бедой, к *советскому* умы влечет то, что вчера пугало: проектные чертежи цивилизации морального порядка, испытываемой ее изобретателями – жаждущими этой правды людьми. Советская проблема возобновляется как проект **справедливого глобального руководства, основанного на знаниях.** Советский Союз – общемировой клад социальных, государственных и экзистенциальных моделей. Европейский союз внутри и Американская империя вовне строятся сегодня на беззастенчивом заимствовании этих моделей – вплоть до риторики. Именно они, а не Россия, первыми и наиболее успешно наследовали СССР. России открытие *советского* еще предстоит. Как следовало ожидать, западня *постсоветского* оказалась наихудшей, невыгоднейшей для нас формой преемства.

Все, что в сегодняшних русских спорах не является рефлексией и освоением советского опыта, – бессодержательно, про-

винциально и, как минимум, некомпетентно. Всякая государственная система в России, какой бы та ни была, будет основана на советском фундаменте, и работать будет с вечной библиотекой советских национальных и культурных образцов. Наталья Никитична Козлова – среди ее основателей. Однако она сама, вероятно, выше ставила честь быть голосом в хоре тех, чью речь она сохраняла.

Глеб Павловский

ПОСВЯЩЕНИЯ И БЛАГОДАРНОСТИ

Эта работа — плод многолетнего труда. Однако я отнюдь не считаю ее завершенной. Мне хотелось бы посвятить ее своим родителям, которые принадлежат к тому социальному поколению, о людях которого эта книга.

Предлагаемый вниманию читателей текст — знак благодарности моему научному руководителю Лидии Ивановне Новиковой, которая дала мне первые уроки научной работы.

Я очень благодарна своей подруге и соавтору по предыдущей книге лингвистке Ирине Сандомирской. Только от нее я научилась чувствовать смысл в проблемах языка. Я благодарна социологу Юрию Львовичу Качанову, который в 1992 году обратил мое внимание на тексты П. Бурдье.

Особая благодарность – сотрудникам Центра документации «Народный архив», особенно Г.И. Поповой, без помощи которых эта работа просто не могла бы состояться.

Мне хотелось бы выразить благодарность всем друзьям, которые поддерживали меня в начинаниях, иногда казавшихся бессмысленными.

Мне б злорадствовать, мне б издеваться
Над районной культуры дворцом.
Над рекламой цветной облигаций.
Над линялым твоим кумачом.
Над дебильною мощью Госснаба
Хохотать бы мне что было сил,
Да некрасовский скорбный анапест
Носоглотку слезами забил[1].
Тимур Кибиров

«Когда я, становясь на ноги после многих и многих лет пьянства, все еще жил трудно, все еще не мог приобрести хоть какую-либо приличную одежду, все еще не имел твердого будущего, все еще жил только верой, надеждой, внезапными слезами, внезапной теплотой в сердце, — в ту пору осенило меня чудесное чувство великой приязни, любви, дружбы к советским людям»[2].
Ю. Олеша

«Человек наиболее интересен именно в тех областях, в которых он не видит никаких проблем и которые находятся для него вне дискуссии»[3].
Э. Юнгер

«Архив — это вовсе не то, что копит пыль высказываний, вновь ставших неподвижными, и позволяет возможное чудо их воскресения; это то, что определяет род действительности высказывания-вещи; это система его функционирования»[4].
М. Фуко

«Человек скорее изобрел, нежели унаследовал общество»[5].
Р. Харре

ВМЕСТО ВВЕДЕНИЯ. ПОДОПЫТНЫЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ

В названии проекта звучит достаточно претенциозная фраза: «Русский человек в XX веке...» Но что есть двадцатый век в России? На радио есть музыкальная передача «Советский век». Мне кажется, что эту характеристику можно отнести к двадцатому веку в России (особенно если считать, что *некалендарный* XX век начался в 1914 году). Наша история в последнем веке тысячелетия – по преимуществу советская история. Это история о том, как было *изобретено* советское общество и как оно рухнуло *в три дня*, если воспользоваться выражением В.В. Розанова. Завершенность этой истории позволяет судить о ней, дает возможность понимания, интерпретации, объяснения.

Этот текст – род осмысления работы, которая увлекала меня на протяжении почти десяти лет и до сих пор не отпускает. Все началось в 1992 году чтением и попыткой интерпретации «писем трудящихся» в газеты и журналы времен перестройки и гласности. Я начала это делать, чтобы подработать. Однако и сами источники, и процесс их осмысления настолько захватили меня, что жизненно-практический вопрос заработка отошел на последний план. От писем я перешла к документам иного рода – воспоминаниям, семейной переписке и к самому драгоценному – дневникам.

Работа над проблемой началась в период, когда статуи уже были повержены и Россия перестала называться советским обществом. Тогда ретроспективное видение советского общества ощущалось как новизна. Более того, любая проблема, связанная с советским обществом, виделась политически актуальной: резкая социальная перемена, как и всегда в истории, была привязана к «предыдущей фазе системы». Сегодня я остро ощущаю,

что изменилась позиция, с которой я говорю. Привязка к недавнему прошлому исчезла.

Нынче советское общество вроде бы безоговорочно в прошлом. Вот уже десять лет как нет Советского Союза. Острый интерес к советской эпохе затухает. Память о советском обществе многие стараются стереть, восстановив прерванную традицию. Вернулись старые названия улиц. Нет больше музея-квартиры Ленина в Кремле. Города стремительно меняют облик. Разговор о советском обществе многим кажется раздражающей банальностью: о чем говорить, все и так ясно...

Явно имеет место очередная культурная амнезия. Советское общество вновь приватизировано (или колонизировано?) идеологией. Однако это общество продолжает излучать радиацию. По радио поют Утесов и Козин. Нищий в метро играет на баяне песню о том, как вышел в степь донецкую молодой шахтер... Молодые люди поют «Возьмемся за руки, друзья...» Гильдия риэлтеров помещает на своей рекламе советский Знак качества. Дорогой мебельный магазин называется «Два капитана». Выпущены новые сигареты «Союзные» с изображение герба СССР на пачке. Союз правых сил соблазняет *электорат* кадрами советской хроники. Московский мэр объясняет гражданам, что план развития города имеет три источника и три составные части, неявно цитируя название ленинской статьи.

Впечатление подтверждается и серьезными исследованиями. Авторы книги «Россия на рубеже веков», работающие в рамках традиционной социологической методологии, показывают: по крайней мере на ближайшие десять лет «советская» тональность сознания россиян сохранится и в значительной степени будет определять характер их самоидентификации[6].

Исследователь дискурсивных практик И. Сандомирская пишет: «Ностальгическая боль по утраченной Советской Родине, которую испытывает постсоветский субъект, – это фантомная боль на месте ампутированного члена. <...> Однако в постсоветской ситуации опять, как и прежде, Родина находится в состоянии регенерации своей дискурсивной ткани»[7].

Пока еще большая часть нынешних российских жителей – бывшие советские люди. К их числу принадлежу и я сама. Для

молодых советское общество – серое на сером. Оно на далеком горизонте и замыкает мир, уже недоступный для зрения.

Подрастает поколение, которое не знает, что такое СССР. Дети, рожденные уже в новой России, стали школьниками. Читая стихотворение Маршака о мистере Твистере, они спрашивают, что обозначают эти четыре буквы – СССР. Для них *нарком* – аббревиатура от *наркоман*. А *кони* – спортивная команда ЦСКА. Я занимаюсь преподаванием, и вот именно зимой 1999–2000 учебного года я ощутила, что имею дело со студентами, для которых все одно – что советика, что медиевистика, – ибо то, о чем я повествовала, произошло до их рождения.

Каждый человек в теле своем и языке несет свою личную историю вместе с историей общества. Это касается всех и меня. Та общая история, которая присутствует во мне, большей частью советская история. Я считаю своим долгом рассказать о ней, уже осознавая, что мой голос – это голос «бывшего» человека. Вместе с другими выстрадывая постсоветский опыт, я одновременно погружаюсь в археологические пласты советской истории.

Одна из этих проблем – так называемый советский архив. Архив – учреждение и хранилище памяти, материализовавшейся в горах документов – официальных и неофициальных. С одной стороны – статистические отчеты, государственные решения, партийные постановления, распоряжения и справки, бесконечные справки, протоколы партсобраний, газетные и журнальные статьи. С другой – письма, дневники, воспоминания.

Будучи по профессиональной принадлежности отнюдь не историком, я попала в архив волей случая. Можно сказать, что меня туда *привело*. Интересуясь советскими повседневными практиками, я ощущала ограниченность только методологических занятий проблемами повседневности. Мне явно не хватало «мяса» истории.

Архивное заведение, в которое я попала, было не совсем обычным. Речь идет о Центре документации «Народный архив»[8], который не является государственным и собирает главным образом так называемые источники нового типа – следы повседневных практик обычных людей, тех, кто даже сам себя называет щепками истории, которые летят... Возникновение

архива такого рода – результат изменения представлений о том, что такое исторический источник. Это свидетельство смены социальных представлений о самом способе архивации. По большому счету – о том, что есть история и общество.

Именно в этом архиве я обнаружила то, в чем так нуждалась: обширный корпус «человеческих документов». Это были заветные дневнички и воспоминания. Часть документов передавалась в архив людьми, которые явно хотели, чтобы память о них не была так просто стерта, сдута ветрами истории. Именно таким образом они «упирались». А другие попадали на архивную полку потому, что оказывались не нужны наследникам. Пачки писем и записи расходов перемежались со справками, официальными свидетельствами и удостоверениями, которые сопровождали жизнь каждого советского человека, с конспектами по марксизму-ленинизму и вырезками *судьбоносных* газетных статей. По правде сказать, опыт архивной работы – свежий, наивный в силу моего непрофессионализма (поначалу я даже не умела правильно сослаться на архивный источник) – одно из самых больших впечатлений моей жизни. Я впервые подержала в руках удостоверение ударника и справку призывника образца 30-х годов, впервые прочитала дневник, который вел партийный работник во время ленинградской блокады...

Зачем писали и пишут? Не только для того, чтобы не исчезнуть из памяти, но и в назидание будущим поколениям. Один из моих героев был молод, не женат и даже не влюблен, но думал о своих потомках: ***«Быть может эти строки будут читать мои дети будут вспоминать о моей молодой жизни, и я не знаю будут ли они знать мое прошлое, будут ли они знать подробности моей нелегальной жизни быть может и не будут знать, в интересах воспитания я им и не расскажу всего»***[9]. И действительно, не рассказывали или не были способны рассказать. Это хорошо заметно при сравнении дневников и воспоминаний[10].

Дневники пишутся для чтения, чтобы другие могли узнать. Их авторы верят, что события их жизни не потеряются, то есть не утратят силы воздействия и в будущем. ***«Я питаю надежду, что эти скромные неотточенные мои записи в тетрадке с коленкоровым переплетом или дневники если можно их так на-***

звать через десятки лет будут читать и не только мне но и моему поколению будет небезынтересно прочесть записи своего предка если даже меня не будет в живых. Единственный угнетающий меня вопрос, сумеют ли они сохраниться» (14 апреля 1938 г.)[11].

Буквально каждый из тех, чьи записи я читала, высказывался по этому поводу – вне зависимости от уровня грамотности. Евгения Григорьевна Киселева, которая закончила свою трудовую биографию уборщицей на шахте, выразила это так: ***«нехто невспомнить переживание мое после моей жизни»***[12]. «Проговаривая» реальность, она тем самым поддерживала жизнь: ***«Я пишу эту рукопись и у меня мороз проходит по спине а жизнь не поле перейти»***[13].

Доктор наук З.С. Степанищева вопрошает: *«есть ли смысл касаться больших исторических событий с точки зрения <...> «щепок»? Не знаю. С одной стороны, это, конечно, не масштабно. Так сказать, с низкой колокольни. С позиций очень узкого кругозора. Все так, я не спорю. А с другой – я не одна, нас миллионы. Так значат что-нибудь или не значат эти миллионы в жизни страны?»*[14].

Читая человеческие документы советской эпохи, я не только окуналась в пыльные бумаги, эти клочки пены дней. Я понимала не только своих родителей и себя, но и свое общество. В «бумажках» была запечатлена история, и, выйдя на улицу из архива, я наблюдала, чем эта история кончилась. После *вчитывания* в документы смотришь окрест себя иным взглядом. То, что я вижу на улице, то, как протекает моя сегодняшняя жизнь, задает *позицию чтения*. Тогда я впервые ощутила (а не только прочитала в книгах), что метод – не только *путь*, но и *взгляд*, и *чувство*. Проблема онтологического соучастия, ключевая для теоретического рассмотрения специфики социальной реальности, постоянно присутствует в процессе исследования индивидуальных практик. По выражению П. Бергера, социальный исследователь подобен человеку, толкающему автобус, в котором сам едет. Вряд ли можно трактовать этот тезис в духе *вчувствования*, как его понимал Г. Дильтей, хотя таковое приходит на ум в первую очередь.

Есть разница между теми, кто занимается советским обществом со стороны, как историей другой культуры, и теми, для кого изучаемое общество *родное*, между писанием извне и издалека и писанием изнутри и с близкого расстояния. Именно потому, что я живой наследник того, что происходило в России весь XX век, я выдаю соматическую реакцию, роясь в старых журналах или перелистывая «маловысокохудожественный» соцреалистический роман, который читала в детстве. Заглядывая в «Книгу о вкусной и здоровой пище» или «Домашнюю энциклопедию» (и то и другое с жадностью читала в подростковом возрасте), я практически чувствую и понимаю как исследователь, что книги эти определили не только повседневные привычки – как готовить, стирать или убирать, – но нечто большее: как видеть, как говорить, как жить, в конце концов. Наряду с «Кратким курсом истории ВКП(б)» это *прецедентные тексты* советской эпохи.

В ситуации исследования собственной культуры есть и благо, и опасность. Благо – в том, что понимаешь, о чем говоришь. То, что вычитывается из текстов и вчитывается в них, подкрепляется памятью сознания и тела. Тело, так же как и память, нагружено уже свершившейся историей. Нет несоциализированного тела и языка. Но речь идет здесь о *практическом знании* советского общества. Опасность в том, что всегда существует соблазн выдать за объективную и универсальную точку зрения, обусловленную жизненной историей и социальной позицией исследователя (его *габитусом*). А. Шюц полагал, что, становясь ученым, человек заменяет свою личную биографическую ситуацию научной. Это должно обеспечивать независимость от ценностных моделей, которые определяют поведение действующих лиц на социальной сцене[15]. Эта операция в науках об обществе и человеке отнюдь не обеспечивается автоматически. Языковые средства науки могут казаться пластичной и прозрачной средой, которой не замечают. Пользуясь ими как средством, можно легко и непринужденно произвести операцию перехода с теоретического уровня на уровень памяти и чувства. И тогда в теоретическую речь незаметно для самого исследователя вписываются обыденные представления о том, что есть норма, а что отклонение. Тем самым производятся подмены.

Если нет постоянной рефлексии, исследователь легко занимает позицию абсолютного наблюдателя, того, кто смотрит на сцену социального театра из царской ложи, с исторически безопасного расстояния. И не важно, в какой области знания он работает, какие методы использует.

За десять постсоветских лет так бывало часто. Одни рассматривали советский период в качестве перерыва в истории России, непонятного провала, черной дыры, аномалии социально-исторического развития. О советском периоде много писали и говорили в жанре *«о себе как о дикарях»*. Это в равной мере касается и тех, кто работает с «отдельным случаем», и тех, кто имеет дело с большими массивами данных.

Многочисленные дискуссии о *Homo sovieticus* как некоей уникальной человеческой (или не вполне человеческой) разновидности – тому свидетельство. Часто даже адепт биографического метода, использование которого вроде бы свидетельствует о внимании к отдельному человеку, пишет об историях жизни своих соотечественников как о «чужих». Получается, что они сами не в общей истории, не наследники свершившейся истории. Получается, что у них самих нет биографии. Возникает соблазн спросить: а сами-то вы, такие умные, откуда взялись?

Специальное рефлексирование социальным исследователем собственной позиции, которое не остается «за текстом» – относительно новая черта научной работы. Все большее число исследователей понимают, что часто в основу исследования закладывается собственная картина мира исследователя, выдаваемая за объективную – при отсутствии методологической рефлексии. И тогда иные голоса *замалчиваются* – и здесь во весь рост встает проблема научного знания и власти. Другая сторона все той же ситуации: исследователь не в состоянии слышать голоса *других*. Слышен только голос исследователя. Ряд теоретически значимых явлений оказывается в «слепом пятне». Их попросту не замечают. Получается, что не все имеют право на рассказ.

Порою складывается впечатление, что огромную роль играют поколенческие различия. Речь идет о приходе когорты молодых исследователей. Мне кажется, что это особенно заметно в психоаналитическом социокультурном анализе. Складывается

впечатление, что пишущие вовсе не стремятся отследить рождение норм из повседневной жизни. Напротив, на сложнейшую историческую ткань накладывается более или менее грубая схема. При этом язык официоза принимается «за правду», и реконструкции картины советского социума не происходит. Текст говорит не столько об обществе и людях, сколько о производителе текста. Мы видим, какие теоретические позиции или философию истории он разделяет.

За уверенностью в праве на интеллектуальную и моральную оценку может стоять вера в превосходство современной западной цивилизации, которая видится пиком во временной и пространственной иерархии социальных форм. Запад – страна чудес, где исполняются самые заветные мечты бывшего советского человека. Это один из ключевых элементов российского социального воображаемого.

Исследователь *своей культуры* может невольно встать в позицию судии и в силу того, что для анализа используется понятийный аппарат, сложившийся в другой культурной системе. Языки социологии и антропологии – языки западной культуры. Дело не в том, что для исследования того, что происходит в России, надо придумывать какие-то свои доморощенные понятия. Надо просто осознавать, что это так. Тогда, возможно, будет больше уважения к национальной истории, нежели в разного рода декларациях и клятвах.

Однако главная сложность всегда остается. Взгляд ученого-исследователя – всегда взгляд сверху. Сказать, что мир есть объект, значит возвести в абсолют познавательную ситуацию ученого, «как будто все, что было и есть, всегда существовало только для того, чтобы попасть в лабораторию»[16]. Проблема позиции принадлежит к числу главных. Л. Витгенштейн еще в ранних своих дневниках обращал на это внимание: «Обычный способ рассмотрения предмета – как бы изнутри, рассмотрение *sub specie aeternitatis* – извне»[17].

Отсюда необходимость операции *объективации объективирующего субъекта*, о которой писал П. Бурдье. Он совершенно справедливо отмечал, что «наименее проанализированным в любом научном анализе (как субъективистском, так и объективистском) явля-

ется *субъективное отношение ученого к социальному миру*[18]. «Голова исследователя забита словами, категориями, которые получены им в процессе образования. За «словами» – длинная история. Писание любой истории, к тому же, есть перевод прошлого на язык современности и несет опасность исторического релятивизма. В конце концов, исследователь – мужчина или женщина. Избежать этого можно лишь *историзируя* самих себя, то есть обозначая время и место, из которого говоришь, пытаясь высказываться в качестве участника, а не представителя Разума или Истории, народа (масс) или элиты[19]. Это часть работы объективации. Эту операцию надо повторять как можно чаще. В ином случае полученное знание не может отвечать критериям научности.

Объективировать самого себя трудно. Как это делать? Можно обращаться к истории идей и понятий. Не каждый будет специально этим заниматься. Мне представляется, что операция объективации и историзации самого себя может подразумевать не только теоретическую работу, но такой ход, как обращение к собственной биографии. Этот важный шаг не есть ни «вчувствование», ни «переживательное отношение к объекту», но именно первый шаг работы по объективации.

Обращение к собственной биографии доступно каждому. Это касается и тех, кто наблюдает данную культуру извне, и тех, кто в ней живет. Как сказал где-то П. Бурдье, надо пользоваться преимуществами своего *габитуса*. Думаю, что это относится к моему поколению, поколению тех, кому сегодня между пятьюдесятью и шестьюдесятью.

Здесь способ перейти с точки зрения разума диктующего на точку зрения разума понимающего. Ведь психологически трудно счесть «себя любимого» принадлежностью «советского зверинца»: как-никак ты провел там большую часть единственной и неповторимой жизни. Метафору зверинца легко употребляет тот, кто питает иллюзию неучастия в воспроизводстве правил жизни советского общества. Можно только позавидовать им, легко представляющим себя наблюдателями, стоявшими в стороне от общих практик. Поставить себя в один ряд с другими – хороший способ избежать суждения с привилегированной позиции: *я лучше туземца знаю, кто он такой.*

Не следует ли стремиться писать тексты, учитывая собственную включенность в процесс, то есть в ту историю, которую сам изучаешь? Твой взгляд – взгляд *участника*. Это прожектор, высвечивающий отдельные места. Направление света определяется не только познавательным интересом пишущего (пишущей), но и жизненным опытом, принадлежностью к поколению, позицией в социально-историческом пространстве. В этом случае имеет место акт *признания*: кто ты такой и откуда говоришь, из какой точки на пересечении множества силовых линий советской и российской истории. Пишущий о своей культуре обладает тем, что не может быть дано наблюдателю со стороны: *памятью тела* – тела, наполненного немотой воспоминаний, тела маркированного, нагруженного уже свершившейся историей. Именно благодаря памяти тела рождается ощущение подлинности воскрешенного прошлого, и мы испытываем радость, обретая действительность. Происходит нечто подобное тому, что описывал М. Пруст: «Ощущение контролирует истинность всей картины, приводя за собой вереницу родственных ему впечатлений – с той безошибочной пропорцией света и мрака, выражения и умолчания, воспоминания и забвения, которая недоступна сознательной памяти и наблюдению»[20]. Память сознания и память тела вступают во взаимодействие... Воспоминания – звуки и запахи, атмосфера... То, о чем я хочу сказать, уже сказано поэтом Т. Кибировым:

«Пахнет дело мое керосином,
Керосином, сторонкой родной,
Пахнет "Шипром", как бритый мужчина,
И как женщина – "Красной Москвой"»[21].

Как только попытаешься проделать эту «вненаучную» операцию, становится трудно предпринимать поиск «культурных схем» и кодов, моделей, норм и общих представлений, как бы стоящих за событиями. Всегда приходится учитывать, что сами эти схемы существуют не за пределами человеческого бытия, но рождаются в жизни людей и связаны с их желаниями, мечтами и возможностями.

И тогда теоретическое усилие и работа памяти начинают стимулировать друг друга, рождая возможность нового взгляда. Теоретическая работа превращается в род автобиографии. «Чужие» истории встраиваются в твою собственную. Попадаешь в запутанный клубок причин, следствия которых ощущаешь сегодня. Твоя единственная и неповторимая жизнь уже не может не мыслиться как часть истории общества. Именно эта история делает тебя существом уникальным. Общество начинает видеться зоной, из которой ты сама вышла. Из своего сознания нельзя стереть простейшие данные, банальные самоочевидности... Они сами по себе загадочны и не совмещаются полностью с твоим «Я»[22]. Содержание архивных источников выстраивается в определенный порядок значений.

Чувствуешь родство с этим обществом и чуждость ему одновременно. *Чувствуешь разницу*... В чем она? Советское общество имело свой способ легитимации – ссылку на неумолимость *прогресса*. Это способ, которого сегодня мы явно лишены.

Я задаю вопрос, почему я вижу так, а не иначе? Только ли оттого, что набралась жизненного опыта? Мне трудно различить, какая доля понимания обусловлена прожитыми годами, то есть накопленным практическим знанием, а какая теоретической работой. Речь идет о процессе *взаимодополнительном*.

Общность культурного поля производителя «документа», несомненно, помогает, интерпретации (не дает «соврать», позволяет почувствовать значимость той или иной детали). Но главное – ты знаешь «по жизни» правила игры, ты *чуешь*... До теоретической концептуализации этих правил далеко, и это составляет совершенно особую задачу. Однако новые находки ведут к новым вопросам, помогают переформулировать исходные гипотезы. Чтение деталей есть акт дешифровки и производства. Значения вчитываются и вычитываются. В этом деле вам некому помочь, некому вас заменить. Ты исследователь постольку, поскольку чтению документов и их интерпретации предшествует работа ума, или собственно теоретическая работа. Эта работа призывает на помощь ресурсы памяти, подобные до поры скрытым и засоренным родникам. Когда родники начинают бить, теоретические представления начинают использоваться с максимальной интенсивностью.

Происходит что-то подобное волшебству рождения метафоры. При сопоставлении совершенно разных предметов и свойств высвобождается общее. Эта работа даже и невозможна без погружения в прошлое. Свершившаяся история – сухой листок, рваный, в дырочках. Если посмотреть на свет, то не увидишь ничего, кроме скелетообразной сетки. Нужны усилия, чтобы вернуть ему вид свежего листка, чтобы возвратить событиям ту полноту, которую ощущал тот, кто их переживал. Так или иначе, начинаешь чувствовать к этому обществу симпатию, которой доселе не ощущала. Испытываешь шок от вдруг ожившего прошлого. Преимуществами *«включенности»* нельзя не воспользоваться, хотя и делают это не так уж часто, да и свои проблемы и опасности возникают...

Наблюдатель чужой культуры должен отрефлексировать именно свое «извне». Ведь эта позиция как бы естественно подразумевает объективность взгляда. Здесь свои методологические ловушки. Именно «извне» легко видеть советское общество как монолитное целостное образование. Иногда у исследователя есть (или была) возможность наблюдать практики, но он в этих практиках не участвует. Термин «включенное наблюдение» скорее вводит в заблуждение, нежели проясняет. Кроме того, наблюдатель «из другой культуры» имеет дело прежде всего с официальным дискурсом, со словами, со стороной вербальной. Но ведь слова могут не меняться, создавая впечатление, что люди остались прежними, в то время как произошло некое значимое изменение. Сказанное не означает, что интерпретация наблюдателя «со стороны» плохая. Она просто иная. Часто именно взгляд «иностранца» схватывает то, что «носитель культуры» увидеть не способен. Словом, значимость вопроса об эпистемологическом статусе практики исследователя нельзя преуменьшить.

Эта работа ограниченна в названных и во многих других отношениях. Но главный вопрос, на который мне хотелось ответить: как и чем держалось советское общество. Моя позиция далека от морализма, от обвинений моих героев в неподлинности их бытия. Я не могу не сослаться на П. Бурдье, любимого мною великого французского социального аналитика: «Чисто этическое исследование "подлинности" – это привилегия тех, кто, имея

свободное время для размышлений, в состоянии экономить на мышлении, допускающем "неподлинное" поведение»[23].

История СССР вновь должна стать частью европейской истории хотя бы потому, что тот же сталинизм есть яркое выражение просвещенческой утопии. Это попытка средствами государства рационально упорядочить общество, одновременно преодолевая острые различия, которые возникли в процессе индустриализации российского общества. Она коренилась в традиции социально ориентированного, прежде всего городского общества, которая сделала Просвещение возможным.

Ответ на вопрос, зачем и как читать, тесно связан с ответом на другой: отчего у нас в моде историософия без истории и без человека? Отчего реальный человек, в особенности «маленький человек», оказывается неинтересным для отечественного исследователя? Эта ситуация не вполне адекватна потребностям социального знания, особенно если иметь в виду постулат, выдвинутый еще М. Вебером в рамках его теории действия. Эта работа – попытка ответить на поставленный М. Вебером вопрос: «Какие мотивы *заставляли* и *заставляют* отдельных "функционеров" и членов данного "сообщества" вести себя таким образом, чтобы подобное сообщество *возникло* и *продолжало существовать*?»[24] Без ответа на этот вопрос невозможно понять, как возникло и существовало почти целый век советское общество, как и почему оно прекратило свое существование. Или, словами того же М. Вебера: «Государство <...> перестает "существовать" в социологическом смысле, как только исчезает возможность функционирования определенных типов осмысленно ориентированного действия. Такая возможность может быть очень большой или минимальной. Однако только в этом смысле и в той *мере*, в какой она действительно <...> существовала или существует, существовало или существует и данное социальное отношение. Никакого другого *ясного* смысла утверждение, что какое-либо государство существует или уже не существует, не может быть»[25].

Любое социальное изменение происходит тогда, когда действие перестает ориентироваться на представление о действенности данного социального порядка. Любой порядок кристаллизу-

ется, когда возникает и постоянно воспроизводится вера в такую действенность. Своими действиями актеры социальной драмы воспроизводят и изменяют сами условия действия. Свойства социальной системы лишь в ограниченной степени зависят от сознании и воли индивидов. Однако направленность социальных процессов не может не быть вызвана повседневными действиями, повседневными решениями множества рядовых социальных агентов, их активностью. Иначе общество попросту не могло бы существовать.

Когда я начинала работу над текстами, была жива большая часть тех, кто их писал. Сейчас практически всех уже нет с нами. Пусть эта книга послужит им памятью.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ
(раздел, который читать не обязательно)

Действительно, как читать «человеческие документы» (архивные и не только) и как о них писать? А главное, зачем читать?

Очень важный вопрос: что мы исследуем? Некоторое время назад ответ был бы, скорее всего, таким: «массовое сознание». Нынче на этот вопрос отвечаешь по-иному. Скорее, мы исследуем индивидуальное.

Первое ошеломляющее впечатление – неповторимость, многоголосие, не сводимое к общему знаменателю. Более того, документы явно сопротивлялись интерпретациям, как бы показывая, что каждая из них заведомо неполная. Выход в контексты повседневной жизни и повествований о себе нарушал легкость и гладкость теоретической речи. Возникал зазор, в котором оказывалось то, что непонятно, но что надо было пытаться понять и даже концептуализировать.

Следовало разобраться в том, как и почему стало возможным не только интерпретировать и анализировать то, что сказано *историческими личностями или профессионалами пера*, но и прислушаться к тем голосам, которые лишь сейчас становятся слышными. Отчего, в конце концов, приходит понимание, что значение имеет пережитое и сказанное *всеми и каждым*.

Индивидуальное как предмет исследования

В 1994 году я писала книгу, впервые опираясь на «документы жизни»[1]. Мне казалось, что вот наконец-то я нашла честный, соответствующий собственному характеру и склонностям

способ исследования. Я жила тем, что делала. Проблема дисциплинарного определения и самоопределения не казалась столь уж важной – в силу сосредоточенности на предмете. Однако в подсознании шевелилось беспокойство, рождаемое невозможностью объяснить людям, кто ты есть в профессиональном плане (то есть проблемой профессиональной идентичности). Я чувствовала, что не вполне вписываюсь в сообщество философское. Спасительное словосочетание *cultural studies* тогда еще не замаячило на моем умственном горизонте. При этом я ощущала, что наличие некоторой философской культуры позволяет мне делать то, к чему не склонны представители «частных» наук – психологии, социологии и истории. В то же время две последние науки были мне близки. Будучи по профессии философом, я пыталась работать с документами. Сложность и тонкость исторической ткани вызывала трепет. Методологические вопросы, возникавшие в процессе чтения, были общими для всех социально-гуманитарных наук.

Многое из того, что я делала, напоминало качественные методы в социологии. Я не претендовала на то, что занимаюсь именно ими. Однако мне казалось: то, что я пытаюсь делать, имеет к ним какое-то отношение. Я с интересом читала все, что по этому поводу писали теоретики, внимательно вчитывалась в публикации тех, кто занимался качественными методами на практике. Именно в 1994 году вышла статья Г.С. Батыгина и И.Ф. Девятко, которая, можно сказать, нанесла мне рану, ибо даже не намекала, а прямо говорила: то, чем я (и другие) занимаюсь, – по большому счету, чушь[2]. В статье использовалась метафора-стигмат *«эпистемологическая куча»*. По мнению авторов, большая часть исследователей вовсе не выбирали методологическую позицию, а расползались по разным сторонам этой кучи. Авторы издевательски писали о «переживательном отношении научного сотрудника к своему объекту»[3]. Качественные методы выступали синонимом отрицания строгости научного исследования. Им вменялся в вину отказ от диктатуры закона и каузальности. «Качественная» методология и аналогичные неординарные методологии, возникшие вследствие попустительства плюрали-

стов в науке, порождают не научные, а квазинаучные конфликты»[4], – писали авторы. То, что называют *grounded theory*[5], было определено как экстрасенсорная практика, разновидность ясновидения: «В отличие от физиков, математиков и биологов, занимающихся художественным творчеством на досуге, социологи имеют возможность превращать свои досужие творческие искания в точку зрения, более того, в парадигму»[6]. «Качественная методология» не отвергалась лишь при условии, что эталон нормальности задан «жесткой» социологией.

Надо сказать, что появление подобной статьи было весьма полезным. Поначалу произведя впечатление ушата холодной воды, она заставляла обращать пристальное внимание на собственно методологические проблемы, общие для всех, кто занимается социальными исследованиями, вне зависимости от научного жанра и дисциплинарной принадлежности. Было совершенно верно замечено, что сам выбор между «количественным» и «качественным» не есть выбор между действительными возможностями[7].

Кстати, то же самое можно сказать и об оппозиции *жестких* и *мягких* методов. Поначалу мне самой казалось, что, культивируя так называемые мягкие методы познания, не разрушаешь объект. Постепенно я стала понимать, что слово *«мягкость»* – не более чем эвфемизм. Близкое чтение человеческих документов, по существу, более жестко, чем, допустим, обычный социологический анкетный опрос. Исследователь человеческих документов не может не рассматривать *другого* как тип, как *представителя*. Включение его в ряд осуществляется настолько жестко, что может причинить человеку боль. Ты *переописываешь* тех, кто сам себя уже описал и понял. Кому приятно быть переписанным, переведенным на другой, неведомый и непонятный язык? В моей практике возникали конфликтные ситуации – и это при том, что я занимаюсь письменными «следами»-объективациями, а не работаю с устными интервью. Эти ситуации пока разрешались вполне благополучно, однако я прекрасно почувствовала: *мягкие* методы *жестки* в силу почти недозволенного преодоления дистанции, нарушения границы частного мира человека.

Авторы статьи справедливо указывали на то, что в обосновании выбора проблемы и способов анализа присутствуют неявные нормы риторической убедительности, а естественность и чистота «естественных данных», полученных методом прямого наблюдения, проблематична. Эти практики справедливо характеризовались как квазинаучные. Оставалось лишь подписаться под гневными филиппиками по поводу «тенденциозного глубинного интервьюирования "элитных групп", бойкого журнализма из "гущи" народной жизни и других маргинальных по отношению к профессии "деятельностей", охотно использующих модную риторику "качественного подхода", рассчитанную на "экспертизу непосвященных"»[8]. Впрочем, сказанное столь же справедливо и по отношению к «опросной» социологии. Следствия пересечения границы науки и журналистики, непринужденного перехода из поля науки в поле политики в последнее время обсуждаются весьма активно – правда, не в отечественном научном сообществе, в котором, как иногда кажется, преобладает число любителей риторики, часто скрывающей простую как мычание утилитарную установку[9].

Подобные упреки справедливы, только если распространить их на все поле социологии. А методологической наивности и риторической алхимии везде хватает. Вопросы возникают при исследовании любых социальных явлений любыми методами. У приверженцев «жестких» методов свои проблемы. Часто они не задумываются о социальной генеалогии тех классификаций, которые полагают объективными свойствами реальности, тем самым становясь на место трансцендентального субъекта, не замечая исторической и социальной обусловленности когнитивных норм и категорий познания. Теоретические идеализации легко онтологизируются, то есть принимаются за реальность. Именно об этом пишет П. Бурдье. В дифференцированных обществах основой существующих когнитивных структур выступает государство. Государство имеет способность и возможность налагать *nomos*, разделяемый «всеми», принцип видения и деления, соответствующие когнитивные и ценностно-оценочные структуры. Государство, следовательно, выступает основанием молчаливого дорефлексивного согласия относи-

тельно значения мира, которое лежит в основе опыта мира как мира здравого смысла. Этот опыт рассматривали феноменологи, а этнометодологи пытались описать его. Но ни те, ни другие не поставили вопроса о социальной конструкции самих принципов организации социальной реальности, которую они стремились объяснить. Не обратились также к вопросу о вкладе государства в конструирование принципов конституирования. А ведь именно государство собирает, обрабатывает и перераспределяет информацию и осуществляет *теоретическую унификацию*. Занимая выгодную позицию Целого, государство берет на себя ответственность за все операции *тотализации* (особенно благодаря проведенною переписей, налаживанию статистики) и *объективизации*, через картографию (презентация пространства сверху) или, более просто, через письмо как инструмент аккумуляции знания (архивы, например), а также *кодификации* как рода когнитивной унификации, подразумевающей централизацию и монополизацию в руках чиновников и литераторов. Государство осуществляет унификацию культурного рынка, унифицируя коды (языковые и юридические), гомогенизируя все формы коммуникации, включая бюрократическую (через формы, официальные извещения). Так, государство «выплавляет» ментальные структуры и налагает формы мышления, которые для цивилизованного ума выступают аналогом того, что М. Мосс и Э. Дюркгейм описывают как первобытные классификации[10].

Что же касается качественных методов, то о них на страницах того же издания уже в 1998 году убедительно высказался Т. Шанин. «Академическая мода быстро проходит и уходит, но <....> остаются несомненные достижения в виде вопросов, ответов, концепций, методов, а также экспертов, способных проблематизировать и прояснить новые фрагменты социальной реальности»[11]. Т. Шанин предостерегал от определения качественных методов по остаточному принципу, приравнивания их к академической дисциплине вроде этнографии, сведения к предварительной стадии исследования (сбор материала), полагая, что качественные методы не должны быть только реакцией на сложность объекта исследования. Они тем более не должны выво-

диться из политической идеологии или определяться только склонностями исследователя.

Специфику этих методов он усматривал в особенностях выявления повторяющихся форм человеческих взаимодействий и понимания их субъективно полагаемого смысла. Мысль эта по существу представляет собой формулировку одного из основных теоретических вопросов, касающихся исследований общества и поставленных еще М. Вебером. Этот вопрос не может обойти ни один крупный социальный теоретик. Общество создается людьми и не может продолжать существование без осмысленных человеческих действий. Социальные отношения, складывающиеся в результате, не зависят от сознания и воли индивида и оказывают структурное принуждение по отношению к индивиду.

Кстати, Г.С. Батыгин и И.Ф. Девятко верно указывали в своей статье на то, что при обсуждении «простейших» фактов и понятий приходится сталкиваться с философскими «скелетами в шкафу», с проблемой предельных оснований, связанных с природой и человека, и человеческого познания. Вот только зря они предлагали оставить эти «скелеты» в покое.

Специфика качественных методов состоит в том, что исследователь имеет дело с *идеографическим*: с индивидуальной жизненной историей, индивидуальным рассказом о себе, индивидуальным текстом и т. д. Теоретическая рефлексия подвергается испытанию конкретными практиками. Ты входишь в поле проблем вклада индивидов в изобретение истории, одновременно пытаясь показать, каким образом история общества вписана в их язык и тело.

Работа с человеческими документами принуждает к пребыванию в зазоре между реальностью и фактичностью практик и абстрактностью теоретического мышления.

С одной стороны, имеешь дело с людьми. Любая жизнь неповторима, имеет смысл. Любая жизнь – ценность. Невозможно уйти от ощущения ее значимости и ценности, огромной для того, кто эту жизнь прожил. Ощущение единственности жизни не уменьшается по мере того, как описываешь ее; скорее даже усиливается. Возникает соблазн следовать ритму жизни, которую описываешь. Малейшая подробность кажется драгоценной.

С другой стороны, оказываешься на той пограничной полосе, где можно увидеть, как за совершенно добровольными решениями, за случайностями обнаруживается социально структурирующее начало. По выражению П. Рикера, имеет место «игра пассивности и активности»[12]. Работа развертывается в тех областях, где субъективные надежды и объективные возможности соотносятся, а порой сближаются до полного совпадения. Спектр альтернатив не бесконечен. И тогда необходимость выдается за добродетель. Социальное изменение выступает как результат осуществления желаний, превращения воображаемого в реальность. Представление – необходимый элемент социальной реальности.

М. Фуко неоднократно повторял, что сегодня вопросы всеобщего значения возможно рассматривать только в контексте обращения к их исторически единичным формам. Под этим углом зрения понимаешь то, что имел в виду К. Леви-Строс, которого легко причислить к «махровым структуралистам»: «Всегда остается только одно – провести кропотливое изучение *одного случая*; единственное различие заключается в выборе "случая", составные элементы которого будут <...> относиться к шкале проектируемой модели или же к какой-то иной шкале»[13]. Об этом замечательно говорил и М. Мерло-Понти: «В плоти случайного есть своего рода структура, нечто вроде сценария, и эта структура (или сценарий) препятствует многообразию интерпретаций и даже составляет их глубинное основание. Они превращают событие в продолжительную тему исторической жизни и обладают правом на философский статус»[14].

По этой причине в качественных исследованиях методологическая рефлексия не просто занимает большое место, но присутствует (должна присутствовать) постоянно. В этом, собственно, и состоит сущность grounded theory. Исследователь не в состоянии забыть о предмете своего исследования, как это может себе позволить участник количественного исследования, осуществляемого большим коллективом.

Только постоянное обращение к методологии помогает избежать опасностей двух родов, о которых пишет Т. Шанин.

Опасность первого рода подстерегает при так называемом прямом включенном наблюдении, когда исследователь забывает о сверхзадаче любого социального исследования – изучении сети социальных связей и отношений, не данных, как известно, непосредственно. И тогда наблюдаемые практики рассматриваются не в качестве объективации общественных отношений, но в качестве суммы казусов, и проблема закономерности уходит на второй план самым естественным образом.

Вторая опасность состоит в установлении взаимосвязи полученных моделей человеческого поведения только с аналитическими операциями самих исследователей, когда человек как объект изучения рассматривается лишь с «объективных позиций», то есть движим силами, *внешними* по отношению к нему. Аналитическая часть исследований, условно называемых качественными, подразумевает категоризацию и кодирование свидетельств.

При этом в фокусе качественного анализа находится работа с понятиями и категориями. Хотелось бы отметить, что речь идет как о тех понятиях и категориях, которыми пользуется исследователь, так и о способах категоризации и классификации, которыми пользуется сам изучаемый агент. Двойной рефлексивностью Т. Шанин называет отношение между следующими элементами: а) тем, что наблюдается исследователем; б) интерпретативными действиями исследователя, а также их влиянием на изучаемый объект; в) субъективностью объекта[15].

С позиций количественной методологии репрезентативность того или иного случая, рассматриваемого качественными методами, может быть оспорена. Там, где возможно, следует соотносить собственные «впечатления» с контекстами любого рода: сверять случай с данными статистики и демографии, ставить в самый широкий общетеоретический контекст[16].

Аналогичные методологические проблемы, кстати, встают и в исторической науке. В настоящее время имеет место движение под лозунгом «Вперед к Геродоту!» Издается журнал «Казус». Казалось бы, на первый план вновь выходит история описательная, отличная от изучения больших социальных структур, долговременных социальных процессов, глобальных зако-

номерностей, «сериальных» данных истории ментальностей. Действительно, интерес историков сдвигается от присущего *всем* к индивидуальному. Историка интересуют конкретные индивиды-акторы. Осуществляется реконструкция индивидуальных стратегий людей и их биографий[17]. Новая история, однако, отнюдь не похожа на прежнюю, в которой историк выступал в роли всезнающего рассказчика (трансцендентального субъекта)[18]. Наблюдается тенденция отказа от поиска «матриц поведения», «моделей мира», которые таятся за уникальными «цветами культуры». Имеет место интерес к позиции составителя исторического памятника, который избрал ту или иную версию случившегося.

Соответственно, возможны разные типы казусов. Одни воплощают господствующие социальные стереотипы, другие – нестандартные поступки, что позволяет поставить проблему диапазона возможностей, которые существовали у индивида в разных обществах. Историк реконструирует социальные резонансы нестандартного[19].

Как и в социологии, где во весь рост встает проблема перехода от микроуровня к макроуровню[20], в исторической науке ставится проблема перехода от частного к целому и наоборот. Здесь так же, как и в социологии, имеет место отказ от любых априорных суждений и постулатов и стоит задача преодоления в исследовательской практике дихотомий *индивидуального/коллективного, единичного/массового, уникального/всеобщего*[21]. Здесь возникают все те же методологические проблемы, связанные с процедурами генерализации и способами принятия индивидуальных решений.

Применительно к советской истории проблемы эти встают в форме поиска ответа на следующий вопрос. Способны ли люди, жившие в сталинский период, к артикуляции своей частной идентичности за пределами ценностей данной политической системы?

Одни полагали, что большевистский режим – это тоталитарное террористическое государство, которое поглощает общество. Индивиды атомизированы, лишены средств производства, в том числе и производства самих себя как личностей. Они погру-

жены в тишину, которая нарушается лишь наедине с немногочисленными друзьями. Эта позиция подтверждается и мемуарами о сталинской эпохе (Е. Гинзбург, Н. Мандельштам). В рамках этой концепции невозможно было ответить на вопрос, как и за счет чего, помимо насилия и террора, эта система держалась.

Согласно другой точке зрения стабильность обеспечивалась успехом мощной системы пропаганды.

Постепенно, однако, обратили внимание на то, что существовал значительный слой молодых людей, как правило, из низов, которые оказались способными воспользоваться теми дивидендами, которые им предлагала советская система. Эта интерпретация характеризуется как ревизионистская по отношению к тоталитарной[22]. Так, например, исследователь из США С. Коткин преодолевает упрощенный взгляд на сталинское общество, в соответствии с которым каждый человек – либо жертва, либо агент политической системы. Он показывает, что советское общество сталинской поры функционировало как система правил, включая правило социальной идентификации. Правила налагались партией-государством[23], но одновременно активно использовались людьми. Результаты этих игр идентичности отнюдь не были предопределены государством. Работая с огромным материалом, исследователь рисует динамичную, постоянно изменяющуюся сеть социальных отношений как некоторый «пейзаж возможностей». Одновременно он показывает, как социальные актеры действовали в пределах этих возможностей[24].

Так или иначе, историки все больше обращают внимание на то, что люди не совсем одинаково движутся по одной и той же «исторической колее». Более того, они параллельно движутся в разных плоскостях. Например, соучастие и попустительство параллельно со «своеволием» и «своенравием». Результат – отказ от восприятия личности как тождественной самой себе[25].

Обращение к индивидуальным «человеческим документам» не позволяет принять нормы как «естественную данность» социального мира. Приходится ставить вопрос об условиях их возникновения. Каким образом то, что нормой вроде бы не регулируется, попадает под нормативный контроль? Этот взгляд подразумева-

ет множественность социальных игр и множественность перспектив. Идея эта органична для данной позиции: можно по индивидуальному документу реконструировать картину мира того, кем он произведен, а значит, говорить об обществе в целом.

Понятно, что и ретроспективная интерпретация плюральна. Жизнь советского общества завершилась, но мы по-разному понимаем ее. В этом тексте представлен мой вариант видения. Однако идея поиска объективных структур и универсальных закономерностей отнюдь не отброшена. По мысли Р. Харре, она осуществляется по-иному: посредством болезненного, многоступенчатого подхода к одному типу жизни в рамках рассматриваемого социокультурного образования к индивидуальной биографии, индивидуальному тексту, обычаю[26]. И тогда исследователь не просто использует процедуры работы с «идеальными типами». Он всегда осознает, что сам идеальный тип не «налагается» исследователем, но складывается через интенсивное изучение «случаев».

Данная работа и состоит в представлении результатов изучения случаев (правда, ряд случаев соответствующим способом упорядочен). Работая с документами, я вспоминала высказывание П. Бурдье, касающееся соотношения макро- и микрометодов. Я воспринимала это высказывание как сверхзадачу, быть может, мне недоступную, уводящую за горизонт. Не могу удержаться от цитирования: «Антагонизм между макросоциологическим видением и микроскопическим видением микросоциологии, или между конструированием объективных структур и описанием субъективных представлений агентов, их практических построений, как и все оппозиции в форме "эпистемологических пар" (между теорией и эмпирией, например), исчезает с того момента, как удается – что мне представляется искусством исследователя *par excellence*, – инвестировать теоретическую проблему большой важности в эмпирический объект, хорошо выстроенный (по отношению к общему пространству, в котором он располагается) и освоенный доступными средствами, то есть, при необходимости, отдельно взятым исследователем, не имеющим кредитов, редуцированным к своей собственной рабочей силе»[27].

Текст и чтение, или Междисциплинарность

Рассказы обычных людей, которым посвящена эта работа, явно требовали новых способов интерпретации, в частности – нарративного анализа, который пока в России не слишком распространен[28]. Из современной семиотики известно, что текст создается чтением. Интерпретация требует чтения документов под разными углами зрения. Работа носит принципиально междисциплинарный характер[29].

Различные методологии, используемые в процессе интерпретации, оказываются тесно взаимосвязанными. Приходится признать, что имеешь дело не с тем, что некоторое время назад называли комплексным подходом, но с размыванием границ отдельных дисциплин и методов. Исследование носит цельный характер, но можно выделить его дисциплинарные составляющие.

Работа имеет свою историческую компоненту. Впервые вводятся в научный оборот новые нарративные источники, в большинстве своем хранящиеся в Центре документации «Народный архив».

В России накоплен большой опыт публикации комментированного источника. Это заслуга историков-источниковедов[30].

Научная публикация «низовых» источников, особенно относящихся к советскому периоду, началась недавно. Ряд монографий включает множество впервые опубликованных писем в прессу, в органы власти[31]. Публикации рассказов о себе, дневников рядовых людей, первоначально к публикации не предназначенных, появились лишь в последнее время. Можно назвать ряд работ, осуществленных в Институте антропологии и этнологии РАН (см., например: Дневник тотемского крестьянина А.А. Замараева. 1906–1922 годы. Публикация В.В. Морозова и Н.И. Решетникова. – М., 1995). В эту группу публикаций входят «Воспоминания работницы М.Н. Колтаковой "Как я прожила жизнь"», «Автобиографические записки сибирского крестьянина В.А. Плотникова», книга В.М. Малькова «Раскулачивание: как это было. Воспоминания о пережитом с 1920 года по 1939 год». – Юргамыш-Екатеринбург, 1995, опубликованные и интерпретированные омским исследователем-лингвистом Б.И. Осиповым (Омск, 1996, 1997), публикации «Народного архива» (Из подвала.

Альманах. Вып. 1. – М., 1993; Женская судьба в России. – М., 1994). В этот ряд входит и наша книга (Н.Н. Козлова, И.И. Сандомирская. «Я так хочу назвать кино». Наивное письмо: опыт лингвосоциологического чтения. – М.: Гнозис, Русское феноменологическое общество, 1996). Пристальный интерес проявляют к русским человеческим документам XX века и западные слависты. Более того, складывается впечатление, что наши ученые идут вслед за ними. Например, в Центре документации «Народный архив» хранится дневник С.Ф. Подлубного. В своей работе я использовала этот источник (см. соответствующую главу), но опубликован он был впервые не в России, а в Германии, и его знает сегодня на Западе практически каждый славист[32].

Этот интерес не в последнюю очередь связан с изменением политических обстоятельств. Но более важны, как представляется, сдвиги методологические: интерес к источникам такого рода – свидетельство изменения представлений о том, что есть история и что есть общество. Мне удалось изучить ряд личных фондов тех, кто считал себя советским человеком. Перечислю те, на которых построена в основном эта работа. В одном из них (ЦДНА, фонд 330, В.И. Васильев) воспоминания являются комментарием к фотоматериалам, переданным в архив. Другой фонд – воспоминания о прошлом и заметки о настоящем – большие, толстые ежегодники, которые автор вел в 1970–1980-е годы (фонд 366, В.И. Едовин). Третий (фонд 306, И.И. Белоносов) – огромный и пестрый, еще не описанный. Здесь и официальные документы (справки, свидетельства, дипломы, аттестаты, личные листки по учету кадров), и наброски конспектов произведений марксизма-ленинизма, и дневниковые записи. Записи «для себя» относятся к периоду после 1945 года, но автор их часто пишет о периоде «до войны». Этот фонд сотрудники архива называют «фондом ортодокса», обозначая таким образом незамутненную советскость фондодателя. В тот же фонд в качестве отдельной единицы входит дневник Н.А. Рибковского, который будет проанализирован в следующих главах. Фонд 30 (С.Ф. Подлубный) состоит из дневников, которые человек вел с 1931 года, с 16 лет, и буквально до последнего времени. Дневники дополнены комментирующими воспоминаниями, которые автор написал по просьбе сотрудников архива. Фонд 421

(В.П. Кононов) содержит документы, относящиеся уже к 1950–1980 годам. Нельзя не упомянуть и фонд 332 (Л.М. Де Морей). Большой интерес, на мой взгляд, представляет и фонд 424 (семейная переписка 1970–1980-х годов), взятый почти наугад, но позволивший многое осмыслить в истории советского общества.

К источникам нового типа проявляют интерес историки и социологи, антропологи и лингвисты. Более того, без совместных усилий представителей разных дисциплин интерпретации оказываются неадекватными. Словом, рушатся общепринятые классификации и шатаются междисциплинарные перегородки. На помощь приходит теоретико-методологический потенциал разных социально-гуманитарных дисциплин. Работа историков и социологов часто идет параллельно, не пересекаясь. Впрочем, в качестве новой тенденции можно отметить появление на страницах социологических журналов работ, написанными теми, кто работает в поле исторической науки[33]. Такое поле исследования, как социальная история, явно носит междисциплинарный характер. Авторы книги «Общество и власть. 30-е годы» отмечают: «Если собрать воедино все сохранившиеся материалы <...>, то можно получить весьма наглядное – аналогичное большому социологическому обследованию – представление о действительном, а не мнимом состоянии общества, названного социалистическим»[34]. Новый подход, реализованный в идее социальной истории, также диктует выбор новых источников.

Расширение исследовательского поля порождает новые методологические проблемы. Оказалось, что трудно даже представить такой источник. Одно дело, когда речь идет о принадлежащих к культурному слою, о тех, кого, пусть даже опосредствованно, можно связать с опорными точками на исторической (она же когнитивная) карте. Этот участвовал в исторической битве... Та училась в гимназии, которую окончила Анна Ахматова... Другое дело – текст, в котором описания событий времен войны сочетаются на равных с рассказами о деревенских трудах и днях или о жизни дворовых алкоголиков. Как представить и интерпретировать множество биографий, как будто сошедших с одного конвейера? Вне определенного контекста материал «непонятен», новые источники настоятельно требуют гида-историка.

Упомянутую выше книгу «Общество и власть» авторы считают исследованием нового типа[35]. Организовать материал – тоже проблема. Например, Б.А. Грушин называет свой проект «Четыре жизни России в зеркале опросов общественного мнения. Очерки массового сознания россиян времен Хрущева, Брежнева, Горбачева и Ельцина». Исследователь вписывает реальное сознание россиян в когнитивную карту профессиональных исследователей. Но возникает проблема: ведь у повседневности человека свой ритм, в центре – единственная и неповторимая жизнь, а вовсе не смена политических лидеров...

На Западе сложились целые школы исследования проблемы биография – общество, число исследований огромно (от Ф. Знанецкого до Д. Берто, М. Бургос и др.)[36]. В России предлагаемым здесь типом социологического исследования занимаются единицы (В.Б. Голофаст, О.М. Маслова, В. Семенова, М.М. Малышева, Е. Мещеркина, Н. Цветаева и др.). Социологи в последнее время довольно активно ведут накопление и интерпретацию источников такого рода. Например, в Санкт-Петербургском филиале Института социологии РАН создан Биографический фонд. Мне известно, что архив нарративных источников пытаются создать в Одесском университете (И.М. Попова).

Для меня социологическая интерпретация находится в центре внимания, ибо я пишу о социальном изобретении советского общества и советского человека. Однако невозможно обойтись без теоретико-методологического потенциала других наук.

В процессе интерпретации текстов производится исследование индивидуальных проявлений социальных отношений. На этом уровне ведется обращение к референту текстов, то есть к повседневным практикам людей. Тексты, с которыми работала я сама, несут богатую информацию о социальных играх советской и постсоветской эпохи.

Социологическая интерпретация позволяет ответить на вопрос, какие человеческие (они же социальные) черты оказались востребованными для производства новых институтов, что еще раз подтверждает мысль о связи между существованием системы и свойствами ее агентов, о человеке как источнике и начале любого социального изменения.

Исследование не может не содержать ярко выраженную антропологическую компоненту. Внимание к системам классификаций мира, к системам социальных представлений, способам видения и образцам действий, представленным в обычаях и ритуалах, делает возможным и необходимым сочетание социологического и антропологического углов зрения. Специфика антропологического подхода, как он был выработан в социальной (культурной) антропологии, состоит том, что человек берется вместе с его жизненным миром, в контексте конкретных форм бытия. В XX веке человек живет в «больших» городских обществах, в сети институциональных связей. Тем не менее, основным объектом остается область повседневных взаимодействий, жизненный мир человека. Таковы исследования в жанре этнографии больших городских обществ[37], а также то, что делается в жанре *cultural studies*.

Нельзя не акцентировать внимание на значимости лингвистической компоненты интерпретации, ибо приходится иметь дело с текстами. В принципе, лингвисты занимаются как текстами, так и повседневными речевыми практиками. Однако пока практически отсутствуют прецеденты действительно научных публикаций непрофессионального «наивного» письма (с сохранением языковых особенностей источника). Публикуемые письма, воспоминания, дневники, как правило, подвергаются редактированию и литературной правке, в то время как сам тип языка, на котором они написаны, должен быть предметом внимания.

Каковы причины столь значимого усиления внимания именно к этой задаче интерпретации? Ответить на этот вопрос нельзя, не обратившись, хотя бы кратко, к проблеме соотношения рассказа и практики.

Рассказ и опыт

Всегда существует соблазн увидеть все общество в одном рассказе как в капле воды. Тем более что возможность такого взгляда подтверждается таким авторитетом, как Ж.-П. Сартр: «Человек никогда не является лишь индивидом; вернее было бы назвать его универсальным единичным: тотализированный и

тем самым универсализированный своей эпохой, он заново ее тотализирует, воспроизводя себя в ней как единичность»[38].

Размышляя над «документами жизни», над локальными и конкретными историями, которые репрезентируют вроде бы только индивидуальное, я задавалась одним вопросом. Как, на каком основании и насколько, обращаясь к документам такого рода, можно рассуждать об обществе в целом? Ответить на этот сложный вопрос вряд ли возможно, не обратившись к проблеме соотношения опыта и рассказа.

Не существует опыта, который бы не был опосредован символическими системами, к числу которых относится и рассказ. Как известно, проблемы нарратива и репрезентации рассмотрел в своей известной работе «Время и рассказ» П. Рикер. Некоторые положения его концепции имеют большое значение для этой книги. Речь идет о представлении об изначальной нарративности опыта, о связи рассказа и действия. П. Рикер пишет: «Поскольку мы пребываем в мире и реагируем на определенные ситуации, мы пытаемся ориентироваться в них путем понимания, и нам есть что сказать, у нас есть собственный опыт, который нужно выразить в языке и разделить с другими»[39].

Рассказ – органический элемент опыта, способность к коммуникации и к референции полагаются одновременно. Рассказанное – уже понятое. Рассказать – уже объяснить. Действие может быть рассказано потому, что оно уже артикулировано в знаках, правилах, нормах. Схематична донарративная природа опыта. Именно она обусловливает гибкость эксплицитных нарративов. Рассказывают, чтобы понять или представить себя.

Язык саморефлексивен и познает себя в бытии, чтобы обратиться к бытию. «Видеть-как» имеет коррелят «быть-как». С точки зрения нарративности бытие в мире уже маркировано языковой практикой, которая задает предпонимание, или естественную установку. Люди впутаны в истории. Истории рассказаны. Интрига в рассказе сообщает связь действиям и страданиям агентов.

Кодирование событий – превращение неизвестного в известное. Иначе *деятель-актор* оказывается в хаосе непонятности собственного существовании. Мир действия конфигурируется

повествовательной деятельностью. Нормы (в том числе нормы репрезентации в письме) рождаются из жизненного мира. Они конституируют построение интриги. Миры текста сталкиваются с жизненным миром и рефигурируют его, меняя мир[40].

Обладать языком – обладать миром. В рамках герменевтического опыта языковая форма не может быть отделена от содержания, дошедшего до нас в этой форме. Если всякий язык есть мировидение, то он обязан этим тому, что говорится и, соответственно, передается на этом языке. Быть компетентным в языковом отношении – знать, как действовать в этом мире.

Еще в 1920-е годы В.Н. Волошинов высказывался относительно *практичности* языка: «Слово в жизни явно не довлеет себе. Оно возникает из внесловесной жизненной ситуации и сохраняет самую тесную связь с ней. Более того, слово непосредственно восполняется самой жизнью и не может быть оторвано от нее без того, чтобы не утратить своего смысла. <...> Слово – социальное событие, оно не довлеет себе как некая абстрактно-лингвистическая величина. <...> Жизненный смысл и значение высказывания (каковы бы они ни были) не совпадают с чисто словесным составом высказывания. Сказанные слова пропитаны подразумеваемым и несказанным. То, что называется "пониманием" и "оценкой" высказывания (согласием или несогласием), всегда захватывает вместе со словом и внесловесную жизненную ситуацию. Жизнь, таким образом, не воздействует на высказывание извне: она проникает его собою изнутри, как то единство и та общность окружающего говорящих бытия и выросших из этого бытия существенных социальных оценок. <...> Слово – это как бы "сценарий" некоторого события. Живое понимание целостного смысла слова должно репродуцировать это событие взаимного отношения говорящих, как бы снова "разыграть" его. Причем понимающий берет на себя роль слушателя. Но чтобы выполнить эту роль, он должен отчетливо понять и позиции других участников»[41]. Стиль – это по крайней мере два человека. Точнее, человек и его социальная группа в лице ее авторитетного представителя – слушателя, постоянного участника внутренней и внешней речи человека.

Будучи социальным явлением, язык дает средства проговаривания мира. Социальный мир говорит в языке, он создается (воспроизводится) в языке. Язык и общество дают нам сценарии чувств, сценарии того, как хотеть, думать и говорить[42]. Язык, используемый в повседневной жизни, предоставляет человеку необходимые объективации и устанавливает порядок, в рамках которого приобретают смысл и значение как сами эти объективации, так и повседневная жизнь человека. Мы попадаем в область повседневных типизаций, которые позволяют людям понимать друг друга. Сегодня в моде исследования дискурса как речи, погруженной в жизнь. В зависимости от социального контекста ситуации вербального взаимодействия исследователь может обнаружить определенный вид дискурса, который подразумевает определенную языковую субреальность. Ни синтаксис, ни грамматика языка не могут изучаться вне обращения к его использованию. Язык воплощает то, что человек делает, делал, собирается делать в этом мире. Язык подчиняет индивида своим структурам (схемам классификации), позволяющим различать объекты, язык формирует высказывания действия и высказывания существования. Язык разделяет мир на зоны (интимность/удаленность), через выбор личного местоимения принуждает высказать свое отношение к другому. Отношение – пусть даже самое что ни на есть трудно выразимое – все же находит выражение с помощью социокультурных структур, оформленных лингвистически. Люди видят и слушают. Они воспринимают действительность так, а не иначе, в силу того, что языковые и социальные нормы общества предрасполагают к определенному выбору понимания и интерпретации. Есть гипотеза языковой относительности Сепира-Уорфа. Но мы имеем в виду и систему социальной относительности. Так обеспечивается воспроизводство наиболее приспособленных к условиям жизни данного общества форм человеческого знания.

Знания, убеждения, вера, равно как атрибуты субъективности, оказываются конструкциями, производными от формы языка[43]. По словам Л. Витгенштейна, «наши представления организуют опыт мира»[44]. Дискурс классификации и оценки пронизывает все тело социального знания. Заметим сразу же, что

речь идет не только о вербальном языке, но и о грамматике социальных правил. Языковая субреальность (например, субреальность идеологического языка) начинает влиять на повседневное поведение человека, определять его действия. Язык превращает ее в реальность повседневной жизни. Язык воплощает начала объективности. «Язык, когда мы хотим использовать его как средство для описания *кто*, отказывает и зависает в *что*, так что мы в итоге самое большее обрисовываем характерные типы, то есть что угодно, только не личности, и собственно личное прячется за этими типами так решительно, что невольно начинаешь считать все характеры масками, которые мы надеваем, чтобы уменьшить риск последнего прояснения в бытии друг с другом»[45], – пишет Х. Арендт.

Еще раз повторю: чтобы вступить в коммуникацию с другими, точнее, чтобы *жить вместе с другими*, человек пользуется готовыми классификациями, предоставляемыми языком. Это касается прежде всего идиом и клише.

Трудно преуменьшить роль клише в конструировании повседневного мира. Когда слова перестают обеспечивать возможность понимания мира, повседневность пугает, ибо становится чужой. Утрачивается онтологическая безопасность. Человек цепляется за стереотип поведения, за речевые клише, дабы не оказаться в положении социального аутсайдера[46]. Клише обращены к собеседнику как протянутая рука социальной близости, они играют свою роль в обеспечении социальной солидарности. В то же время они – коммуникативное средство, заполняющее пустоты, что может свидетельствовать об отчуждении. Подобные ситуации обыгрывает театр абсурда. Есть люди, в речи которых не обнаруживается зоны свободного речевого выбора, и это не такой уж редкий случай. Во второй части работы об этом будет идти речь.

С близкого расстояния индивидуальные мотивации, случайные обстоятельства обеспечивают разнообразие и многофакторность событий, «как бы покрытых сетью мелких движений и деталей, обусловливающих неповторимые конфигурации каждого момента реальной жизни и драмы человеческих характеров. Однако на некотором отдалении, по прошествии времени,

в них обнажается то, что можно назвать "центральной идеей" или "основной траекторией"»[47]. Представление о стереотипах и клише относятся не просто к «отдельным словам», но и к целым нарративам. Формы человеческого поведения связаны с разнообразными стереотипами вербальных текстов. Существует тенденция к совпадению событийной канвы житейской истории и кристаллизации нарратива. Нарративы, которые интерпретируются в этой работе, позволяют продемонстрировать всю справедливость этих высказываний. «Моя субъективность – не более чем всеобщность стереотипов»[48], – писал Р. Барт.

Существует не вполне точное представление об исключительном своеобразии, бесконечной вариативности и малой предсказуемости событий действительности. Реально «события действительности» достаточно жестко детерминированы и воспроизводимы в относительной однородности. Имеет место инерционная ритуализованность истории и повседневности. Упорядоченность в нарративы вносится идеологическими в широком смысле (то есть этическими, религиозными и эстетическими) системами. При этом идеология, религия, этика, искусство и жизнь продолжают привычно противопоставляться.

Еще на дотекстовом уровне, например в памяти, выделяются доминантные звенья, редуцируются малозначащие детали, жизненный материал совмещается с устойчивыми «ментальными матрицами». Обнаруживаются «событийные сценарии». Биографические коллизии упорядочиваются, они слагаются из стереотипных событий и ситуаций.

О том, как это происходит, писал Т. Лукман, рассматривая проблемы легитимных повествований[49], в том числе способов рассказывания о себе. Эти повествования он назовет «биографическими схемами» и характеризует эти схемы следующим образом.

Лукман выделяет семантические поля, которые с точки зрения собственно языковой и социальной выступают как объективированные сети взаимосвязанных типизаций. Они служат в качестве готовых, интерсубъективно валидных моделей конструирования когнитивно-нормативных карт. Кроме того, исследователь говорит о синтаксических структурах, которые обеспечивают модели упорядочения последовательностей.

Биографические схемы выступают как диахронические, интеракционистские категории, которые дифференцируют цели и проекты, определяют начала и концы и координируют пересекающиеся фазы действия. Они действуют наряду с синхроническими категориями, которые измеряют длительность и обеспечивают ее пространственную таксономию. И первые и вторые служат упорядочению последовательности действий во времени. *Интеракционистские категории* интегрируют последовательности действия в пределах возобновляющихся и коротких отрезков времени. *Биографические схемы* интегрируют последовательности (предварительно упорядоченные во временном отношении) действия в пределах необратимой длительной последовательности цельного пути человеческой жизни.

Человеческие индивиды рождаются в определенное время в определенном месте в некое *«социально-историческое»*. Биографические схемы – один из центральных компонентов этого *apriori*. Они формируют течение жизни более или менее обязательным образом, наделяют и рутинные, и кризисные моменты значением, связывая их со значением жизни в целом, помещая ее в контекст исторического времени. Именно биографические схемы наиболее связаны с личной идентичностью. Что есть историческое время без времени социального взаимодействия?

Биографические схемы интегрируют короткие темпоральные последовательности в длинные. Эти длинные последовательности конструируются социально, но выкраиваются по мерке индивидуальной жизни, *индивидуального*, а не институционального времени. Рутинные повседневные взаимодействия вписываются в контекст жизни человека в целом. По-разному структурируется рассказ. Женщина из низов делает это через пословицы, присловья, анекдоты, притчи. Мемуарист(ка) из образованных слоев общества опирается на структуру и сюжетный ход романа воспитания. Жизненные истории любого типа восстанавливают непрерывность и согласованность жизни. Эти схемы наделяют некоторые события и опыты особым значением. Например, в рамках этих схем тем или иным образом решается проблемы смерти: *что есть достойная/презренная* смерть?

Историческое (или протоисторическое) время обеспечивается моделями жизни, представляющими собой социальный корпус знания, передаваемого в процессе социализации. Эти модели состоят из формул обязательного и возможного, того, что принимается всеми, с одной стороны, в качестве самоочевидности, а с другой – сомнительного, подозрительного. Биографические схемы являются объясняющими, легитимирующими и нормативными моделями[50].

Язык и действие взаимосвязаны. Языковая общность свидетельствует об общности форм опыта. Мир «для нас» обговорен не по воле одного человека, а *поневоле*. Власть человека над собственной символической вселенной весьма условна. Владеть языком – быть ему причастным. Можно только участвовать в языке (как, впрочем, и в обществе), практически воспроизводить его, одновременно воспроизводя социальность. Язык практичен и принудителен. Однако носитель языка и культуры – не жертва неизбежности, но носитель интенции.

Об историческом происхождении представленных в языке социальных значений легко забывают. Все это требует от исследователя специальной археологической работы, которая сводится к разного рода *комментированию общеизвестного* (А. Битов).

В языке происходит *седиментация* социальных значений. Социальный опыт организуется согласно правилам организации значений. Происходит рутинизация восприятия, объективируются практические схемы деятельности. Первичные легитимации обнаруживаются в обыденном языке. Понятия социальной теории оказываются конструктами второго порядка, что и показано социальными феноменологами[51].

Проблема общего языка – проблема жизни вместе, жизни в различии социальном и культурном, в разности потенциалов, которая не только придает динамизм, но выступает неотъемлемым условием продолжения жизни людей и общества. Языковая и жизненная установки пересекаются. Жизненная установка – практическая. Здесь идет игра, но игра не только языковая. Ставка в этой игре – сама жизнь.

«Нет другого человеческого установления, в такой же мере нуждающегося в словах, как действие», – пишет Х. Арендт[52].

Действуя и говоря, люди всякий раз обнаруживают, кто они суть. «Действие, остающееся в анонимности, поступок, при котором нет имени исполнителя, бессмысленны и подлежат забвению; тут нет никого, о ком можно было бы рассказать историю»[53].

Каждый человек неповторим и уникален. И наши источники поражают сочетанием неисчерпаемого многообразия и видимой закономерности. Однако, пользуясь языком, он пишет по правилам – не только орфографическим и грамматическим, но в соответствии с господствующими риториками, пользуясь готовыми классификациями, готовыми дискурсивными единицами, метафорами и клише. За каждым «словом», риторикой, тропом – отстоявшаяся языковая, она же социальная, история. В текстах отпечатывается опыт отношений. Люди претерпевают и действуют, помнят и забывают, говорят и умалчивают, вновь и вновь проигрывают свою жизнь. Память разнородна и коллективна.

Из действий, подчиняющихся правилам, возникает инновация. Грамматика определяет построение правильных фраз, но из этих фраз создается литературное произведение. То же относится и к области социальных правил, к жизненным формам и жизненным стилям, которые *изобретают* люди. Жизненные формы, подчиняясь правилу, могут быть оригинальными произведениями. Можно рабски следовать традиции, можно делать сознательное отклонение от нее. Работа воображения не возникает *из ничего*, ибо всегда связана с парадигмами традиции (даже если эту традицию ломают), с наличной социальностью. Правда, социальное правило исследователь часто выводит *post factum*.

Одной из центральных теоретических тем становится отношение рассказа и «реальности», рассказа исследователя и рассказа нарратора, нарратива и опыта. Мы не можем позволить себе пересказать содержание наших источников «своими словами» (отсюда – обильное цитирование наших источников во второй части книги). Сегодня социолог, историк, антрополог не может не учитывать, что имеет дело с миром, который уже обговорен и понят, определен и классифицирован посредством языка.

Каждый документ неповторим. Человек начинает рассказывать или что-то записывать, ощущая свое отличие от других, стремясь утвердиться в этом отличии. У рассказчика сверхзадача: вернуться в общность, включить себя в исторический поток, понять, что происходит – для того, чтобы жизнь продолжилась. Человек в своем поведении и опыте создает *значимую смысловую структуру*, которая позволяет ему разрешать жизненные проблемы. Это тот источник, откуда черпаются рецепты: как понимать, как делать. Посредством языка человек обретает род институционализированной программы для повседневной жизни. Происходит разметка, топографирование повседневности.

Исследователь пытается ответить на вопрос, как именно *изобретается (воспроизводится) общество*. Можно спросить и по-другому: *как человек изобретает самого себя*.

В повествованиях представлены типичные мотивационные связи и отношения, поведенческие рецепты и ценностные иерархии. Их целесообразно рассматривать как схемы интерпретации и конструирования социальной реальности. Социальная динамика гомологична динамике языковых репертуаров. Через эту динамику объективируется социальный опыт, который типизируется и тем самым делается доступным другим. Процессы социализации, обретения личной идентичности описываются через анализ смены языковых репертуаров, овладения новыми речевыми практиками, отхода от прежних практик.

Языковые средства социально распределены. Именно здесь – интерес социологии, пересекающийся с интересом социолингвистики. Особенности письма соотносятся с типами практики и с разной диспозицией агентов в социальном пространстве. По этим особенностям прочитывается, где человек находится: внизу или наверху социальной лестницы, плывет ли он по течению или стремится «построить», спланировать свою жизнь.

При чтении источников сразу же возникает первая классификация: *литературный/нелитературный* язык. Эта классификация одновременно свидетельствует о социальной позиции пишущих. Записки тех, кому удалось не только хорошо вписаться в советское общество, но и подняться по ступенькам

социальной лестницы, написаны более или менее правильным литературным языком. Эти люди, даже рожденные в российской деревенской глубинке, как правило, стали жить в столицах, в Москве и Ленинграде. Те, кто занимал в обществе подчиненное положение, не пишет, а если пишет, то на языке, далеком от литературной нормы. Различие языков – выражение социального различия.

Речь идет также о таксономиях и других средствах интерпретации социальной реальности (включая категории социальной причинности, социального времени и пространства). Например, в формах наррации всегда представлено исторически нормативное представление о времени. Оно может быть разным в разных социальных пространствах. Несовпадающие системы представлений сосуществуют в одном обществе в зависимости от того, прошел человек через образовательные институции или нет (и через какие). В конечном итоге эти картины (они же классификации) будут распределяться в зависимости от позиции агентов в социальном пространстве. Данная книга – попытка учесть такой угол зрения.

Исследователь в конечном итоге сосредоточивается на том, что одни назовут формой жизни, символической формой или культурным процессом, артикулирующим опыт, другие – системой социальных классификаций. В обоих случаях речь идет о скрытых культурных нормах и моделях, которые стоят за отдельным рассказом о себе. Легко понять, что имеется в виду, если сопоставить два типа историй: *повесть жизни* полуграмотной женщины Евгении Григорьевны Киселевой и художницы Ларисы Михайловны Де Морей. Контраст будет еще более силен, если сравнить эти тексты с любыми литературными или политическими мемуарами, написанными профессионалами пера.

Исследуя нарратив (как устный, так и письменный), можно задаться целью прорваться к подлинной реальности, которая стоит за текстом. Повествование видится родом субъективной реальности. Рассказ рассматривается как свидетельство. Снимая посредством интерпретации слой за слоем, мы расшифровываем, расколдовываем реальность. В рамках классических представлений язык – прозрачная среда, средство, подчинен-

ное цели высказывания. Это посредник между исследователем и реальностью, передающий неизменные и единственные значения. Нарратив отображает реальность с разной степенью точности. Нарративный анализ, допустим, тридцатилетней давности, конечно же, был классическим в том смысле, что исследователя интересовало в первую очередь то, *о чем* повествовал рассказчик. Отметим сразу же, что никакие постклассические подходы такой анализ не отменяют. Он благополучно существует и будет существовать. В дальнейшем я сама использую неисчерпанный потенциал этого подхода. По этим текстам мы можем изучать биографии как симптоматику социальной мобильности[54], реконструировать когнитивно-нормативные схемы и, естественно, картографию повседневной жизни.

Сегодня в поле исследовательского внимания нарратив попадает не только как свидетельство. Исследователь обращает внимание главным образом на то, как сделано повествование. Он старается понять и объяснить, как именно производятся и воспроизводятся социальные представления, а значит, сама социальная реальность. Повествование рассматривается как *социальная конструкция*. Здесь вновь встает проблема совместных усилий разных специалистов, проблема чтения под разными углами зрения. При этом всегда остается неопределенность между точкой зрения наблюдателя и точкой зрения агента, что сказывается в отношениях неопределенности между конструкциями, построенными с целью объяснения практик, и самими этими практиками.

При таком подходе мы перестаем воспринимать всякого рода табу и проявления цензуры как то, что мешает «правдивому рассказу». Напротив, табу и используемые тропы (ключевые метафоры и пр.) позволяют реконструировать образно-схематические структуры, или стратегии, как используемые всеми, так и специфические для различных групп людей.

Кроме того, всегда задаешься вопросом: что выходит в интерпретации на первый план? Быть может, то, о чем никто не говорит, то, о чем умалчивают, несказанное? Работая с документами, который раз понимаешь, что нельзя верить эпохе на слово. Не следует принимать за реальность ни то, что сказано официально, ни то, что записано в заветном дневничке.

Реализация методологического тезиса конструкционизма не может иметь место вне обращения к нарративному и дискурсному анализу. Концепции «Я», языки, в которых формулируются эти концепции, равно как коммуникативные жанры, позволяющие, облегчающие и ограничивающие такие формулировки, варьируются в зависимости от эпохи и типа общества.

Помимо этого мир повседневной жизни имеет временную структуру. Человек учитывает ее в построении своих жизненных планов. Человек знает, что путь его завершится. Он может бережно относиться к отпущенному ему сроку жизни, а может прожить жизнь «зря».

Биографический опыт индивида классифицирован согласно правилам организации значений и является объективно и субъективно реальным. Ситуацию делает реальной ее номинирование. Облекаясь в языковые формы, субъективность становится более понятной и стабильной для самого индивида.

Я имею дело исключительно с письменными источниками. Письмо не равно устному рассказу. Письмо как объективация – род освобождения от тела.

Рассказ не совпадает с практикой, опытом. Практика – погоня за жизнью. Принуждение со стороны времени и сроков, которое не дает человеку задержаться на каких-то проблемах, вернуться к ним. Практические цели витальны. Записанная история *перспективна*, здесь всегда существует расстояние между случившимся и рассказчиком[55]. Речь идет не только о расстоянии между рассказом ученого и практикой, но и о дистанции между изучаемым нарративом и практикой. Отсюда – вся значимость обращения к анализируемым ниже источникам.

Письмо рассматривают порой как образец опосредованного опыта. Можно, однако, считать его не объективацией, а практикой. Как показал М. де Серто, письмо – сама практика, не симптом и не маска практики[56]. Он обращает внимание на гомологию риторических фигур и тактик продолжения жизни. Метафорические сдвиги, эллиптические сгущения, метонимия (все это используется в ритуальных и актуальных языковых битвах) – это индексы потребления и игры социальных сил[57]. Чаще всего они в принципе исключены из научного дискурса, из репертуара мо-

делей и гипотез. Они – варианты общей семиотики социальных тактик и требуют от исследователя работы с постклассическими методологиями.

Интерпретируемые источники различны по жанру. Говорение, ведение дневника, писание мемуаров и писем – средства упорядочения мира и перевод диффузного, размытого, тревожащего знания в план языка, а значит, в план социальных значений. Так вырабатывается согласие с миром, принятие мира и, одновременно, его *воспроизводство* или *изобретение*. Ниже представлены все эти речевые жанры, за исключением говорения.

Источники различаются в зависимости от типа отношения к опыту. Дневник, несомненно, ближе к «времени практики». Мемуары более отдалены от нее. Дневники и мемуары различны как предварительные и окончательные итоги. Пишущий дневник не только «втянут в настоящее», он присутствует в будущем, он отождествляет себя с миром настающего, возможность возврата в прошлое ограничена. Можно сказать даже, что практика исключает возврат к себе. Это попытка «схватить» непрерывность практики, задержавшись на мгновение. Мемуары – записки того, кто почти что *вышел из игры*, кому мир может представляться равно как упорядоченная система или абсурд. Позиция пишущего мемуары в большей степени приближена к позиции исследователя-наблюдателя. Агент размышляет над своей практикой, принимая как бы позу теоретика. Он принимает своеобразную «теорию практики», находясь в ситуации наблюдателя. Часто он «теряет всякую возможность выразить истинную суть этой практики, а главное – суть своего практического отношения к этой практике»[58]. Он способен увидеть в одно мгновение факты, которые существуют лишь последовательно. Практическая функция нейтрализована. Жизнь почти завершена. Письма как речевой жанр прагматичны и ритуальны. Повествователи умалчивают обо всем, а чем не нужно говорить, что «и так ясно».

Если рассматривать этот процесс в языковом аспекте, то словарь, грамматика и синтаксис ему способствуют. Язык формирует лингвистически обозначенные семантические поля, в рам-

ках которых объективируется, сохраняется и накапливается биографический и исторический опыт. Языковая реальность позволяет человеку постоянно воссоздавать себя.

Через обращение к анализу изменения языковых репертуаров можно исследовать процесс обретения индивидуальной идентичности.

Мы имеем дело с «внезапным» возникновением новых категорий мышления и их исчезновением, с изменением прежних. Люди постоянно нуждаются в объяснении происходящего, причем желательно «безошибочном».

Человек – пункт пересечения отношений в сети (или ткани) общества. Родной язык в силу взросления человека в определенных обстоятельствах сначала является совершенно типичным. В дальнейшем эта типичность может быть оформлена совершенно индивидуально. Но этого может и не произойти. Персональные языковые привычки, более или менее индивидуальный языковой стиль, которым может обладать отдельный индивид, – продукт дифференцирования в рамках средств языка, с которым и в котором он вырастает. Этот процесс – функция его индивидуальной истории внутри его общественного объединения и его социальной истории.

То же касается мышления и чувств человека. Из общего социального дискурса, из общей манеры письма может выработаться индивидуальный почерк. Из общего языка, которым человек владеет наряду с другими и который составляет «интегративную составляющую социального габитуса»[59], возникает более или менее индивидуальный языковой и жизненный стиль, как из принятой в обществе манеры письма индивидуальный почерк. Аналогичным образом, «чем шире в ходе общественного развития становится пространство различий жизненного опыта, выгравированного в памяти отдельного человека, тем более велики шансы на индивидуализацию. <...> Я-идентичность становится возможной не только благодаря воспоминаниям о себе самом и знанию о себе самом, выгравированным в собственном мозгу»[60]. Имея дело с жизненными историями, мы можем проследить, как человек в процессе взросления постепенно обретает индивидуальность как единственное в своем роде оформле-

ние типичного. Только в результате длительной и тяжелой притирки в общении с другими людьми человек обретает то своеобразное качество формы, которое мы можем характеризовать как специфически человеческую индивидуальность. Только в этом процессе складываются те качества, которые отличают его от других людей.

Несколько замечаний по проблеме идентичности

В работе речь идет, собственно говоря, об играх идентичности, которые прослеживаются по интерпретируемым текстам (повествовательная идентичность[61]). Для последующей интерпретации важно обратить внимание на следующие соображения.

Современные исследователи различают *ситуационную* и *трансверсальную* идентичности. И та и другая разновидности характеризуют индивида как агента социальных отношений: идентичность определяется как принятый человеком смысл позиции его в социальном пространстве[62]. Акт номинации – помещение себя самого или другого в сетку признанных, социально одобряемых и «понятных всем» категорий. Социальный опыт и социальная траектория человека определяют предрасположенность воспринимать социальный мир и действовать определенным образом. Именно позиция в социальном пространстве может определять, какой идентичностью обладает человек – *ситуационной* или *трансверсальной*.

В первом случае агент не принимает *значения* позиции, а значит, не созидает своей идентичности. Эта идентичность непосредственно связана с актуальной практикой, в процессе которой происходит неосознаваемое отождествление с другим агентом, с собственной позицией в социальном пространстве. Ситуационная идентичность непроизвольно навязывается агенту. Такого агента трудно назвать субъектом.

Во втором случае идентичность является *надситуационной* продолжающейся, длящейся во времени. Имеет место самоконтроль за нормами и правилами, схемами восприятия и оценки, способами постановки и решения жизненно-практических проб-

лем. Именно в этом случае можно говорить о принятии значения позиции агентом. Трансверсальная идентичность относительно независима от ограничений актуальной практики, она объективируется[63]. Речь может идти о своего рода строительстве, конструировании идентичности. Здесь «Я» агента срастается с его позицией. Социальная идентичность – осознанный и принятый человеком смысл его позиции в социальном пространстве.

Понятно, что возможна ситуация, когда агент может негативно относиться к собственной позиции, но тем не менее идентифицироваться с ней.

В случае ситуационной идентичности люди живут в советской идентичности как в *родном* языке. Непонятно, как и когда они ее обрели. Точно так же мы не можем припомнить, как и когда мы выучили родной язык. Они ее воспроизводят постольку, поскольку есть проблемы продолжения жизни, выживания, существования вместе с другими людьми в определенном обществе. Эта идентичность как бы и есть, и ее нету, она ситуативна и непринципиальна. Она возникает там, где это человеку нужно для решения повседневных жизненно-практических проблем. Тексты, которые прочитаны, обнаруживают разные типы идентичности.

Обретение трансверсальной идентичности аналогично процессу овладения иностранным языком (в отличие от языка родного). Это сравнение имеет в виду *рефлексивный контроль* и дистанцирование в процессе идентификации.

Текст представляет собой объективацию, по которой представляется возможным отслеживать процесс конструирования идентичности. Способы демонстрации «отдельной», личной идентичности являются выражениями символической идиомы, которая может быть распознана в любом обществе. Эта идиома использует тело и производство для материализации семиотического конструкта, который называется «Я». Исследовать идентичность как процесс значит показать, каким образом он развивается: во временной протяженности, работает через язык и развитие социальных ролей, равно как тесную связь между частным опытом самоидентичности и ее публичным выражением, которое, кстати, тоже в какой-то степени можно про-

следить по текстам. Не в последнюю очередь именно поэтому по письму можно отслеживать как конституирование идентичности, так и базовую организацию социальных связей.

Еще раз обратим внимание, что письмо является образцом опосредованного опыта. Возникновение самоидентичности как рефлексивно организуемого усилия исследователи связывают обычно с возникновением посттрадиционного порядка модерна (Modernity). Именно для модерна характерно господство опосредованных форм опыта. Сказанное делает возможным рассмотрение советской идентичности в контексте вхождения в модерн, что подразумевает превращение массы людей деревенских в городских.

Записки людей, чье письмо отличается дискурсивностью, свидетельствуют, что самоидентичность для них – *рефлексивно организованное усилие*. Трансверсальность (надситуационность) и рефлексивность друг с другом соотносятся. Следы рефлексивных усилий носит бумага, на которой записки написаны: зачеркивания, стирание и другие признаки, свидетельствующие об отсутствии полной спонтанности. Обратимся более внимательно к запискам этих людей.

Известный британский социолог Э. Гидденс полагает, что именно в условиях модерна в массовом порядке появляются люди, «Я» которых представляет собой рефлексивный проект. Этот рефлексивный проект состоит в поддержании связных, но постоянно подвергающихся ревизии биографических нарративов. Осуществление этого проекта происходит в контексте множественного выбора, профильтрованного через абстрактные системы[64].

В нашем случае абстрактная система представлена прежде всего идеологическим легитимирующим метанарративом, который, кстати, задавал и канон «правильного» жизненного пути. Самоидентичность в модерне складывается как путь через различные институционально задаваемые обстоятельства в течение некоторой временной протяженности. Применительно к домодерным временам (и соответствующим социальным пространствам) этот путь назывался жизненным циклом. Жизненный цикл ритмичен, аналогичен природному. Сохранившиеся записки

крестьян, принадлежащих к поколению отцов наших главных героев, трудно обозначить как биографический нарратив[65]. В модерне человек «проживает» биографию, которая рефлексивно организована и открыта.

Опосредованность нарратива дискурсивными (метанарративными) единицами гомологична представлению о возможности выбора из спектра разнообразных *способов жизни* или *жизненных стилей*, пусть даже этот спектр очень неширок. Каждый день ответ на вопрос «как жить?» приходится искать через повседневный выбор.

Индивиды принуждаются к выбору жизненного стиля из ряда возможностей. Жизненный стиль становится все более значимым в конституировании самоидентичности и повседневной активности. Так становится возможным рефлексивно организованное жизненное планирование.

Узость границ выбора отнюдь не является особенностью лишь советского варианта вхождения в модерн. Модерн отнюдь не только открывает возможности эмансипации и самоактуализации, но и производит различие, исключение и маргинализацию. Тем не менее, представление о жизненных стилях относится не только к элите. Если и не всем, то многим приходится принимать решения.

Как показано в исследовании Е.Г. Трубиной, существуют два основных исторически сложившихся модуса персональной идентичности: «Я – универсальная мета(история)» и «Я – индивидуальная (локальная история)». Конкретизацией первого модуса являются две доминирующие в период модерна стратегии самоосмысления человека. Это прагматически ролевая стратегия, когда индивидуальная история выступает как процесс аккумуляции полезных качеств, а также романтически-индивидуализирующая история. В локально-историческом модусе персональная идентичность – это связь состояний «Я» в его межличностных отношениях различия тождественного с конкретным другим. Идентичность тогда – совокупный процесс множества взаимодействий и имеет много авторов, включая развивающееся «Я» самого человека. Персональная идентичность – интерсубъективно обусловленный процесс и результат

увязывания человеком собственной жизни в единое целое на основе рассказа о ней. Предмет нарратива – конкретный контекст человеческих действий, переживаний и событий, на людей воздействующих[66].

Таким образом, вопрос о нарративной идентичности оказывается тесно связанным с проблемой вхождения общества в цивилизацию модерна.

Новые способы интерпретации источников, основанные на постклассических методологиях, позволяют нарисовать новую картину общества, которая, с одной стороны, мозаична, плюральна, стохастична, учитывает случайность. Не вызывает сомнения, что работа с новыми источниками с помощью сочетания методов позволяет описать тенденцию, регулярность. Культивирование этих методологий в практическом социоанализе – одна из задач данной работы.

Понятийная сеть

В новой ситуации во весь рост встает проблема выбора теоретического языка. Это ощущается как настоятельная необходимость, которая определяет исследовательские стратегии. В самом широком смысле речь идет о переходе от классических социальных концепций к постклассическим[67]. Как известно, ядром концептуализации классического типа выступает универсальная социальная теория, которая позволяет подверстать под общее понятие все социокультурное многообразие и нивелировать локальное, индивидуальное. Представления о советском обществе как тоталитарном, а о постсоветском – как либеральном (приближающемся к либеральному) явно принадлежат к этому тину концептуализации.

В центр внимания постклассических методологий попадают темы социальной нестабильности и неравновесности, вариативности, поиска альтернативных социальных сценариев, исследование переходности, маргинальности, множественности социальных, культурных, языковых практик. В фокусе оказываются повседневные практики: дискурсивные, телесные, жизненно-стилевые. Все, что казалось цельным и монолитным, на гла-

зах расползается на относительно автономные локальные области и подсистемы, анклавы и временные (диссипативные) структуры. Словом, реальность воспринимается как неоднородная и многообразная.

Сказанное – контекст осознания необходимости теоретического переосмысления советского общества в его истории. Не изменив представления о прошлом, невозможно понять российское настоящее. Этот процесс переосмысления можно обозначить как *переписывание*. Переписывая, мы рассредоточиваем свое внимание и уходим от анализа того, что видится *жестким* и *нормальным*, *центральным* и *институциональным*. Мы начинаем уделять внимание не только официальному дискурсу, но и нарративам рядовых и не совсем грамотных людей, чему свидетельством служит и эта работа. Мы обращаем внимание на то, что общество держится отнюдь не только институциональными взаимодействиями.

Отсюда потребность в использовании новой понятийной сетки. Это подразумевает выход за пределы навязших в зубах оппозиций: *прогресс/регресс*, *индивид/общество*, *субъект/объект*, *рационализм/иррационализм*, *структура/процесс*, *абсолютизация/релятивизм*. Это подразумевает и методологическое переосмысление отношений *агент/социальная структура*, *внешний контроль/самоконтроль*, *добровольность/принудительность*, *норма/практики* и пр.

В конечном итоге исследователи вступают на путь использования языка, который мог бы дать возможность говорить о социальном, не забывая об индивидуальном. В нашем случае речь идет о том, чтобы об индивидуальном говорить вместе с социальным. По идее это язык, контролируемый исследователем, свободный от реификации и натурализма, чувствительный к оценочным нюансам и в то же время точный. Теоретические концепты следуют контурам жизненных траекторий и социального изменения. Ключевой метафорой описания социальных процессов становится скорее *сеть*, нежели *система*.

Иногда смена понятий кажется немотивированной игрой в слова. Однако это далеко не так. Попробую показать это на примере значимых для этой работы концептуализаций.

Субъект и актор

Как происходит теоретическая репрезентация человека? Думаю, многие заметили, что последние годы в теоретических работах все чаще понятие *«субъект»* сменяется на *«актор» (актер)*. Это отнюдь не языковая прихоть, но свидетельство методологического сдвига, ибо за каждым из этих слов – шлейф коннотаций.

Субъект мыслит, познает и действует рационально. Получается, что лишь тот есть субъект, кто наделен рациональностью (целерациональностью). Представление о субъекте родилось в контексте истории новоевропейского классического рационализма. Субъект рассматривается как мыслящий разум в замкнутом контейнере. Субъект – отдельный «взрослый» разум, сознательно познающий «внешний мир». Он познает *объекты*, из которых состоит внешний мир. Этот «замкнутый человек» *(homo clausus)*, статическое «Я», которое пребывает в центре концентрических кругов, было не чем иным, как Эго познающего и стремящегося переделать мир интеллектуала. Социальный атомизм, который в течение трех веков выступал в качестве исторической аксиомы социального анализа, полагал индивида в качестве основы, на которой формируются группы. Субъект мыслится хозяином истории, который берет ответственность за настоящее, прошлое и будущее. Субъектом почитают того, кто обладает сознанием волевым и рефлексивным, кто способен совершать сознательный выбор из альтернатив, реализуя возможности индивидуальной свободы. Субъект – тот, кто подчиняется императиву *истинного бытия*, не замыкаясь в бессмысленном быту. Дело все в том, что большинство людей этим высоким требованиям не отвечают, самим существованием своим наводя на мысль о наличии бессубъектных форм культуры и иллюстрируя представление о человеке как всего лишь точке пересечения социальных связей.

Этому человеку как-то слишком легко отказывают в праве на существование, почитая его чуть ли не предметом зоологии. В рамках классических представлений о субъекте эти люди составляют массу, нечто бесформенное и пассивное, то, чему придается форма – то ли властью, то ли интеллектуалом.

Сказанное имеет отнюдь не только методологическое значение. В конечном счете, возникают и проблемы моральные. Так, советский человек в прошедшее десятилетие описывался как отклонение от нормы и воплощение патологии. Какими прозвищами его только не награждали! Главное, конечно, *совок*[68]. Другие тоже составляют длинный ряд: *гомосос, мифомутация, коверканье привычного хода восприятия, дивергентно-антропоидная химера, культурно-духовная патология, разновидность безумного сознания* и пр., и пр. Но как тогда управлять бывшими совками, как с ними работать и общаться? Первая половина 1990-х была периодом символических игр и символической борьбы по поводу *совка. Совок* виделся отклонением тем, кто писал в газетах и вещал с экрана телевизора – интеллигентам (интеллектуалам) – производителям норм. Употреблявший это имя, казалось, подтверждал: уж я-то не *совок*. В имени *«совок»* сосредоточивалось неудовольствие именно этой группы людей, что не способствовало спокойному поиску новых теоретических идеализаций. Сегодня хорошо видно, что стигматизация больших масс людей была ставкой в символической борьбе интеллектуалов и не имела отношения к проблеме теоретического объяснения того, что происходило в советском обществе.

Следы подобного отношения явно присутствуют в постперестроечных способах общении «власти» и «народа». Рефрен «народ не тот, только со сменой поколений (то есть вымиранием пока живущих) следует рассчитывать на изменения» явно или неявно подразумевает деление людей на подлинных субъектов и всех остальных. Можно, конечно, возразить, что приведенный словесный ряд следует относить не к области теории, но к области повседневного и журналистского словоупотребления. Речь идет, однако, о ноле общих значений. Предпосылки обычного сознания вписывались в теоретические построения, а результаты теоретических размышлений попадали в мир повседневности. В результате *те, кому за сорок*, оказались стигматизированными. Лично мои работы, которые писались в первой половине этого десятилетия, были полемически направлены против такой позиции. Однако полемической позиции было явно недостаточно. Проблема нуждалась в методологической проработке.

Так, при смене *субъекта* на *актора* переосмысливается представление о пассивности *массы*. Когда говорят о *массе*, часто неявно подразумевают тех, кто стоит на низших ступенях социальной иерархии, кто в истории выступает против людей во власти и налагаемого порядка. Эти люди, как правило, проигрывают, не они задают правила игры. Отсюда сложившееся представление о массе как о том, чему придается форма. От века эти люди играют по правилам, не ими установленным, но они оказывают влияние на результат игры, на результирующую социальную динамику.

Понятие *«актор»* наделяет этих людей активностью. Они – не куклы на веревочках структуры, не эпифеномены структуры[69]. Их деятельность, наряду с игрой тех, кого определяют как субъекта, воздействует на результат социального изменения. При таком подходе массовые повседневные практики – не просто незаметный фон социальной активности, которым можно пренебречь в процессе объяснений, как это происходит в рамках классической парадигмы социального знания. Оказывается возможным проникнуть в эту незаметность. Изменение положения требует изменения зрения, способа видения. Новые методологии позволяют исследователю увидеть и интерпретировать то, что иначе остается в «слепом пятне», видимое, но не замечаемое.

Такой поворот в социальном исследовании интерпретируется – и вполне справедливо – как возврат к «забытому человеку». Но этот человек уже не субъект в классическом смысле. Социологическим, экономическим, антропологическим и психоаналитическим традициям, построенным на большой традиции атомизированного индивида, брошен вызов. В центре внимания исследователя оказывается вопрос не об их авторах или носителях, а о способах действия, которые могут быть сокрыты господствующими формами рациональности. Термин *«актор»*, с одной стороны, релятивизирует представление о субъекте, а с другой – оставляет простор многообразию форм и степеней субъектности. Перед нами открытый процесс без фиксированных границ. Человек может и не быть субъектом, но он всегда деятель.

Другое неявное следствие, неотъемлемое от классического представления о субъекте, – постоянное воспроизводство представления, восходящего к Ж.Ж. Руссо: человек рожден свободным, и лишь затем общество налагает на него цепи. Восходящая к философии субъекта традиция заставляет колебаться между крайностями персонализма и жесткого социального детерминизма. Соотношение социального и индивидуального постоянно переосмысливается. К этому вопросу неизменно возвращаются крупные социальные теоретики[70]. Его же должен для себя решить каждый исследователь в процессе работы по интерпретации и объяснению эмпирического материала. В то же время и сам тип этого эмпирического материала соответствует зрению исследователя.

Записки, к которым я обращаюсь, несомненно, принадлежат к новому типу источников. Они как бы напоминают нам, что в идеале ни один из голосов, ни одна из человеческих жизней не должна быть забыта. Понятно, что реально это невозможно: в любом случае имеешь дело с фрагментами. Важен, однако, методологический принцип. Обращаясь к «фрагментам», демонстрируешь, что для тебя реальность множественна. Мозаика жизненных траекторий представляет репертуар возможностей.

«Для позиции отдельного человека внутри своего общества характерно именно то, что также и вид, и величина пространства выбора, которое открывается отдельному индивиду, зависят от структуры общества и положения общественных дел в том человеческом объединении, в котором он живет и действует. Ни в одном виде общества подобные пространства выбора не отсутствуют»[71], – писал Н. Элиас. Это высказывание великого социолога для данного исследования очень важно. Как уже отмечалось, советское общество последние годы часто интерпретировалось как общество, в котором пространство выбора отсутствовало.

Индивидуальная связь вариабельна. Человек способен выбирать весьма различным, индивидуальным способом. По словам Н. Элиаса, «каждый человек двойственен: он – монета и чекан одновременно»[72]. Общество не только уравнивает и типизирует, но и индивидуализирует, нулевого же уровня индивидуализа-

ции не существует. Однако сами возможности, среди которых человек выбирает, предзаданы и ограничены специфической структурой его общества. Эта структура, в свою очередь, создается исходя из потенциала социальных агентов. Результат активности людей зависит не от отдельного человека, а от всего целостного и подвижного человеческого переплетения.

Игра как средство репрезентации социального

Как описывать процесс, имеющий место в сети индивидов? Встает вопрос о том, какова метафора описания социальных взаимодействий, которая бы предоставляла наиболее адекватный контекст интерпретации наших источников. Обращение к исследованию человеческих документов позволяет ощутить и показать, как по одним и тем же правилам начинают действовать люди, друг на друга совершенно не похожие и обитающие в разных социальных пространствах. Причастность генетически разных социальных акторов к одной культуре можно интерпретировать, опираясь на метафору игры, которая выступает как познавательное и методологическое средство.

Этой метафорой при объяснении социокультурных взаимодействий пользуются такие крупные социологи XX века, как Н. Элиас и П. Бурдье[73]. При этом они опирались на идею «языковых игр» Л. Витгенштейна и категорию «следование правилу»[74], как она разрабатывалась в британской аналитической философии. «Образ игры, несомненно, наименее плох для изображения социальных предметов», – пишет П. Бурдье[75]. Этот же образ активно используют П. Уинч[76], Н. Элиас и другие социологи.

Для результатов социальной игры не так уж важно, играют ли истово и охотно, молчаливо, без особой охоты, как бы нехотя или «понарошку». Главное, «соглашаются»[77], играют. Пока соблюдаются правила, общество живет. Пока играли в партийное или комсомольское собрание, жило советское общество. Сейчас, с исторической дистанции, это особенно ясно вид-

но. Постепенно приходит понимание, что есть альтернативность истории, ибо социальные правила никогда не соблюдаются буквально.

Категории *правила* и *согласия* здесь принципиальны. Проблема правила достаточно сложна. Можно относить слово «правило» к закономерности, присущей практикам, можно иметь в виду модель, построенную исследователем ради целей объяснения, можно интерпретировать правило как норму, соблюдаемую *всеми*. Существуют разные определения правила. Мне близко то представление о правиле, которое имел в виду А. Радклифф-Браун. Последний неоднократно подчеркивал, что социальное отношение всегда включает ожидание того, что участники отношения будут придерживаться определенных правил поведения. Это ожидание конституируется эмпирическими актами вербального (или молчаливого) их признания большинством членов сообщества. А. Радклифф-Браун говорил: «Правило существует в его признании. *Признание* и есть феноменальная реальность <...>. Правило поведения – это нечто, существующее в умах определенного множества людей, существующее благодаря тому факту, что они признают это нечто в качестве подобающего образа действий[78].

Как пишет отечественный исследователь В. Волков, отождествляя социокультурную реальность со следованием правилу, «мы не вправе полагать наличие какого-либо единства правилоообразной деятельности как такового – скорее, это множество различных устойчивых форм, по-разному связанных и переплетенных друг с другом»[79]. То, о чем идет речь, быть может, следует называть не системой правил, а родом социальной грамматики. Люди объективно следуют правилам, однако они не есть продукты подчинения правилам. Кроме того, любая жизнеспособная система содержит область, в которой индивид свободен в своем выборе. Можно сказать, что он способен *манипулировать системой «в свою пользу»*.

Под этим углом зрения не так уж важно, в результате каких именно действий сложилась грамматика правил (или социокультурный тип). Речь идет о следовании правилу, когда действия носят регулярный характер и достаточно предска-

зуемы. Однако следование правилу не равно подчинению внешнему принуждению.

Х.-Г. Гадамер в «Истине и методе» пишет: «Бытие игры осуществляется не в сознании и поведении играющих; напротив, игра вовлекает их в свою сферу и сообщает им свой дух. Играющий познает игру как превосходящую его действительность»[80]. Игра «обладает своей собственной сущностью, независимой от сознания тех, кто играет»[81]. Способ бытия игры не таков, чтобы подразумевать наличие субъекта с игровым поведением, благодаря которому и играется игра. Нечто разыгрывается. Игра играется. В то же время игра невозможна без игроков. Субъект игры, однако, явно не субъективность того, кто предается игре, это лишь сама игра. «Структурная упорядоченность игры дает игроку возможность как бы раствориться в ней и тем самым лишает его задачи быть инициативным, каким он должен быть при напряжениях, свойственных бытию»[82]. Целевые установки поведения не могут не преобразовываться в задачи игры.

В рассуждении о социально-исторических процессах и социальных взаимодействиях термин *«игра»* дает возможность схватить моменты спонтанности и принуждения (через социальное правило) и не позволяет резко противопоставить свободу и необходимость, индивида и общество. Примат игры по отношению к ведущим ее игрокам в том, что касается человеческой субъективности игрового поведения, специфическим образом познается в опыте игры самими же игроками. Играют серьезными возможностями, эти возможности вечно переигрывают играющего, захваченного игрой. Игра может «пойти» и «не пойти». Именно игры по-разному обозначают и упорядочивают игровое движение. Правила и порядок, предписывающие определенное заполнение игрового пространства, составляют сущность игры. «Ни один отдельный человек, каким бы ни был масштаб его личности, сколь бы могущественной ни была его сила воли, сколь бы проницательным ни был его ум, не может вырваться из специфической закономерности человеческого переплетения, исходя из которой и в которой он действует»[83].

Использование термина *«игра»* свидетельствует о замещении представления о рациональном действии субъекта. Так же, как понятие *«актор»*, *игра* ориентирована на объяснение социальной активности людей, не отличающейся целерациональностью. Как показано Н. Элиасом, в рамках этого типа языка невозможна модель «Я», независимого от позиций. Невозможно использование термина *«функция»* в качестве субстантивного (функция для общества). Функция – атрибут отношений[84]. П. Бурдье пишет, что, говоря о чувстве игры, он имеет в виду способность ощущать будущее, исходя из современного состояния[85].

Игровые модели позволяют схватить вероятностный характер социальных процессов, решить на уровне методологических средств проблему альтернативности истории как оппозиции социального детерминизма и прогрессистской установки. Выражение *«система правил»* начинаешь употреблять с опаской. Не лучше ли употребить выражение *«грамматика правил»*? В конечном итоге речь идет не о системе (отдельной от людей), но об изменяющихся *фигурациях* (Н. Элиас) людей. *«Социальная система»* и *«социальная структура»* – понятия, выработанные в классической парадигме социального знания, в обычном словоупотреблении не просто статичны. Они создают впечатление пустого социального пространства (наподобие абсолютного пространства Ньютоновой механики), «отдельного» от реальных индивидов. Часто мы не задумываемся о следствиях, казалось бы, чисто концептуального отделения человека-деятеля от его деятельности, разделения между структурами и процессами, объектами и взаимодействиями.

Для нас важно начало: представление о множестве людей, каждый из которых относительно «открыт», представление о людях, вовлеченных в игры друг с другом. Понятие фигурации выражает также идею непреднамеренной структурированности обществ.

Осуществление власти тогда – не прямое и простое действие тех, кто составляет правящий класс или партию. Речь идет не столько о господстве, сколько о пространстве силовых

отношений между участниками общей игры. Власть – непрямой эффект сложной сети взаимодействий в цепи пересекающихся принуждений и ограничений. При этом каждый доминирующий распространяет эти напряжения на других[86]. Тогда то, что кажется человеку иного поколения или исследователю, описывающему процесс *post factum*, циничным актом, вполне может оказаться действием незаинтересованным, и наоборот. Сложившаяся система правил – продукт согласия (в веберовском смысле), а не договора.

Тогда субъект, который кажется обладающим полнотой власти, действует не так уж преднамеренно, а действия тех, кто находится явно в подчиненном положении, также сказываются на результатах игры. Получается, что нет абсолютно безвластных[87]. Важно отметить, что в игре участвуют все.

Власть в игре – не то, чем игрок обладает. Это вопрос исхода взаимодействия и конкурентной борьбы. Вопрос не в том, насколько свободны действия раба и господина, насколько сознательно обе стороны делают свой выбор, а в том, каков диапазон принятия решения.

Классическая методология ограничивала исследование власти исключительно государственными институтами, поскольку в центре ее интереса были жесткие структуры. Ныне с легкой руки М. Фуко и Н. Элиаса она видится разлитой по всему социальному пространству, сконцентрированной в отдельных его точках. Социальные отношения рассматриваются как непрерывное установление балансов власти.

Власть не сводима к перспективам или стратегиям участвующих субъектов, она неопределима и открыта интерпретации с различных и меняющихся точек зрения субъекта. Конфигурации власти полицентричны, они развертываются в текучих и открытых контекстах, которые требуют различных интерпретаций, нередко вступающих в конфликт. Власть – не вещь, это не объект владения и манипуляции, но также и не целиком детерминированная и самоопределяемая целостность.

Размышления на эту тему еще раз убедили меня в возможности писать об обществе, обращаясь к индивидуальным рассказам. Однако речь идет не об отдельных случаях-казусах, а

о связи с проблемами социальных структур, распределениями власти, балансами напряжений. Понятно, что здесь имеется в виду и проблема объективности языка как опыта мира.

Непреднамеренное социальное изобретение

И последнее – не по порядку, но по значению. Слово «изобретение» звучит в названии работы, что требует специального разъяснения. Словосочетание *«социальное изобретение»* (которое имеет *непреднамеренный* характер) возникает в контексте поиска языка процессуального описания социальных процессов. Этот подход противоположен классическим критериям научности, подразумевающим сведение подвижного и изменяющегося к неизменному и вечному. Для исследователей общества до поры до времени представлялось значимым продемонстрировать, что тенденция редукции процессуального основывается на специфическом ценностном суждении: все, что изменяется, – эфемерно, менее важно, менее значимо, менее ценно. Это убеждение базировалось на молчаливом консенсусе и было органическим элементом *научной доксы*.

Этот контекст как бы подсказывал рассмотрение социальных взаимодействий как взаимоотношений двух субъектов.

Какое впечатление складывается в результате прочтения некоторого ряда текстов о советской культуре? Достаточно распространен взгляд, согласно которому «культура советская» – эманация власти. Это наивысшее выражение прагматики власти, результат единого политико-эстетического проекта, воплощающего тотальную стратегию усреднения и пожирания анклавов культурной автономии. Тогда получается так: коль скоро речь идет о проекте, то у него должен быть автор. У советской культуры единственный автор-субъект: партия-государство. В классический период советской культуры субъект персонифицировался в вожде. Вождь высоко вознесен и статичен, он центр круга жизни. Он не подвержен превращениям, зато может даровать или отнять жизнь, превратить в лагерную пыль или внезапно помиловать, соблазнить и приласкать.

Подобное представление о власти реализуется в ключевых метафорах. Например, интересные книги Е. Добренко называются «Формовка советского читателя»[88] и «Формовка советского писателя»[89]. Какие бы оговорки ни делал автор относительно того, что необходимо учитывать процесс взаимодействия культуры и ее потребителей, метафора *формовки* неявно подсказывает, что есть субъект действия и объект воздействия. Объект пассивен, это не более чем носитель структуры, а власть – то, что у одних есть, а у других нет. Одни властвуют, другие безвластны. Голос поэта или прозаика звучит лишь постольку, поскольку он голос власти.

Охотное принятие новых кодов расшифровки опыта порождает соблазн писать о культуре и власти как о взаимодействии двух субъектов. Рассуждения в терминах выбора не менее распространены, чем представление о советской культуре как эманации власти, которая ставит цели, проектирует, рационально рассчитывает и добивается поставленного результата.

Еще один пример. Н. Иванова в статье о К. Симонове пишет: «Следует обратить внимание на девятнадцатилетнего Симонова: сидит, опершись на какой-то рабочий инструмент; на голове – рабочая кепка, одет в косоворотку: недаром у его биографа эта фотография вызвала ассоциации <...> с горьковским Павлом Власовым. Сравним эту фотографию Кирилла-подростка[90] в компании родных ... в штанишках до колен, в белых носочках и летних туфлях с перемычками. Пай-мальчик? С удовлетворением сбросивший с себя это обличье? Или, наоборот – *расчетливо выбравший* (курсив мой. – *Авт.*) теперь обличье рядового мастерового, воспевающего жизнь в лагерях? Скорее, второе...»[91].

Проблема обсуждается в контексте оппозиций *расчет/неведение, правда/ложь, искренность/неведение, принятие/отказ*. За текстом – большая метафора-миф об Общественном договоре. Получается, что люди вполне сознательно договариваются, то есть вырабатывают конвенцию относительно общих правил, которым одни подчиняются добровольно и с песнями, а другие мужественно противостоят.

Тогда подчиняться или противостоять, участвовать или упираться – вопрос выбора. Тогда каждый субъект-участник «в

своем уме» и точно знает, что делает. Социальное действие – продукт интенционального сознания. Власть наказывает или совращает, «деятель культуры» заключает с властью контракт или от него отказывается. Он в согласии со своей совестью или идет на сделку с ней. Получается, что у участников литературного процесса есть лицо, а есть маска, которую они в согласии со своей свободной волей то снимают, то надевают. Под таким углом зрения разговор легко переводится в плоскость обсуждения мотивов, намерений, личностных качеств людей, а не их *практик*. Часто имеет место морализаторство.

Тогда у любого социального актора есть проект, ориентированный на цель, и он действует согласно этому проекту. Цель эту каждый способен сформулировать в виде некоторого перечня правил. Правда, для этого некоторых надо хорошенько потрясти, подвергнуть разоблачению, сорвать маску. Впрочем, это *делается постоянно, и не счесть масок, которые уже сорваны.*

Кроме того, описывая отношения писателя и власти в терминах сознательного целеполагающего действии, легко склониться к тому, чтобы интерпретировать логику практики как род коллективного заговора. Действующая в обществе система правил предстает как эксплицитная, но известная только узкому кругу. О распространенности подобного представления свидетельствует всеобщая любовь к книжкам и телепередачам под названием «Тайны истории» или «Совершенно секретно»...

Но можно ли в этих терминах рассматривать тот же случай К. Симонова? Надо полагать, что юный Кирилл не столько выбирал, сознательно взвешивая свои шансы, сколько принимал легитимный, образцовый стиль жизни, который воплощался в телесном статусе героя для подражания, каковым и был Павел Власов. «Воля к норме» не равна аморализму. Первое и второе – в разных рядах. К. Симонов отнюдь не крестьянского происхождения, но социализировался он уже в советском обществе. Ожидания тогдашних молодых людей нельзя назвать целерациональными в том смысле, что цели и средства сознательно не соотносились. Юные писатели «дрейфовали». «Воля к норме» и собственная диспозиция подсказывали им целесообразность участия в новой игре. Они как бы поджидали, пока жизнь предо-

ставит им возможность сделать ход, сыграть свою роль в социальном театре тех лет. Что касается К. Симонова, то ему, как известно, удалось сыграть роль первого плана.

Подход к властному взаимодействию в культуре как к продукту сознательных целеполагающих действий претерпевает кризис. Ведь тогда не остается ничего другого, как в очередной раз повествовать о том, сколько раз заседало Политбюро по поводу М. Зощенко или М. Булгакова, и рассуждать, как этот писатель «сотрудничал», а тот сопротивлялся. «Деятели культуры» классифицируются на преследователей и гонимых, а в результате отсутствует цельная картина культуры той эпохи. Например, если М. Зощенко числится по ведомству гонимых, то перестают упоминать о том, что он писал «Рассказы о Ленине», и публиковать их[92]. Или – если обратиться к изобразительному искусству – оказывается, что портреты Сталина писали не только И. Бродский или А. Герасимов, но и П. Филонов, который классифицирован как гонимый. Неудивительно, что раздаются призывы к переинтерпретации того, что многократно интерпретировано. В частности, А. Жолковский предложил изучать Б. Пастернака, А. Ахматову, М. Зощенко и других писателей-нонконформистов как писателей советских, а не антисоветских, обратив внимание на их «существенную причастность <...> к господствующей советской культуре»[93].

Представление о «социальном изобретении» связано с метафорой игры. Можно провести и такую параллель. Команды играют друг против друга. Люди в командах обладают разными ресурсами, но играют в общую игру. Причем готовых правил нет: они на ходу изобретаются игроками. Существовавшую систему правил игры в советском обществе мы начинаем описывать достаточно внятно только сейчас, когда игра уже закончилась.

Сам термин *социальное изобретение* принадлежит к языковым репертуарам постклассических социальных теорий и встречается в работах Н. Элиаса[94] и Б. Вальденфельса[95], М. Фуко[96] и Р. Харре[97], М. де Серто[98] и П. Бурдье[99]. Генетически этот термин связан с понятием общественного воспроизводства, которое также акцентирует внимание на процессуальном характере социального изменения. Понятие воспроизводства, однако, более

нейтрально в том смысле, что не делает акцента на субъективной стороне процесса. В представлении о социальном изобретении, несомненно, учитывается способность индивида быть агентом (агентивность). Когда употребляют выражение *«социальное изобретение»*, вовсе не имеют в виду, что это конкретное общество, социальное установление или ритуал изобретены теми-то и теми-то, то есть. отдельными *конкретными* людьми или даже группами людей. Напротив, желают подчеркнуть, что социальное изобретение люди делают только *вместе*, в процессе совместной жизни. Социальное изобретение – побочный продукт, именно в этом смысле оно *непреднамеренно*. Результат никогда не совпадает с намерением индивидуального агента. Это всегда *изобретение без изобретателя*. Его нельзя запатентовать.

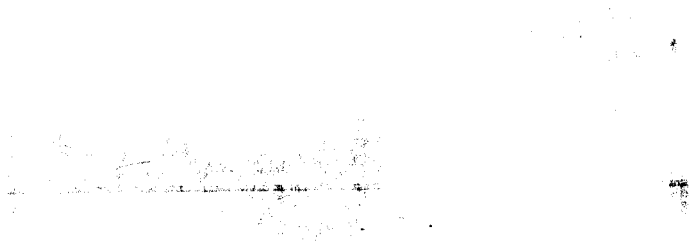
Проблема непреднамеренности результатов социально-исторического процесса издавна занимала социальных философов. Ткань межчеловеческой связи предшествует всякому отдельному поступку и слову, и раскрытие каждого нового человека, пришедшего в мир, можно сравнить с нитями, продеваемыми в узор, сотканный ранее. Трудно удержаться от того, чтобы не привести слова Х. Арендт, которые помогут нам вернуться к тому, с чего мы начали, а именно с повествований обычных людей. «Действие сводится к вплетанию собственной нити в ткань, которую не сам ты создал, – оно может с такой же естественностью выстраивать истории, с какой промышленность производит вещи и предметы. Подлиннейший результат действия – не осуществление преднамеренных планов и целей, но истории, вовсе не имевшиеся в виду, получающиеся, когда люди преследуют определенные цели, и для самого действующего сперва представляющиеся, возможно, лишь второстепенным, случайным сопровождением его дела. То, что в итоге остается от его действия в мире, это не порывы, приведшие его самого в движение, но истории, чьей причиной он оказался; только они в конечном счете могут запечатлеться в источниках и памятниках, стать зримыми в употребляемых предметах <...>, остаться в памяти поколений...»[100]. Герой истории не может рассматриваться как автор истории в том же смысле, как автор какой-нибудь повести. У наших историй и есть автор, и нет его.

Нераздельность социального и индивидуального схватывается в понятии *«габитус»*, имеющем давнюю историю (связанную с именами Боэция, Аристотеля и Фомы Аквинского). В современном научном сознании этот термин связывается в первую очередь с именами Н. Элиаса и Н. Бурдье, которым он позволяет заметно ослабить или даже снять напряжение между методологическим индивидуализмом и методологическим коллективизмом. *Габитус* – социальность и история, встроенные в тело и язык. Это прочное, устойчивое, но крайне эластичное социальное образование[101]. Это результат давления условий и социальных обусловленностей, воплощенный в самом сердце социального агента. Речь идет о смутном ощущении сходных возможностей, которые оправдывают те незыблемые верования, которые зовутся здравым смыслом. Социальный габитус – питательная почва для складывания индивидуальных различий. Попадая в новые обстоятельства и меняя их, люди несут в себе черты как своей личной и семейной истории, так и истории тех слоев, страт и общества в целом, в которых они родились. *Габитус* – унаследованный капитал, который обусловливает стартовую позицию и возможность ставок в тех или иных социальных играх, а также способ, каким делаются эти ставки. Это встроенная в тело и язык структурирующая структура, инкорпорированный принцип игры. Это *искусство изобретения*, позволяющее производить бесконечное число *практик*, относительно непредсказуемых, но в то же время ограниченных в своем разнообразии[102]. Здесь всегда наблюдается «эффект запаздывания». Динамика незапланированных, непреднамеренных социальных процессов то и дело создает альтернативные ситуации. По словам П. Бурдье, «для практики стимулы не существуют как объективная истина условных и обусловленных пусковых устройств, а действуют только при встрече с агентами, способными их узнавать. <...> Наиболее невероятные практики исключаются еще до какого-либо рассмотрения как *немыслимые* посредством того подчинения порядку, который заставляет делать из нужды добродетель, то есть отказываться от невозможного и хотеть неизбежного»[103]. Социальный габитус людей может оказывать успешное или неуспешное сопротивле-

ние всепроникающей общественной динамике. Мощь социального изменения может привести к радикальному изменению социального габитуса. Само понятие позволяет представить взаимозависимость индивидуального и социального в процессе социального изменения. Случай советского общества здесь особенно интересен.

Н. Элиас рассуждает следующим образом. Масштаб и образец этой индивидуальности сильно различается в зависимости от структуры государства, и особенно от распределения власти между правящими и управляемыми, между государственным аппаратом и гражданами государства. В государствах диктаторских сеть государственных правил плотно охватывает отдельного человека в общественной жизни, степень взаимного контроля управляющих и управляемых низка, а возможности личностной индивидуализации ограничены. Чужое регулирование преобладает над саморегулированием отдельного человека, ограничиваясь приватной сферой. Даже в этой сфере шансы на индивидуализацию невелики в силу монополии государства на обеспечение знаниями, воспитание. Право на собрания и объединения также ограничено. Личное пространство принятия решений ограничено. Отсюда – развитие специфического габитуса отдельных людей, которые живут в данном режиме. Если государственное давление ослабляется или прекращается, наличный социальный габитус влечется к тому, чтобы восстановить привычное внешнее принуждение, то есть более жесткое руководство жизнью людей. Понятие социального габитуса полезно, ибо дает возможность процессуального социологического объяснения отношений индивида/общества[104].

ПАМЯТЬ И БОЛЬ



Василий Иванович Васильев написал свои биографические заметки, передавая в архив коллекцию фотографий. Он сделал это по просьбе работников архива. Выйдя на пенсию, он служил в Московском государственном университете. Увлекался фотографией и сделал великое множество фотопортретов сотрудников МГУ, в том числе известных ученых.

Василий Иванович родился в 1906 году в деревне Труфаново, в 20 километрах от Тулы. Его отец погиб на Первой мировой, мать пошла в услужение.

Начинает он свои записки не с каких-то ранних воспоминаний, но сразу же с «исторического года». 1917 год – дата, значимая для каждого советского человека. В иерархическом наборе тем она занимает первое место, задавая контекст излагаемого далее. ***«Мы, гуляя по деревне, во всю мощь своего голоса орали не "Шумел-горел пожар московский", а безобразное сочинение про "Гришку Распутина и царицу Александру". Это было самое первое и примитивное восприятие нами наступившей свободы в нашей стране. Было это в самом начале исторического года»***[1].

«1917 – исторический год» – это цитата из учебника истории. 1917-й – ключевой элемент макроструктуры, которая является основой и контекстом для понимания дискурса, событий и действий. Это то, что позволяет упорядочить содержание памяти и определяет общую стратегию написания текста воспоминаний, что позволяет людям категоризировать и интерпретировать ситуации и события, свидетелями и участниками которых они были[2].

В тексте оказываются рядоположенными демонстрация 1917 года и снег в начале мая.

Майская демонстрация в Москве. 1917 год

«7 мая 1917 г. в Москве состоялась очень большая демонстрация. Узнав об этом, я побежал к триумфальной арке у Александровского, ныне Белорусского вокзала, и присоединился к другим идущим рядом демонстрантам. Демонстранты организованными рядами шли с песнями, из которых я знал тогда только «Отречемся от старого мира», другие революционные песни слышал, но не знал; они несли транспаранты, на которых я читал: «Долой войну», «Землю крестьянам», «За власть Советам». Я все читал, что было написано на транспарантах, но не все понимал. «Долой войну» – я понимал хорошо. Война сделала меня сиротой, как жить сироте? Война, если с ней не кончить, она сделает сиротами всех моих друзей-товарищей – тяжело и страшно им будет – и я хотя и не в рядах демонстрантов, все же громко кричу «долой войну», как бы читая, что написано на транспаранте. Читаю на другом транспаранте «земля крестьянам», и я вспоминаю, что когда-то слышал в семейном разговоре о желательности прикупить землицы и ответ моего отца, и мне транспарант «Земля крестьянам» был тоже понятен, и я читал его громко,

чтобы все слышали. А вот читаю «Вся власть Советам», что это значит не знаю и не понимаю. У кого-то надо спросить. Там с песнями, речами и транспарантами прошли демонстранты, и я с ними, по улице Тверской до дома градоначальника. Я вернулся к маме, веселый и радостный от того, что прошел с народом, вроде как участник демонстрации, хотя был лишь случайным свидетелем Грозного, это я теперь пишу, а тогда я не знал и не мог знать грозное оно или негрозное.

После пасхи надо было ехать за свидетельствами (об окончании школы. – *Авт.*). ***И эта поездка совпала с чрезвычайно необычным, в своем роде исключительным для весны явлением в природе. На вешнего Николу выпал обильный снег, он глубоко покрыл все улицы и площади Москвы.*** <...> ***Когда ехал от Тулы до Труфанова через засеку, то видел множество изуродованных обвальным снегопадом деревьев. Птичьи гнезда завалены снегом, многие птицы, прилетевшие в наши места по зову инстинкта, погибли от холода и голода. Как горько и больно было смотреть на это мне, любителю лесов и птиц».***

В этой записи хорошо ощущается специфика мемуаров. Случившееся в дальнейшем пишущему известно. Позиция пишущего мемуары в большей степени, чем позиция пишущего дневник, приближена к позиции исследователя-наблюдателя. Практическая функция нейтрализована. Однако ценность мемуаров в том и состоит, что мемуаристу приходится разъяснять то, что некогда было «понятно всем». Кроме того, не ощущая себя лицом официальным, Василий Иванович проговаривается, рассказывает о единичном, о том, что не стал бы говорить, если бы выступал с позиции официального лица. Так рассказ о погодной аномалии оказывается равным по значимости рассказу о демонстрации.

«Отречемся от старого мира» – вот то единственное, что ему, военному сироте, было совершенно ясно. Василий Иванович продолжает свой рассказ: ***«Мы вошли в класс и увидели, что портрет царя висит на стене, как и висел и смотрел на нас царь все три года. Теперь мы смотрели на него. Ни теперь, ни***

тогда не могу объяснить, как могло случиться, что мы двое [с товарищем], ***не сговариваясь, нашли камни и разбили портрет царя»***. Мы еще раз становимся свидетелями того, как старый порядок рушится – грубо и «массово».

Рабочий барак до революции

Ощущение распада мира инициировало инверсию ценностей, многообразные формы богоборчества и иконоборчества. Эта тенденция в культуре регистрировалась в «низовых» текстах эпохи.

Вот деревенские частушки:

Все святые загуляли,
Видно, Бога дома нет.
Самогону напился,
За границу удался.

Никого я не боюся
И ничем не дорожу.
Мне голову отрежут,
Я другую привяжу[3].

А вот одно из произведений «свежих самодельных стихотворцев», только что обучившихся грамоте и упоенных самой возможностью складывать слова в ритмические строки. Здесь звучит та же тема освобождения, богоборчества, смелого *погружения во ад:*

Вперед, ребята, железным шагом,
Союзы наши весь мир трясут.
Обман душите под красным стягом,
Порвите узы церковных пут.

Идейный факел сильней раздуйте,
Сожгите косность слепых сердец.
В потемках с красным огнем бунтуйте,
С икон срывайте святой венец.

Плен мракобесья пусть все покинут,
Хватайте черта в аду за хвост.
За дело смело! Пусть враги сгинут!
К земному раю мостите мост.

Бросайте вызов царю на небо,
Его бессилью пошлите смех.
Природа наша и даст нам хлеба,
Природа – царство земных утех[4].

А если святые загуляли, то Бога (царя) можно убить, по меньшей мере символически.

Итак, 1917-й – момент времени Власти и официальных календарей. Заметим, что официальное Время и время личное действительно в жизни Василия Ивановича совпадают. Именно с 1917 года Василий Иванович отсчитывает поворот его собственной жизни. Еще в 1917-м, фиксирует он, жизнь его как-то не складывалась. Юный Василий Иванович в 1917 году пытается поступить в ремесленное училище. *«**Господа Голоушниковы*** [у которых служила мать] <...> ***предлагают определить меня в училище имени Шелапутина, вроде нашего ПТУ. Училище это***

на Миусской площади, недалеко от их дома». У Василия была льгота как у сына павшего на войне. Однако, несмотря на хорошие экзаменационные оценки, он в это училище не проходит. На 40 мест претендовали 160 человек. Он снова возвращается в тульскую деревню, правда, не ту, в которой родился (не Труфаново, а Ломищево). Там он кончает 5-й класс школы и начинает работать писарем в волисполкоме.

Василий Иванович рисует картину жизни революционной деревни. Бывший владелец усадьбы сенатор Кравцов был конно-заводчиком. Лошадей мужики еще в 1918 году развели по домам. В доме разместили больницу, во флигелях – волисполком. Сад был в аренде у ***«кулака из соседней деревни»***. В конюшне открылся театр на 300 мест, как бы подтверждая мысль о театральности переходных исторических эпох. Ставили пьесы Н.А. Островского, ***«что-то из времен Французской революции»*** и оперетку. Там же проводились и собрания.

Крестьянин, читающий кодекс законов о земле

В волисполкоме наш герой пристрастился к чтению газеты «Правда». В 1921 году создается ячейка комсомола[5]. Это поворотный момент его биографии, после которого он навсегда расстается с ролью военного сироты. На первое собрание пришли ***«5 человек работавших в Волисполкоме и немного их друзей и товарищей»***. Записалось 9 человек. ***«На следующем собрании мне было поручено проводить занятия с ком-***

сомольцами и молодежью по изучению речи Ленина на 3-м съезде комсомола». Так начинается его комсомольская карьера. В конце декабря 1921 года ***«почему-то порекомендовали меня на должность заведующего канцелярией Губкомола», а в 1922-м «назначили членом бюро райкома Комсомола»*** в Щекине.

Обратим внимание, что он пишет о себе в страдательном залоге. Не он сам что-то делает, а с ним что-то делают. Не сам он выбирает, приспосабливается, добивается ясно осознаваемой цели... Складывается впечатление, что Василий Иванович действовал как герой рассказа Эдгара По «Низвержение в Мальстрем», который, попав в водоворот, спасается благодаря тому, что отдается на волю сил водоворота. Подобно аббату Сиейесу, он просто «жил». У него не было позиции по отношению к происходящему. Он рос и мужал, вместе с ним складывалось советское общество. Надо сказать, что и в мемуарных записках свою позицию, в противоположность многим другим мемуаристам, он не оговаривает как-то специально.

Складывается впечатление, что каждый из моих героев пережил травму, сопровождаемую ощущением близости смерти, по меньшей мере ощущением смертельной опасности. Напомню, что эту опасность они переживали уже не со всей общиной сообща, но поодиночке. Вот ряд ситуаций, относящихся к разным годам, пережитых разными людьми. Их объединяет одно: все они – незаживающие раны, травмирующие воспоминания.

Вот рассказ Василия Ивановича, который я называю «Веревочка»:

«Приближался праздник Рождества Христова. Секретарь укома партии Фактор вызвал меня и сказал: в деревнях сейчас начинают усиленно гнать самогонку к празднику. Командируйте по деревням всех своих укомольцев, надо выявить самогонщиков, составить на них акты и списки и передать <...> Волисполком, чтобы органы советской власти привлекли к строгой ответственности выявленных самогонщиков. В 15.00 доложите, кто, куда, в какие деревни выехали комсомольцы.

Я на шесть человек выписал полушубки, валенки и заказал три подводы, поедут по два человека в три деревни. Получили

указание, что и как нужно выявить, как оформить списки на выявление самогонщиков. <...> В назначенное время докладываю Фактору, кто и в какие деревни уехали Укомольцы выполнять задания. А вы в какую деревню едете? Спрашивает меня Фактор. Я говорю мне не в чем ехать – у меня нет ни шубы ни валенок. Я замерзну. Фактор строго посмотрел на меня и сказал: если вы не уедете выявлять самогонщиков, я Вас посажу в ардом (арестантский дом, тюрьма. – *Авт.*). ***Идите... Пришел я в свою комнату, сел и думаю: как же быть. Не выполнить задание и попасть в ардом – это очень неприятная штука. У меня сапоги с одним чулочком, а мороз на улице лютый – замерзну. Иду на конный двор. Шубы нет, валенок нет, подводу дали. Говорю кучеру, найди веревочку длинную и привяжи к саням. Зачем? Я и говорю ему: ты будешь рысцой ехать, а я уцепившись за веревочку буду по санному следу бежать за тобой, чтобы не замерзнуть: так и съездил. <...>***

Долго в минуты размышления о чем-либо рукой бессознательно выводил на бумаге карандашом или чернилами <...> «ардом», «ардом»[6].

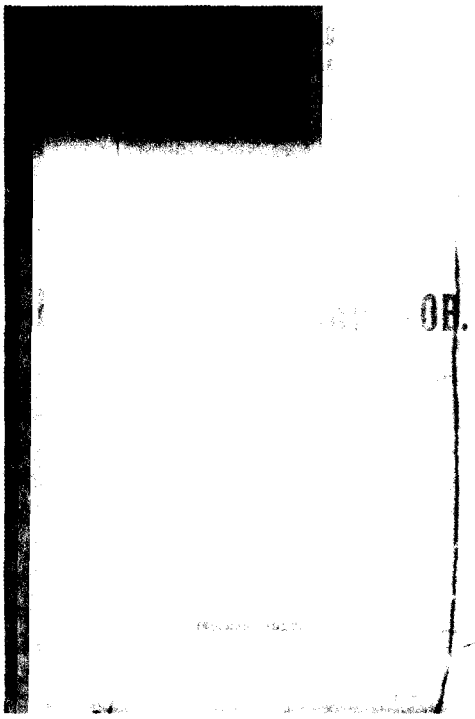
Веревочка эта ассоциируется с другой, гоголевской. В «Ревизоре» Осип, изголодавшийся слуга изголодавшегося барина, говорит: «Веревочку ... Давай сюда и веревочку. И веревочка пригодится». Веревочка как знак голодной и бесприютной жизни. И действительно, «веревочка»-то пригождается, и не единожды... Как не желать изменить такую жизнь? Как не хвататься за предоставляющиеся возможности изменения? Осенью 1922 года Василия Ивановича посылают в Губсовпартшколу. Он сдает практически те же экзамены, что в ремесленное училище, – русский язык, арифметика и география. Только вместо закона Божия – политграмота. Думаю, что эта замена для самого Василия Ивановича никакого значения не имела. Главное, ему удается то, что не получилось в 1917-м.

Здесь он начинает изучать политэкономию и учится «непримитивно» воспринимать результаты революции. Его рассказ – повествование о «романе» с «Капиталом» Маркса.

Рабочее общежитие. 20-е годы

«Выходя из класса на перемену, преподаватель толстую книгу оставил на столе. Вместе с другими я подошел и потрогал эту книгу, на обложке которой было написано: Карл Маркс – "Капитал". Политэкономию преподавал заведующий агитпропом Губкома партии Пестов, а в качестве учебника нам выдали небольшую книгу А. Богданова – Вопросы и ответы по политэкономии. Преподаватель вызвал меня и спросил "Что такое прибавочная стоимость?" Я встал, стою и молчу. Отвечайте – говорит он. "Не знаю" – сказал я и посмотрел на него. Сказав мне садиться, Лихачев вызывает Нину Горчакову и повторяет ей заданный мне вопрос и предлагает отвечать. <...> Лихачев говорит: правильно, хорошо, садитесь. И как только я это услышал, сразу почувствовал, как во мне произошел глухой, незримый взрыв зла и зависти <...>. Но что-то надо было делать. Перечитывал свои записи лекций и ответы из книги Богданова. Успокоение не приходило. Иду в библиотеку и говорю библиотекарше о своей неудаче и прошу дать мне сверх книги Богданова еще что-либо по политэкономии. <...> Я перебрал книги одну за другой и выбрал две, надеясь, что чтение их мне поможет. <...> То были

книги Степанова-Скворцова – перевод "Капитала" Маркса. <...> Трудно давалась мне политэкономия. Да и неудивительно. Образование мое было в объеме начальной школы да немного самообразования по газетам. С Сентября 1920 года, как поступил на работу писарем в Ломищевский волисполком я всю жизнь читаю газету "Правда" и считал, что "Правда" печатает только правду. Мне как пропагандисту с давних пор горько и больно, что много лет, как стало теперь известно, "Правда" печатала и неправду, которую я с ее страниц распространял среди народа»[7].



Политическая литература начала 20-х годов

Он продолжает свой рассказ. Все преподаватели были немолоды. Историю РКП(б) преподавал член партии с 1893 года. Он «рассказывал историю партии как историю своей жизни». Пособием служила книжица А. Гудкова «Основные моменты истории РКП(б)». Историю революционного движения в Западной Европе преподавал член партии с 1905 года. Здесь учебными пособиями служили исторические работы К. Маркса и Ф. Энгельса и толстая книга Кунева «История Великой Французской буржуазной революции». Программа по этому предмету охватывала период от промышленной революции в Англии до Парижской коммуны.

«Экономическую географию преподавал Зелинский, имени и отчества его не помню. Узнав, что он бывший офицер белой армии, мы – слушатели только на этом основании отнеслись к нему настороженно. Думали даже написать в Губком партии, что у нас в школе работает преподавателем бывший офицер белой армии. Но, подумав, сказали себе. Губком, назначивший его к нам, не мог не знать, кто он такой – зачем нам писать об этом. И писать о нем в Губком раздумали, но настороженность осталась и близких контактов вне уроков не было».

Однако именно с этим преподавателем Василий Иванович разговорился о своих трудностях с политэкономией. От него он услышал, что ***«"Капитал" – это музыка, если читать его в оригинале»***. Именно у этого преподавателя он впервые увидел то, что называют личной библиотекой. Он завершает свой рассказ о «Капитале»:

«Сколько себя помню, «Капитал» я не читал ни тогда, ни после. В памяти у меня сохранилась лишь двадцать четвертая глава – первоначальное накопление. Я после Тубсовпартшколы не однажды читал и перечитывал эту главу «Капитала» и не по какой-нибудь необходимости, или по условиям работы или исполняемой должности, а исключительно из любви к поэзии».

В июне 1923 года Василий Иванович оканчивает губсовпартшколу. Он был оставлен в школе в качестве «групповода» по предмету «История революционного движения в Западной Европе». Его направляют в университет имени Свердлова на двухмесячную подготовку. Он посещает лекции, в том числе слушает доклад А. Луначарского, посещает библиотеку на Воздвиженке, где с благоговением обнаруживает надписи на дверях: «Секретарь ЦК И.В. Сталин» и «Секретарь ЦК В.М. Молотов», а также ходит на экскурсии. По окончании курсов его снабжают целым чемоданом «партийных книжек».

В октябре того же года он уже приступает к работе в Белевской райсовпартшколе[8] в качестве преподавателя двух предметов –

«Истории революционного движения на Западе» и Краткой истории РКП (б). Ему от роду всего 17 лет, за два месяца он сменил три комнаты, одна из которых была в монастыре – сдвоенная келья с монашкой-соседкой, вторая не отапливалась, а третья была рядом с курятником. Ему предлагают читать лекции о любви и дружбе для молодежи. Он не знает, как читать на эту тему, ибо пока не испытывал чувства любви. Ему советуют читать о дружбе Маркса с Энгельсом: «А про любовь много книг написано, почитай и узнаешь про любовь». Дали две недели на подготовку, а потом объявили, что в клубе состоится лекция про любовь, а после лекции – танцы.

Василий Иванович начинает читать о любви. Получает много записок. Он не вполне знает, как на них отвечать, а отвечать надо, ибо белевская красавица 17 лет от роду на рождественские каникулы покончила с собой из-за любви.

В январе 1924 года умирает Ленин. Василий Иванович получает на лекции записку о Ленине: «Кто он и что он значит?» Ему поручают написать о Ленине пьесу.

«Я написал ее в форме диспута с выступлениями Ленина, Троцкого, Рыкова, Бухарина, Каменева – книг других авторов не нашел». Актеры были соответствующим образом загримированы. «Ваня Резвушкин был загримирован под Ленина. <...> Ваня Резвушкин стоя у края сцены, заканчивал жестом: «Россия нэповская будет Россией социалистической», и каждый раз это встречалось громом аплодисментов всего зала».

Василий Иванович стал *большевиком ленинского призыва.*

Школу наградили поездкой на Кавказ, и Василий Иванович впервые в жизни отправляется в далекое путешествие. В Армавире путешественников удивило множество бутылок красного вина в буфете: ***«На весь наш коллектив купили 4 бутылки – как бы причастились и поехали дальше».*** Они увидели нефтяные прииски Баку, театр и серные ванны Тифлиса, Батум.

В Белеве Василий Иванович долго не задерживается и вскоре едет в Тулу поступать на рабфак: зав. Агитпропом ***«выдал мне путевку на рабфак и оставил внештатным пропагандистом агит-***

пропа Тульского губкома». Прежде чем уехать, он помогает матери по хозяйству в деревне. В Туле Василия Ивановича настигает любовь. На пасху 1925 года молодые люди навещают мать в деревне. Оба они не желают следовать обычаю.

«И вот на другой день начинается разговор: Вася, ведь надо бы свадьбу сыграть, говорит моя мама, обвенчаться, как это положено. Зачем нам венчаться, разве не крепка наша любовь? Мама говорит: уж если не венчаться, то хотя бы в загсе расписаться. А что в загсе крепче нашей любви? – спрашиваем мы. Мы верим в свою любовь, она будет оберегать нас и радовать всю жизнь. Ну вот пойдут дети, с ними-то как? А это самое простое. Мы единодушно согласились, если родится сын – его будем записывать на фамилию отца, родится девочка – запишем на фамилию матери. Ларина Татьяна – чем плохо? Так и порешили. С тех пор день 1-го мая мы каждый год отмечаем как свой родной праздник».

Состояние умов «молодых» как бы предвосхищает закон 1926 года о браке и семье, который максимально упростил как вступление в брак, так и развод. В Туле администрация выделила им комнатку.

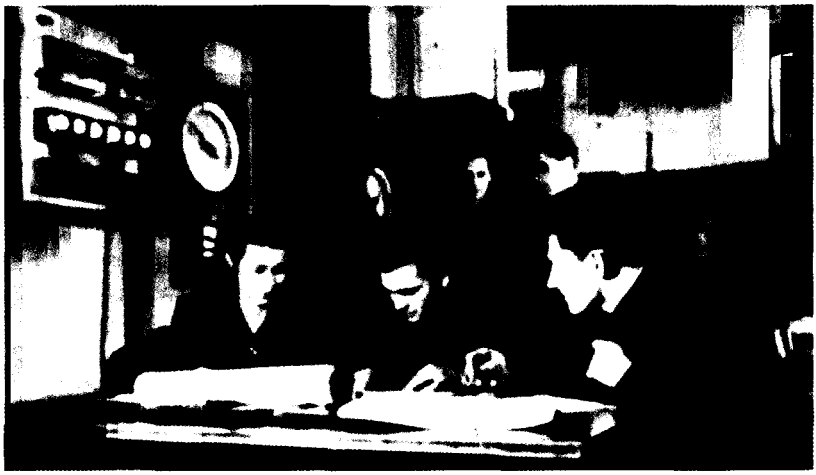
Окончив рабфак в Туле, Василий Иванович получает путевку на подготовительное отделение Института красной профессуры. Однако он отказывается, выражая желание поступить на физмат МГУ. Он желает сначала изучить естественные науки, а потом взяться за философию. Он пишет:

«Я был под впечатлением только что вышедшей книги Энгельса «Диалектика природы». Обстоятельства сложились так, что я не мог реализовать, что задумал, и всю жизнь не расставался с деятельностью рядового пропагандиста марксизма-ленинизма».

Его желание реализуется, с 1927 года он учится в Москве. Его жена поступает в Тимирязевскую академию.

и вы будете учиться на физмате и работать в нашей лаборатории. Я сказал ему: пока не окончу МГУ, не наберусь знаний – никуда не пойду работать. Учиться хорошо надо, знания даются мне трудно.

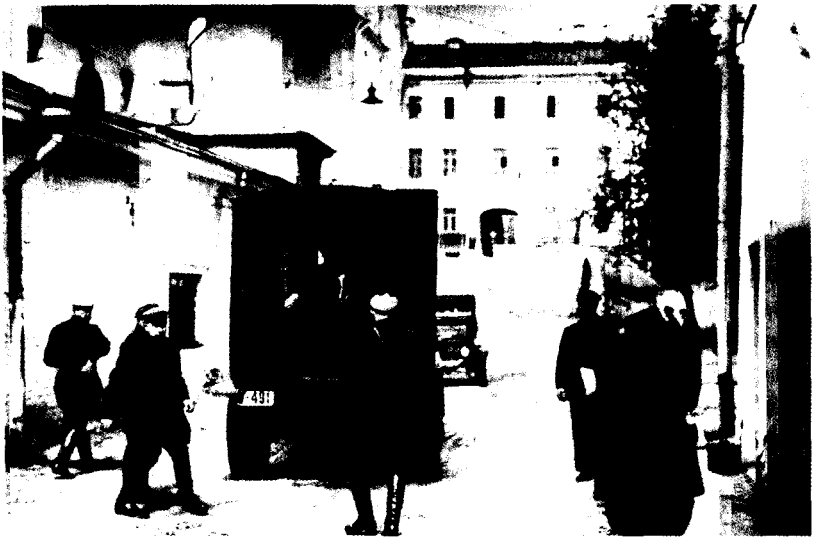
Прошло несколько дней и ближайшую субботу Петр говорит: Папа приглашает вас с М.И. Калининым, он завтра будет у нас. Я сказал: на завтра у меня уже назначена важная работа <...> и я приехать к вам не смогу, а для знакомства с Калининым я еще не дорос. В понедельник Петр (ученик) рассказал мне, что у них был Калинин, и папа очень сожалеет, что вы не пришли. Есть о чем сожалеть, давайте лучше заниматься. Прошло еще несколько дней, и Петр говорит мне. Папа просил Вас в такой-то и такой-то час обязательно приехать к нам в лабораторию. Приедут Калинин, Бухарин и Тухачевский знакомиться с тем, как работает наша лаборатория. Папа хочет воспользоваться этим случаем и познакомить Вас с ними. Не помню уже, под каким предлогом я сказал, что приехать не могу. Позднее Тарасова, работающая в этой лаборатории, рассказала Прочко про это посещение лаборатории высокими гостями. Ей было приказано во время посещения, <...> чтобы она на газовой горелке в стеклянной



Научная лаборатория

колбе кипятила воду и ничего не говорила, а что это процесс какой-то технологический, объяснял главный инженер, который нес несусветную чепуху. Прочко настойчиво рекомендовал Тарасовой, как первоисточнику, сходить в соответствующие органы и рассказать, что творится в этой сверхсекретной лаборатории. Тарасова обещала это сделать.

Лето кончается, близится осень, уже начали перепадать дожди. И в один из таких мокрых дней жена куда-то ушла, и я в комнате сидел один и читал книгу. Вдруг к самому окну нашей комнаты подъехала и остановилась легковушка. Смотрю, из нее вылезли Прочко, отец Петра и третий незнакомый мне главный инженер. Взошли в комнату, поздоровались, приглашаю их садиться. Они рассказали, что были в Академии, выпросили десятину участка, на котором их лаборатория будет выращивать какую-то зелень, которая вместе с другими компонентами, как сырье для выработки каких-то вещей, нужных людям мирным и военным. Производство будет осуществляться по ихней схеме. И тут главный инженер развертывает на столе синьку схемы со множеством линий и узлов, с надписью поверху: Совершенно секретно, только для членов политбюро ЦК. Мы хотим, чтобы Вы как специалист-физик посмотрели эту схему. У меня еще нет таких знаний физики и химии, чтобы я мог сказать, что в ней так и что не так. Сейчас, прослушав ваш рассказ о том, что вы задумали производить по этой схеме, я только могу сказать, что это действительно либо просто и гениально, либо безумный бред. Что ближе к истине, сказать не могу по своей малограмотности в этом деле. После этого они допили еще остававшееся в бутылках и, поблагодарив за беседу, пошли к машине. Прочко, проводив их, вошел в комнату на себя не похожий, бледный, в глазах страх, уцепившись руками за волосы и качая головой, дрожащим голосом говорит: Васька, теперь мы пропали, Васька, мы пропали. Спрашиваю, почему мы пропали? Ну разве не ясно, – говорит Прочко, – они пьяные, потеряют эту совершенно секретную схему. Ее найдут, и дорожка приведет к нашей даче – значит участники. Успокойся, <...> никакие мы не участники. <...> Мы посмотрели совершенно сек-



Процессы над «врагами народа». 30-е годы

ретную схему, на которой неизвестно что нарисовано, скорее всего, какой-нибудь бред сумасшедших. Тарасова потом говорила Прочко и мне, что она про секретную лабораторию рассказала Емельяну Ярославскому. Он сначала не верил и говорил, что такой лаборатории он не знает и она ни в одном списке не числится. Я тогда ему сказала точный адрес лаборатории, в которой я работаю. Ярославский обещал проверить и по-видимому проверил. Лабораторию ликвидировали, установлено, что за короткий срок она неизвестно куда и на что израсходовала шесть (6) миллионов валютных рублей.

Был закрытый суд, кому и сколько присудили, они не сказали. На этом месте можно было бы поставить точку. Но пропал Тимофей Прочко. Долго искали его и не нашли. <...> Прошло года полтора, мы, студенты последнего курса, сидим за столом, занимается своими учебными делами, слышим стук в дверь, и в комнату входит вроде старик. Голова белая, как мел или свежий снег, с худым бледным лицом, не освободившимся от каких-то страданий, с глазами, сохранившими следы страха и радости. <...> Здравствуйте, говорит он... Боже мой, да это Прочко, говорит жена, садись и расскажи, где ты

пропадал так долго и что тебя так состарило. Не спрашивайте об этом, говорит Прочко. Я дал подписку, что никому не скажу, где я был и что со мной делали. Вася, я вам доверяю и кое-что расскажу. Там, где я был, после первых допросов, составили бумагу, как будто это запись моих показаний и предлагают мне расписаться. Я читаю эту бумагу, и сразу понял, что мои показания извращены, что если я распишусь, будут представлять большую опасность для людей, которых, возможно, я случайно назвал, а для тех, кто меня туда привел, основанием, чтобы творить зло в любых формах и любых размерах. Поэтому прочтя, я вернул и сказал: я не буду расписываться. Потом долго на меня давили, требуя чтобы я расписался. Претерпев все, а потому и остался жив. Это было наше последнее свидание с Прочко, что-то около 30-го г. Что было с ним после этого, я не знаю. Теперь, когда мы узнали от бывших в положении Прочко, или того хуже, можно сказать, что этот эпизод относится к началу трагедии под названием "1937 год"».

Строительство канала им. Москвы. Конец 30-х годов

Было это или не было? Здесь достоверны наверняка лишь несколько моментов: пропажа Тимофея Прочко, растрата инвалютных рублей и факт учебы автора в МГУ... Однако последовательность повествования подчинена определенному порядку – культурному или политическому. Мы имеем дело с рационализацией, как понимал ее З. Фрейд: подстановка индивидом для объяснения поведенческих действий известных трафаретных мотивов. Сновидческое многообразие оказывается социально ограниченным. Нельзя не вспомнить о композиции тех художественных произведений, в которых интрига связана с ощущением присутствия незримого врага[10]. Легко рождаются ассоциации с «Судьбой барабанщика» А. Гайдара или романом Б. Пильняка «Волга впадает в Каспийское море». Рассказанное может восприниматься и как сновидческий коллаж из фильмов конца 30-х «Весна» и «Ошибка инженера Кочина» (сценарий А. Мачерета и Ю. Олеши по пьесе братьев Тур). Один фильм легко накладывается на другой, ибо главные роли в обоих фильмах играла одна актриса, Любовь Орлова. Здесь налицо ключевые культурные клише, восходящие к фильмам тридцатых и воспроизводимые до сих пор. Эти произведения выступают в роли ментальных ограничителей (К. Леви-Строс). Художественное произведение выступает в качестве источника формы рассказа. Производство таинственного эликсира напоминает об одержимости эпохи поисками врагов и рецептов омоложения. Засекреченные ученые и члены политбюро... Рядовой студент невольно вовлекается в таинственные и зловещие события... Во времена, которые мы называем необычными, люди ощущают именно слепой характер угрозы. Здесь явно присутствует навязчивая идея эпохи. Можно сказать, что это и тип апокрифа о 37-м годе.

В то же время явно ощущается след сказочного канона. Ученик Петр каждые *три дня* передает герою просьбу отца о встрече. Здесь ощущается парадоксальное сочетание триумфа (ускользнул, как в сказке!) и уязвимости. Имеет смысл говорить о явном и скрытом содержании рассказа.

Мы вступаем здесь в область сигнификативного аспекта социально-исторической реальности. Убеждаешься в аффектив-

ности и магичности памяти, в приспособлении ее к тем частностям, которые ей «удобны». Приведенный нарратив подтверждает мысль П. Нора о том, что память «питается туманными, смещенными, объемлющими многое или не привязанными ни к чему в отдельности воспоминаниями – конкретными или символическими, доступными чувствам во всех своих перемещениях, затенениях, внутренней цензуре или проекциях. <...> Память возводит воспоминание в святыню, тогда как история вытесняет воспоминание и делает его прозаическим. <...> Память коренится в конкретном – в пространстве, жесте, образе и объекте. История же соотносится только с временными непрерывностями, с эволюцией и смещающимися отношениями вещей»[11]. В памяти Василия Ивановича 1929 и 1937 годы смешались.

Продолжим рассказ о Василии Ивановиче. После окончания университета он был распределен в Теплотехнический институт им. Дзержинского. Заведующим лабораторией был сын И. Арманд, научным руководителем – А.С. Предводителев (в дальнейшем профессор физического факультета Московского университета). Общественно активный Василий Иванович помещает в стенной газете карикатуру на Предводителева. Последний ставит вопрос: «я» или «он». Василия Ивановича переводят на Урал, на должность заведующего физико-технической лабораторией того же института. ***«Что за лаборатория? Техник, трое молодых рабочих, оборудования никакого»***. Его избирают секретарем парторганизации. Он опять проявляет общественную активность и, как честный большевик ленинского призыва, разоблачает директора института в том, что тот выполняет в счет плановых работ частные заказы. Развертывается борьба, ставки в которой кажутся ничтожными. Директор обвиняет Василия Ивановича в использовании служебного положения в корыстных целях. Дело в том, что Василий Иванович получил в Торгсине 5 кг муки. ***«Предполагалось, что жена как агроном найдет работу в Свердловске и тогда мы будем вместе – жена приезжала с сыном*** (к тому времени сыну уже три года. – *Авт.*). ***Но должности не нашлось, и аспирантка ТСХА уехала в Москву, а 5 кг муки остались у меня. И за это Кузнецов добился исключения меня из партии, инстанция подтвердила, Кузнецов***

увольняет меня из института. В конце декабря 1933 года я покинул Свердловск». И опять задаешься вопросом – правда это или нет? 5 кг муки как ставка в жизненной игре – явно правда.

В январе 1934 года Василий Иванович поступает на работу в НАТИ (Институт авто-тракторной промышленности) и подает в ЦКК просьбу о восстановлении в партии. Решение об исключении отменяют. Однако в НАТИ он получает характеристику, в которой отмечается, что он политически неграмотен. Вновь его не восстанавливают в партии, погоняв предварительно по философии, произведениям В.И. Ленина, международному положению, истории партии и решениям ЦК. Решения о восстановлении Василий Иванович добивался четыре года. Это случилось лишь в 1937-м. В это время он узнает, что его гонитель репрессирован и расстрелян.

Полевые испытания трактора в НАТИ

С началом войны, несмотря на наличие брони, Василий Иванович добровольцем уходит на фронт. В своих воспоминаниях он описывает панику в Москве 14–15 октября 1941 года. Любо-

пытно, что в его фонде есть открытка, датированная именно этими числами, в которой о панике, естественно, нет ни малейшего упоминания!

Он воевал под Ржевом, а затем на 4-м Украинском фронте, занимаясь снабжением армии топливом. Как и у многих моих героев, для Василия Ивановича война – это акме его биографии. Он участвовал в подготовке дивизии к орловской операции.

Рассказ Василия Ивановича сбивчив и непоследователен. Есть, однако, эпизод, которому он уделяет много места. Это интересное повествование о встрече Нового – 1945 – года в городе Сызрани, куда он приехал в командировку на местную нефтебазу.

«Начальник базы говорит: а зачем Вам ехать сейчас, чтоб всю ночь в вагоне встречать Новый год – это не дело. Ложитесь отдохните, а потом пойдем встречать Новый год: после встречи Нового года отдохнете, а завтра утром поедете в Москву. С предложением начальника подумать я согласился и лег спать. Спал немного, слушаю и чувствую, кто-то будет меня – товарищ майор, вставайте, скоро идти на вечер встречи Нового года. Начальник базы спрашивает меня, хорошо ли я отдохнул? Хорошо, спасибо, говорю ему. Тогда собирайтесь, сейчас пойдем на вечер. А далеко идти? Нет, вот по этой дороге вниз домов пять пройти. Народа будет немного, все свои знакомые, хорошие, добрые люди. Вам-то они знакомые, а я-то чужой, незнакомый. Ничего, познакомитесь – хорошие, работящие, служивые люди. Пришли, хороший дом, большая комната с большим столом, покрытым белой скатертью; три женщины обряжают стол бутылками разного вина, и на вид вкуснейшими и разнообразными закусками, одна женщина украшает стол цветами. Подходят люди. Правда, их оказалось немного. Восемь ладных, симпатичных, некоторые даже красивы, в возрасте 25–35 лет, не более, начальник базы и его заместитель старший лейтенант с женой. Последняя пара мне показалась в каком-то диссонансе со всеми остальными. Сидим – беседуем. Спрашивают, как там на фронте. Я рассказываю правду, так, чтобы не вызвать горечи и печали у них в этот вечер.

Спрашиваю, а как вы тут в тылу живете, говорю им спасибо, что без их трудовых усилий, несмотря на трудности, нам бы на фронте не справиться с немцем[12].

По радио подается сигнал к началу встречи Нового года. Налить бокалы! Наливают, кому что нравится. Кто-то спрашивает, а за что будем пить? Я встаю и говорю: я, кажется среди вас самый старший и по возрасту и по званию. Позвольте мне сказать, за что мы пьем. Крики одобрения. Поднимаю свой бокал и говорю: в таких случаях, как сегодня, здесь пьют за все хорошее, за все доброе. Пьют за жизнь. Одна из женщин ухватила эту мысль, встает, поднимает бокал и громко, властно говорит: предлагаю выпить за 1945 год, пусть он будет последним годом войны и пусть поскорее отпустят с фронта домой всех оставшихся в живых наших солдат. Тоже все одобрили и выпили. Закусили и выпили по второму разу. Другая женщина встала, подняла бокал и сказала: предлагаю выпить за здоровье всех присутствующих, пусть всем вам в Новом году будет хорошо и радостно жить. Выпили и за это. Закусываем – ведь стол снаряжен хорошо и украшен лучше и богаче, чем на хорошей свадьбе. Уже одно это не может не радовать. Одна женщина попросила: Тамара, возьми свою гитару, сыграй, споем что-либо. Тамара взяла гитару и начала что-то наигрывать, сначала тихо, затем еще громче, и вдруг взрыв, крик безутешного горя, затем еще сильней и из глаз уже не слезы, а ручьи, не вздохи и не стоны, а рыдания, разрывающие сердце, и вой и громкий крик безутешного горя, разрывающий и сердце и души. Я не знаю, почему это вдруг они так раскололись. Начальник базы тихо говорит мне: они все не так давно получили похоронки, это их ответ. Я не знаю, что мне делать, что сказать мне, чем и как восстановить их мужество и остановить поток слез. Возможно ли сделать это мне, незнакомому им фронтовику? Уйти или остаться – не знаю, что лучше. Начальник базы говорит: Вам, наверное, такое видеть и слышать впервые, а у нас в городе это часто бывает, почти что с каждым получением похоронок. Я был поражен и не помню, как мы шли домой, как я лег в постель и уснул.

Утром кто-то меня будит, открываю глаза и вижу молодую красивую женщину, что будила меня вчера, чтобы идти на вечер. Она трясет меня за плечо и говорит: товарищ майор, вставайте, завтрак готов, сказав это, она быстро ушла.

Встаю, спрашиваю начальника базы, кто эта женщина, что приготовила завтрак и быстро ушла. Начальник рассказал: когда вчера мы вышли с вечера встречи Нового года и пошли домой, она немного погодя оделась и пошла вслед за нами, но пришла к Вам, когда Вы уже уснули. С согласия подруг, она решила хорошо проводить Вас. Она хотела, в постеле [так!], *в близком общении с Вами вспомнить и в яве пережить реально душевно-телесную радость, что испытала в прошлой жизни с тем, от кого уже ничего не осталось, кроме воспоминаний и похоронки. Но Вы спали. Она всю ночь ждала, когда Вы проснетесь. Разбудить Вас она боялась, не зная, правильно ли Вы ее поймете и не отринете ее, с ее сильными желаниями, что в таком случае ей, молодой, здоровой и красивой причинило бы боль, более жестокую, чем боль от похоронки. Вы не проснулись, а она не разбудила Вас, а так задуманное, так мучившее ее желание осталось в ней горьким, обидным переживанием. Потому-то приготовив нам завтрак, она так быстро ушла. Когда начальник рассказал мне это, сердце мое пронзила боль и жалость к этой славной и смелой женщине, и я заплакал. Не о себе думал я тогда, а о ней и ее подругах, что вчера за украшенным столом трагически со слезами исполняли песню как проклятие войне и злу.*

С тех пор прошло более полсотни лет. Но и сейчас, когда я пишу воспоминания об этом, глаза туманятся слезами. 1 января 1945 г. я, выполнив задание, уехал в Москву».

Конец войны застал его в Чехословакии. Он отмечает, что местное население хорошо к ним относилось. Василий Иванович отмечает два события, которые произвели на него наибольшее впечатление. Это расправа над женщинами, которые во время оккупации сожительствовали с немцами, и случай, когда он столкнулся с изобилием вещей.

Случай первый.

«Движется большая толпа народа, что-то кричат и бросают в окруженную группу женщин – стриженных, на голове выбрит фашистский знак, а на груди у них фанерки с таким же знаком. Группа идет под охраной милиции. <...> Оказывается, это ведут десяток женщин, которые в период оккупации жили с немецкими офицерами. <...> Может, и справедливо (гражданская казнь!), но все же производит устрашающее и страшное впечатление. В свое время в газете читал, что в Харькове женщины, жившие с немецкими офицерами, родили 60 тысяч фрицев. Наверное их осуждали, но не подвергли такой казни. В газете об этом ничего не было сказано».

Случай второй.

«Взошел на второй этаж: <...> в маленькую комнату молодой вдовушки, муж погиб на этой войне и вижу – на полочках и на стенах картины, фото и множество различных безделушек, украшения <...> уютно, красиво. При выходе из комнаты я заметил, что на этом чердаке (второй этаж!) еще две двери – больших шкафов. Спрашиваю женщину – что там? Она открыла дверь одного шкафа – четыре полки со всевозможной разнообразной обувью, зимней и летней, разных фасонов и расцветок, вплоть до серебряных лодочек. Открыла второй большой шкаф – заполнен разнообразными платьями, кофтами, плащами и пальто. Чье все это в этих шкафах – спрашиваю я. Она спокойно отвечает – мое. Потом, говорит, мы сейчас бедные, немцы обобрали нас. Вот вы приезжайте к нам лет через пять, мы снова будем богаты. Я ничего не сказал, но просто подумал – можно только радоваться такой бедности».

Далее он рассказывает случай, который имел место уже после окончания войны в городе Черновцы: *«ретивые таможенники не проявили ума – у танкистов первых машин начали изымать аккордеоны, как недозволенные к перевозу через границу. Танкисты на это ответили по-своему – они танками подавили всю таможню. Как орешек молотком».*

Он рассказывает, как их встречали в Черновцах.
Приведу несколько нарративов.

«Два факта нас неприятно поразили. На улицах ни народа, ни портретов. На верху Горсовета «Слава Советским воинам!», а на входе в винный магазин на центральной площади – «Добро пожаловать, советские воины!», и на входе в венерический диспансер «Добро пожаловать, советские воины!» <...> ***А второй факт закрепил нашу оценку – нас нигде и никого, хотя группа состояла из полковников во главе с генералом, не пустили ночевать, мы ночевали в парке в машинах».***

«Из Черновцов высылали румын и поляков – их несколько тысяч. Выселяемые румыны и поляки начали продавать свои квартиры под видом продажи своего имущества. Поэтому в город Черновцы налетела «саранча» из Свердловска и других городов СССР и раскупили эти квартиры по дешевке, ведь по документам продавались не квартиры или дома, а имущество».

С января 1946 по 1952 год Василий Иванович – начальник отделения боевой и технической подготовки в управлении снабжения горючим. Он организует для офицеров курсы по новейшим техническим достижениям и проблемам текущей политики. Он проверяет военные кафедры в вузах соответствующего

профиля, участвует в создании военно-технического училища в городе Виннице. Опять возникают интриги. Василий Иванович рассказывает о характере этих интриг. Так, в учебной программе был вопрос: «Роль тов. Сталина в организации контроля качества авиационного бензина на фронте». Особо ретивые поправляют: «Роль тов. Сталина в организации ремонта бочек на фронте». На сей раз он «побеждает в борьбе», и его включают в группу тыловиков при Генштабе, которая участвует в разработке военных учений под руководством министра обороны маршала Василевского. Он гордится тем, что принимал участие в разработке методик снабжения войск горючим. После учений, однако, его пытаются уволить из армии, он сопротивляется и до поры до времени остается. В конце концов его направляют в Баку на должность старшего преподавателя военной кафедры в Институте нефтехимии. 10 сентября 1957 года он пишет письмо генералу Карманову с просьбой «вызволить из ссылки», а также помочь получить звание полковника. 1 сентября 1961 года Васильев был уволен в запас в звании инженера-полковника с пенсией за выслугу лет. 10 октября 1961 года он с женой покидает Баку, где ***«по злой воле ярого сталиниста, заместителя начальника УСГ генерала Богачева, человека с дефицитом ума и совести девять лет я жил и служил как изгнанник из управления снабжения горючим Министерства обороны. Мне было 55 лет, был здоров, с высшим образованием и немалым опытом жизни и работы. Что делать, как теперь жить?»*** Эта одиссея и в момент написания воспоминаний волнует его очень сильно, судя по точности приводимых дат.

Последние годы Василий Иванович работал в Московском университете. Где именно, не совсем понятно, вероятно, на военной кафедре. В мае 1965 года он едет на Обь с экспедицией геологического факультета в качестве радиста и фотографа. Он гордится тем, что в отчет вошло 56 его фотографий. Его новое увлечение – фотография – спасает его.

«Жили мы с женой в трехкомнатной квартире, занимая одну комнату 24 кв. метра. Две других занимали две семьи. Кухня, ванная – все общего пользования. Мы в своей комнате

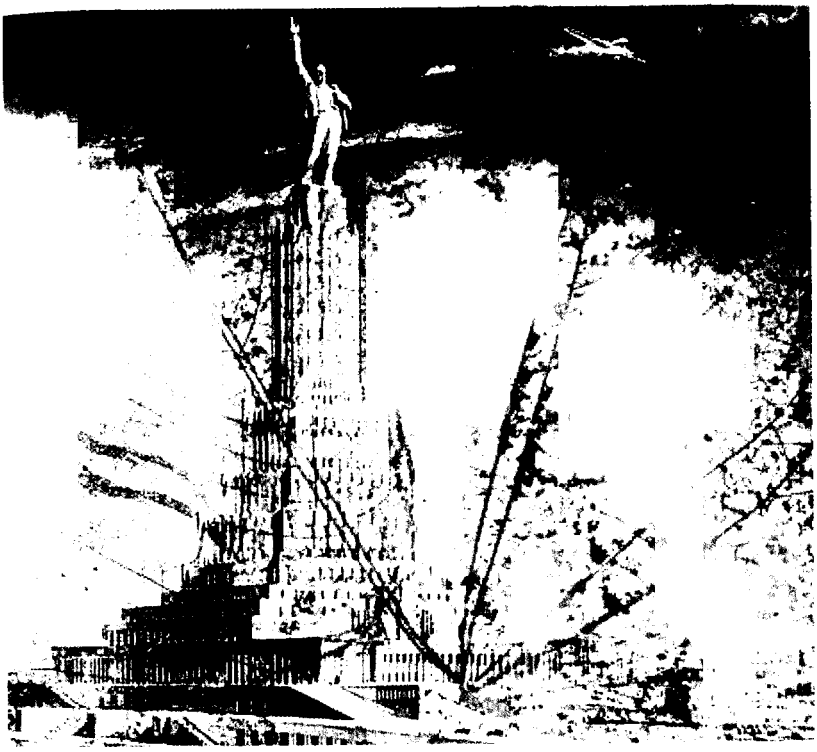
отгородили и затемнили один угол не более трех метров – это была моя фотолаборатория. <...> В 1970 году, в столетие со дня рождения В.И. Ленина как старым коммунистам (с ленинского призыва 1924–1925 гг.) дали отдельную однокомнатную квартиру. Ту часть комнаты, где должны по плану стоять две кровати, мы отгородили и сделали фотолабораторией, а диван днем был диваном, а ночью постелью для двоих. Жить и работать стало лучше, хотя помощников у меня не было. 20 лет я был в штате МГУ и работал как кустарь-одиночка».

В 1972 году состоялась персональная выставка работ Василия Ивановича Васильева на геофаке – главным образом портреты сотрудников. К началу 80-х годов у него более 1000 фотографий, объединенных в серию «Ученые МГУ и Академии наук – наши современники». Его фото использовались в документальном фильме об академике Келдыше. На этом воспоминания заканчиваются, а фотографии работы Василия Ивановича переданы на вечное хранение в «Народный архив».

По мемуарам Василия Ивановича Васильева хорошо видно, сколь причудлива, сколь «необъективна» человеческая память. Подобно прожектору, высвечивает она поразившее рассказчика. Мы не столько узнаем «факты», сколько «ощущаем» сами способы видения, реконструируем концептуализации. Этот рассказ ни в коем случае нельзя назвать цельным. Здесь явно представлены разные макросценарии. Один – «большая история», начинающаяся с 1917 года. Другой – мифологический. Третий – свидетельский.

Память Василия Ивановича эпизодична. Если попытаться найти начало, объединяющее «случаи», то это начало – боль. Каждый эпизод повествует о разновидностях боли – идет ли речь о смертельной опасности, или, как в эпизоде с празднованием Нового года, о том, что герой наш «тронут женской долей». Человек вербализирует память тела, вспоминая не все подряд, а то, что затронуло его воображение. А. Бергсон отмечал, что

«тело, всегда направленное в сторону действия, имеет основной функцией ограничивать, ввиду действия, жизнь духа, <...> в который мы проникаем с помощью памяти»[13]. Память сознания и память тела взаимно поддерживают друг друга. Воспоминания Василия Ивановича вызывают в памяти высказывание Ф. Ницше. «Во всей предыстории человека и не было ничего более страшного и более жуткого, чем его *мнемотехника*: вжигать, дабы осталось в памяти – таков основной тезис наидревнейшей (к сожалению, и продолжительнейшей) психологии на земле. <...> Никогда не обходилось без крови, пыток и жертв, когда человек считал необходимым сотворить себе память»[14]. О боли как пробном камне действительности писал Э. Юнгер. Повествование Василия Ивановича напоминает, что боль «подобна тени жизни, избежать которой не дает ни один договор»[15]. <...>



ПОЭЗИЯ И ПРАВДА

А другой мой протагонист – Иван Иванович Белоносов. Он почти ровесник Василия Ивановича Васильева – родился в 1908 году. Фонд его очень объемный, ибо Иван Иванович собирал «все»: черновики писем и выступлений на партсобраниях, пригласительные билеты и сувениры, удостоверения и ответы на анонимки, конспекты времен учебы в университете марксизма-ленинизма, наброски собственных статей и текста кандидатской диссертации, отзывы на диссертации, рецепты на лекарства. Сейчас эта куча бумаг советской эпохи может показаться кучей ненужной дряни. Однако именно этот сор позволяет воспроизвести когнитивную карту советского человека. Никогда, ни в какой момент жизни не дистанцируется он от советского общества. Свою жизнь и опыт он считает несомненно знаковыми и значимыми. Именно потому он, хотя и нерегулярно, ведет дневник. 22 августа 1954 года: ***«Писать, хотя по одной строке в день, но писать и писать. Я должен исписать 100 таких книжек и оставить свои мысли для советских людей, которые вынашивались всю мою сознательную жизнь».*** Пишет он много. В его записях стихи к возлюбленной – рядом с выписками из В.И. Ленина.

От Василия Ивановича Васильева Ивана Ивановича Белоносова отличает то, что он проявляет острый интерес к корням, свидетельством чему попытки написать историю рода, неоднократное обращение к этой истории в дневниковых набросках. Две папки личного архива Ивана Ивановича несут название «Биохроника». Здесь он явно подражает выпускавшимся биохроникам «великих людей», в первую очередь В.И. Ленина. Жизнь свою он ориентирует на «жизнь замечательных людей». 3 ноября 1959 года: ***«Мысли о ведении дневника возникли у меня***

после прочтения биографической книги "Дом в Клину", рассказывающей о жизни и деятельности великого русского композитора Петра Ильича Чайковского». Неоднократные попытки описать семейные корни свидетельствуют о том, что Иван Иванович полагает себя персоной значимой. Эта значимость связана с его умением *соответствовать*, говорить то, что нужно, и на нужном языке. Можно сказать, что у него образцовая советская биография.

В фонде есть листок по учету кадров на 30 мая 1950 года.

Итак, Белоносов Иван Иванович, 1908 год рождения.

Место рождения: Свердловская обл., Каменский р-н, дер. Байново.

Из крестьян, с 1930 по 1937 г. – член ВЛКСМ, а с декабря 1940 г. – член ВКП(б).

Его трудовая биография начинается в 1929 году с должности плотника Каменского райдоротдела. В это время Ивану Ивановичу было уже за двадцать. До этого он вел жизнь крестьянина. Жизнь крестьянскую он не включает в трудовую биографию[1]. В 1930–1931 годах он учится в Шадринском педтехникуме. С 1933 по 1936 год – курсант полковой школы в Челябинске. В 1936 году поступает в Историко-архивный институт. В 1938 году получает место заместителя заведующего архивов Наркомата среднего машиностроения и переводится на заочное отделение института. Война не дает ему окончить институт. В армии Иван Иванович прошел путь от комвзвода до командира дивизиона зенитного артиллерийского полка. Войну он заканчивает старшим лейтенантом. В 1946–1948 годах работает в качестве референта Министерства иностранных дел. Это и объясняет появление в набросках истории семьи пункта «дипломат», который кажется несколько неожиданным. С 1948 года он работает в ВЦСПС, дослужившись до должности заведующего архивом. Личный фонд Ивана Ивановича Белоносова содержит различные варианты автобиографии, более или менее подробные. Нижеприведенные подробности были самим Иваном Ивановичем исключены из некоего окончательного варианта.

«Родился 15 октября 1908 г. в семье крестьянина-бедняка в деревне Байново (ныне город Каменск-Уральский) ***Свердловской***

области. После окончания в 1920 году (Ивану Ивановичу 12 лет) ***церковно-приходской школы дальнейшую учебу пришлось прервать. Эти годы, 1920–1928 работал вместе с отцом и матерью, помогал им в с/х работах»***. В 1924 году, когда нашему герою было 16 лет, от туберкулеза умирает его отец, оставив четырех детей. В 19 лет Иван Иванович успел жениться, но вскоре потерял жену (тоже от туберкулеза) и остался с маленькой дочерью на руках. Иван Иванович продолжает: ***«В 1928 году вступили в товарищество по совместной обработке земли (ТОЗ). Во вновь образовавшейся с/х артели были излишние рабочие руки, меня правление направило на строительство моста через реку Исеть. Здесь я работал сначала чернорабочим, по-***

Индустриализация страны

том плотником. В середине 1930 года, постройком профсоюза строительства направил меня на курсы в Шадринский педагогический техникум». В том же году он вступает в комсомол. Это переломный момент биографии. В 1933 году Иван Иванович оканчивает Шадринский педагогический техникум, получив специальность учителя начальной школы. Он должен был возвратиться в Байново и работать по специальности, но судьба распорядилась иначе. Райком комсомола направляет его инст-

руктором райкома на строительство трубного завода. В том же 1933 году его призывают в армию. Он учится в школе артполка и остается в этом полку в качестве помкомвзвода. В 1936 году демобилизуется из армии и поступает в Московский историко-архивный институт. Ему уже 30 лет, но он еще студент. В Москве Иван Иванович женился, и в 1937 году на свет появляется сын. Теперь у него уже двое детей, а потому он переходит на заочное отделение и поступает на работу заведующим Архивохранилищем Наркомата среднего машиностроения, а в 1939 году становится старшим инспектором Центрального архива наркомата.

Красноармейцы у финских трофеев

В 1940 году Белоносова призывают на Финскую войну, он оканчивает курсы младших лейтенантов. К середине 1940 года он возвращается на прежнюю работу, а в конце того же года становится членом партии. В записках он вычеркивает слова ***«исполнилась моя мечта»***, сочтя их, вероятно, нескромными. Иван Иванович продолжает учиться в историко-архивном, но учебу прерывает война. 22 июня 1941 года его направляют в действующую армию ***«командиром взвода отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона»***. До ноября 1941 года Белоносов воевал под

Смоленском и Ельней. С Первым конным корпусом он попадает в Сталинград.

Впечатление, что война – его звездный час (как и у Василия Ивановича). В августе 1945 года он состоит в резерве Генштаба, с мая 1946 по 1948 год (то есть в возрасте с 38 до 40 лет) работает в Министерстве иностранных дел в ранге атташе. В середине 1948 года переходит в Управление кадрами ВЦСПС. Переход этот вынужденный. Вот что пишет наш герой в отрывке, который в дальнейшем был им самим забракован (но, к счастью, сохранен): ***«Работа в МИД СССР была связана с выявлением документов по преступной деятельности фашистских заправил, по разоблачению капиталистического мира Западной Европы, вскормившего фашизм. Здесь я впервые принимаю участие в публикаторской работе. Но для работы над документами необходимо было знание хотя бы одного из иностранных языков. <...> В результате мне пришлось отказаться от работы в МИД»***. Однако МИД Иван Иванович не забывает. 20 сентября 1981 года он делает запись: ***«Работая в Министерстве Иностранных дел (1946–1948), я неоднократно слушал лекции Ильи Эренбурга как журналиста-международника. Обычно он излагал международное положение так, как он его понимал, иногда вразрез с существующим положением. Его манера была вызывающей, развалившись в кресле, он небрежно излагал свою лекцию»***. Белоносов по-прежнему не имеет высшего образования. Лишь в 1950 году, в возрасте 42 лет, он поступает на заочное отделение Высшей школы профдвижения ВЦСПС и получает высшее образование к 45 годам. В 58 лет защищает кандидатскую диссертацию. С 48 лет публикуется и успел выпустить 50 работ по истории профсоюзного движения. Размышляя о планах на будущее, Иван Иванович мечтает ***«подобрать и опубликовать документы профсоюзов СССР, созданных по указанию и под влиянием В.И. Ленина. До сих пор нетронутым массивом лежат тысячи документов профсоюзов, научно-технических обществ по вопросам организации и проведения научного творчества широких масс трудящихся»***. Он воевал под Смоленском и Ельней, был ранен, но остался в живых. Ему удалось повидать заграницу: в 1947 году он побывал в Югославии, лечился в Карловых Варах, в 1970 году съездил в турпо-

ездку в Италию. Был награжден орденами «Знак почета» и Красной Звезды. В 68 лет Иван Иванович ушел на пенсию, решение от 27 мая 1976 года тоже хранится среди бумаг.

У Ивана Ивановича Белоносова двое детей. Дочь родилась в 1929 году, а сын в 1937-м. После войны и, вероятно, до войны он жил по адресу: Большая Калужская, д. 2, кв. 13, то есть примерно там же, где и герой романа Юрия Трифонова «Время и место».

Свою биографию он очерчивает как некий путь. Что дает основание Ивану Ивановичу так оценивать свою жизнь? Бросается в глаза, что не последний аргумент в такой самооценке – владение «правильным языком». Именно поэтому он оценивает свой путь как правильный.

Наброски к выступлениям на партсобраниях свидетельствуют об этом. Так, Иван Иванович виртуозно размышляет о роли профсоюзов и «схеме управления промышленностью», о реорганизации системы делопроизводства и хранения архивных документов, он умело пишет отчеты о работе кружков по изуче-

Занятия по «Краткому курсу истории ВКП(б)»

нию истории партии. В фонде содержится материал на 13 страницах машинописного текста через один интервал – напутствие выпускникам университета марксизма-ленинизма под названием «Чему учит сталинский Краткий курс истории ВКП(б)»:

«Товарищи! Вы заканчиваете изучение великой Сталинской энциклопедии основных знаний в области марксизма-ленинизма, краткого курса истории ВКП(б). Ни одна книга в истории марксизма не имела столь широкого распространения. Достаточно сказать, что в наше время на всех языках народов мира издано было около 40 млн. экземпляров "Истории ВКП(б)". В Заключении "Краткого курса" товарищ Сталин указывает шесть основных итогов исторического пути, пройденного большевистской партией».

В 1952 году Иван Иванович размышляет ***«об использовании тех документальных богатств, которые ждут исследователя – где имеются факты обоснования хода исторических событий по осуществлению строительства коммунистического общества в нашей стране»***. Документальные материалы архива ВЦСПС, которым Иван Иванович руководил до выхода на пенсию, он рассматривает как ***«научную базу по развертыванию идеологических вопросов»***. Он высказывает неподдельную радость, обнаружив выступление Горького о Ленине и Сталине, а также приветственные письма, телеграммы и рапорты, посланные профсоюзными организациями и конференциями «на имя Иосифа Виссарионовича Сталина» (запись от 10 декабря 1952 года).

Он «колеблется с линией партии». В 1952 году с пафосом пересказывает официальные документы, размышляя о «гениальной работе товарища Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР» и «блестящем докладе товарища Молотова». В 1958 году повторяет: «как сказал товарищ Хрущев». В 1962-м, размышляя над вопросом «Как могло случиться, что немцы дошли до Волги?», Иван Иванович замечает: ***«Это могло произойти только в условиях дикого разгула культа личности Сталина», когда имела место «неготовность народного хозяйства, неподготовленность армии, репрессии военных кадров»***. Иван

Иванович всегда пишет так, как надо, политически и идеологически корректно. Он не дистанцируется от общества и его языка и умело следует «правилам игры», которые, как известно, часто менялись. Во всяком случае, создается впечатление, что он всегда – в струе. Он искренне считал и профсоюзы, в структуре которых трудился, и самого себя ***«инструментом советской власти»***.

Даже те конфликты, в которые он вступает, образцовы в том смысле, что по ним можно изучать, в каких социальных и языковых формах эти конфликты развертывались. Вот, например, отчет Ивана Ивановича по поводу анонимки: ***«В анонимке указывается, что якобы Белоносов использует деньги, предназначенные для перепечатки описей, на перепечатку диссертационных материалов»***. Оправдываясь и доказывая, что за перепечатку он заплатил из собственных средств, Иван Иванович не преминул заметить: ***«Видимо, автор решил свести какие-то личные счеты, прикрываясь благими намерениями защиты государственных интересов»***. Вопрос в том, чьи именно интересы государственные – Ивана Ивановича или его оппонента?

В записях для себя язык его небогат. Наш герой как бы растерян и утрачивает уверенность. Встречаются орфографические ошибки, особенно в словах иностранного происхождения (например, *«мансардра»* вместо *«мансарда»*).

В фонде обнаруживается несколько вариантов истории семьи.

Вот как она реконструируется по дневниковым записям из тетради № 10 (1948, 1950, 1951, 1981, 1982 годы).

У истоков семьи стоит дед Константин Семенович, предки которого были вывезены на Урал из Тулы в конце XVIII века. Иван Иванович вспоминает, как дед умело объезжал непокорную молодую лошадь. Он описывает смерть деда:

«По Уралу прокатилась гражданская война, был 18-й год. Колчаковские войска под натиском Красной армии откатывались на восток. Дедушку мобилизовали с лошадью в качестве подвозчика. Дед впряг в телегу Сивку и поехал на станцию Сикорская, куда был призван явиться с подводой. Доехав до стан-

ции, дед поставил подводу вместе со всеми, а сам пошел домой. Когда он подходил к реке, которая разделяла нашу деревушку, белые облили мост керосином и подожгли. Дед начал переходить по горящему мосту. Но белые еще находились на мосту. Заметив деда, один белогвардеец нагнал его и ударил несколько раз ногами. Кое-как дед пришел домой. Переход по горящему мосту, удар ногами – все это надломило силы старика и он заболел, не поднявшись более. Умер дед Константин в 1919 г.»

Иван Иванович подробно вспоминает о дележе наследства между сыновьями. Иван, отец нашего героя, воевал в Красной армии, но в тот момент по болезни находился дома. Другие братья в Гражданской войне участия не принимали. Отец получил амбар и конюшни. Брату его Василию достался пятистенный дом. Ивану, младшему, – малая изба, лошадь и надворные постройки. Имущество еще долго было предметом разногласий. После смерти отца Ивана Ивановича доля его досталась сестрам.

По дневникам Ивана Ивановича можно описать своего рода миф отца.

Отец родился в 1880 году, воспитывался *«в суровых условиях, которые создал дед»*. После окончания трех классов церковно-приходской школы он *«был впряжен в работу»*, *«тяжелую работу в сельском хозяйстве»*.

«Несмотря на низкий уровень образования, отец был грамотным человеком. Много читал литературы, которую брал у местного грамотея. Был знаком, правда очень мало, с революционными идеями. В большей степени отец был одиночка-бунтарь против существующих порядков. (Внимание, клише!) *Это бунтарство выражалось в первую очередь против дедушки. На третий год после женитьбы отец восстал против дедушки и отказался работать у него в хозяйстве. За это дед выгнал отца, не обеспечив ничем, даже земля, на которую он имел юридическое право, не была дана. Отец пошел работать к купцу Соснину на мельницу на самую тяжелую работу выбойщиком муки. Проработав 5 лет, отец построил на купленном участке земли дом. В 1905 г. с группой рабочих организу-*

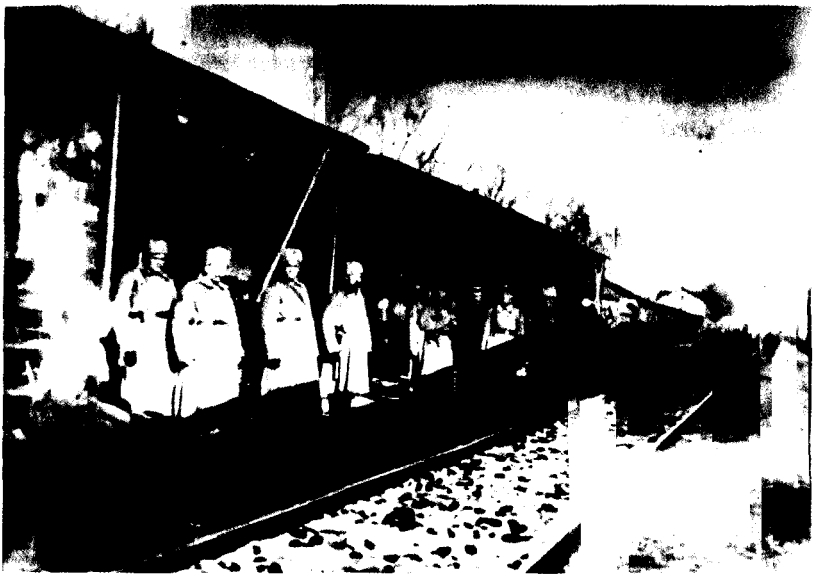
Крестьянин за сохой. 1890-е годы

ет забастовку, которая носила цеховой характер. Бастовали только выбойщики. <...> Вызвали полицию, разогнали стачечников, отца побили. Правда, для этого потребовалось пять человек полицейских, которые с трудом взяли отца. После этого отец был уволен с мельницы. Отец поступает строительным десятником на строительство моста через реку Исеть. Этот резкий переход от чернорабочего к десятнику говорит о его способностях».

Затем его приглашает земская управа на строительство другого моста, потом в городе Камышлове он участвует в строительстве здания земской управы. До этого момента рассказчик явно опирается на рассказы других, теперь он вроде повествует сам. Иван Иванович вспоминает, как жили они в подвале у мясника, как играли на большом лугу, часть которого местная тюрьма использовала под капусту, а другая часть служила для местных гимназистов футбольным полем. Поездки с отцом на лошадях оставили память на всю жизнь.

Отец – человек необузданный, страстный. Это подтверждается следующим эпизодом. В 1914 году его мобилизуют и отправ-

ляют на фронт. Когда он прощался с женой, офицер стал торопить его, требуя прервать прощание. Протестуя, отец ударил офицера. Ему грозит суд. Он прорывается к командиру полка, запирает командира в кабинете на ключ, требует отмены суда и отправки на фронт. Наконец его отправляют, и он служит в стрелковых войсках. В 1916 году отец приезжает домой на побывку. Он плачет, возвращаясь на фронт. В начале 1917 года вновь заезжает домой проездом, а в конце года возвращается совсем.



Отправка эшелонов на Первую мировую войну. 1914 год

«Он был хорошим оратором и, судя по его рассказам, часто выступал на фронте перед солдатами. Вернулся с фронта, как он говорил, большевиком, несмотря на то, что членом РСДРП не был». По словам Ивана Ивановича, как член полкового комитета, отец был делегатом II Съезда Советов.

У отца были постоянные столкновения с братом Василием, который прослужил 12 лет кочегаром на корабле «Адмирал Макаров» и был монархистом. ***«Дядя Вася пришел с войны с монар-***

хистскими взглядами, а больше, пожалуй, с кадетскими». «Оба они вскочили на ноги и стоя один против другого – солдат и матрос – с ненавистью смотрели друг на друга».

Иван Иванович продолжает.

«В стране разгорелась Гражданская война. Отец как фронтовик был членом Комитета бедноты, делил землю между крестьянами и целыми днями бродил, <...> отводил лесные делянки для порубки леса и дров. Очень часто крестьяне собирались на сходки. Сидели по целым ночам. Это была какая-то повальная болезнь – собираться и заседать целые ночи. Месяца через два отец поступает работать секретарем сельсовета. В этой должности он проработал до прихода колчаковцев. <...> Крестьяне, в большинстве солдаты, вернувшиеся с фронта. После победы Октября начался раздел пахотной земли, леса и сенокосных угодий. Система землепользования в Пермской губернии своеобразна тем, что помещиков там не было, но сильно были развиты крупные кулацкие хозяйства. Земля делилась по душам. Крестьяне были прикреплены к заводам, но к моменту Октябрьской революции этого закрепления уже не существовало. Кулаки скупали землю у бедноты, а самих нанимали в батраки. На селе властвовал староста, избираемый на три года (обычно из кулаков). Октябрьская революция смела старые устои, и эта волна докатилась до глухой деревни. <...> Фронтовики принесли на село новое, революционное, и на селе хозяевами стали уже не кулаки, а бедняки и середняки. Мой отец был в числе заправил на селе. Несмотря что он кончил только школу, но писал грамотно. Хороший каллиграфист, вероятно, где-нибудь в архивах лежит груда документов, написанных рукой отца. <...> Крестьяне шли к нему за разрешением всех наболевших вопросов: раздел земли, деньги, хозяйство, развод с женой, регистрация новорожденных, умерших, справки о соцположении и происхождении, сбор налогов, организация посевов среди бедноты, организация культурно-массовой работы, работа школ. Все эти вопросы концентрировались в сельсо-

вете, шла ломка старой и создание новой жизни. В июле 1918 г. колчаковцы теснили Красную армию, которая отступала к Екатеринбургу, Перми. Каменск готовился к обороне. <...>Рылись окопы».

В земельных работах использовались в основном купцы города Каменска. Иван Иванович подчеркивает, что трудовая повинность отбывалась всеми гражданами. На мосту через реку Исеть стояли часовые и не пропускали никого без пропусков.

«Вот эти-то пропуска чуть не погубили моего отца. Его посадили в тюрьму. Он ушел с Красными и вернулся домой только в апреле 1919 г. совершенно больным человеком». На сельской сходке отец ***«просил народ принять его».*** Когда приходили белые, отец прятался в лесу. Он был заведующим Райземотделом Каменской волости, членом президиума, однако в члены РСДРП вступить отказался.

11 декабря 1950 года Иван Иванович решил написать родословную для дочери Нины и, вероятно, для себя. Сначала он писал аккуратным почерком, закончил неразборчивой скорописью. Это еще более «фундаментальная» попытка вписать себя в историю. Начинает он не более и не менее, как с Петра I, «прославившего себя великим государственным переустройством на весь мир», частью которого было развитие металлургии: тульские и липецкие уральские металлургические заводы. Именно тогда на Каменский завод завезли кузнеца-металлурга Предка, имя которого установить не удалось. Иван Иванович воссоздает образ мощного, сильного Предка, которого он называет *тульским кузнецом*: ***«иначе не отобрал бы его Петр I для переселения из Тулы на далекий Урал».*** Видимо, он был искусным мастером:

«Плохого мастера не могли бы везти так далеко, да не одного, а вместе с семьей». На Урале из вековых сосен была построена изба, «которая просуществовала, по рассказам моей матери, до постройки нового пятистенного дома дедом Константином. <...> У сына тульского Кузнеца Филата родился сын Степан (мой прадед). <...> К середине XIX в. спустя 150 лет с момента переселения "тульского кузнеца" прадед Степан

увеличил свое хозяйство и уже в это время на Урале вся пригородная земля для возделывания сельхозкультур была перепахана. <...> Прадед Степан имел двух сыновей Константина (мой дед) и <нрзб.>. ***Деда Константина Степановича я знал хорошо. Крепкий старец был лет шестидесяти. Широкий в плечах, настоящий сибиряк, стриженный в кружок по старому русскому обычаю. Волосы, повязанные бечевой».***

Семейство Белоносовых принадлежало к числу аборигенов деревни Байново, где занимались металлургией вместе с сельским хозяйством. Хлебопашества на первых порах не было, хлеб привозили из губерний Центральной России.

Рукопись о предках так и осталась незавершенной. Отрывок кончается словами: ***«Надеюсь рукопись продолжить»***. Историей родных мест Иван Иванович интересуется всю жизнь. Он собирает вырезки из газет, вообще все попадающиеся ему в руки материалы[2].

Язык, в котором Иван Иванович Белоносов живет, не приоткрывает, а скорее создает завесу, продираться через которую нелегко. В октябре 1981 года он так размышляет о своем жизненном пути: ***«Строительство социализма направило по другому пути развитие экономики страны. <...> В 1929 году вступила в свои права массовая коллективизация в сельском хозяйстве, и это коренным образом изменило личную жизнь крестьян, в том числе, мою»***. Здесь же он вспоминает Сергея Есенина: ***«У меня отец крестьянин/ ну а я крестьянский сын»***. Или вот запись от 29 марта 1982 года: ***«А как меня ломала жизнь, особенно тяжелыми были 30-е годы (вторая половина), да! Но все таки устоял в тяжелой схватке с трудностями и вышел на правильный путь»***.

«Вопрос изложения биографического <...> занимает меня на протяжении длительного времени, особенно после второй мировой войны». Он приступает к писанию автобиографии неоднократно, в разных обстоятельствах.

Одна из попыток биографических записей датируется 20 мая 1952 года. Автору 44 года. Свой общий замысел он определяет

следующим образом: ***«В записках показать жизнь человека, жизненный путь которого мог пойти в двух направлениях, или по пути крестьянина – мелкого собственника или по пути развития нового человека с коммунистическими моралистическими мировоззрениями – или иного государственного деятеля»***. Складывается впечатление, что все попытки писания автобиографии «для себя» предприняты с той же целью.

Личная история Ивана Ивановича – явно не только аккумуляция опыта[3]. Она выглядит в высшей степени абстрактной и редуцированной к некоторой модели. Между прочим, этим она и интересна для исследователя. Личные модели восприятия и памяти социально обусловлены, это социальные конструкции. Эти конструкции «принуждают» индивида рассматривать то или иное событие в определенном контексте. Входящие в модель понятия не произвольны, они отображают социальную значимость ситуаций. Биографическая ткань уникальна. Речь идет о разных людях, разных событиях и, несомненно, уникальных эпизодах. Однако они вспоминаются, понимаются, «прочитываются» единообразно, как бы через некую призму. Структура дискурса задает понимание эпизодов, действий, событий и их последовательность. Она позволяет определять объекты и события как релевантные или нерелевантные. Жизнь складывается в историю. Мы постигаем действительность только через наличные модели. «Знание об общественных событиях, общедоступное для данного социума, может составлять пресуппозицию в дискурсе»[4], – пишет Т. ван Дейк. По текстам Ивана Ивановича вряд ли можно изучать частные модели ситуаций. Они связаны с конкретными событиями его повседневности разве что опосредованно. Зато социальные сценарии представлены ярко и рельефно. Какие же сценарии, или нарративные структуры, когнитивные и ситуационные схемы разного уровня[5] стоят за его попытками писания биографии как некоторой истории? О каких конструкциях, выполняющих интегративную функцию, идет речь?

Во-первых, как и в случае Василия Ивановича Васильева, это «ученая» историческая модель, представленная в таком прецедентном тексте, как «Краткий курс истории ВКП(б)», вышед-

шем в свет в 1938 году. Иван Иванович изучает историю как раз в тот период, когда этот текст изучали не только профессиональные историки, но и «вся страна». Краткий курс обеспечивает схематический каркас видения и деления. Иван Иванович явно не только *подлаживается* под правильную модель видения. Он так видит, он *так* помнит, *так* репрезентирует. Именно так он выражает свою интерпретацию мира. Ментальная модель, заданная этой книгой, до сих пор присутствует в системе социальных представлений. Он выступал одновременно в роли Писания и в функции ключевой точки на когнитивно-нормативной карте не одного советского поколения. Он воплощал концепцию истории как эсхатологию, телеологию и теорию линейного прогресса, оказывая мощное воздействие на типы личной идентичности в советском обществе. Для многих «Краткий курс» был знаком перехода от времени-круга традиционного общества к времени-стреле модерна, жизнь *конфигурировалась* (П. Рикер) согласно новым нормам временной организации. Слово «эсха́тология» здесь не случайно. История ВКП(б) вещает о конце, правда, старого мира, о завершении предыстории. Люди поколения Ивана Ивановича интригу «Краткого курса» воспринимали остро и свежо, ощущая соответствие между миром и книгой.

Самообразование советских людей

Этот текст был суров, не терпел разночтений и практически не оставлял места для игры. Легко видеть, что и Иван Иванович строг и

суров, иронии нет места в его текстах. Условности игры он не ощущает и не может чувствовать. Возникает такая ассоциация. В красках естественной установки мир воспринимается трехмерно. Однако мы знаем, что такое видение есть социальная конструкция.

Названная модель, однако, не является единственной. На равных с ней – соцреалистический роман как аналог агиографий и апокрифов. Соцреалистические романы оставляли пространство для жизненной игры, ибо претендовали на воспроизводство повседневности. Далеко не все с удовольствием читали «Краткий курс», но многим хотелось соответствовать романному образу: «Складный, лицо смуглое, глаза блестят, сам культурный, при шляпе-велюр, при сером костюмчике»[6].

Среди бумаг фонда есть некий план. Не совсем понятно, что это за план, однако в структуре наброска Ивана Ивановича явно просматривается модель соцреалистического романа:

I Исторические экскурсы.
Хронологические рамки 1900–1950 гг.
А) Свадьба отца и матери;
Б) разлад в семье с дедом
И) уход отца из дома деда
Г) Работа отца на мельнице
Д) Отзвуки революции 1905–1907 гг. и участие в ней отца.

II Рождение (1908 г.)
А) родственники отца
Б) часы и самовар

III Детство (1908–1916)
А) дед и бабушка
Б) работа отца десятником на строительстве моста через р. Пышму, на строительстве городской земельной управы г. Камышлов
В) Первая империалистическая война (1914–1918 гг.)
Г) Отец уходит на фронт
Д) Снова в Байново

IV Церковно-приходская школа 1916–1921
А) 1-й класс
Б) Екатерина Павловна и Клавдия Павловна
В) Потеря в школе (новая учительница)
Г) письма на фронт к отцу
Д) «Золото» – чтение
Е) Школьные друзья и «враги»
Ж) друзья детства
З) Второй год в четвертом классе
И) Конец учебы

V На распутье
А) Библиотека дяди Васи и отца
Б) Формирование
В) Работа в сельском хозяйстве. Дядя Тося
Г) Смерть отца в 1924 г.

VI «Хозяин» (1924–1929 гг.) «годы развития капиталистических тенденций»
VII Студент
VIII Красная армия
IX Великая отечественная война
X Дипломат

Время от времени Иван Иванович предпринимает попытки выполнить пункты плана. Он делает это в начале 80-х. В отрывке «Мои наставники и учителя» он пишет:

«Происхождение мое (социальное) – рабоче-крестьянское. В годы моего рождения и период раннего детства (1908–1914), т. е. до 6 лет исключительно рос и воспитывался в рабочей среде. До 1914 г. мой отец первое время работал рабочим-выбойщиком (наполнял мукой мешки) на мельнице. <...> Отец часто водил меня на стройки и я становился наблюдателем, как работают плотники, каменщики, чернорабочие. <...> Все это создавало причастность к рабочему мастеровому люду. <...> Мое детское воспитание проходило в

Крестьянские будни начала XX века

труде. Я приобщался к крестьянской работе – борноволок – моя первая специальность, уход за скотом, дровосек, пахарь, косарь, плотник и т. д. Терминологии «наставник» во времена моего становления как человека, крестьянина, рабочего, студента, красноармейца, курсанта, офицера (командира), архивиста-историка-публикатора, ученого еще не существовало, но практически это делалось, активно проводилось в жизнь».

Слово *«наставник»* у Ивана Ивановича явно ассоциируется с профсоюзной деятельностью.

Он отмечает, что от матери взял трудолюбие, честность, целеустремленность. Отец ***«привил мне беззаветную храбрость (это проявилось в годы войны), физическую закалку». «Мать хотела воспитать меня продолжателем крестьянского ремесла <...> у нее сложилось превратное отношение к людям, имеющим образование. Она всегда говорила про людей грамотных: "Это не работник"».*** <...> О деде он пишет, что это ***«был подлинный***

наставник в современном понятии». <...> «От бабушки я воспринял человечность и заботу о близких людях».

Бабушка Ивана Ивановича – женщина неграмотная, о чем свидетельствует документ, доверенность, датированная 1923 годом. За бабушку расписался – тоже с трудом! – другой житель деревни.

«На всю жизнь глубокий след оставила библиотека дяди Васи. В этой библиотеке были книги Дюма «Три мушкетера», «Граф Монтекристо» и другие. Эта библиотека пробудила во мне неимоверную тягу к чтению художественной литературы. Впоследствии долгие годы я не расставался с библиотекой дяди Васи. Первые книги классиков литературы дороги были мне, они действовали на детское воображение».

Именно этот дядя служил кочегаром на флоте. Правда, в этой записи утверждается, что был не *монархистом*, а *анархистом*.

Пишет он и о своих первых шагах в учении. Как и многие люди этого поколения, Иван Иванович начинал в церковно-приходской школе. Он вспоминает уроки Закона Божьего, которые вел дьякон. Последний класс он заканчивал в 1918–1919 учебном году. Закон Божий был отменен, тетрадей не было. Писали на оберточной бумаге, а иногда углем на бересте. К середине 1919 года Урал оккупировали белые, и школы вновь вернулись к старым программам.

«Мои первые учителя привили мне неуемную страсть к учебе и эта страсть познавать новое осталась у меня на всю мою долгую жизнь. Пока я жил в деревне Байново, <...> я не порывал связей со своей школой. Поэтому моя попытка продолжить учебу была встречена матерью в штыки. <...> В результате я только в 22 года возобновил учебу».

Описание смерти отца повторяется в фонде несколько раз в разных местах. Наброски текста с претензией на художествен-

ность написаны в соответствии с советским агиографическим каноном:

«В комнате собрались родственники. Мать стояла около изголовья отца с окаменелым лицом, глаза были наполнены чем-то странным... "Я скоро умру. Это я знаю и чувствую. Позовите мне сына!" – напрягая последние силы, крикнул отец. <...>Он посмотрел испытующим взглядом на сына, который еще больше съежился под его колючим взглядом, и так в течение нескольких минут смотрел на своего сына, как будто он видел его только в первый раз. Взгляд все больше становился тяжелым, и тогда он заговорил чистым густым басом, как, бывало, говорил он, выступая на сельских сходках или митингах солдат. "Сын мой!" – снова повторил умирающий... "Меня скоро не будет в живых, ты останешься без отца. Некому будет поправлять тебя и твои жизненные ошибки. Ты сам должен проложить себе путь в жизнь, я не смог дать тебе достаточного образования, я не смог довести до конца твое воспитание, кто будет тебя воспитывать? Я думаю, что и образование и воспитание сможет дать тебе только наш народ. Учись у народа и не отрывайся от него. Тогда будешь человеком". Отец сорвал нательный крест и протянул сыну» (запись от 2 июня 1951 года)[7].

Дореволюционное прошлое, с его ошибками и заблуждениями, подается в соцреалистических романах в качестве этапа подготовки безупречного настоящего, в котором противоречия если и остались, то только «неантагонистические». Читатель воспринимает биографии героев как «правильные», ибо читатели сами в свое время конструировали собственную биографию. В этом смысле и в историческом метанарративе, и в соцреалистических романах присутствует «жизненная правда». Во всяком случае часть читателей могла сказать: да, это обо мне...

Сопоставление соцреалистических произведений и реальных биографий (вернее, тех способов, какими авторы биографических заметок строят свои нарративы) еще раз дает ощутить, что чтение не есть пассивный акт. Текст – резервуар форм, кото-

рым читатель придает значение. Он производит комбинации с фрагментами и формирует нечто неизвестное в организованном пространстве, создавая бесконечную плюральность значений. Канон не просто задавался сверху, он совместно производился читателями и писателями[8]. Рассказ о бунтарстве отца (мы никогда не узнаем, был ли отец на самом деле таким уж бунтарем), об участии его в забастовке, о противостоянии братьев явно выглядят цитатами из метанарратива, или нарративными клише[9].

Соцреалистические романы – агиография как образцовая биография[10]. Б. Гройс обращает внимание, что биографии – те, что выпускались в серии «Жизнь замечательных людей» и которые так любили мои герои, представляли не реальную историю, а «своего рода агиографию, ориентированную на создание дезындивидуализированного иератического лика. Такое агиографическое описание... Гете совершенно не отличало его от Шолохова или Омара Хайяма – они все любили народ, страдали от происков реакционных сил, создавали истинно реалистическое искусство»[11]. Напомню, что мотивом и образцом для писания записок о жизни послужила книга о П.И. Чайковском. Иван Иванович в своем «плане» также строит образцовую биографию: из беднейшего крестьянина, через учебу и армию в дипломаты. В течение жизни одного человека образцы меняются. И он начинает вспоминать новое и по-новому. По-иному конструируется биография с появлением деревенской прозы[12].

Он начинает вспоминать о деревенской жизни в конце 70-х, прочитав «Плотницкие рассказы» В. Белова.

«Мать до глубокой старости (она умерла 82 лет) была приверженa крестьянской культуре, крестьянской традиции. <...> Правда, здесь еще примешивалась ее религиозность. <...> В Москву мать приехала в 1940 году. Продала свой дом в Байново. Она жила там в это время одна. Жили мы тогда в тесной коммунальной квартире, на Калужской площади, в двух небольших комнатушках (12 кв. м) полуподвального помещения. И вот она заняла свой уголок на сундуке за печкой. Там она повесила маленькую иконку, одевалась она по-крестьянски, разговаривала на чисто уральском наречии, с упором на букву

«о», ходила молиться в церковь, отмечала все религиозные праздники. Пищу готовила по сложившейся крестьянской традиции. <...> В городских условиях крестьянский быт. Когда летом семья переезжала на дачу в Болшево, она завела самовар, и чай пили только из самовара. Если позволяли условия, она готовила по-уральски пироги – рыбники, картофельники и другое. Конечно человек, попадая в другие условия, теряет приобретенную культуру. Так и я растерял крестьянскую культуру, приобретенную веками, а жаль. Прочитал Белова «России донные ключи», журнал «Наш современник» №10 за 1979 год. Многое мне навеяло из детских, юношеских лет, когда моя жизнь проходила в крестьянской обстановке. Это было в далекие годы 1918–1925».

Натуральное хозяйство русской деревни

Он вспоминает о крестьянской жизни тогда, когда крестьянская культура перестает рассматриваться как область пережитков и превращается в ценность.

Вопрос об индивидуальности и субъективности памяти – вопрос открытый[13].

Только в сентябре 1981 года, когда Ивану Ивановичу уже за 70, он рассказывает о столь значимом для его жизни моменте ухода из деревни. Помнил ли он об этом? Во всяком случае этот отрывок как бы внезапно нечто проясняет. Напрашивается сравнение с родником, внезапно вырвавшимся на простор. Вот этот рассказ:

«В 1929 г. моя мать Анна Ильинична и мои сестры <... > вступили в Товарищество по совместной обработке земли (ТОЗ). Но наш ТОЗ просуществовал не долго (вероятно, месяцев шесть-семь). <...> На базе ТОЗа был создан колхоз имени Кирова, в составе 300 крестьянских дворов, около одной тысячи трудоспособного населения. В общем хозяйство колхоза было большое, но рабочей силы было предостаточно, и многие колхозники, в основном, молодежь, были направлены для работы на промышленных предприятиях, на строительство, в лесное хозяйство. Меня и еще нескольких человек откомандировали на строительство моста через реку Исеть. <...> Сначала я работал рабочим на каменоломне по добыче бутового камня для возведения опор моста, позднее меня перевели на забивку свай ручным способом (чугунной "бабой"). Иначе говоря, целый день шесть человек, взявшись за ручки, чугунной бабой мы под песню одного из нас, самого остроумного, поднимали и с грохотом опускали "бабу" на сваи. Тяжелая была работа. К концу дня валились с ног. В один из дней нашего "уханья" подходит ко мне прораб и говорит "Ванюшка", как он звал меня, в Каменске открываются трехмесячные курсы по подготовке в техникум, я думаю направить Вас учиться". Конечно, радости моей не было предела. <...> Подал заявление и вскоре оказался слушателем курсов, а через три месяца студентом Шадринского агропедтехникума. Такова краткая история моего становления из ничего в передового молодого человека. Дорога в жизнь была открыта. Твори,

живи, совершай героические трудовые и ратные подвиги. Так оно и было».

Сейчас, с высоты исторического знания и опыта, можно вписать в историю Ивана Ивановича и многих других недостающие звенья. На глазах деградировала община, та община, которая вывезла из бездны общество в целом. Много написано о роли властного воздействия в разрушении общины. Однако причиной деградации было не только властное воздействие. Крестьяне переходили ту меру, которая обеспечивала воспроизводство привычного образа жизни, крестьянской культуры, крестьянских ценностей, словом, привычной крестьянской повседневности. Опасность начинала исходить от знакомых вещей и людей, от самой общины. На глазах утрачивалось доверие людей друг к другу, на котором базируется существование традиционных общностей. Укусы власти лишь многократно усиливали утомительность, мучительность, ненадежность деревенского существования. Пребывание в деревне виделось молодым людям опасным или же совершенно бесперспективным, они хватались за любую возможность, чтобы из деревни вырваться.

Что касается Ивана Ивановича, уже в 1933 году вместо «уханья» он, ***«будучи студентом Шадринского педтехникума, в спартакиаде допризывников Урала занял первое место по бегу на короткие дистанции и в составе сборной команды Урала участвовал во Второй Всесоюзной спартакиаде в Москве, где в беге на 100 м занял второе место».***

В этих отрывках вполне ясно просматриваются жизненные альтернативы: заполненная тяжелейшим трудом и опасная жизнь в колхозе или возможность превращения, изменения жизненной траектории, попадание в новый мир, возможность «участвовать» (войти в историю).

Иван Иванович полагает, что жизнь его удалась. В декабре 1979 года он побывал на родине, встретился с другом детства: ***«Иногда я думаю, что не нужно было уходить из деревни Байново в город, но вот посмотрел Сапогова и как выглядит его жизнь. Живет со старухой в маленьком домике, имеет небольшое хозяйство и все. Нет, верно я сделал, что в свое время уехал из Байново».***

29 марта 1982 года по дороге из Челябинска он записывает:

«Через 46 лет. Я вновь еду дорогой, по которой приехал в Москву (1936 год) и с тех пор постоянно живу здесь.

Это было жарким летом в августе месяце, когда я ехал учиться по вызову Военной академии имени Подбельского. В то время меня зачислили на подготовительное отделение в эту академию. Но не суждено было мне быть связистом, стал архивистом. Но Москва стала постоянным местом жительства, в общем моей судьбой жизни. Мне было в ту пору 27 лет». Здесь же он размышляет о старости и смерти: «Если буду продолжать работать, обреку себя в ближайшем будущем на физическую смерть, с другой, бросаю работу – моральная смерть. <...> Нужно выбирать. Видимо остановлюсь на том, чтобы принять моральную смерть. Поскольку силы все более и более утрачиваются, нужно сконцентрировать внимание на такой работе, которая при малых затратах даст наибольший эффект: сборник документов по истории профсоюзов – как учебное пособие по кафедре истории профдвижения; 2. Многотомная история. Наиболее реальное – сборники документов».

Как и все «удачливые» люди его поколения, поднявшиеся из низов, Иван Иванович чтит науку и ученую культуру.

Он посещает музеи, причем в 40-е годы делает это целенаправленно, фиксируя свои впечатления в дневнике.

В сентябре 1948 года он посетил литературные музеи Горького и Льва Толстого.

«После просмотра выставки находишься под впечатлением горьковского гения, его душевной чистоты, какого-то захватывающего желания больше работать и познавать». <...> «После четырехчасового осмотра вышел, как раздавленный, приниженный величием души Льва Николаевича. Как скромно жил и много работал. После всего этого, анализируя свои поступки и жизнь, становится страшно и совестно за себя. Как мы мерзко живем, какие гнусные поступки порой совершаем и ради чего

это делается, ради небольшой корысти и выгоды. Хочется во всем подражать Толстому и потому, что он великий, а потому, что справедлив к народу, справедлив к своим поступкам. Справедлив ко всему окружающему. <...> Последовательность Льва Николаевича видна во всем, он верен себе, своему убеждению».

Дневниковая запись содержит тщательное и наивное описание выставки. Иван Иванович неправильно пишет фамилию прототипа образа Анны Карениной: Гатман вместо Гартунг. 24 октября 1948 года он посетил Театральный музей им. Бахрушина, как он уверен, ***«созданный по инициативе В.И. Ленина»***. Он строго судит экспозицию:

«Не плохо показано русское оперное искусство 19 века и начала 20 века, но почти совсем не показан советский период оперного искусства. <...> Например, Шаляпин показан как самородок-талант, что его открыл меценат Мамонтов. Это безусловно противоречит марксистской истории тт. Сталина, Кирова, Жданова. <...> Вот на этой ошибочной точке зрения показа отдельных личностей стоит музей Бахрушина. <...> В общей связи с показом материала очень мало дано высказываний классиков марксизма-ленинизма».

Сам Иван Иванович всей душой привязан к высказываниям классиков марксизма-ленинизма. Он с гордостью сообщает, что, просматривая архивные документы, обнаружил обращение в ЦК ВКП(б) академика Баха с предложением создать университеты марксизма-ленинизма для ученых. Языком плаката он попросту вдохновляется. Как-то Иван Иванович сломал правую руку, однако продолжал писать левой о работе по патриотическому воспитанию трудящихся и соревновании, о том, что именно массы делают историю.

Его когнитивно-нормативная карта практически вся советская, и иной она быть не может. В июле 1960 года наш герой съездил в Карловы Вары. Описание поездки позволяет увидеть, что Иван Иванович воспринимал (узнавал и распознавал) то, что нужно. Его зрение «естественно».

По дороге бывший крестьянин неизменно отмечает состояние сельскохозяйственных культур. Он удивляется лыжникам в июле, возвращающимся с гор, и со всей страстью фиксирует различия, сравнивая Чехословакию с СССР.

«Во всем устройстве жизни ЧССР основное – забота о человеке и его здоровье, все подчинено только этому богу. Человек превыше всего». Чехословакия кажется ему местом, где принцип «все для человека» реализован. Он пристально вглядывается в «быт чехов»: «они одеваются не богато, но со вкусом. Стараются приобрести ценные (автомобиль, мотоцикл, холодильник и др.) вещи. Народ очень трудолюбивый, аккуратный, честный. Мне думается, что у них сильно развито чувство собственности, что отсутствует у большинства наших людей. Наше современное поколение воспитано в социалистическом духе, духе сознания общественной собственности, а не личной, поэтому у нас сбережения тратятся главным образом на личные вещи: одежду, предметы туалета, ор-

Универсальный магазин. Прага, 60-е годы

ганизацию отдыха и лечения. У них современное поколение еще не прошло школы социалистического воспитания, а оно <...> прошло другую школу, школу собственности, и безусловно они не могут отрешиться от собственнических тенденций, которые проявляются в форме приобретения таких вещей, как автомобили, мотоциклы и т. д. <...> Жилищный вопрос у них тоже не требует разрешения, т. к. война у них не затронула разрушением жилье; <...> выселение немцев около двух миллионов[14], *<...> также дало большой процент природа жилплощади, поэтому и нет жилищного кризиса. <...> В общем, сопоставлять экономику нашей страны с их экономикой нельзя, также нельзя сопоставлять быт их людей с бытом нашей страны». <...> «У нас, например, ни школа, ни семья не воспитывают с детства девочек, как будущих матерей, как жен, а воспитывают гражданина вообще, и что же получается на практике: вырастают дети, они не имеют никакого понятия о семье. <...> Наши молодые матери даже не знают, как правильно накрыть обеденный стол, подать приборы, приготовить пищу. Нет элементарных знаний о воспитании детей. Школа воспитывает по методу Макаренко, но ведь Макаренко воспитывал детей беспризорных, а большинство (99%) наши дети имеют родителей, дом, семью».*

«Колоннада, где собираются отдыхающие и пьют воду. <...> Играет духовой оркестр. Классическую музыку послушать интересно». Но еще более интересна для него встреча с Семеном Михайловичем Буденным, *«который подошел и поздоровался за руку».* 30 августа 1960 года советские отдыхающие *«провожали на родину маршала Буденного. Спели песню "Красная кавалерия". С.М. был очень доволен, когда мы исполнили эту песню, даже был тронут и чувствуется, что волнуется в 78 лет, а выглядит прекрасно. Жена молода и обаятельна».*

Интерес представляют и поздние записи начала 80-х под названием «О себе». Ивану Ивановичу уже 72 года. Он пишет 3 июня 1981 года:

«На душе праздник от прилива чувств, вероятно, этому празднику душевного подъема способствовала удачная моя работа («История КПСС» в 6 кн. Книга 1 – профсоюзные сюжеты). Вчера работники Института марксизма-ленинизма <...>, захлебываясь от восторга, сообщили мне по телефону, что при обсуждении макета книги член редколлегии, вице-президент АН СССР Академик <...> положительно отозвался о профсоюзных сюжетах книги. Это – одна из причин моего душевного подъема.

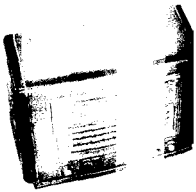
Второе. Вчера очень удачно (на мой взгляд) я выступил на научной конференции ВШПД, посвященной решениям XXVI съезда КПСС и дальнейшей деятельности профсоюзов.

Третье. Видимо, после отдыха хорошее физическое состояние. Четвертое. – Творческий успех – сборник «Соцсоревнование».

На другой день он продолжает и делает запись, которую я для себя называю «Скрипичный концерт Арама Хачатуряна и основные функции профсоюзов».

«Был воскресный день и после бурной научной конференции ВШПД я с большим наслаждением отдыхал на даче в Болшево. День был ненастный, моросил легкий дождичек, а я лениво потягивался в постели. Полины не было, она ушла на Болшевский базар. И мне ни кто (так в тексте! – *Авт.*) ***не мешал отдаться философским размышлениям о прошедшей дискуссии на конференции.***

Включил радио, и диктор объявил, что будет исполняться скрипичный концерт А. Хачатуряна. <...> Звуки музыки наполняли мою душу мечтательностью, располагали к построению неимоверных гипотез, сравнений, исторических экскурсов по поводу дискуссии об основных функциях профсоюзов. <...> И удивительно просто все становилось на свои места». Далее идут страниц двадцать размышлений об основных функциях профсоюзов. ***«Скрипичный концерт Арама Хачатуряна закончился уже давно, а я все пишу и пишу. По-***



ка не закончил мысль о функции профсоюзов, все писал и писал, а когда закончил было уже 16 часов. Наступило такое ощущение удовлетворения, как будто я совершил великий подвиг». Функции советских профсоюзов волновали Ивана Ивановича. 8 января 1982 года он пытается воспроизвести советский ритуал «письма вождю». В фонде имеется неотправленное письмо престарелому Л.И. Брежневу: «Убедительная просьба, Леонид Ильич, еще раз внести ясность в вопросы основных функций профсоюзов...»

Эта запись, над которой впору потешиться, представляется симптоматичной. От нее так и веет настроением умиротворения. Дискуссии носят схоластический характер и не связаны с вопросом продолжения жизни, а их участник находится в абсолютной безопасности. Он свободен от необходимости. Он может испытывать душевный подъем, а может мирно потягиваться в постели, поджидая жену. Борьба – в прошлом: за что боролись!

***

Знакомство с этим фондом открывает богатые возможности для анализа. Во-первых, нарративные источники дополняются *делопроизводственными*: разного рода справками и выписками.

С одной стороны, они позволяют более точно реконструировать историю жизни Ивана Ивановича. Мы узнаем, что он заключил второй брак с Прасковьей Никитичной Бердичевской 3 января 1938 года, когда у него уже родился сын.

Из справок и выписок мы можем узнать хотя бы что-то о повседневной жизни героя в конце 30-х годов в Москве, жизни, которая в рассказах Ивана Ивановича никак не освещается. В 1939 году он живет в Коровьем переулке, в комнате площадью 8,55 квадратных метра, а перед войной переезжает на Большую Калужскую. Бережливый Иван Иванович сохранил среди бумаг черновик заявления: ***«жильцы кв. 13, где проживает 7 семей (35 человек) вот уже второй месяц живут без уборной»***.

Мы воочию видим, как от живых людей остаются лишь жалкие бумажки. Так, от отца Ивана Ивановича остался окладной лист по единому сельскохозяйственному налогу за 1923–1924 го-

ды. Среди документов – справка 1924 года о полной потере трудоспособности. Мы знаем, что отец Ивана Ивановича умер 45 лет от роду. От матери – «Обязательство по поставке государству картофеля урожая 1935 года колхозниками по необщественным посевам»: с 0,5 га – 85 кг.

Возможно и иное отношение к делопроизводственным документам. С их помощью появляется возможность проследить генезис структур и классификаций, понять, как этого и многих других Иванов Ивановичей категоризировали. Как *делали исчислимыми* (Ф. Ницше) и стимулировали к действиям определенного рода. Именно обращение к разнообразным справкам и личным документам позволяет выйти на вопрос о социальной конструкции самих принципов конструирования социальной реальности, которые агенты применяют к социальному порядку[15]. Позиция, занимаемая агентом в социальном пространстве, управляет репрезентациями этого пространства. Мы начинаем понимать, как Иван Иванович обрел свою «позицию письма», или принцип видения *(точку зрения)*, через какие именно структурные решетки ему надо было для этого *просочиться* (или его *продавливали*). Так, при поступлении в техникум после подготовительных курсов он предоставляет справку из сельсовета, удостоверяющую, что он не был лишен права голоса.

Мы узнаем, какие предметы он изучал в техникуме: история классовой борьбы и экономическая география, родной язык и математика, основы индустрии и химии, естествознание и сельское хозяйство, педагогика и педология, немецкий язык и ИЗО, физкультура и военное дело.

В 1933 году Иван Иванович становится ударником и получает соответствующую справку.

Удостоверение

Предъявитель сего член Союза Рабпросвещения тов. Белоносов И.И. действительно ударник производственного коллектива как выполняющий и перевыполняющий производственные задания на основании постановления Президиума Шадринского Городского совета от 23 февраля с. г. за №9 при производстве операций, связанных с оплатой комуслуг, пользова-

нии общественной баней, при приобретении билетов в зрелищных предприятиях, а также при обращении во все торгово-кооперативные органы, в лечебные и финансово-кредитные учреждения имеет право производить операции вне очереди.

Настоящее удостоверение действительно на территории г. Шадринска с соответствующей отметкой Профкома на обороте удостоверения о выполнении производственных заданий.

Председатель профкома *Подпись*
Председатель производственного совещания *Подпись*

Когда его призвали в армию в 1934 году, он должен был заполнить соответствующие пункты следующей анкеты:

Стандартная политическая характеристика призывника

1. Социальное происхождение и имущественное положение призывника.

2. Имущественное положение хозяйства до и после революции.

3. Если от родителей живет отдельно, с какого времени и какую имеет связь.

4. Кто из семьи или родственников лишен избирательных прав, когда и за что.

5. Кто из семьи раскулачен и когда.

6. Какую имеет связь призывник с лишенцами, раскулаченными или чуждым элементом и в чем она выражается.

7. Был ли призывник под судом или осужден, за что и на сколько осужден.

8. Отношение призывника к работе на производстве, в колхозе и политкампаниях.

9. Дополнительные компрометирующие сведения на призывника.

По пункту «социальное происхождение» Иван Иванович отвечает, что он крестьянин-бедняк. С этим пунктом ясности нет. В справках ему писали, что он – крестьянин-середняк. Он сам

пишет «бедняк», тем самым пытаясь заставить работать «систему» в свою пользу. Думаю, что он прекрасно чувствовал риск такой игры, но делал это, пытаясь выиграть.

Совпадение официальной и неофициальной классификаций в случае Ивана Ивановича достигает высоких степеней.

Получив 23 июня 1941 года повестку о призыве на военную службу, он отправляет телеграмму:

Москва Кремль тов. Сталину тов. Молотову Готов стать на защиту родины. Считаю себя мобилизованным. Уверен в победе.

Плакат начала Великой Отечественной войны

Мы наблюдаем соответствие между ментальными формами, социально институированными в умах через обучение (закалку) разного рода, и реальностью, обозначаемой правильно написанными словами. Вот отчего Иван Иванович – агент определенного легитимного порядка. Логика официальной номинации и индивидуального языка агента в данном случае совпадают. Работа по поддержанию и воспроизводству социального порядка требовала от него всех жизненных сил, а потому люди, ему подобные, не способны были инициировать «изменение традиции».

***

Специфика повествований Ивана Ивановича в том и состоит, что явных следов боли в них нет: сплошная анестезия. Можно высказать гипотезу, что мы имеем дело, скорее, с новым типом

отношения к боли, новым способом вытеснять память о ней. Складывается даже впечатление, что в пространстве, которое воспроизводится по тексту Ивана Ивановича, боль – не более чем иллюзия. Разве что в тот момент, когда завершение рассказа, оно же конец жизни, уже обозначилось, мы читаем крик одинокого человека, записанный сбивчивым почерком. Это запись от 19 сентября 1981 года. Ему 73 года. Он лежит в больнице. Навещают старые сослуживцы из архива, а с нового места – никого. Он делает вывод: ***«нет у меня друзей, ни родных, ни знакомых. Один как перст»***. Конец один! Он уже отказался от заинтересованности и ставок на будущее. Он почти детемпорализован. Он писал, пока ощущал себя втянутым в настоящее и «настающее». Он пребывал в состоянии «моральной смерти», как он сам его характеризовал, почти 20 лет. Он умер в 2000 году, почти что заглянув в XXI век.

ПРЕЖДЕ И ТЕПЕРЬ, ИЛИ ЛЮБОВЬ К СТАЛИНУ

Обратимся еще к одной группе документов. Речь идет о фонде Владимира Ильича Едовина. Фонд состоит из толстых томов, которые составлены самим Владимиром Ильичом. Так, толстый ежегодник 1979 года называется «Радости и горечь жизни», следующий том, за 1979–1981 годы – «Трудные годы». Здесь же хроника «Год за годом» (1982–1993), дневниковые записи и тетради «из личной жизни» (1968–1974), «Узелки на память», сочинение «К Светлому будущему, к царствию небесному (досужие размышления обывателя)», а также рукопись «Утерявшая себя Россия», датированная 1994 годом.

В противоположность Ивану Ивановичу, который себя обывателем не считал, Владимир Ильич без стыда называет себя обывателем. Его материалы представляют собой толстые рукописи, аккуратно перепечатанные на пишущей машинке «Москва». Это коллаж из мемуаров и биографических документов, вырезок из газет и записей семейного бюджета, наблюдений за погодой и список слов диалекта Северного края. Здесь вырезка из газеты «Брежнев и Косыгин голосуют» рядом с фотографией деревенских детей, которых Владимир Ильич учил в 1947 году, фотография сына в гробу, а рядом Людмила Зыкина и Эдита Пьеха. Много вырезок из газет на тему «Просто интересно»: стихийные бедствия, житель Мадагаскара, доживший до возраста 161 год, история мужского галстука, талоны на сахар и «винно-водочные изделия» и т. д. Если у Ивана Ивановича коллаж случаен, то Владимир Ильич сопоставлял документы сам, чем этот фонд и специфичен. Мы хорошо видим, как индивид вписывает себя в большую историю и как эта история вписывается в него самого.

Писать он начал после того, как прочитал в газете «Северная правда» от 6 августа 1978 года статью «Семейные реликвии», которая призывала беречь историю семей от небытия и забвения и напоминала о необходимости осознания ценности человеческой индивидуальности. По сравнению с предыдущими героями Владимир Ильич принадлежит к поколению, жизнь которого началась уже при советской власти. Он родился в 1921 году на границе нынешних Архангельской и Вологодской областей (раньше Северная область) в деревне Есиновская на реке Ваге, недалеко от села Ровдино Вельского уезда. Место это расположено в треугольнике между Няндомой, Котласом и Великим Устюгом. В записках Владимира Ильича есть карта, на которой обозначены места, с которыми связана его жизнь. Место ссылки и заповедник для этнографа.

Главная болевая точка в памяти Владимира Ильича – раскулачивание отца в 1930 году.

Его отец был мельником. Он выписывал газету «Беднота» и «Крестьянскую газету», одновременно любил читать церковные книги, хотя в церковь ходил только по большим праздникам. И то и другое он делал для понимания событий, происходивших в стране после революции. Главный вопрос, ответ на который он искал, – будет ли второе пришествие Христа[1].

И вот в 1930 году произошло событие, которое перевернуло жизнь семьи, а для Владимира Ильича до конца его дней осталось травмирующим воспоминанием. Жизнь разделилась на «до» и «после». Владимир Ильич вспоминает:

«В нашей деревне все крестьяне до коллективизации были безбедны. Однако во время коллективизации партийная ячейка сельсовета, выполняя задание по раскулачиванию, приняла решение по отнесению нашей семьи к зажиточным. В 1930 году отец подвергся раскулачиванию. Активным организатором этого был Гриша Немков, член партъячейки, человек энергичный, недостаточно грамотный, с одним глазом.

К нам пришла комиссия, описали основное имущество, <...> допечатали и ушли. Самым обидным для меня, ребенка, казалось, что в числе описанных вещей была пачка линованной бу-

Зажиточная крестьянская семья. 30-е годы

маги. <...> К нам реже стали приходить гости. Близкие родственники приходили и рассказывали, что в деревне раскулачивание Ильи Павловича (то есть отца Владимира Ильича. – *Авт.*) ***вызвало недоумение, осуждение, но втихомолку, боялись репрессий. Отец был послан на лесозаготовки для выполнения твердого задания <...>, на семью возложили повышенные налоги. Отец выполнял, каждый раз осуждая несправедливость. <...> В школе Валька Кичева из Юхневы, дочь активистки сельсовета, меня называла кулаком. Остальные ребята этого ни разу не допустили. А в классе у нас на газете был написан лозунг "Ликвидируем кулачество как класс". Такой лозунг, <...> как сейчас вижу. Хотя сидел в первом классе»***[2].

В марте 1930 года была опубликована статья Сталина «Головокружение от успехов». Отец был реабилитирован.

«Кончились приготовления к ссылке семьи: сушили сухари, вели моральную самоподготовку. "Раскулачивание" сильно по-

влияло на политические устои отца. Он с недоверием относился к организации колхозов, хотя каких-то противодействий не собирался делать, просто решил в колхоз не вступать. <...> Единоличникам отвели худшие земли, пашню, сенокос. Под давлением трудностей и отчужденности в 1932 г. отец вступил в колхоз имени Сталина. Колхоз объединял крестьян одной нашей деревни, быстро налаживал совместный труд. Отец вскоре стал казначеем в колхозе, в денежных делах соблюдал строгость и аккуратность. <...> В первое время крестьяне следили за состоянием сданной в колхоз лошади, телеги, коровы и ругали правление за недостатки, жалели свое добро долго: таилась искра ненадежности объединения. В колхоз стала поступать техника. <...> По соседству с колхозом была коммуна им. И.В. Сталина. Коммуна была плодом перегиба в аграрной политике партии. <...> Жизнь в коммуне не пошла в намеченном плане. Уравниловка, низкое плодородие, слабые доходы не дали зажиточной жизни коммунарам, хотя государство хорошо помогало. Коммунары стали уезжать. Позднее ее объединили с нашим колхозом. Скот перевели в на-

Визит комиссара к крестьянину-единоличнику

шу деревню. Скот был прекрасен. Холмогорской породы. <...> При таких условиях до войны по тем временам в нашем колхозе жили неплохо, даже некоторые хорошо. Дело в том, что народу было достаточно для выполнения работ своевременно, колхозники под впечатлением новых условий работы относились к делу добросовестно. Это уже после войны, когда труд почти не оплачивался, люди перестали ходить на работу и нерадиво к ней относились»[3].

В колхозе им. В.И. Сталина было примерно 100 человек.

Это событие – ключевое для перипетий дальнейшей жизни Владимира Ильича, для расставания его с деревней. Можно высказать уверенность, что ребенок, привыкший жить в теплой глубине общности, ощущает острое чувство одиночества, отчуждения, аномии. Ему хочется быть полноценным членом общности. Это одиночество сопровождается ощущением смертельной опасности: отец был реабилитирован, но воспоминание о том, как готовились к ссылке и сушили сухари, осталось.

Владимир Ильич, как можно судить по его материалам, с советским обществом в полном ладу, в согласии. «Чтобы жить счастливо, я должен быть в согласии с миром», – записал некогда в дневнике Л. Витгенштейн[4]. Владимир Ильич мог бы под этими словами подписаться.

Рукопись 1979 года «Радости и горечь жизни» открывается посвящениями. ***«Моему первому внуку Володе посвящаю. Гению и простоте, скромности Ленина вместе со всем миром искренне и убежденно покоряюсь и я»***. Здесь же наклеены два портретика. Один – фотография внука. Другой – вырезанный из журнала портрет Ленина. Внук явно назван не только в честь деда, но и в честь вождя. Совпадению своего имени с именем Ленина наш герой несомненно придавал значение. На первых же страницах в мае 1978 года он пишет: ***«Я благодарю Родину, народ за счастье жизни, за то, что свободно жил и работал в трудное и прекрасное для народа время восстановления нашей Родины. И если я сделал мало для Родины, вина в этом моя»***[5]. Эти посвящения – свидетельства полного согласия. Как произошло примирение?

Не менее объемному тому «Трудные годы» (1979–1981) предпослан эпиграф из крестьянского поэта И.С. Никитина:

«И не знаю я, чем помочь себе,
Какой выбрать путь, не придумаю».

Заметим, что в приведенном отрывке о жизни в колхозе пишущий не может избежать канцелярских оборотов: *перегиб в аграрной политике партии, уравниловка* и пр. В описании новой жизни как бы и нельзя избежать классификаций, услужливо предоставляемых именно этим языком. Опять вопрос – как это произошло?

Ему хочется, чтобы история о том, как он из сына раскулаченного крестьянина стал советским человеком[6], сохранилась.

Крестьянин-лоточник. 30-е годы

«При первом знакомстве с моими записями моя жена выразила самое негативное суждение, обидное для меня. <...> Трудно судить, как оценят все изложенное мои потомки и как долго будут храниться мои записи, наши архивы. Мне хотелось бы, чтобы они хранились бесконечно долго!»[7]

Владимир Ильич пишет о том, что в тридцатые годы в деревне господствовало натуральное хозяйство. ***«В магазине покупали только соль, спички, сельскохозяйственный инвентарь, ткани. Магазинов было 1–2 на 3–4 десятка дере-***

вень. Ходили за 10–12 км»[8]. Он отмечает, что сами изготовляли валенки, сами выделывали кожу и шили сапоги. Сами ткали ткани, шили одежду и вязали. Держали много скота для навоза, а значит, имели много мяса и сала. Не случайно в среде крестьян бытовало мнение, что проживем без города, пусть город без нас проживет. Владимир Ильич пишет, что покупной хлеб попробовал только в 1932 году – понравился...

Он вспоминает деревенские ярмарки, которые были прекращены в годы коллективизации: ***«Тут стала развиваться кооперативная торговля через сельское потребительское общество»***[9].

Владимир Ильич, вспоминая, постоянно сравнивает ***«северного простака»*** и ***«южного и столичного мещанина»***. ***«Подхалимаж, чинопочитание и взяточничество процветают в среде начальства и интеллигенции!»***. Север аутентичное, «подлиннее», чем юг.

«В этой обстановке решалась судьба семьи: будет она бедной или она уйдет от нужды, все зависело от трудолюбия главы семьи, умения вести хозяйство. В нашей деревне, да во всех волостях почти не было так называемых бедняков. Богатые богатели на "лесохимии" (деготь, сера, уголь)»[10]. Владимир Ильич проницательно замечает феноменальную зависимость северного сельского хозяйства от «мужской силы и лошади». ***«Распад натурального хозяйства начался в деревне на моих глазах и теперь полностью закончился. Теперь в деревне почти все покупное (кроме урожая с приусадебного участка)»***[11].

Он рисует картину школьной учебы. С бумагой было плохо, писали на листках из книг с бледным шрифтом. Ученики начальной школы участвовали в кампании по ликвидации безграмотности. В 5-й класс Владимир Ильич ходил пешком за 10 километров. В качестве портфелей ребята брали в закрытой церкви толстые духовные книги, обрывали обложки и использовали вместо отсутствующих портфелей. Учителем у них был сын местного священника. Описывает он и круг чтения. В деревне ходили старые издания «Ната Пинкертона» и «Шерлока Холмса», старые журналы «Нива» и «Родина». Они на равных читали Жюля Верна и Федора Панферова, затем появилась «Как закалялась сталь». В художественной самодеятельности читали

рассказы Зощенко. Он вспоминает деревенского пьяницу, который ходил по деревне и орал: «Сволочи, все крестьянское добро разорили». По тону нельзя сказать, одобряет Владимир Ильич или порицает. Он рассказывает, как пели тогда частушку:

«Калина-малина, нет портков у Сталина
Есть портки у Рыкова, и те Петра Великого»[12].

Так и жил Владимир Ильич. Случай выпал ему в 1937 году, когда он окончил в деревне неполную среднюю школу, то есть семилетку. Его старший брат уехал и устроился на работу под Москвой, в Химках, в Институт механической обработки дерева и пригласил к себе на время младшего брата. Владимир Ильич впервые увидел поезд. В Химках он начинает учиться в восьмом классе, то есть в средней школе, овладевает умением говорить «по-московски», начинает изучать немецкий язык.

В воспоминаниях Владимир Ильич обращает внимание на трудности на пути к литературному языку: ***«А наше знаменитое северное оканье поражает многих. Все это поразило и моих одноклассников и учителей. Учителя удивлялись и моему логическому ударению! Трудно было понять, закончил я предложение или хочу что-то сказать. У меня это вызывало обиду, досаду и слезы. Я несколько замкнулся, перестал общаться с ребятами. <...> И я стал учиться новой речи. Мне сопутствовал успех. <...> У меня реже стали произноситься слова – паре, порато, ево, ужу – вместо них появилось мирово... Вместо «О» – «А», научился произносить «Л» в конце слова, и это было самым трудным»***[13]. В Москве он почувствовал освобождение от стигмата, а значит, и от боли. Ведь в деревне он был не как все, не был нормален. ***«Я не был пионером по социальному положению»***[14], – вспоминает Владимир Ильич. В Москве его приняли в пионеры. Более того, в классе он получил прозвище «Ленин» ибо он – Владимир Ильич. Вместе с классом он побывал в Музее В.И. Ленина и Музее мозга.

«Счастливая Москва» очаровывает его. Кремль приводит в неописуемый восторг. ***«Посещение мавзолея вызвало у меня слезы, а участие в первомайской демонстрации по-настоящему без-***

граничную детскую радость»[15]. Он в восторге и от метро, и от дирижабля, увиденного на лыжной прогулке (***«дирижабль В-6 гигант»***), от гуляний в Парке культуры и отдыха им. А.М. Горького. Владимир Ильич приобщается к радию, которое дает ему возможность услышать передачу по книжке «Мальчик из Уржума» (биография С.М. Кирова для детей, написанная А.Г. Голубевой в 1936 году), а также передачи о Буденном и Ворошилове. Таким образом он знакомится с образцами советской биографии. Он «заболевает» кино и Чарли Чаплином. Ниже я привожу отрывок из воспоминаний, который, как мне кажется, передает состояние заряженности желаниями и невозможности их исполнения. Желать – значит не быть несчастным. Хотя желания отнюдь не всегда исполняются. Здесь исходный пункт привязанности его к Сталину, которая может показаться странной, если иметь в виду его жизненную историю.

Аттракцион «Спиральный спуск» в ПКиО им. Горького. 30-е годы

«Я любил слушать по радио выступления Л. Утесова, В. Хенкина, И. Москвина, И. Ильинского и многих других. Все годы учебы меня не покидало желание заниматься техническим творчеством. <...> Любил песни Дунаевского на слова В. Лебедева-Кумача. Мы следили за эпопеей И.Д. Папанина.

В Москве я потратил много времени, шатаясь по улице Горького, Кирова, внимательно разглядывая витрины магазинов радиотоваров: мне очень многое хотелось купить для моего радиоприемника, который делал в деревне, у которого многого недоставало. Мне хотелось иметь увеличительное стекло, лупу, линзы, а для чего, сам не знаю. Но для покупки нужны были деньги, которых у меня не было»[16].

Вечером у радиоточки в фабричном общежитии

Понятно, что Владимиру Ильичу недоставало не только денег. Увеличительное стекло, которое он хотел купить, сам не зная для чего, выступает неким знаком соблазна.

Соблазняла городская жизнь. Ему хочется учиться, ибо он осознает, что ***«без образования придется работать в колхозе на физической работе»***[17]. Ему хотелось участвовать в жизни, тем более что он знал, что такое стигмат и отверженность. Он участвует, пользуясь теми формами, которые предоставляла тогдашняя, буквально насквозь политизированная жизнь. Ему страстно хотелось быть в истории.

«Я уже в те годы регулярно читал "Пионерскую правду", "Крестьянскую газету", "Правду Севера". С особым внима-

нием читал материалы судебных процессов над врагами народа. Я знал имена – Н.И. Ежов, А.Я. Вышинский, В.М. Молотов, И.С. Хохлов, А.М. Маленков. Особую популярность в народе имели М.И. Калинин, С.М. Киров. У меня особую горечь вызвало убийство С.М. Кирова. <...> Любовь к Сталину у меня была искренней. Мне нравились песни, все произведения искусства, посвященные ему. <...> Я верил в эти годы в величие Сталина: все казалось естественным и необходимым»[18].

Сталин стигматизировал его, он же освободил от стигмата. Он же соблазнял преображением, *превращением* (в том смысле, в каком употреблял это слово Э. Канетта), то есть возможностью *сменить курс*, стать другим, не воспроизводить до бесконечности жизнь отцов.

Тем не менее в следующем, 1938 году ему привелось вернуться на родину.

«Весной 1938 года я приехал домой на каникулы, а осенью вернулся на учебу. Но Алексей не сошелся характером с руководством <...> и уволился. Нас выселили из квартиры. Начались неприятности, жили в общежитии без прописки. <...> Алексей не принял мер по удержанию меня. <...> Больше того, он сказал, что мне как непрописанному предложено выехать на 101 км от Москвы. И я уехал»[19].

Его образование – 8 классов – для деревни было высоким. Он стал учеником счетовода в сельпо, но через год был уволен по сокращению штатов. Владимир Ильич пишет: ***«Прошедший год был разгульным, особенно лето 1939 г. читал, играл на балалайке, участвовал в художественной самодеятельности»***[20]. Он вспоминает белые ночи, деревенские молодежные гуляния и пляски под гармошку и балалайку. Собиралось по 40–50 человек. Молодежи в деревне было много. Он не пишет о том, какие в деревне шли социальные игры, способствовавшие выталкиванию оттуда людей, прежде всего молодых, наиболее способных к социальному превращению.

Досуг в советской деревне. Конец 30-х годов

В конце сентября 1939 года Владимир Ильич поступил на десятимесячные педагогические курсы при Шенкурском педучилище, где вступил в комсомол. Рядом с упоминанием последнего факта идет следующая запись. ***«Здесь я научился танцевать бальные танцы, прежде всего вальс»***[21]. В пространстве повседневности все на равных...

«В Шенкурске я прошел приписку в армию. Ночь перед припиской я не знал как скоротать, не спал, боялся проспать <...> да и переживания невероятные, так хотелось служить в армии. Беспокоился я не случайно: ростом был мал, не было значка "Ворошиловский стрелок", негде было сдать раньше»[22]. «Невероятные переживания», о которых поминает Владимир Ильич, действительно связаны с острым желанием попасть в армию, ибо это был легальный и нормальный способ ухода из деревни. Армия – институт модернизации. В модернизирующихся обществах молодежь хочет служить в армии. Попасть в армию – пройти инициацию, тем более что ему надо было заполнить графы «Стандартной политической характеристики призывника». Вероятно, он опасался, что его могут «отсеять», ибо отец его в течение некоторого времени был *лишенцем*. Владимира Ильича предупредили, что осенью он будет призван, а пока он был направлен на работу в деревенскую школу.

Быт выселенных кулаков. Конец 30-х годов

Походя Владимир Ильич эпически замечает: ***«В верховье речки Тарня возник поселок Уксора, где было поселено кулачество с юга страны. Более 10 тыс. человек прошло через этот поселок, многие из них здесь умерли от трудностей. Поселение было образовано в лесу на пустом месте»***[23]. Это было неподалеку от того места, где он учительствовал. Лагеря – часть самоочевидной повседневности. Наш герой большую часть жизни жил там, куда ссылают. Жизнь ссыльных и жизнь «вольных» не слишком друг от друга отличаются. Муж родной сестры репрессирован. Другой родственник работает в системе исправительно-трудовых лагерей. Сестра выходит замуж на выходца с Кавказа, высланного в Архангельскую область. Отец боялся благословлять этот брак, но все же благословил. Обошлось[24].

Опасения Владимира Ильича оказались напрасными: стране были нужны солдаты, и осенью 1940 года он был призван на Северный флот. А летом ***«крутили патефон, без конца слушали песни Вадима Козина, Юровской, арию Фарлафа из "Руслана и Людмилы", читали книги, ходили в кино»***[25]. Как можно судить по записям Владимира Ильича, армия оправдала его надежды. Ему нравилось именно модернизационное начало армии: дисциплина, планирование. ***«Я не чувствовал особой тяготы дисциплины и требования к нам. Мне нравился порядок, дисциплина: все по расписанию, четко, напряженно»***[26]. Он охотно подчинялся

«кондиционированию» и дрессуре тела, а также и *идейной дисциплине*. Он упоминает о том, что в казармах велись разговоры на серьезные темы *вплоть до диктатуры пролетариата и философии*. Полагаю, что армия привнесла ясность в неясные обстоятельства и отношения, придала жизни нашего героя определенность. Его проблемы с идентичностью были решены.

Курсанты военно-морского училища. Начало 40-х годов

Привлекала и армейская повседневность. Владимир Ильич отмечает новые для него атрибуты жизни: тюфяки и постельное белье, новая еда. ***«Кормили нас превосходно, особенно мне нравились какао с белым хлебом и маслом, гречневая каша с подливой, флотский борщ. Первые дни нам не хватало еды, а потом стало оставаться, и нас перевели на тот же порядок, что и старослужащих: на столе не ограниченное количество хлеба, масла, сахара»***[27].

Выпадали на их долю и развлечения, кино, танцы с женами офицеров, флотские и цыганские ансамбли, конферансье.

Во время войны Владимир Ильич продолжал службу на Севере. Он был секретарем комсомольской организации батареи, отвечал за выпуск «боевых листков». В 1942 году стал членом

партии, а из армии вернулся на родину в 1946 году лейтенантом. Он прослужил в общей сложности шесть лет. В рукопись вклеена Почетная грамота, украшенная изображением танка с надписями: «За родину, за Сталина» и «Смерть немецким оккупантам!»

За помощью в поисках работы он обращается в райком и получает совет обратиться в РОНО. Его назначают учителем, а затем избирают секретарем парторганизации колхоза «III пятилетка» (он занимался партийной текучкой: собрания, взносы). Затем ему предложили работу штатного пропагандиста райкома партии. ***«Над ответом я долго не думал»***[28], – лаконично замечает Владимир Ильич. Начались командировки с чтением лекций. Любимые темы – «Международное положение», «О работе ООН», «Текущий момент». Кроме того, он ездил по деревням с облигациями госзайма, вместе с начальником милиции обеспечивал «выполнение плана сдачи хлеба государству колхозами», словом, был рычагом партии. Из его записей хорошо видно, что партийные директивы претворялись в жизнь отнюдь не автоматически. В жизни были и хитрость, и компромиссы. В записках – свидетельства райкомовской повседневности.

«Проводили отчетно-выборные собрания в колхозах. Тут самое трудное – вопрос о председателе колхоза. Не давали колхозникам выбрать, как тогда говорили, своего. Когда мы были дома, не в командировке, то сидели, готовились к лекциям, сидели над ребусами, философствовали по поводу, почему так долго нет очередного XIX Съезда партии, даже в журнал обращались, но ответа не получили»[29].

В 1949 году Владимиру Ильичу предложили стать заведующим Отделом пропаганды и агитации райкома партии в Амдерме, что намного севернее Воркуты. Его жене был предложен пост заведующей РОНО[30]. Район по площади равен Голландии, населенных пунктов всего пять. Крайний Север, жилья нет. Начинали они с комнаты площадью 8 квадратных метров. Аппарат райкома невелик: два секретаря, три заведующих отделами, работник партийного учета, машинистка да «техничка» (как то-

гда называли уборщиц), всего 8 человек. Чем они занимались? Проводили выборы в Верховный совет у ненцев. Читали лекции и вели *общий надзор* за бригадами оленеводов. И то и другое воспроизводило отношения власти и устанавливало всеобщую общественную связь, то есть *объединяло людей в советское общество*.

Председатель местного колхоза дал своим детям-близнецам «магические» имена: Рево и Люция[31]. Партийные нравы отличались патриархальностью и библейской простотой. ***«Секретарь окружкома партии Гузырев А.Н. (коми) не очень грамотный и довольно нудный, но предельно простой человек. Он, бывало, читал у нас публичную лекцию по международному положению СССР, читает, читает, а потом остановится, снова прочитает понравившуюся мысль и скажет с удивлением: "Вот оказывается как!"»***[32].

Владимир Ильич был доволен: ***«Моя работа в райкоме была несравнимо легче, чем в райкомах на материке: хозяйство небольшое, начальство далеко, телефонной связи нет. <...> Я вел занятия райпартактива. Сейчас я удивляюсь, как я справлялся с этой работой, не имея политического образования»***[33].

У него был друг, секретарь райкома комсомола. Жена его была дочерью священника, что не позволяло другу поступить в Высшую партийную школу. Владимир Ильич помог ему преодолеть, вернее, обойти это препятствие.

В 1951 году он впервые в жизни получил путевку на курорт.

В рукописи есть и воспоминания о смерти Сталина.

«Усилиями партии любовь народа к нему доведена была до истинных чувств. Я находясь на партийной работе, часто писал письма СТАЛИНУ[34] для принятия их различными собраниями. Писал от души, с истинными сыновними чувствами, без тени фальши, я ему верил, обожествлял. Его выступления, книги просты по содержанию, четки по изложению. Его роль и талант полководца в Отечественной войне, воля – стальная и непоколебимая. Меры, принятые против врагов народа и нарушителей дисциплины, были необходимы ис-

торически. В стране налаживался какой-то порядок». <...> Все дни болезни и смерти Сталина мы каждую минуту и даже ночью сидели у радиоприемника. Слушали сообщение о смерти со слезами, плакали, как малые дети. Берия, <...> пользуясь доверием Сталина, убил многих невинных людей. <...> Позднее началась кампания борьбы с культом личности Сталина, воспитание недоверия к руководителям, к вождям страны[35], постепенно началась работа по созданию культа новой личности»[36].

Он искренне привязан в Сталину, ибо именно со Сталиным связано ощущение погибели и смертельной опасности, чудесного избавления и радикальной перемены в жизни: ***«Имя Сталина для нас было святым не по принуждению, а из искренних чувств. После смерти его имя стало позорной кличкой. Уничтожено огромное количество памятников, монументов, произведений искусства, музеев, миллиарды томов книг!»***[37] (л. 176). ЦК не взял на свою совесть вину за репрессии. Владимир Ильич не испытывает чувства любви ни к Хрущеву, ни к Брежневу. С удовольствием он пересказывает анекдоты о Брежневе. Чувства действительно искренни... Воспоминания Владимира Ильича хорошо демонстрируют, что связь этой любви с «уговорами», то есть действием пропаганды (сусальные рассказы о юношеских годах вождей, портреты с ребенком на руках, эпические полотна художников), не «работает».

В томе «Радости и горечь жизни» есть раздел «Областная партийная школа» (01.09.1954–12.06.1957). Речь идет об учебе Владимира Ильича в ОПШ[38] в Архангельске. Он довольно подробно описывает, чему их учили: ***«Общественно-политические дисциплины, практика партийной работы. Минимум знания по гуманитарным вопросам. Значительное место занимали экономика народного хозяйства и технология некоторых видов производства. После окончания ОПШ можно было работать в школе, вести историю, работать экономистом, младшим агрономом-организатором»***[39].

Он с удовольствием вспоминает эти годы. Почти по-детски гордится тем, что на первомайской демонстрации стоял на трибуне.

Во время учений слушатели из глубинки побывали в театре, встретились с интересными людьми – пулеметчицей дивизии Чапаева, летчиком М.В. Водопьяновым, певцом Леонидом Утесовым. Тогда же Владимир Ильич впервые побывал в Ленинграде. Он стал курить «Беломор» ленинградского производства – фирма! Материально во время учебы, по собственному его мнению, был обеспечен хорошо: за ним сохранялась его северная зарплата.

Владимир Ильич получил диплом с отличием и был назначен (*избран*) вторым секретарем горкома партии в маленьком городе Мезени (городок расположен в Мезенской губе Белого моря). Там были климатические надбавки, зарплата почти сохранялась, не так суров климат по сравнению с Амдермой. И опять площадь района сравнима с Голландией, а попасть туда можно только самолетом.

Рабочее заседание горкома партии

Начало работы совпало с разоблачением культа личности, переименованием ВКП(б) в КПСС, ликвидацией МТС. В деревни послали 25–30-тысячников для руководства колхозами.

Верному солдату партии Владимиру Ильичу вновь пришлось начинать жизнь с нуля, с ночевок вместе с семьей в райкоме. Че-

рез некоторое время он получил двухкомнатную квартиру без всяких удобств, а в 1958 году квартиру в деревянном крестьянском доме, стены которого были забетонированы. Эту квартиру герой наш величает *дзотом*. Только в 1967 году он получает трехкомнатную квартиру в 12-квартирном доме. В рукописи – фотография этого дома: обычное советское строение, кирпичное, барачного типа. Перед домом пруд, за прудом полудеревенские дома.

Опять начались командировки: на самолете, чаще на лошадях, иногда на оленях. ***«В мою обязанность секретаря РК по идеологии входила организация работы Отдела пропаганды и агитации, парткабинета, руководство народным образованием, здравоохранением, спорт, культура, кинофикация»***[40] – не считая «текучки»: подготовки к бюро, пленумам, конференциям, собраниям партийно-хозяйственного актива, семинаров и лекций. Владимир Ильич честно признается:

«В моей работе были ошибки, которые не остались незамеченными. Я в эти годы болезненно воспринимал появление новой эстрадной музыки (теперь придерживаюсь принципа "Пусть расцветают сто цветов!"). Вот почему позволил себе необдуманный шаг, и в доме культуры в праздничный день на танцах запретил баянисту исполнять мелодию эстрады, хотя по-нынешнему ничего предосудительного в ней абсолютно не было. Об этом я очень и доныне сожалею, что допустил такую бестактность (правда, я был немного подвипивши, что и повлекло к проступку). С точки зрения официальной дела мои в те времена как-то оправдывались, но молодежь осталась недовольна мной»[41].

Владимир Ильич описывает местную кухню с ее обилием рыбных блюд, сборы мужиков по вечерам, праздники, обычаи и нравы.

«Народ в районе простой добродушный, доверчивый, взяток не берет (кроме поллитры), подсиживанием и подхали-

мажем не занимается. <...> Людей, отправляющих культ религии, в районе мало: нет церквей». Он рассказывает, что старообрядцы хоронят не на кладбище, что в районе довольно много обетных крестов и «бывали слухи, что комсомолки приносили жертвования к кресту и просили удачи в замужестве»[42].

Похороны в райцентре. 60-е годы

Райком боролся по обязанности, но кресты появлялись вновь. В рукопись вклеено изображение одного из таких крестов. ***«Народ здесь не склонен к крайним суждениям и демагогии, как в других местах России. <...> Исстари живут они по принципу: "Рыбака одна заря красит". Они готовы ждать улов, удачу сколько угодно, но своего дождутся»***, – пишет Владимир Ильич. Складывается впечатление, что сам он тоже в жизни руководствовался этим принципом. Он робок, он ускользает и проскаль-

зывает и в то же время поддается. Когда я писала о Владимире Ильиче, то не могла не вспомнить замечание А. Платонова: «Дворник был из некогда раскулаченных и поэтому держался за закон со всей точностью: он сам испытал и пережил государственную силу»[43].

Тема робости в процессе чтения возникает неоднократно[44]. Владимир Ильич стремился не высовываться. У него никогда не возникает желания вступить в какое бы то ни было противоречие с доминирующими. Он любит быть подальше от начальства, недаром ему нравилось работать в Амдерме именно в силу ее отдаленности (от глаз докучного партийного начальства). Он не хочет обижать никого (о чем свидетельствует «случай в клубе»). ***«Мне повезло, за все годы работы в партийном аппарате мне не пришлось отчитываться на заседании вышестоящих парторганов, ни разу не выступал на областных собраниях, пленумах и т. п. хотя подготовку к этому вел и не раз. <...> Редко по собственной инициативе заходил в райком, к секретарям»***[45]. Казалось бы, райком должен для него быть домом родным. Всю жизнь он по-крестьянски бежит от власти, но в то же время плоть от плоти ее. Случай Владимира Ильича свидетельствует, что, обсуждая проблему власти, нельзя говорить о ней иначе, чем в терминах баланса, меняющегося, непостоянного. Об этом я писала в методологической главе. Каждый раз Владимир Ильич со страхом переживал кампании по направлению 25–30-тысячников в колхозы: ***«но все же случилось, случилось это в 1960 году»***, он пал жертвой новой кампании. Первый секретарь райкома ***«сразу решил отдать двух секретарей на должность председателя колхоза»***[46]. Тогда *укрупняли* рыбацкую артель под названием «Вперед», объединив четыре небольших хозяйства.

Обратим внимание на глагол *«отдать»*, свидетельствующий о том, что Владимир Ильич ответственным субъектом собственных поступков себя не мыслил. Как и всегда, он покорился. И опять он доволен:

«Мне было почти 40 лет, имел опыт работы в школе, опыт партийной работы, теперь осваивал хозяйственную работу, которая мне нравилась, я пользовался уважением,

нравилось работать с народом, пусть это и требовало напряжения нервов, сил. Мне нравилось говорить с людьми по самым сложным вопросам жизни, политики, слушать остроумную речь»[47].

Обратим внимание, что человек, *работающий с народом*, уже себя к нему причислять не в состоянии.

Если сначала операция по укрупнению кажется Владимиру Ильичу бессмысленной, то теперь, когда позиция его (а значит, и позиция видения) сменилась, он находит для нее оправдания: ***«даже простейшая кооперация дает выигрыш на селе: начали привлекать к руководству специалистов с более высокой квалификацией и приличной оплатой труда»***[48]. В 1961 году колхоз первым в районе решили превратить в совхоз. Владимир Ильич, по-моему, верно отмечает подводные камни перемен.

«Сложность состояла в том, что все основные средства переходили в собственность государства без выкупа. <...> Теперь основной формой руководства стал приказ, коллегиальность в ведении хозяйства принципиально изменила свою форму». В результате хозяйству, руководимому Владимиром Ильичем, пришлось отказаться от рыболовства. ***«И на Севере вынуждены были с серьезной миной на лице сеять на лучших площадях сахарную свеклу и кукурузу, ибо в то время ходило изречение «Если кукурузу не посадить, то тебя посадят»***[49].

Владимир Ильич к Хрущеву относится плохо, но он опять, избегая боли, покоряется. Добросовестный, он окончил курсы шоферов и сам стал водить автомобиль. Он вводит грамотное делопроизводство и бухгалтерский учет. В качестве наиболее значимых событий в 1962 году он называет полет Гагарина, научно-техническую революцию и госэкзамен в ВПШ, где Владимир Ильич решил еще поднабраться знаний.

В колхозе (совхозе) герой наш проработал четыре года с *удовольствием*. Тем не менее, он уходит, как сам пишет, по состоянию здоровья. Дала себя знать обострившаяся язва желудка. Он уходит сначала в Мезенское РОНО, потом в управление сельского хозяйства, потом пробует вернуться в совхоз. На работу в райком вернуться даже не пытается: ***«не претендовал на возвра-***

Центральная усадьба совхоза. 1962 год

щение в райком партии ни шутя, ни всерьез»[50]. К 1971 году, однако, здоровье его подорвано[51]. В 1974-м он навсегда переезжает в Кострому, построив себе кооперативную квартиру. Это была трехкомнатная квартира площадью 46 квадратных метров, в панельном доме с невероятной звукопроницаемостью, плохой герметизацией швов и неудачной конструкцией рам. Владимир Ильич отмечает, что первый взнос составлял 3000 рублей, а вся квартира стоила 7064 рубля.

Население Костромы насчитывало тогда 240 тысяч человек. Владимир Ильич осознает, что начинает жизнь, отличную от жизни в маленькой Мезени: ***«В Мезени каждое утро все знают, что у меня Анна Павловна в горшок положила»***. Когда Владимир Ильич переехал в Кострому, он еще не достиг пенсионного возраста, который для работавших на Севере составлял 55 лет. Переехав, он устроился на работу освобожденным секретарем парткома на ТЭЦ. Занимался опять все тем же – создавал словесный фасад, придавал жизни социально-одобряемую форму. Занимался делопроизводством и соцсоревнованием, отчетами, взносами и стенгазетой, налаживал работу постройкома, проводил курсы экономической учебы и «обеспечи-

вал явку на демонстрации». Вокруг текла новая жизнь. Владимир Ильич приходил в ужас от того, что заключенные, которые работали на стройке, ***«руководителей стройки, страны ругают, матюкают!»*** В 1976 году, как только ему исполнилось 55 лет, Владимир Ильич уходит на пенсию. Он устраивается на работу вахтером и продолжает по привычке «работать с людьми». Он тщательно соблюдает кодекс официальных правил: к каждому празднику выпускает стенгазету и «Информационный бюллетень», сочиняет соцобязательства и правила внутреннего распорядка, готовит профконференции и отчеты месткома, оформляет протоколы собраний, поздравляет сослуживцев открытками к дню рождения. Владимир Ильич хорошо ориентируется в «правилах игры», в результате бригада, в которую входят, по свидетельству самого же нашего героя, старики, пьяницы и воры, получает призы и премии. Сам Владимир Ильич получает в награду путевку в Дом отдыха «Тихий уголок». Занимается выращиванием цветов, совершает дальние прогулки. Он выписывает и читает «Северную правду», «Труд», «Советский спорт», «Науку и жизнь», «Роман-газету» и «Работницу». А кроме того, замечает он, ***«имея пишущую машинку и свободное время, я частенько пишу письма по разным темам в газеты, на радио и телевидение, на многие из них получил ответы»***. Сотни писем составили целых два дела его архивного фонда. Его увлекает жанр «критики снизу», хотя он полагает, что на это имеют право только «свои». Частенько он признавался себе: ***«Пишу я в основном для того, чтобы просто от досады на беспорядки высказаться, отдача же равна нулю»***[52]. Сами же беспорядки – вроде плохой погоды. Когда в 1977 году ему предложили «избраться» партийным секретарем ЖЭКа, он расстроился до слез. Это избрание не имело для него ни малейшего жизненного смысла, а так, одна докука. На этот раз он не подчинился: ***«Я всякими путями избегаю выборов секретарем парторганизации ЖЭК»***[53].

Владимир Ильич на досуге размышляет об экономике жизни.

«Жизнь наша сложилась так, что мы никогда не знали нужды.

Это можно объяснить рядом причин:

Во-первых, мы живем в стране, где созданы необходимые условия для материального благополучия трудящихся.

Во-вторых, мы с женой трудились добросовестно и за труд получали должное вознаграждение.

В-третьих, нам повезло в жизни, нас направили работать на Крайний Север, где повышенные условия оплаты труда.

В-четвертых, мы не страдали расточительством»[54].

Он подсчитал свои расходы с 1945 по 1978 год. Получилось следующее:

Питание – 78 000 руб.
Вещи – 23 000 руб.
Налоги – 18 000 руб.
Партийные и профсоюзные взносы – 7000 руб.
Дорога – 6000 руб.
Квартира (ЖСК) – 11 000 руб.
Прочее – 6000 руб.

У Владимира Ильича пенсия 120 рублей, что, по его мнению, равно независимости от детей.

Он обстоятельно перечисляет те вещи, которые он имел на конец 70-х. Он как будто удивляется, что именно у него все это есть – *мебельная «стенка» и столы, буфет и письменный стол, сервиз немецкий столовый и японский кофейный.* (Заметим в скобках, что кофе Владимир Ильич вряд ли потреблял, разве что когда появился растворимый.) У него ***«костюм из кримплена, свитер и теплые ботинки»***. Срочный вклад на 10 000 рублей (в 1974 году это больше, чем стоимость автомобиля). В их кооперативной квартире два телевизора, холодильник «Юрюзань», приемник «Спидола», стиральная машина «Аурика», швейная машина с электроприводом, магнитофон «Весна», фотоаппарат «Киев», лыжи и часы. Он вместе с женой делает заготовки на зиму: 22 л морошки, 9 л черники и 9 л грибов. В 1979 году они заготовили 150 кг картофеля, 20 кг капусты, 27 л грибов, 24 л варенья, 16 л помидор и 10 л огурцов.

В своих записях он отмечает прилет скворцов и 30-летие пребывания в партии. Посадив лук, Владимир Ильич отправляется читать лекцию о последнем пленуме КПСС. Он спокойно и без раздражения повествует, как встал в очередь в четыре часа утра и был двадцать восьмым.

А так – жизнь его размеренна:

«В субботу, воскресенье отдых, лыжные походы, несложные хозяйственные обязанности (наблюдение за состоянием картофеля в кладовой, работой бытовой техники и оборудования, покупка продовольствия) и др. дел, в остальные дни – служба в охране». Иногда выдается и хлопотный выходной.

«Ездил в 7 утра на базар, купил говядины за 4-50 и свинины за 4-00. Утром занял очередь в киоск «Союзпечать». Надо купить «Костромскую неделю» и «Говорит и показывает Москва»: в них программы телевидения и радио, кроссворды и шахматные задачи, приходится стоять в очереди, т. к. московской программы бывает очень мало, 10–20 экз. В это же время занял очередь за пельменями. Купили 4 кг по 1-40, но ели их

Городской рынок. 70-е годы

очень неохотно, т. к. они сильно наперчены, чтобы заглушить привкус от плохого мяса. Затем пришлось идти в продовольственный магазин, купил сметану, молоко, хлеб. После праведных трудов читал газету. Дремнул один час, что бывает очень редко. Сидим у телевизора, выступают куклы Образцова – «Необыкновенный концерт». Это искусство очень интересно, особенно в руках этого театра. Не зря Образцову дали Героя труда. Занимался приведением в порядок семейного и личного архива. Ходил к мастеру, который ремонтировал пишущую машинку. Днем работал с пылесосом»[55].

В 1980 году он записывает.

«Пока возможно надо оставаться на нынешней работе. Тут есть угроза, что склады эти в недалеком времени ликвидируют. А служба эта для меня очень хороша. Весь день можно заниматься личными делами, и тебе ничто не мешает. Платят около тысячи рублей год. Имеешь связь с миром. <...> Здесь я беру из отходов много необходимого для меня материала для поделок (доски, фанера, гвозди, макулатура, бензин). Имею возможность пользоваться небольшим участочком земли для огородничества. Получил часть продуктов по себестоимости (куры, яйца). Здесь я имею возможность работы "на сторону" (для ЖЭК, СУ, ТЭЦ), за которые мне платили немного денег. Все это было без злоупотребления, без причинения ущерба для государства и службы»[56].

Владимир Ильич описывает образ действия, который социальные теоретики характеризуют как «использование системы для себя». Как трактовать лейтмотив записок Владимира Ильича: «Да, был, но старался участвовать как можно меньше». То, что лаконично характеризуется определением ***«член партии, не выступающий на собраниях»***.

Этот способ действия свойствен не только нашим героям, но и вообще большинству людей. Жизнь крестьян, находящихся *внизу* в любой социальной иерархии, позволяет реконструировать идеальный тип такого рода действий.

Вступая в новую для него социальную игру, Владимир Ильич действовал, что называется, в соответствии со своим *габитусом*. Выше при обсуждении этого понятия отмечалось, что это не только социальность и история, встроенные в тело и язык человека, но и генератор актов игры. Каков был их исходный ресурс? Вероятно, привычка к тесной жизни вместе, феноменальная выносливость, крепость физическая, умение склоняться под ударами судьбы, как лист травы, и снова разгибаться... Так он и поступал. Крестьяне опытны в техниках неведения и симуляции, подворовывания и дезертирства, саботажа и многообразных способов проскальзывания и ускользания. Случай Владимира Ильича говорит, что *подворовывание* и *дезертирство* мы не употребляем в буквальном смысле. Крестьяне в большом городском обществе – огромная проблема. В. Розанов употреблял меткое выражение: «глубокая неопытность в истории»[57] (понятно, не только по отношению к крестьянам). Эта работа о том, как они обретали новый опыт, как меняли свою жизнь, как обретали новую идентичность, а своей жизнью изобретали общество.

Сегодня исследователи, работающие в самых разных областях, проявляют огромный интерес к этим социальным техникам. Речь идет не только о каких-то конкретных проявлениях. Опыт исследовательского погружения в наш материал заставляет переосмыслить также представление о социальном порядке, об основах социальности как таковой, о том, как живут в истории люди, о том, чем держатся общества. Один из самых интересных вопросов – роль доминируемых в процессе производства социального порядка. Только внимание к этим проблемам позволяет как-то понять, отчего сын раскулаченного становится не «борцом с системой», а тем, на ком это общество держится. Случай Владимира Ильича – лишь один из многих.

М. Фуко употребляет термин «противозаконность низов»[58], когда анализирует микрофизику власти. Речь идет о функционировании власти через «технические» процедуры, перераспределяющие дискурсивное пространство, дабы сделать из него средство универсального надзора, дисциплины[59]. Как известно, М. Фуко в своем анализе главное внимание уделяет собственно аппарату производства.

М. де Серто акцентировал внимание на технологии сопротивления низов, которые переопределяют или «замыкают» институциональные усилия. Сопротивление «доминируемых» вносит свой вклад в установление существующего порядка. Это сопротивление может быть немым, но оно же обнаруживается и в практиках письма и наррации как видах повседневных практик. Более того, следы голоса обнаруживаются, как правило, только в попытках письма. Существует бесконечное число практик, посредством которых потребители перераспределяют пространство, организованное техниками социокультурного производства. Подобно микробам, они проникают во властные структуры и вызывают отклонения в их функционировании посредством множества «тактик», артикулированных в деталях повседневной жизни[60]. Следует, таким образом, не только сосредоточиваться на том, как устанавливающийся или установившийся порядок рождает дисциплинарные технологии, но также исследовать тактическую активность групп или индивидов, уже попавших в сети «дисциплины». Происшедшее социальное изменение – результат этого двустороннего процесса.

«Мы» выступают против «они». Хор голосов как единое нерасчлененное тело выступает против тех, кто всегда одерживает верх. Этот хор, как правило, невидим и неслышим. Он становится замечаемым в эпохи перемен, когда этому «мы» кажется на какое-то время, что он может заставить себя слушать. В истории люди, которые составляют этот хор, всегда оказывались побежденными, а потому они практически всегда действуют в рамках, которые не ими заданы. Однако, играя по правилам, налагаемым господствующим властным порядком, и не меняя этих правил, они влияют на результат игры. Они разрушают и одновременно воспроизводят. Так, жалоба, как правило, начинается с подтверждения справедливости установленного порядка, который, правда, нарушает тот, на кого жалуются. По словам исследователя практик повседневной жизни М. де Серто, громогласному и бросающемуся в глаза производству соответствует другое производство, называемое «потреблением». Тихое, почти невидимое, ибо не демонстрирует себя в собственных продуктах, оно проявляет себя через способы употребле-

ния продуктов, налагаемых доминирующим порядком. Это – производство, скрытое в потреблении, присваивание чужого пространства и чужой собственности[61]. Французский философ отмечает, что сам способ использования внедряемых, налагаемых систем конституирует сопротивление историческому закону положения вещей и его догматическим легитимациям. «Потребление» порядка, созданного другими, перераспределяет пространство. По меньшей мере, оно создает определенную игру с этим порядком, использует пространство для маневра неравных сил, для утопических точек отсчета. Бесчисленное множество способов игры в чужие игры приводит к тому, что игра оказывается испорченной. Здесь нет речи о явном сопротивлении.

В силу утраты собственного пространства люди должны пребывать и действовать в сети уже установленного порядка сил и распределений, в лабиринтах власти. Солдат Швейк и Фигаро – лишь литературное эхо этого искусства. И здесь и там речь идет о практическом знании, которое не рефлексируется субъектом. Это знание имеет статус, аналогичный статусу мифов и басен. Люди – наниматели, а не собственники ноу-хау, которым они пользуются. По отношению к ним никому в голову не придет спросить, существует ли здесь знание. Подразумевается, что оно должно быть. Полагают, что ноу-хау повседневных практик известно лишь интерпретатору, который освещает его в дискурсивном зеркале, хотя он им тоже не владеет. Оно никому не принадлежит. Оно переходит из бессознательного практикующих в рефлексию не-практикующих без включения какого-либо отдельного субъекта. Это анонимное и референциальное знание, условие возможности технических или научных, но, главное, жизненных практик[62].

Способ писания на господствующем языке тому свидетельство. Пишущий присваивает чужой язык и распоряжается им по-своему.

Тактики (по М. Де Серто) или стратегии (по П. Бурдье) – то, что позволяет овладеть чужим пространством фрагментарно, не претендуя на целостность охвата, без возможности держать дистанцию. Здесь нет базы, которая дала бы возможность ка-

питализировать преимущества, подготовиться к экспансии, сохранить независимость. Не имея *места*, тактики зависят от *времени*. Это род манипуляции событиями, которые могут превратиться в возможности. Чуждые цели оборачиваются в собственную пользу через комбинацию гетерогенных элементов. Так становятся возможны победы слабых над сильными (людьми во власти, насилием разного рода, налагаемым порядком и т. д.) с помощью трюков, охотничьего чутья; сложных маневров, использующих полиморфные ситуации, обнаружения щелей и зазоров, в которые можно проскользнуть. Слабый не может победить сильного, но он его использует. Система слишком огромна и мощна, чтобы можно было ощутить ее как «свою». Она слишком опутывает, чтобы можно было ее избежать. Движение в эти системы, без которого они вряд ли смогли бы существовать, привносят именно тактики. Последние напоминают способы мимикрии растений и рыб, перенесенные из лесов и океанов на улицы наших деревень и городов[63]. Ранее скрытые тактики выходят на поверхность тогда, когда нарушается локальная стабильность.

Эти свойства свидетельствуют: «масса» не может быть приручена на все сто процентов. Тотальная манипулируемость массы – интеллигентский миф. Наш предмет можно уподобить странам, которые упорно сохраняют свое своеобразие, несмотря на неоднократные иностранные вторжения. Род оруэлловского двоемыслия, но не-рационального, не-рефлексивного, постоянная игра, которая помогает выжить. Двойственность, протеизм, витальность – в этом и слабость, и огромная сила «листьев травы» (У. Уитмен). Как трактовать такого рода действия – как сопротивление? Мы видим, что такая трактовка вряд ли верна. Скорее, это род «теневой социальной экономики». Но пишущие о теневой деятельности порой видят идеал в том, чтобы этого рода деятельность была подавлена (тень должна уйти, только свет должен остаться). В самом слове «теневой» явно просвечивает оценка. Но могут ли общества существовать без такого рода деятельности?

Размышления над этим предметом вызывают в памяти создание Ч. Чаплина – бессмертный образ бродяги Чарли. Его

бьют, но он увертывается и – если обстоятельства позволяют – дает сдачи, его запихивают в машину, но он остается жив, он улыбается и продолжает жить... Вероятно, именно этим он привлекал Владимира Ильича во второй половине 30-х. Это образ того превращения, которое он сам претерпевал. Любопытно, что, когда оно завершилось, он Чаплина разлюбил и даже недоумевал, а что ему могло, собственно, нравиться?..

В 1981 году, в возрасте 60 лет, Владимир Ильич решил познакомиться с Библией. Он «наивно» описывает свои впечатления. Мы находимся в исходной точке будущего массового воцерковления партийных работников.

История Владимира Ильича – не только история индивидуальности, не психоаналитический казус любви жертвы к палачу, но история вхождения в большое общество крестьянина, жизненная история которого имеет фамильное сходство со множеством других.

Свои ежегодные заметки Владимир Ильич выстраивает в иерархию. Сначала «Жизнь мира», потом «Жизнь страны», которая делится на политическую, экономическую и спортивную, потом «Жизнь области», а дальше по нисходящей: «Кострома. Якиманиха» (название микрорайона города Костромы), «Сложности семейной жизни», «В работе и увлечениях», «Внучка Алена», Родные и знакомые». Когда он пишет о жизни мира и страны, складывается впечатление, что он цитирует лекции, которых прочитал так много:

«Неспокойно было в мире, разделенном на два непримиримых лагеря, между ними продолжается порой очень жестокая, явная и тайная, с жертвами и без них война, война старого и нового мира. Сил социализма и капитализма[64].

«Во внутренней политике следовали решениям съездов партии, добивались повышения культуры народа, производства и управления, эффективности и качества работы, повышения материального уровня жизни. Но не все получилось, как намечалось и как захочется народу. Причины этого сформулирует история: ныне на оценки влияет субъективизм, элементы ложного оптимизма, наличие возвеличивания личности и не-

обходимость перед лицом народов мира на первый план ставить наши победы»[65].

По-иному он об общих предметах говорить не может. Школьные категории «сами о себе мыслят».

Его иерархия событий совпадает с официальным календарем. В 1980 году главное событие – смерть А.Н. Косыгина. Юбилей А. Блока, подчеркивает Владимир Ильич, раньше не отмечался: ***«Раньше у нас его творчество не очень ценилось. Уж очень он противоречив»***.

В 1979 году в Костроме ***«мало какие товары можно купить без очереди. В торговле нет льняных, хлопчатобумажных тканей. <...> В ноябре везде расхватывали моющие средства (порошки, мыло), теперь их можно купить только в очередь и по норме. На прилавках в магазинах нет нигде самых пустяковых товаров, таких как зубные щетки, электролампочки и т. п. На рынке цветут спекулянты»***[66].

Диссиденты, А. Сахаров кажутся Владимир Ильичу крайне подозрительными.

Главная тема записок Владимира Ильича – раньше и теперь.

Его жизненное время теперь четко делится на работу и досуг. Он пишет о досугах. Он отмечает изменение облика праздничных уличных гуляний. На праздниках его молодости зрителей не было – одни участники. Иное в конце 70-х – начале 80-х. Вот что он записывает о праздниках в Костроме:

«За год 2–3 раза проводятся массовые гуляния горожан, праздники песни. В эти дни собирается здесь людей многие десятки тысяч. Идет бойкая торговля промтоварами сувенирного порядка, широкая торговля общепита. <...> Все это хорошо. Но все эти праздники сопровождаются повальным пьянством. <...> Недостаток этих праздников в том, что непосредственного участия людей нет, принимает участие мало народу, все больше смотрящих и пьющих»[67].

Неоднократно повторят он мысль, что совместное времяпровождение за столом, хождение в гости – это вещь очень важная.

Это скорее черта деревенская: принудительность праздника, взаимность! В праздники собирались друг у друга с соседями по очереди. Справляли дни рождения. Выпивали, много пели песен. Высока эпистолярная активность. К каждому празднику посылают родственникам и знакомым 25–30 поздравительных открыток. Появляются, однако, и новые типы досуга: коллекционирование репродукций, марок, открыток, игра в шахматы, собирание библиотеки. В семье 49 книг из серии «Жизнь замечательных людей», 56 томов военных мемуаров, 115 томов художественной литературы, исторические сочинения и различные справочники – примерно 500 книг. Читает Владимир Ильич довольно много. По его собственному подсчету, примерно 700 страниц в месяц[68]. В 1979 году Владимир Ильич перечисляет подписные издания, которые получает семья: «Известия» и «Северная правда», «Наука и жизнь», «Советский спорт», «Техника молодежи», «Неделя» и «Веселые картинки» для внучки. С чтением конкурирует телевизор. В семье Владимира Ильича два телевизора, один из которых стоит на кухне. Любимые передачи – «Клуб кинопутешествий», «Человек и закон», «В мире животных», «Хочу все знать». Собирание личного архива можно рассмотривать как досуговую деятельность, хотя, как мы видим, она жизненно важна для Владимира Ильича. С одной стороны, он занимается огородом и разведением кроликов, с другой – в жизнь приходит спорт (лыжи). В 70-е годы Владимир Ильич вместе со всей страной начинает увлекаться туризмом! Он побывал в Крыму, на Кавказе и в Прибалтике, прокатился по Волге. Один раз отдыхал в крымском санатории ЦК КПСС «Красное пламя». В 1968 году посетил Польшу и ГДР, а в 1969-м – Болгарию с Румынией[69]. «***За границу,*** – пишет он, – ***можно и нужно ездить, но сначала нужно изучить, узнать, повидать свою страну, иначе у неподготовленного человека может возникнуть перекос в суждениях о своей Родине и других странах в их пользу***»[70]. Себя Владимир Ильич считал вполне подготовленным. Старые европейские города не вызывают у него ассоциаций. Впечатление производят быт, повседневность, да еще, пожалуй, Освенцим. Он видит примерно так же, как Иван Иванович. В ГДР он чует, что попал в иной тип цивилизации. Его удивляет, что люди мало

гуляют по вечерам. Эта поездка пришлась как раз на август 1968-го: ***«Мы видели, как наши воинские части двигались на смену или в подкрепление в Чехословакию, куда наши войска с союзниками вошли в ночь на 21 августа»***[71]. Возвратившись из заграничных путешествий, Владимир Ильич выступал с впечатлениями от них раз по сорок.

Представляется, что для интерпретации нарративов Владимира Ильича важно сопряжение следующих тем: детская травма, любовь к Сталину, *прежде* и *теперь*, и история справедлива. Есть в одной из книг такая запись: ***«Умер мой сосед по деревне Едовин Илья Иванович. <...> Их семья в 30-е годы подвергалась репрессиям: вместе с моим отцом, также другими работала их семья на лесозаготовках по твердому заданию, была в списках семей, подлежащих раскулачиванию. Но история справедлива, ярлык "лишенца" был со всех снят. С одних вскоре – с других позднее»***[72].

История справедлива... Это утверждение можно трактовать в том смысле, что Владимир Ильич не в обиде на нее.

Сравнение «раньше» и «теперь» он производит постоянно.

«В доме отца почти вся мебель была собственного изготовления – шкап, лавки, столы, комоды, стулья. У нас все покупное, полированное, не считая шкапчика для игрушек. <...> Даже посуда, и та не вся была у отца покупная. Корзины, бачки, ситева, ведра, лоханки и др. делал он из дерева или бересты. Очень много посуды было кустарной, из глины, из фарфора и стекла мало – несколько чашек и стаканов. Посуда из меди покупная, кустарного производства. У нас кустарного производства только одна ладка[73] ***для приготовления пищи. Вся посуда современная, часть сервизная.***

Нет надобности говорить о сравнении дома отца и моей квартиры, о бытовых удобствах. Деревенский крестьянский дом и городская квартира не поддаются сравнению, у них своя красота и удобства.

В доме отца было несколько керосиновых ламп в 7–10 линий и бывало, что и с лучиной сидели. В доме

печное отопление. У нас в квартире электричество, газ, центральное отопление.

Отец старательно накапливал инструмент, много его сам делал для сапожных дел и катания валенок. <...> Мы имеем много бытовых машин (холодильник, стиральная машина, пылесос, электроутюг и многое другое).

Отец о радио узнал под старость, а у нас радиоточка и радиоприемниками запаслись, и телевизоры. <...> У нас всего имеется 18 различных электрических приборов, машин, инструмента. <...> Семья отца добывала условия своей жизни великим трудом без призывов и соревнования. Труд этот несравним с трудом нынешним. <...> Ведь значительную часть обуви и одежды готовили сами: сами готовили кожу из шкур своих коров, шили сапоги, из шерсти своих овец валяли валенки, ткали различные ткани из шерсти, льна, конопли, шили одежду, белье всякое. Сами шили рубашки и другое из покупной ткани. Все это ныне довольно удивительно. А пройдет 50 лет, и наши потомки с большим удивлением будут говорить о наших днях, о нашем быте»[74].

Пятидесяти лет еще не прошило, а повседневность наша изменилась весьма радикально. Владимир Ильич проживает жизнь, общество меняется.

А Владимира Ильича не оставляют воспоминания о тех днях, когда родители были живы-здоровы, когда он еще ничего не знал о товарище Сталине.

«Лучшей порой лета, конечно, был сенокос. Мне запомнилось, что погода в те годы была отличная, солнце, быстротечные грозы, тепло. Сенокосы возле речки, и искупаться было где, и у взрослых и у молодежи находилось время для купания. В 20-е годы, когда я был еще ребенком, на сенокосе находились соты диких пчел. Какая это радость: мед диких пчел на сенокосе очень вкусный! На сенокосе можно было ловить рыбу удочкой, сетями. Иногда взрослые любители рыбалки сетями, дорожкой, крюками ловили по тем временам много рыбы и крупной. А как приятно спать на сенокосе в

Дед с внуками. 20-е годы

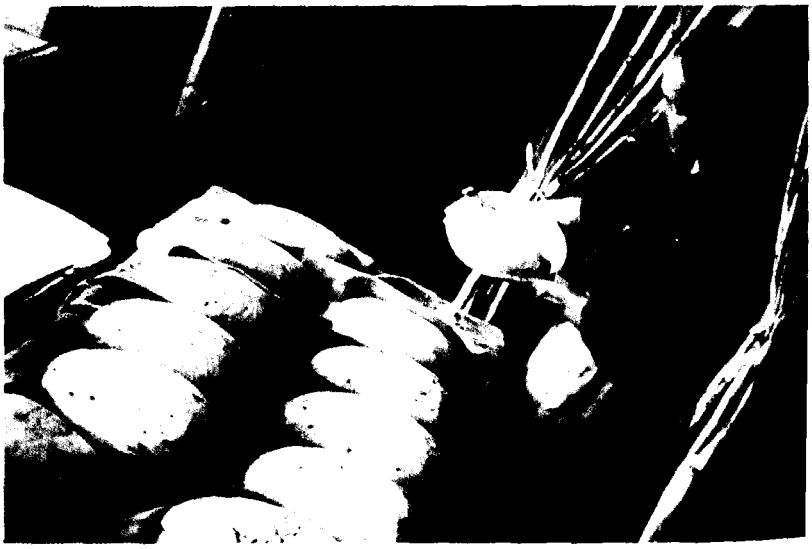
шалаше или палатке. Правда, комары надоедали, но они входили в комплекс красоты жизни на сенокосе. <...> С каким искусством крестьяне делали грабли, косы, деревянные вилы для метки сена! Все это делалось легким, ручной инвентарь красили в яркие краски. Делать и ремонтировать грабли я научился сравнительно рано, до 15–16 лет. А соединить косу с косовищем правильно и ныне не сумею – тонкая работа. <...> Сцена обеда на сенокосе прекрасна: на берегу реки множество людей сидит группами или сплошь, пестрая одежда, разные позы, интересная домашняя утварь. И какая красивая пора – осень! Нет надобности вспоминать красочность крон деревьев, каких только цветов не возникает! А поля! На них стоят суслоны ячменя, овса, ржи. <...> Суслоны ставились в правильные ряды – все делалось со вкусом, старанием: никому не хотелось быть хуже других, даже у ленивых, нерадивых хозяев, и то суслоны были в порядке»[75].

Его воспоминания – как цитата из ностальгирующей этнографии. Правда, он упоминает о вкусе, а вкус (эстетический) уже не есть ментальная категория деревенского человека.

Он описывает деревенские обычаи и детские игры. Естественно, Владимир Ильич много вспоминает о еде, о жизни вокруг русской печи. Его воспоминания о деревенской кухне трудно отличить от того, что описывает знаменитый русский этнограф XIX века С. Максимов в книге «Куль хлеба».

Былые времена – райские. ***«Осень – время лакомств: свежее мясо (как правило, крестьяне мясо крепко солили) свежие пироги из муки нового урожая, блины, ягоды, грибы и другое»***[76].

«Очень вкусным был ржаной подовый хлеб круглыми караваями, свежие житники, наподобие булок, из ячменной муки, пироги. Эти пироги готовились так: выпекали сочни из густого ячменного или ржаного теста, на сочни накладывали сравнительно жидкое тесто, по краям сочни искусно загибали, на середину пирога накладывали сметану и пекли. Горячий пирог мазали топленым маслом. Такой пирог в теплом виде очень



Выпечка хлеба в деревне. 20-е годы

вкусен. <...> Особенно в ходу были овсяные блины: их ели с рыжиками, кислым молоком, ягодами, гретыми щами, супом, с капустным рассолом – во всех случаях блины свертывались трубкой и макали в приготовленное блюдо, иногда прихлебывая ложкой. Эти блины настолько были в ходу, что бытовал анекдот: работник после молотьбы овина садился есть блины, хозяйка ему пекла овсяные блины, когда в огромной крынке раствор кончался, она сгоряча говорила – что пекла, что не пекла. А работник говорил, что ел, что нет. <...> Свежую рыбу запекали в тесте целиком, во всю длину – рыбник. Редька во многих семьях была в почете. А если готовится праздник, или ожидается гость, то обязательно в былые времена варили пиво – признак высочайшего гостеприимства. Если кто не умел или не мог варить пива, тот просил соседа»[77].

Это описание напоминает мне картины «наивного» живописца Ефима Честнякова, который, кстати, родом из Костромской области, из мест, не так уж удаленных от родины Владимира Ильича (напомню лишь картину «Город всеобщего изобилия»). А также, как ни странно, – маленькую картинку Ф. Гойи «Праздник в долине». Картинка эта написала с далекой и высокой точки. Зритель как будто смотрит в бинокль наоборот: вещи и фигуры видны в уменьшенном масштабе. Праздник глубоко внизу. Веселье осталось там, здесь некоторая меланхолия. Весь страх и боль позади.

***

Владимира Ильича, однако, вырвало из состояния покоя. Началась перестройка и реформы.

«Я, например, сын «кулака», родом из Архангельской области, где не было крепостного права, не было той дикости, что была в XIX в. в центральной России. Это не могло не повлиять на мои убеждения. Жизнь моя совпала с годами советской власти, культа личности Сталина, Хрущева, <...> Брежнева. По-своему воспринял годы правления Андропова, Черненко, Горбачева. В эти годы были трудности для народа,

пережившего несколько войн. Но трудно было предположить, что можно так быстро и эффектно ввергнуть народ в страшную нищету, <... > как сделали это дилетанты[78].

В 1994 году Владимир Ильич пишет:

«Все, происходящее на территории СССР, России у меня вызывает досаду, порой возмущение.

Это отразилось на стиле изложения, оценке событий, хотя многое мною взято у авторов информации в СМИ. Переход от «казарменного социализма» совершается руками оборотней, бывших партаппаратчиков»[79].

Владимир Ильич не причисляет себя к числу «оборотней», а потому выступает от имени «народа».

В 1991 году он посылал свои мнения в адрес президиума Съезда народных депутатов:

«Народу давно известно, что люди, руководствующиеся злобной местью, личными амбициями, корыстью, добра не принесли и принести не могут.

Народу нужна честная, открытая, доброжелательная политика, а не злобная, истерическая конфронтация»[80].

Он, как может, защищает свой язык и пройденный путь, тем более что непосредственной опасности для жизни это не несет.

Всесоюзная Коммунистическая Партия (большевиков) ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

№ П64/22

5 сентября 1938 г.

Т.т. Ежову, Вышинскому;
Обкомам, Крайкомам ЦК Нацкомпартий.

Выписка из протокола № 64 заседания Политбюро ЦК от ... 193 г.

Решение от 15.IX.38г.

22. Вопрос НКВД.

1. Принять предложение НКВД о передаче оставшихся нерассмотренных следственных дел на арестованных по к.р. национальным контингентам, согласно приказов НКВД СССР № № 00485, 00439 и 00593 - 1937 года и № 302 и 326 - 1938 года, на рассмотрение Особых Троек на местах.

2. Особые тройки образуются в составе: первого секретаря обкома, крайкома ВКП(б) или ЦК нацкомпартий, начальника соответствующего Управления НКВД и Прокурора области, края, республики.

В Украинской и Казахской ССР и в Дальне-Восточном крае Особые тройки создаются по областям.

3. Особые тройки рассматривают дела в отношении лиц, арестованных только до 1-го августа 1938 года и заканчивают работу в 2-х месячный срок.

4. Дела на всех лиц, указанных нац.к.р.контингентов, арестованных после 1-го августа 1938 года направлять для рассмотрения в соответствующие судебные органы, по подсудности (Военные трибуналы, линейные и областные суды, Военную Коллегию Верховного Суда), а также на Особое Совещание при НКВД СССР.

5. Предоставить право Особым тройкам выносить приговора в соответствии с приказом НКВД СССР № 00485 от 25-го августа 1937 года по первой и второй категориям, а также возвращать дела на доследование и выносить решения об освобождении обвиняемых из под стражи, если в делах нет достаточных материалов для осуждения обвиняемых.

6. Решения Особых троек по первой категории приводить в исполнение НЕМЕДЛЕННО.

СЕКРЕТАРЬ ЦК И. Сталин

НЕУДАЧНИК

Итак, я представила результаты работы над тремя рассказами мемуарного характера. Попробуем обратиться к нарративным источникам другого жанра, а именно к дневникам, которые фиксируют опыт день за днем и которые, казалось бы, максимально приближены к опыту[1].

Один из интереснейших документов, ныне широко известных в среде славистов (прежде всего благодаря немецкой публикации)[2], – дневник Степана Филипповича Подлубного. Специфику его фонда, который также хранится в Центре документации «Народный архив», составляет то, что наряду с дневниками (которые составляют основной корпус фонда) он содержит также записки мемуарного типа, написанные по просьбе работников архива. Это дает возможность сопоставления нарративов двух типов.

***

Степан Филиппович родился 10 марта 1914 года. Он родом из Украины, из села Березовки Липовецкого уезда Киевской губернии (потом Винницкая область). Дневник начал вести в 1931 году, в возрасте 17 лет, и вел его по меньшей мере до начала 90-х годов. Самую ценную часть наследства Степана Филипповича представляют дневники 30-х годов.

Во-первых, бывшие крестьяне, врастающие в городскую жизнь, как правило, не писали. Не было ни привычки (они только обучались письму, овладевали этой практикой), ни потребности («жизнь занимала все время»). Почему человек заключает биографический пакт с самим собой? Почему начинает вспоминать и записывать, почему ведет дневник, выделяя в своем и без

того заполненном до отказа личном времени некий интервал? Трудно на этот вопрос ответить. Это всегда загадка.

Кто-то скажет, что решение писать дневник связано с качествами рефлексивности данной личности, которая оказывается способной как бы наблюдать себя со стороны. Дневник Степана Филипповича позволяет ощутить, что это не совсем так.

Судя по первым дневниковым записям, никакая он не рефлексирующая личность. Как раз по дневнику мы наблюдаем, как он растет и постепенно меняется.

Кроме того, обстановка 30-х годов к писанию дневников не располагала. Вот письма наверх, жалобы, доносы – другое дело. Этот жанр представлен богато. Как мы увидим, жизнь Степана Филипповича складывалась таким образом, что его дневники просто не должны были уцелеть. А вот уцелели, и каждый может их подержать в руках. Удивительное они производят впечатление, эти черные тетради в клеенчатых обложках... Дневник за 1935 год предваряется рисунком друга: человек в подземелье, куда едва проникает свет. Черная тушь. Подпись: *«Где ж солнце, радость обитает?»*

Дневник этот позволяет хорошо почувствовать повседневные контексты того, о чем так туманно писали наши предыдущие герои. Попытки письма связаны с потрясением, болью и травмой. Семья Степана Филипповича раскулачена, отец выслан в Архангельскую область. В 1930 году Степан оканчивает 7 классов и выезжает в Архангельск к родителям. Осенью 1930-го он с матерью переезжает в Москву. Он «скрывает социальное происхождение» и, зарегистрировавшись на бирже труда подростков, поступает в ФЗУ издательства «Правда». Именно в ФЗУ он начинает вести дневник[3].

В фонде, среди конспектов выписок из первого тома «Капитала» К. Маркса, которые Степан Филиппович делал в 1932 году, имеется случайно сохранившийся черновик заявления на биржу труда, которое приводится с сохранением орфографии оригинала. Заявление не датировано. Понятно, что оно подавалось не ранее 1930 года. Речевой жанр – крестьянская челобитная. Такого рода апелляции представлены в крестьянских обращениях в прессу, в «вышестоящие органы». Степану Филипповичу 16 лет.

Заявление

Настоящим прошу заведующего секции подростков послать меня на работу так как я приехал из города Архангельска и ни имея ни радных шнокомых помистился у матери которая поступила в качестве домашней работницы и ниимея ничего на существование приходится проживать на мизерную зарплату матери тоест 12 рубл. и влача полуголодное существование даба не попасть на улицу без призорным прошу войти в мое положение и дат мне работы где бы я мог заработат хот не много на существование вчем прошу в моей прозьбе не отказат[ь].

На приеме у врача при поступлении в ночлежный дом. Начало 30-х годов

Это заявление – исходная точка траектории. То же самое можно сказать о начале дневника за 1931 год. На первых страницах переписаны песни. Это не его песни. Они ничьи, «народные».

«Да мы пойдем с тобой лошадка
Во зеленый сад гулять

Во зеленом во садочку
Соловей пташка поет.
Прощай бабы, прощай девки
Уезжаю я от вас
На ту дальнюю сторонку
На несчастный на Кавказ.

Писано под диктовку Печникова 3 мая 1931 г.[5]

Моряк
Ты моряк красивый сам собою
Тебе от роду двадцать лет
Полюби меня моряк душою
И что скажеш ты мне в ответ

Ты моряк уедеш в Сине море
Меня морячку вставши в сильном горе
А я буду плакать и рыдать,
Тебя моряк буду с моря ожидать.
<...>
Под ракитою земной
Русский раненый лежал
К груди своей прощенной
Крест свой медный прижимал

Зверство дочери
Про один кошмарный случай
Я хочу вам росказать
Как зарезала по злобе
Доч свою родную мать
Отностыся неладно
Мать и доч между собой
И однажды к дочке вкралась
Мысль звериною змеей».[6]

Дальше Степан тоже пишет «не о своем», но о том, что случилось с ним. 22 июня 1931 года он записывает: *«Проходил прие-*

мочную комиссию комсомола. Заключили договор соцсоревнования и вступили в ударную бригаду под названием им. 9-го съезда ВЛКСМ»[7]. 4 августа: ***«За хорошее усвоение и посещаемость военных занятий меня премировали бюстом Фрунзе. Нам выдали ударные книжки»***[8]. В тетрадочке он пишет списки комсомольцев и не комсомольцев, ударников и не включенных в ударники, как бы походя усваивая властные классификации. Например, он делает запись о лжеударнике: ***«Дал сведения лжеударников (Рабинович), прогулов и опозданий ко времени начала учебного года»***[9]. Видимо, речь идет о юноше, только притворившемся, по мнению окружающих, ударником, *скрывающим свою сущность*. Тогда широко употребляли слова с приставкой *«лже»*: например, *лжеколхоз*. В 1931 году Степан вступает в комсомол, его избирают в бюро комсомольской ячейки. Осенью этого года он вовлекает в комсомол четырех человек.

Он с готовностью принимает существующие социальные классификации и чувствует себя нормальным.

В начале 1932 года Степан Филиппович попадает в санаторий «Никольское»:

«После 7-ми месячной работы мне предстоял 10-дневный отпуск или как называли ребята каникулы (отметим, что сло-

Вестибюль санатория. 30-е годы

во «каникулы» ново для него. – *Авт.*). ***В пред последний день неожиданно вручив мне путевку сбили меня с «пантелыку». Планируемая поездка в А.*** (Архангельск. – *Авт.*) ***отменилась. <...> После темных, сырых с почерневшими стенами "хором" попасть в такие покои чувствуешь себя "невосвояси" стеснительно и чудно. Кормили хорошо. Главный врач и зав санатория был хорош и заинтересовался во мне. Благодаря ему и по болезни отчасти мне дали отсрочку на месяц и того 2 месяца с 19/1-32 по 18/3-32»***[10].

Как можно судить по контексту, у него обнаружили отклонения в сердечной деятельности. В санатории Степан Филиппович, можно предполагать, несколько отошел от случившегося с ним.

5 мая 1932 года он принимает решение вести «настоящий дневник», для общего развития – поясняет он самому себе. Несколько позже он жалуется, что дневник писать трудно. ***«Отчасти это объясняется тем что писать негде. В комнате та-***

Комната рабочего общежития. 30-е годы

кой рейвах, а главное стола нет. А отчасти еще и то, что я живу в таком упадочном состоянии до вероятности. Душа просится наружу, жизнь что-то требует, а требуемого никак найти не могу»[11].

Снова остановимся. Обратим внимание, что *упадочное настроение* – клише эпохи. В другом месте дневника употребляется еще выражение *«идиотские и не политические настроения»* (ед. хр. 11, л. 34). Задумываясь над тем, чего требует от него жизнь и чего он сам жаждет, он приходит к выводу, что здесь возможен один ответ: быть «нормальным», быть, как все успешные, на его взгляд, члены общества. Он желает продемонстрировать свою нормальность, причем делает это и в рабочее, и в свободное время.

«Одно еще свежее впечатление подействовало на меня положительно (потому что я одержал победу). Это бюро и отчет инструкторов. <...> Я выступал крыл по всем швам где одержал небольшую но победу а главное сочувствие всех ребят». «Крыл по всем швам» – употреблял правильную риторику. Он явно жаждет подтвердить и лишний раз продемонстрировать свою «правильную» идентичность в мире, где с идентичностью существуют проблемы. Вот запись от 30 мая 1932 года:

«Выходной. День прошел небывало хорошо. Был в зоопарке. <...> Заходил к Нателе Ивановне (хозяйке, у которой жил в 1931 году). Произвел на нее больше впечатление костюмом и чистотой в то время как у нее я был такой несчастный нищий»[12].

«После прихода из санатория постепенно втянулся в работу. То что я предполагал случилось». «Без меня получили знамя (а получить его было нетрудно, работу наладил всю я, а они только продолжили). Я пришел и вот работа упала. 1-го мая мы еще демонстрировали со знаменем, но последние дни после первого отобрали. Подвел нас здорово случай Поляка (набрал фулиганскую фразу). 1-го мая провел очень хорошо. Весь день "фетил" с дивчатами чего моя душа в данный момент здорово жаждает. В первых числах апреля меня выбрали членом общезаводской ячейки ФЗУ».

Поляк, который всех подвел, ***«здорово испортился. Торгует папиросами и на заработанные деньги каждый вечер покупает "простигосподи"»***[13].

Степану Филипповичу 18 лет. ***«За общественную работу не принимаюсь, а вспомню сердце екает»***. Записи в дневнике свидетельствуют, что общественная работа была не столько желанием, сколько императивом. Его упрекают, что он мало делает как член бюро, а он читает «Войну и мир», смотрит в кино «Мертвый дом» по Достоевскому: ***«Ох как может кино менять настроение человека. Выйдя из кино, у меня лихорадочно заработала мысль. <... > Всю дорогу до дома с поникшей головой я думал только о Достоевском»***. Вероятно, именно после фильма он прочитал «Преступление и наказание».

Достоевский соответствует, вероятно, его внутреннему состоянию, которое он характеризует как *чертовские настроения*. Эти настроения складываются из разных составляющих. С одной стороны, его ругают на комсомольском бюро за то, что ребята из его бригады прогуляли. Он не чувствует за собой греха, но в то же время боится *серьезного оборота*. Распекая его, комсомольцы попадают в больное место, ибо употребляют слово *«двух-рушность»*. Степан Филиппович действительно скрывает свое прошлое. Он *человек с двойным дном*.

Кроме того, он просто голоден, хотя и не в той степени, как сразу по приезде в Москву: ***«я как подумаю не знаю чем я питаюсь и отчего хватает еще сил работать. Ем утром чай вечером похлебка и за этим целый день»***[14]. Он голоден почти постоянно, о чем свидетельствуют записи, сделанные и в другое время, например 13 августа 1932 года: ***«С работы пришел чертовски голоден. Утром незавтракал и до четырех не жрал не хрена. Утоляя желудочную "прихемандрию" я слопал ломоть черного и батон белого хлеба, выпил три кружки воды, и только тогда почувствовал возврат старого равнодушно-веселого настроения. В небольших спорах о текущей политике, набивая рот хлебом, я узнал, что есть письма»***[15] (от отца. – *Авт.*). Вообще в записках советских людей о жизни еде уделяется много места. В 1933 году, подводя итоги трехлетнего пребывания в Москве, Степан Филиппович пишет о степенях сытости:

Полуголодная жизнь в перенаселенных общежитиях

«За три года жизни в Москве я не помню когда бы я был по горло сыт. Всегда я ходил не доедавши. В первом году жизни ел лишбы не сдохнуть с голоду. Бывало найдеш на улице корку мерзлого хлеба сдуешь с него снег и грязь, с'еш, а потом и думаеш, а что если от грязи живот заболит.

Во втором году приходилось жить полуголодными и рваными. В третьем голодными на 1/3 и более или менее оделись. Сейчас сыт правда не сытной пищей но сыт и хать и не шикарно но я доволен»[16].

Голод или недостаток еды составляет значимый компонент фона, на котором развертываются жизненные события.

Маркс – ставка в социальной игре, или Жизнь в языке плаката

Часто полагают, что фигуры идеологического языка слабо связаны с индивидуальным повседневным существованием человека. Дневник Степана Филипповича показывает, что фразы,

которые могут казаться пустыми, когда мы рассуждаем о них с исторически безопасного расстояния, имеют к жизни самое прямое отношение. Нельзя сказать, что они привносятся в жизнь откуда-то извне, хотя мы можем указать пальцем на производителей этих фраз. Они пронизывают жизнь и связаны с ней самыми интимными, телесными узами.

Степан Филиппович пытлив. Он задает вопросы людям, которых он считает экспертами в новой жизни, например руководителям политкружков. 2 августа 1932 года в дневнике появляется запись, которая свидетельствует о том, что и у Степана Филипповича, как и у Василия Ивановича, был «роман с Марксом»:

«Спрашивал у руководителя политкружком. Что лучше начинать читать раньше Маркса или Ленина? Очень многозначительно советует работать с карандашом. В Марксе, в его философии столько, говорит темного, трудно понимаемого, такие глубины, что читая третий раз все таки открывается многозначительность нового. В один раз всего не уловиш. Это и я заметил. По данному моему развитию сейчас я пойму одну часть или самое понятное, простое, в следующий раз пойму новое, то что было неуловимо в первый раз. Работа с карандашом т. е. чтение действительно вещь хорошая. И при газете, и при книге надо приучаться. Выписывал интересные цитаты в особую тетрадку»[17].

И здесь так же, как и у Василия Ивановича, мы можем засвидетельствовать фетишистское отношение к «классикам», то же упоминание о величии, о непонятности и непостижимости. У Василия Ивановича отношение к книге прямо-таки тактильное, он потрогал книгу. Степан Филиппович априорно видит у «классиков» глубины, постичь которые он не в состоянии.

Тексты «классиков», газетная правда стоят в одном ряду и выполняют одну функцию. Это ключевой слой нового языка, которым можно было обговорить новую, неведомую и непонятную реальность, непонятное сделать понятным.

Они не были в состоянии подвергнуть этот язык сомнению, ибо по отношению к языку позиция отсутствует. Ее не могло быть.

«Когда у нас в цеху случайно была набрана контрреволюционная фраза, набирал это один человек, остальные не причастны, вина их или нас была в том, что мы не сумели предотвратить это. Он держал себя свысока. Я иду и как всегда подаю руку «Здорово Колька». И что он мне ответил? «Я с контрреволюционерами не разговариваю» и такой ответ <...> получили все»[18].

Нападение – лучшая защита. Ни один из участников разговора не подвергает сомнению контрреволюционность фразы.

А кроме того владение новым языком – жизненная ставка:

«Был в саду (Мал. Дмитр) <...> на собрании. Взял с собою Карла М. Сакун (комсомольский секретарь. – *Авт.*) ***посмотрел, что я читаю он долго разхохотался что на минуту отдал книгу и ушол смеясь на другую сторону. <...> Правда он немножко осел когда узнал что я уже прорабатываю Сталина. Спешу время нехватает. Надо спать»***[19].

Отчего именно так? Понятно, что, только входя в галактику Гутенберга, они получали из рук государства, представленного в том числе большевистскими просветителями, именно такой язык, а значит, соответствующий принцип видения и деления. «У бар была наука, у мужика кабала и мука», «Наша наука – наука Ленина», «Наука Ленина у мужика и бабы» – тексты первых советских букварей. Обучение грамоте было введением в политику. Родная речь, которой они овладевали в школе, была языком власти. Дети и молодежь дышали им, как дышат воздухом.

Казалось бы, ни о каких битвах за производство картины мира и речи быть не могло, так как именно власть производила номинацию – процесс означивания элементов мира. Именно она запустила тот же процесс борьбы с крестьянством, обозначив

крестьянина как мелкого буржуа. Стигмат носила большая часть населения.

Итак, власть – это и власть номинации, власть называния элементов мира. Пытаясь обучиться новым названиям элементов мира, молодые люди с крестьянским прошлым принимали участие в игре номинации. Посредством новых слов они стремились упорядочить пространство жизни, собрать распавшийся мир, самоопределиться, обрести идентичность, найти свое место в обществе, вступить на путь социальной мобильности. С новыми словами они связывали исполнение желаний. Эти слова и имена выступали в прагматической, риторической и магической функциях.

Что значит «играть в слова»? Эту игру можно трактовать как приобщение к прецедентным текстам эпохи. Прецедентными, как известно, называются тексты, значимые для той или иной личности в познавательном и эмоциональном отношениях и имеющие сверхличностный характер, то есть хорошо известные и широкому окружению данной личности, включая ее предшественников и современников. Обращение к этим текстам воспроизводится в дискурсивных практиках[20]. В число таких текстов входят мифы и предания, библейские тексты, притчи, анекдоты, сказки, тексты художественной литературы, которые можно счесть ключевыми текстами эпохи. В этот ряд следует включить и тексты больших идеологий. Прецедентность – хрестоматийность. Знание прецедентных текстов есть показатель не просто принадлежности к данной эпохе и ее культуре, но культурной компетентности, тогда как их незнание, наоборот, есть предпосылка отверженности. Для культуры советской эпохи такими текстами вроде бы были тексты вождей – Маркса, Ленина, Сталина. Действительно, исследование, проведенное на закате советского общества, показывает, что имена Маркса и Ленина занимают ключевое место в ценностно-семантическом поле массового сознания[21]. Однако свидетельствует ли это о том, что именно тексты вождей были прецедентными? Быть может, таковыми были имена-мифы, мифообразы как воплощения желания, имена-символы как аффективный инструмент приобщения? Имена-метафоры, если понимать метафору хотя бы в ари-

стотелевском смысле как прием, посредством которого имя, принадлежащее одному предмету, прилагается к другому?[22]

Что же касается «прецедентных текстов» как таковых, то, очевидно, в их роли выступали не произведения классиков. Их хотели читать, но не читали. Пожалуй, читаемым текстом, который мог бы претендовать на статус «прецедентного», был текст «Краткого курса истории ВКП(б)», который действительно читали подобно тому, как читали Библию протестанты. Читали его не только коллективно, но и индивидуально, в армии и на гражданке, в системе политпросвещения, а многие и так, «для себя». Однако в 1932 году, когда делались приведенные записи, «Краткого курса» еще не было. О тогдашнем круге обязательного чтения см. главу о Василии Ивановиче («Память и боль»).

С социально-функциональной точки зрения эти тексты и имена – одно и то же, о чем и свидетельствует сам характер коллажей идеологического и повседневного. Умение играть в новые словесные игры, следовать правилам знаково-символического обмена, овладение техниками писания и чтения и стремление вписаться в общество шли рядом. Если ты хотел не только выжить, но и «вписаться», надо было овладеть языком власти.

Воля к норме настолько велика, что человек как бы и не замечает того, что он сам же знает. Повествуя о том, как навещал ссыльного отца в Архангельске, Степан Филиппович записывает: «***Как на зло, со многими рабочими барака (почти всеми) я яро дрался по поводу текущей политики, объясняя, почему у нас трудности. А с ними говорить очень трудно. Во-первых они нечитают газет, а во-вторых по письмам знают, в какой местности а также всебя на местах что неладно. Там голод они козыряют, там бюрократизм, там нет промтоваров и выступать одному против всех трудно***»[23]. Ради нормальности человек готов не видеть очевидного.

За пределы этого языка было очень трудно выйти. Даже тогда, когда люди вопрошали общество вне рамок школьных и прочих программ, общество отвечало им все на том же языке. Степан Филиппович был пытливым юношей и хотел получить объективное представление о самом себе, основанное на данных науки. Посмотрим, что из этого получилось.

Политические дебаты рабочей молодежи

В довоенные годы в моде была графология[24] (примерно так же, как сейчас астрология). Графологи сидели в общественных местах и давали платные консультации. Порой на консультацию у графолога тратились последние деньги:

«Наконец сегодня подпал момент когда я был при деньгах в присутствии графолога. Я исполнил давнишнюю мечту отдав свой почерк на исследование. Знать свои недостатки, знать свои качества, способности это слишком любопытно молодым людям. <...> И сегодня отдал до последней копейки, не оставив ни гроша на обед лишь бы любопытство больше не мучало меня. <...> "Если вы учащийся я возьму дешевле. Сколько? Ну рублей семь вместо 10". Как все равно знал что у меня больше нет» (16.03.1933)[25].

Через некоторое время молодой человек получает ответ. 1 апреля (*день обмана* – помечает Степан Филиппович) в дневнике такая запись.

«Давно еще в день своих именин я получил ответ от Зуева-Инсарова[26]. Незнаю почему, но я кажется поверил всему тому, о чем он написал. Например, интиресная есть одна фраза по которой опытный человек может определить мое прошлое. Он говорит, что я «рано идиологически вышел под влияния родных» и правильно. Взгляд мой на политику вообще на мир другой чем у отца например. В тоже время он говорит что миропонимание материалистическое. Вот нащет силы воли я даже не ожидал что у меня сильная сила воли а он говорит что я настойчив. Еще он говорит что я ленюсь. <...> Письмо принесло мне пользу. Я начал знать себя начал верить в себя, верить в свои поступки в свои силы. <...> Сейчас имею необычайный авторитет среди учеников Ф.З.У. Даже секретарь ячейки Олимпиев находится под моим влиянием. <...> Вчера утвердили меня культоргом Ф.З.У. Все радостно голосовали за мою кандидатуру. <...> Недаром Зуев-Инсаров написал мне, что я умею создавать себе авторитет и "похарактеру всякая общественная работа"»[27].

Получив этот ответ, герой наш взбадривается, ибо убеждается в своей культурной компетентности, в том, что требованиям общества он отвечает. Он разделяет доксу со всеми. Обычные формы классификации мира – государственные формы. Происходит доксическое подчинение структурам социального порядка, продуктом которого являются ментальные структуры.

Значимость этих языковых игр трудно преуменьшить. Конечно, посредством символических словесных игр реализовался дискурс власти. Но именно в результате игры складывались риторические коды как общественные правила говорения, кодирующие формы повествования и речи[28]. Создавался социальный (социоисторический) код как система правил высказывания об обществе и о самих себе, система именования, почва для взаимопонимания между разобщенными индивидами[29]. Подтверждение этому можно найти и в записях Степана Филипповича. Одна из ключевых метафор – *«жизнь-борьба»*. Мысль эта, правда, приписывается М. Горькому: *«Кажется у Горького сказано, что "жизнь это борьба". Очень метко сказано»* (02.05.1933)[30]. Когда автор дневника думает о движении

жизни, он употребляет слово «диалектика»: ***«В жизни все нарождается движится и умирает говорит главный закон диалектики. Да все движится» (23.12.1934)***[31]. Наш герой неоднократно повторяет: *бытие определяет сознание*. Этим языком пользовались все, включая и тех, кто был «не согласен». В результате в обществе возникала система взаимопонимания, что вовсе не означало принятия «всеми» идеологических догм. Советское общество называют обществом идей. Но скорее, оно было обществом слов и игры в слова. Значимость этой игры юный Степан Филиппович ощущал вполне. ***«Тоже нужно быть профессионалом игры слов чтобы выходить из положения»***, – записал он 10 января 1935 года[32].

Мы в очередной раз являемся свидетелями тому, что язык – власть. Мы сталкиваемся и с феноменом завороженности языком идеологии, подтверждающим мысль Р. Барта о том, что мифологии безусловно находятся в согласии с миром и что миф – это желание. «Расчеловеченная» история – модернизация, индустриализация, войны, преобразования государственной власти, связанные с этим акты насилия по отношению к другим народам и своему населению, унификация идеологии и культуры и прочее – «очеловечиваются поэтикой мифологизированного политического имени», замечает И.И. Сандомирская[33].

1 июня 1933 года Степан Филиппович делает такую запись:

> ***«В последнее время на общественную работу я стал смотреть не как карьеризм, а как систему как составную часть моего тела, моего существования как на хлеб который необходим для того, чтобы существовать не как в борьбе за существование а как за систему по желанию»***[34].

Метафоры хлеба и тела – симптоматичны. Общественной работой они причащались.

Желания и реальности

Вот запись от 3 августа 1932 года, схожая по настроению с воспоминанием Владимира Ильича Едовина о том, как бродил он по «счастливой Москве» подобно бедному нищему мимо сада:

«Сегодня был в парке Тимирязевской академии. Много студентов занимается в саду, уютными группами. Завидую. Хоть бы познакомиться с какими-нибудь учениками, полит-работниками, попросить у них помочи, поддержки, советов в учебе. Самому изучать Маркса трудновато, и кто его знает может я высоко взялся, может нада было раньше взяться за что нибудь (придварительно) легче. Может только время даром трачу... А все таки рано, поздно, а взяться надо. Как я необращаю внимание на знаки препинания»[35].

Эта мечта – наряду с другими. Запись от 9 августа 1932 года:

«Помню в малых летах ещо дома я думал (фантазировал) что я захожу в замок, где очень много комнат, много дверей, много отделений, что в каждом отделении уйма конфет, печенья, всякой всячины из съестного. <...> Потом когда уже был старше начал думать о дивчатах, о одеже. Какбудтобы я франт гуляю с лучшими девчатами. Потом много фантазировал о кар'ере. Кем уж я не бывал...»[36]

ВСХВ, Москва. Середина 30-х годов

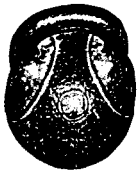
Отрывок, за который, вероятно, схватится психоаналитик...

Здесь интерес представляет тот образ отца-мучителя, который рисует Степан Филиппович. Хотелось бы оговориться, что то речь идет не только о «психоаналитическом» соперничестве с отцом. В эпохи социальных перемен наблюдается резкое несоответствие между габитусом отцов, приспособленным к иной системе отношений, и устремлениями молодых, которые легко адаптируются к новым тенденциям, легко воспроизводят новое и стремятся к нему, ибо новое для них – самоочевидность, воздух, которым они привыкли дышать. Отцам может не хватать воздуха, отцы *мешают*. Это социокультурная константа переходных эпох. Так современным молодым людям тоже *мешают* родители, которые не соответствуют требованиям времени. Они мешают реализовать желания. Молодые всегда немножко Павлики Морозовы, молодость – это возмездие. Понятно, что отец-лишенец, само наличие которого толкало Степана Филипповича к тому, чтобы вести двойную жизнь, не мог временами не вызывать раздражения. Самые активные и жизнеспособные хотели избежать судьбы жертвы коллективизации. Они не хотели судьбы отцов. Порывание с родителями, радикальный отрыв от них – важная особенность культуры того времени.

13 августа в дневнике такая запись:

«Эх сволочь ты такая, тиран, мучитель. Больше не нахожу слов обозвать тебя.

Мучил ты с малых лет меня, бил меня что и скотину так не бьют, изуродовал искалечил меня на всю жизнь. Через тебя я больной сердцем. Через тебя я нерос. Через тебя и не мог учиться. Ты мне не давал развиваться во всю ширь. Если б не мам ябы сгинул как собака и непожалал бы своей жизни. Слава богу освободился от тебя немного. Очухался. Подрос. Вышел в люди. Начал развиваться на всех парах. <...> Тут только розкопались мои внутренние богатства. <...> Палаческие побои <...> привязание на виду у всех веревкой к столбу чтобы неходить гулять. Сотни раз стояние на коленях с поднятием рук с гирею или вооб-



ще тяжестью, тысячные тумаки кулаками и побои ногами – незабываемые долго. <...> Кормила мама, одевала исключительно она»[37].

Справедливо ли такое отношение Степана Филипповича к отцу? Напомним, что в крестьянских общностях передача социального знания через невербальное воздействие тумаками и т. п. было *нормальным* (см. также главу о жизни бывшей крестьянки Евгении Григорьевны Киселевой). Скорее дело тут в другом.

Отец воплощает прошлую жизнь. Отец – не тот, кому хочется подражать. Более того, этого делать никак нельзя. Рядом с записью об отце – запись о получении письма с родины, с Украины, в котором сообщается, что тамошние мужики опухают и мрут с голоду. Целые поколения ощущали опасность голодной смерти как самую прямую и реальную. Степан Филиппович, как и большинство людей, умирать не хочет.

Его разрывает на части. В одной из записей рассказано о том, как ему хочется пойти с матерью в зоопарк, в результате он опаздывает на субботник, и его грызет совесть.

Желания Степана Филипповича определены конкретно-исторически. Он позиционирует себя так, как подсказывает ему наличный репертуар биографических траекторий. Обратимся к записи от 25 августа 1932 года.

«Еще в 1929 г. когда продолжалась моя мирная однообразная жизнь, когда в мою судьбу не вмешивались ни какие ни внешние ни внутренние силы. Когда мой кругозор был очень и очень невелик, <...> маме ворожила цыганка <...> и предсказала как говорит мама что я стремлюсь к учебе <...>, что у меня есть очень большой талант и громадное щастье. <...> И главное предсказала то что я буду инженером. <...> Инженер – это высшая форма человеческой учебы. <...> Эта мысль непокидала меня до 1932 г. Остаточно она перестала быть идеальной в конце 31 и начале 32 года. <...> После реконструкции моей жизни и обстановок филантропическое слово инжинер начало угасать. Его вытеснило слово писатель. Слово служившее в 1931 г. символом в моей жизни. <...> Единственная была цель опи-

сать жизнь мою и моего поколения с прадеда. <...> Я как человек сильно интересующийся политикой у меня начала возникать и интересовать другая мысль. Стать журналистом. Одно время я спрашивал себя ненапрасно ли я убиваю время разбирая Маркса. Теперь по этому поводу у меня создалось другое мнение. Учиться по политэкономии с добавочным материалом – Маркса, Ленина»[38].

Обратим внимание на цель писательства. Стать писателем, чтобы описать свою жизнь, которая представлялась не только уникальной, но и неправильной, отклоняющейся. Степану Филипповичу казалось, что именно Горький, опекающий молодых писателей-самоучек, может помочь выполнить эту задачу. А потому он благоговеет перед Горьким и сопереживает ему. Статью Ф. Панферова против Горького он читает рыдая.

«Дело в том, что за последнее время Горький видно оторвался от казенной обыденной жизни как писатель новатор, основоположник русской пролетарской литературы инициатор многих и всяких кампаний и диспутов он <...> кой чего другого глядя в глубь крестьянских масс. Недаром его последняя работа опубликована в неком деревенском журнале. Затем в нем есть какая-то жилка которая не имеет сростка с линией партии. Например Горький очень восхищен успехами возможности перевоспитания кулака путем труда»[39].

И тут же обозначен еще один вариант, ставший реальностью: ***«25 меня выделили в райком на секретную работу»***[40]. Он соглашается, испытывая чувство вины и опасаясь «обратного превращения» (Э. Канетти), то есть разоблачения.

Нельзя не отметить симптоматичность изменений в поле желания: инженер меняется на «инженера человеческих душ», что свидетельствует о стилевом историческом повороте. Нельзя не отметить, что чтение Степана Филипповича не ограничивалось основоположниками и марксистскими брошюрами. Он читает «Былое и думы» Герцена и посредством прочитанного интерпретирует собственные жизненные коллизии:

«Читая книгу и если там встречается отрывок похожий на твою жизнь, он оставляется светлым пятном книги. <...> Читая Герцена «Былое и думы» я удивляюсь как невидеть знакомого 8–11 лет и в тоже время быть ему преданным и быть хорошими друзьями. Неужели у меня так будет. Но ведь я не имею даже ни с кем письменной связи»[41].

Ему хочется порвать с прошлым, но одновременно он вспоминает счастливые вечера Украины.

«Мне кажется я бы пошол на многое, даже на сокращение годов жизни не говоря уже на бешенные трудности, но лишь бы мои мечты совершались, иначе говоря, чтобы совершилось мое желание. Как я раньше не обращал внимание на слова относящиеся к Горькому, например, в таком духе «Инкубатор для вывода циплят-писателей», «Горький помог тысячам молодым писателям в их работе» и т. д. Как я это незаметил. Нада взяться за произведения Горького. Может быть он мне поможет»[42].

Быть культурным

Дневник этот интересен еще и тем, что пишущий его фиксирует процесс поиска образца для подражания. Если характеризовать этот образец в двух словах, то ему хочется быть нормальным. 13 сентября 1932 года он записывает: *«Неужели я буду отличаться от других? От этого вопроса у меня волосы становятся дыбом и тело передрагивается мелкой дрожью»*[43]. Этот вопрос волновал его постоянно: *«Как жить? Как быть? Где увидеть зеркало себя? Как вести себя... Как Я выглядю? Почему об этом нигде не прочитаешь?»* (06.01.1933)[44].

Не вполне ясно, чего именно Степан Филиппович хочет. Жизнь его еще не прожита, игра идет, а потому и направление поиска не вполне определено. Степан Филиппович ищет людей, не только умственный, но и телесный статус которых отвечает неясному идеалу:

«Почему мне так нравятся иностранцы? Почему я их так уважаю? Кажется, многим заплатил бы, чтобы пожить в их обществе, в их культурности.

Сталин в гостях у Горького

Каждый раз, когда я увижу поэта, писателя или какого-нибудь крупного человека, как я приглядываюсь к их лбу, голове, не похож ли мой лоб случайно на такого-то типа. Смешно, но так получается. Сколько ни наблюдал, не встречал ни одного. Все с круглыми и большими лбами, вроде волоса у них лезут на лбу, а у меня квадратный и чорт возьми в добавок, как у старца с морщинами. Но несмотря намое такое физическое несчастье (несходство) я замечаю, что я все таки преимущественно выделяюсь развитей и лучшим среди таких же как и сам, т. е. равных по годам. Я боюсь, избегаю встречи, разговора с тем человеком, которого я не изучил и которого я считаю выше себя. Например Агитбригадников (невсех)»[45].

Другая запись:

«Эх как бы завести побольше знакомства с журналистами, писателями, учащимися и вообще молодыми людьми по этой специальности. От них только могу перехватить опыт и чего-нибудь почерпнуть»[46]. В качестве образца может выступать и комсомольский вожак: ***«Это человек, который сыграл небольшую роль в моем развитии. Некоторые отдельные урывки, частички (наподобие интерестных, отдельных фраз, выписываемых из книги), жизненной махинации, машины сложного механизма, положительное осваивание которого требует большого внимания и тщательного отбора из всего виденного и не виденного в отдельном отрезке прожитого времени»***[47].

Однако чем бы ни заниматься, главное – преодолеть социальное различие, найти свое место в иерархии, если иметь в виду, что общество – это всегда иерархия. Они делали все, чтобы не попасть в положение ниже нулевой отметки, то есть за пределы иерархии, а значит, и общества. Тексты вождей – святыня, но эта святыня используется ради исполнении желания, сопряженного с удовольствием.

Ему хотелось вкусной еды и театра, любви. Хотелось не только быть как *все*, но принадлежать к числу *лучших*. Один из способов маркирования своего нового места в социальной иерархии – хождение в театр. Кроме того, не следует забывать, что театр – метафора столь желанного преображения.

«Недаром вчера я писал, что Сталин на демонстрации был грустный[48]***. Сегодня было опубликовано в газетах померла 9-го его жена. Придчувствовал наверно. Так два дня которые я хотел описать еще не кончены. Вечером как и всегда водится в такие дни все, т. е. не все а лучшие идут в театр. Их награждают билетами. В число таких счастливчиков попал и я. Когда утром лакомясь завидными бутербродами буфета уплел их несколько штук то ко дню оказалось, что я ими отравился. <...> С большими усилиями перебарывая себя оделся в***

театр. Ну что заболел. Выздоровлю. А такого дня год ждать придется. <...> На другой день 8-го был в клубе. Погулял, что называется, на ять. Очень хороший массовик был. В этот вечер близко познакомился с многими девчатами»[49].

Действительно, в театр ему удается выбраться не часто. Следующая запись о театре сделана 24 октября 1933 года, почти через год.

«Сегодня втроем <...> культурно и хорошо провели вечер в театре. Замечательно приятное ощущение души. Это напоминает что-то грандиозное взрослое в то же время новое. Это уже незначит сходить в кинишко за рубль. А именно в театр солидно культурно в то же время за 5 руб. И это имеет огромное моральное ощущение, за сколько сходить»[50].

Неизвестно, какой спектакль смотрел Степан Филиппович, но слово «культурность» два раза встречается в короткой записи.

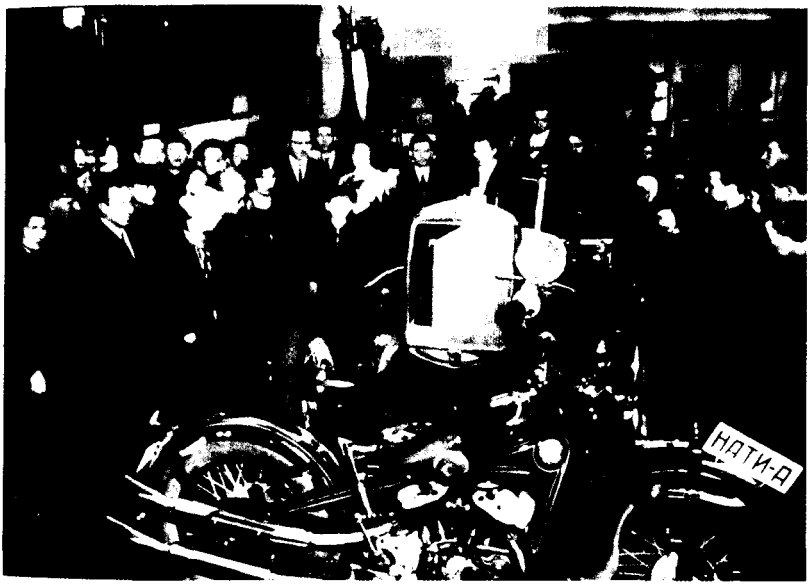
Слово *«культурный»* как оппозиция *некультурному, отсталому* начинает мелькать на странницах дневника с 1932 года.

«Культурность» не равна «высокой культуре» как системе ценностей. Это культура в антропологическом понимании, она представлена в стиле жизни. Культурность подразумевала не только социально одобряемые речевые практики, но и культурный, то есть нормативный литературный язык. Она предусматривала гигиену, еду и одежду. Эта идеологема включала программу правильного поведения на публике и маркирование социальной позиции через приобретение вещей, способ репрезентации завоеванного социального положения и самообраз достойного человека. Идеологические и телесные практики выступают в неразрывном единстве. Неразрывность идеологически одобряемых поступков и достижений и удовольствия от «культурности» лежали в тогдашней культуре на поверхности. Дневник Степана Филипповича – яркое тому свидетельство.

Канон культурности не был столь жестким, как идеологический. Он включал компоненту удовольствия и соблазна. Внешний контроль на эту область распространялся меньше. «Куль-

турный» равно «цивилизованный». Цивилизованы привилегированные.

Степан Филиппович, подобно Ивану Ивановичу Белоносову, начинает культивировать новые для себя практики, например посещение музеев. Он записывает впечатления: ***«Красивая статуя (очень большая в два раза наверное больше нормального человека) мущины голого. По углам всюду сидят художники срисовывая статуи. Интерестно женщина сидит срисовывая статую мужщины со всеми его конечностями»***. А вот иконы он ***«просмотрел, но интересного в них ничего не знаю зачем только место занимают»***[31].



Политехнический музей в Москве. 30-е годы

Год 1934 – открытие нового мира, равно жгучий интерес и к прошлому, и в сегодняшнему дню. Вот запись от 21 января:

«Я в театре "Юнного зрителя" смотрел постановку "Чернышевский и Александр II". Прежде всего замечательная вещь. Ценна тем, что деятельность Чернышевского и его дру-

зей того времени, его личная жизнь характеризующая революционеров того времени все это известно очень и очень небольшому кругу людей, достаточно грамотных даже с уклоном в эту область. На сцене же показано все это в очень простой исключительно интерестной форме. Второе: Александр II о котором в литературе умалчивают тоже никому неизвестен как личность как человек. Здесь же проявляет большой интерес зрителя показывая его самого и его свиту. Вещ хорошая еще тем что чувствуется во всем реальность. Непересолили в критике существующего строя что часто делают другие».

Здесь же запись о докладе Сталина.

«25 января открылся XVII съезд ВКП(Б). Сегодня печатается доклад Сталина о съезде. От доклада я ожидал больше чем я успел пока вычитать. Процентов примерно половину. Создается впечатление, что это не есть доклад Сталина а от него я почему-то ожидаю нового, научного, а просто суммирование фактов Сталина. Напоминает Менделеева который не придумал своей гениальной таблицы, а просто поставил все в надлежащем порядке. Нового пока в докладе не оказалось. Обо все этом писали много раньше. <...> Новинка <...> людей с заслугами в прошлом, неподчиняющихся, искривляющих линию партии, выгонять

Сталин с делегатами XVII съезда ВКП(б)

из правящих еденц понижая в чинах. Болтунов не пропускать к правящим должностям» (28.01.1934)[52].

Отметим, что в начале 30-х слово *«культурный»* ассоциировалось *с культурной революцией.* Это слово еще отсутствует в докладе Сталина XVI съезду партии. В Отчетном докладе XVII съезду оно встречается неоднократно. «Страна грамотная и культурная», «бурный рост культурности», «зажиточная культурная жизнь», «культурно-развитые трудящиеся» и др.[53]

В конце 1935 года Степан Филиппович пишет:

«Только всего навсего какой нибудь месяц я стал понимать музыку, для меня уже не пустой звук когда читаю, что такой-нибудь «светский» человек наслаждается оперой, и что он предпочитает оперу драме и т. д. <...> Это безусловно фактор духовного роста. Надо отдать должное радио которое безусловно многому способствовало в моем развитии музыкального понятия. Только сейчас закончил читать "Собор Парижской богоматери"»[54].

Читает он много: Лукиана «Разговор богов» (от него он узнал, что Дионис изобрел виноградную лозу и вино), Достоевского и Тургенева, Е. Тарле, Щеголева, книги о Французской революции, естественно, Ф. Энгельса, Ф. Панферова.

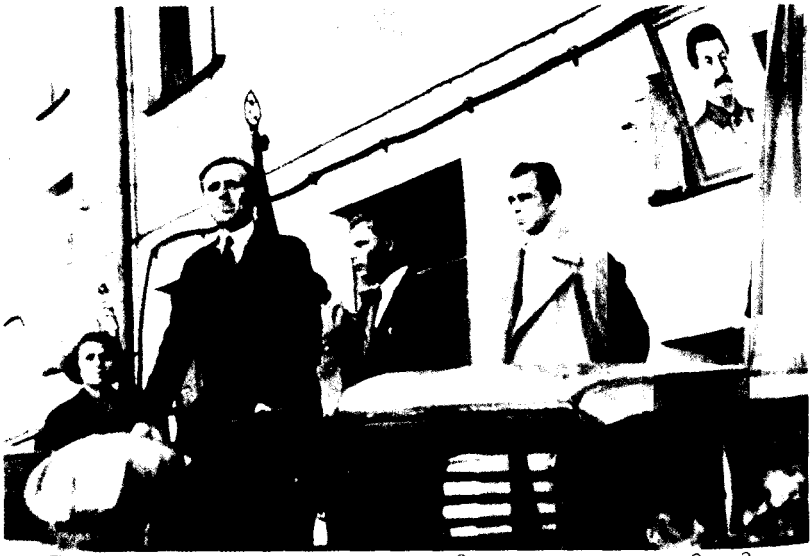
Вот ряд записей, в которых *«культурность»*, *«культурный»* – ключевые слова. Подобные записи встречаются в дневнике постоянно. ***«Культурно оделся сходил в кино, очень хотелось сходить в парк культуры и отдыха денег не хватило»***[55]. В начале 1934 года Степан Филиппович переходит из цеха в библиотеку.

«Библиотечное дело мне нравится потому что я ничего не делаю, а деньги хоть небольшие, а плотят. В последнее время чувствую что начал расти культурно и в сравнение с прошлыми годами вырос неузнаваемо. Это еще имеет значение что нахожусь среди ребят тоже культурных. Какое громадное значение в жизни имеет обстановка в которой находишься, люди среди которых вращаешься. Заимел хороший костюм.

На днях купил плащ. Одет культурно чисто, и сам в смысле чистоты акуратен. Материальная сторона неплохая. Прорыв громадный в материальной стороне. Это прорыв куда надо. Бросить все силы всю энергию пока неподздно, а то время осталось совсем немного» (18.06.1934)[56]. *«Она была весьма развитой дивчиной из культурной состоятельной семьи. Из семьи советской аристократии. <...> Быть может в развитии мы были равные, но в деньгах и одевании мы были далеко не равны... И как видно старая пословица «Деньги делают все» правдива в нынешних социалистических условиях. Социализм социализмом, а деньгам свою дань отдай»* (20.12.1937)[57].

«А в магазин ходил я покупать костюм так что у меня сегодня день праздничный. Правда стыдно тебе единственный верный друг дневник прзнатся, что именно костюм меня сегодня больше всего тривожит. Но с ним связано так много серьезных вещей что нельзя чтобы нетревожило и неудивительно.

Вопервых он стоит 300 рублей во вторых он бостоновый. А в третьих главное деньги на костюм мама взяла казенные. <...> Купив сегодня костюм я мечтаю и вполне серьезно обяза-



Советская «аристократия» выделялась стилем одежды

тельно приобрести шляпу. Буду ходить дипломатом, даже костюм дипломатический с круглыми отворотами» (01.03.1935)[58].

Подводя итоги 1935 года, Степан Филиппович пишет: *«Вращаясь в кругу делекторов и вообще людей хорошо одивающихся всегда чистых я сам старался всегда быть <...> одетым акуратным с накрахмаленным воротничком выглаженным костюмом. Это прививало мне внешнюю культуру»*[59].

Приведу лишь два из длинного ряда примеров совмещения в одном отрывке «знаков успеха» и сообщения о попытках чтения идеологических текстов: *«Купил себе мандолину. Вторая вещ которую я купил за свои собственые деньги добытые трудом. Первая вещ были часы купленные в июне 1932 года. Отпуск погулял с ними с форсом. Ну пора спать. Зачитался газетами. Сегодня интересный доклад Мануильского о XII пленуме ИККИ. Легко и захватывающе читается»*[60].

Еще один отрывок:

«Вчера в связи с 50-летием смерти Карла Маркса в библиотеке Ленина была лекция из Комакадемии о его деятельности. Я присутствовал. Не так уж реч как замечательный читальный зал. Большой, чистый уютный, и вообще культурный»[61].

Что интересует его больше – юбилей Маркса или возможность побыть в «культурности» чистого и уютного зала? Зала, который был так не похож на собственное его жилище и от пребывания в котором он явно получал удовольствие? По записям Степана Филипповича хорошо видно, сколь значима для людей возможность продемонстрировать свою идентичность, пусть даже с риском для жизни. Летом 1934 года Степан Филиппович посетил родные места:

«Быть может, меня никто не тронет но есть старая пословица береженого бог бережет хотя я в бога не верую. 5 лет я не был в этом захудалом местечке. Как оно изменилось за

это время[62]***. Люди вот что больше всего меня интересует. Что скажут враги и знакомые ибо друзей не осталось. <...> Что изменилось в моем родимом*** [нрзб.], ***где процветала моя отсталость. <...> Я вспомнил, что здесь я провел свое детство до 15 лет невидя поезда. <...> Я побежал на базар жаждя встретить знакомых и боясь встречаться в тоже время».***

Заметим, что прошлое свое наш герой маркирует как несомненно *отсталое* и *некультурное*.

9 января 1936 года Степан Филиппович пишет письмо Сергею Яковлеву, сыну бывшего помещика. Черновик этого письма сохранился в фонде. Для чего он пишет? Вероятно для того, чтобы сообщить о своей новой идентичности, ибо он стал студентом: «Между прочим я в Москве с 1930 г.». А дальше вычеркнуто: Мы с Вами обменяемся мыслями, кто чего достиг за эти годы»[63]. Впечатление такое, что Степан Филиппович одержим страстью знать о социальных перемещениях других. В этот момент колесо истории перевернулось, и Степан Подлубный и Сергей Яковлев поменялись местами.

Нельзя не отметить, что в письмах он вовсю использует клише эпохи.

«Мама и я работаем и учимся. Я вот уже 4-й год все учусь. Трудновато конечно, 8 часов работать и 6 часов заниматься ссерьезной учебой. Но нам большевикам к трудностям не привыкать» (декабрь 1934 года). ***«Я лично живу хорошо а главное живу культурно». Тут же он разъясняет, что имеет в виду: «Учусь вообще, об этой учебе я уже писал, учусь в литературном кружке, учусь музыке, по выходным хожу на уроки танцев и обязательно бываю в кино или в театре. <...> Дома бываю только когда сплю»*** (апрель 1935 года)[64].

Реальность, в которой жили люди, не соответствовала мечтам. Из этой реальности хотелось вырваться. Получалось не у всех. 12 марта 1933 года Степан Филиппович вспоминает барак в Архангельске, в котором обитал высланный отец: дом

Барак сезонных рабочих. 30-е годы

«двухэтажный, оббитый штукатуркой, с черными изуродованными рамами окон. Крутая на подъем деревянная лестница на второй этаж небольшой темный коридорчик и несколько деревянных дверей, напоминающих, что там есть комнаты. В одной из этих комнат тесной темной воняющей клопами жил и я. Посредине этой комнаты стол, покрытый желтоватой облезлой клеенкой, около него несколько <...>стульев, на которые садился с опаской. Направо кровать аккуратно убранная с горкой возвышающихся подушек. Налево – другая кровать покрытая довольно таки грязноватым, сшитым из разноцветных кусочков материи одеялом. Прямо небольшой комод из сосны. На нем зеркальце и несколько разбросанных фотокарточек. Рядом на полу небольшое пространство, где спал я»[65].

А вот о рабочих бараках Ярославля:

«Залезаеш на полатьи как в мешок. Повернувшись боком плечом достаешь потолок. На таких полатьях плечо в плечо спят люди. <...> В темноте, невыносимой духоте и смраде, ибо под

полом находится поросенок. <...> Отчаенно кусали клопы, шуршали тараканы и в невменьшей степени помогали клопам кусать вши. <...> Побывал я в районе автозавода. <...> Черные от копоти, длинные низкие здания похожи на бараки с низкой крышей постройки вряд лежат как измазанные в грязь свиньи прижавшись друг к другу. К окраине за заводом ужасную картину представляют рабочие деревянные бараки. Низкие, с маленькими окнами, черные, грязные. Выстроенные рядами, между которыми образуются улицы с непролазной грязью жуткими вонючими уборными и свалками. <...> Люди угрюмые, я не видел ни одного жизнерадостного веселого лица. <...> Одеты очень бедно и грязновато. И это не только на окраинах, но даже в кино я не встречал людей прилично одетых. <...> Культурный уровень по сравнению с московским очень низок»[66].

Подводя итоги 1937 года 6 декабря, Степан Филиппович совсем не затрагивает тему культурности:

«Тяжелая и скверная жизнь пережита мною в этом году. <...> Мама почти весь год не работала и я стипендии не получал. <...> В Москву приехал отец пытался устроиться чтобы остаться здесь, заболел 4 месяца лежал в больнице и уехал ни с чем. <... > Конечно жить мне лично для удовольствия нет никакого интереса. Это сплошные неприятности. Но мысль что жить нада для интереса что будет дальше чтобы посмотреть будущее успокаивает меня. Чтож пожевем увидим а остановить жизнь можно всегда и можно сделать это только один раз»[67].

Однако оставшиеся три недели года приносят перемены. 20 декабря арестовывают мать.

Паспортная кампания и ментальные классификации

Чувство опасности разоблачения обостряется во время каких бы то ни было государственных и партийных кампаний, например паспортной кампании 1933 года.

«Со дня на день ожидаем комиссии по переписи к выдаче паспортов. Если мы пройдем этот период благополучно то еще поживем спокойно, но скорей всего попадем обое. Строгость невероятная, участвует МУР и ГПУ, а с этими не пошутиш. Только чудо может спасти нас» (06.01.1933)[68]. То же настроение и в конце января: *«Положение людей сейчас. Еже дневная тревога. Скучные тоскливые разговоры об одном и том же. Един вопрос. Получил паспорт?»*[69]

И действительно, не все проходят сквозь классификационную решетку государственных категорий. Овец отделяют от козлищ, то есть допущенных от не допущенных, избранных от исключенных. Библейская ассоциация как бы подтверждает универсальность происходящего.

«По нашему дому <...> отняли 40 карточек. А факт, что у кого отняли карточки значит из Москвы фить к бабушке. Отбирают у бывших лишенцев, колхозников убежавших из

Проведение паспортизации населения в 30-х годах

колхозов. Целые сем'и остаются без куска хлеба. Мы к эти не принадлежим и потому у нас не отобрали. Когда ходили по квартирам отбирать сем'я отдавая карточки устраивала такую сцену что мог выдержать только человек крепкий характером. Ругань мущины плач ребенка завывание жены. И слезы и невинные слезы сколько прольется вас. Около трехсот тысяч по одному октябрьскому р-ну отобрали карточек. <...> Нежалка лешенцев, спекулянтов, пьяниц, воров но зачто должен страдать честный гражданин живущий мало в Москве. И жалко детей онижe не винные»[70].

Запись эта напоминает библейскую сцену избиения младенцев в Вифлееме.

Государство имеет способность и возможность налагать и внедрять универсальным способом, в пределах заданной территории, закон, принцип видения и деления, соответствующие когнитивные структуры и структуры оценки. (Заметим в скобках, что *культурный/некультурный* – тоже государственная классификация, она производится теми, кто властвует над классификациями. Однако она принимается, воспроизводится охотно, причем представителями совершенно разных социальных групп. Это основа объединения людей в общество. Такое совпадение – в числе причин успешности советской системы.) Точно так же любой закон игнорирует индивидуальные особенности и обстоятельства. Государство выступает в качестве организационной структуры и регулятора практик, оно формирует длительные диспозиции (П. Бурдье) через целый диапазон ограничений. Это может быть телесная и ментальная дисциплина, а также и пространственные ограничения, о которых в данном случае идет речь. Государство «отвечает» (узурпирует ответственность) за все фундаментальные принципы классификации. В данном случае люди делятся на тех, что с паспортами, и тех, что без паспортов. В начале 1933 года в обществе явно не было доксического согласия, а потому степень насилия почти беспредельна. Классификации и формы мышления буквально вбивались.

Степан Филиппович – не теоретик, но он прекрасно чувствует, в чем дело, используя метафору «сортировки-людечистки»:

«Людей, которые не получат паспортов, которые должны будут уехать из Москвы, а некоторых и "уедут" найдется очень много наверное %40–50. Безусловно после этого Москва вздохнет полной грудью и облегченно вздохнет тот кто останется в ней. Конечно к тем, кто останется будут предъявлены громадные требования. Строжайшая дисциплина, увеличение выработки интенсивного труда и т. д. и т. п. Но <...> и дадут причитающееся для него. Этой работой сейчас увлечены все, и организации а также с напряжением наблюдают за этой работой и население. Конечно о таких вещах говорят мало но немного опытный человек в определении настроения того или иного субъекта скажет чем он увлечен. <...> В общем сортировка людечистка новейшей конструкции. Пропускает сквозь свои решета им нужных а в числе мусора остаются люди с богатым прошлым. Теперь во всю глубину разума стоит вопрос каково же? Какова ж моя судьба. Хоть Горький сказал, что «наряду с варварскими случаями верования в бога существует идиотское верование в судьбу», но слово судьба я употребляю <...>, лазейка очень узкая но в нее надо какими-то способами пролезть. Хотелось бы остаться. <...> Но при такой ихней бдительности вряд ли удастся проскользнуть. Особенно я это почувствовал после речи Кулагина на союзном дне когда он говорит из ФЗУ 50% придется вычистить. <...> Тяжелые работы, ссылка, тюрьма все нипочем. <...> Страшен голод. Сегодня получили письмо <...> они взывают. Тетя Фрося и брат Степа мы распухли от голоду помогите если чем можите. <...> Я слишком хладнокровен стал ко всему окружающему. Мама плакала. <...> А я почему-то с улыбкой прочел письмо» (04.02.1933)[71]. И через несколько дней: *«Кажется все непочем, нечего не боюсь. Только ужас голода с головы не выходит»*[72].

Надо полагать, что не один только наш герой столь остро передавал происходившее вокруг. Запись от 20 февраля повествует о том, как его соученица по училищу пытается покончить жизнь самоубийством именно в связи с паспортизацией и сокращениями. В начале 1935 года Степан Филиппович с товарищем тоже обсуждают этот вопрос: *«Сейчас я вспо-*

Рейд московской милиции в 30-х годах

минаю один из разговоров <...> о самоубийствах. Он меня спрашивает ну а ты не думаеш вешаться. Смеясь отвечал, что пока нет. Да <...> не помереть нам своей смертью скорее всего нас убьют с тобой» (02.02.1935)[73].

Вопрос стоит о том, как проскользнуть через решетку. Это знак социальных технологий сопротивления, позволяющих производить манипуляции событиями, которые могут превратиться в возможности.

Кроме того, дневник хорошо показывает, насколько ясно люди видели альтернативы возможных поворотов событий. Дневниковые записи дают ясный комментарий к туманным речам героев предыдущих глав.

Степан Филиппович чувствует себя загнанной дичью: ***«Все и всюду вся пресса кричит вопит о классовых врагах. Очень много выявляют. Непришла ли очередь мне?»***[74]. Они с матерью усиливают бдительность: ***«Обое только изменили тактику. Я стал хорошим активистом (может этот излишний активизм и погубит меня), применил скрытую форму подхалимства к руковод-***

ству. Мама хорошая активистка, прилежная ученица, премированная».

На сей раз они проскользнули, преодолели эту загадочную разницу между последним прошедшим и первым не прошедшим:

«Сейчас решается наше существование, наша участь, наша жизнь на будущее. Сейчас ити за паспортом. <...> Руки дрожат от радости. Не могу держать в руках пера. Звонким радостным боем звучит сердце приливая много крови в голову. После целого часа бушующей бури в груди после целого часа мытарств я получил паспорт» (14.04.1933)[75].

В конце октября 1935 года у матери «отнимают паспорт», она начинает готовиться к «пространственному перемещению».

Кампания паспортизации была лишь одним из опасных моментов. 18 июня 1934 года Степан Филиппович задумывается над тем, что его скоро призовут в армию.

«Оказывается (хотя я кажется это знал и раньше но никак не подумал серьезно) оказывается если тебя берут в армию всеровно посылают запрос по месту жительства и рождения. Я задал себе вопрос. Мне скоро в армию. Вся моя нескольколетняя игра кончится»[76].

И вновь еще один герой этой книги вспоминает о пресловутой справке призывника, сохраненной Иваном Ивановичем.

Обыденные классификации совпадают с государственными. Степан Филиппович записывает, что, перейдя на работу в технический отдел заводоуправления, карточку он получил, 3-й серии.

Раздвоение

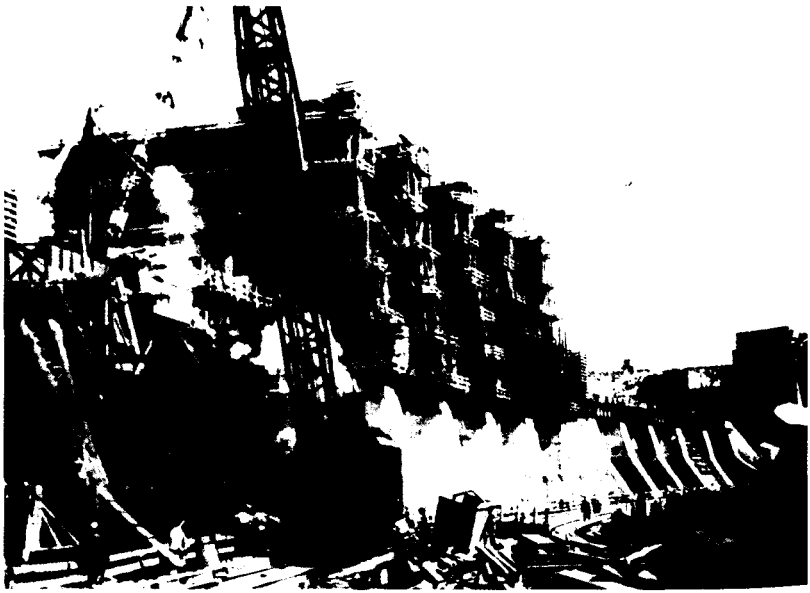
Уже в записях 1932 года нельзя не заметить двойственного отношения Степана Филипповича к общественной работе. Только на первых страницах дневника – полное согласие. 6 октября он записывает: *«Вчера был на заседании в райкоме вожаков лехкой*

кавалерии[77]***. Как такие заседания и вообще посещения собраний где выступают хорошие люди дают стимул к работе, служат ветром для огня»***[78]. А 16 октября он уже пишет: ***«Ух Как мучит меня эта легкая кавалерия, а что делать*** [нрзб.]. ***Чувствуеш что ничего не делаеш, портится все настроение. Как вспомниш что вызовут в райком и вообще ничего не ведется так и душа ойкает сжимается»***[79].

Он «заодно с правопорядком».

«Только что я посмотрел 2 сегодняшние газеты "Правда" и "Комсомольская правда". Вся газеты как та и другая насыщена Днепростроем. Сегодня ведь пуск. Историческое дело. Большая вещ. Есть, чем похвастаться <...>. А еще вычитал: на 1 октября в Ленинграде насчитывается 2.850.000 жителей. За год возросло на 683000 чел»[80].

Наши герои были в числе тех, за счет кого росло население больших городов[81].



Строительство ДнепроГЭС. 1936 год

Тут же он записывает об исключении из партии Зиновьева и Каменева как участвующих в «контрреволюционной нелегальной шайке».

15 ноября 1932 года – запись о том, как терзает его секретная работа, как опасно их собственное, его и матери, положение:

«Они терзают мою душу, отбивают руки от работы, угоняют мысли в бездну. По повестке завтра опять нада ити в П.У. Может быть завтра кончается все, может быть последний день моей деятельности. Не могу. Или жить спокойно или кончалось бы это все. Невыдержу. <...> Весь вечер мирно обсудили наше положение. Вспомнили прошлое. В обоих вид веселый с глубокими мыслями. "Может быть последний вечер сидим вместе, а там в разные стороны. Один за другого знать не будем" (мама). Страшно жутко, а сказано шутя, со смехом. Эх была не была судьба играет человеком. Второй час ночи: спать и не думаем»[82].

На этот раз, однако, пронесло.

«Вчера был в П.У. <...> Вызывали по старому вопросу производства, а не то, что я еще предполагал. Всю ночь с 15 на 16 мама и оком не стикнула. Вещи связала в узелок. На другой день когда я пошол оделась в 5 юбок. Чего могла взяла в руки. План такой, если меня задержат на ноч не приду значит она все спродует и дай боже ноги я попаду она спасется»[83].

«Дивные дела вокруг творятся. Настроения молодежи, политические взгляды неблагополучные. Есть отдельные даже открытые контр-революционные выступления. На бюро, заседаниях много разбирается дел о ребятах, которые смеют свои политические взгляды сказать вслух. Выгоняют из комсомола, б'ют выговорами, жмут из школы. Если невозмутся высшие органы за воспитательную работу молодежи плохо будет. Пойдет часть молодежи по другому пути. Воспитательная работа нужна не такая какая ведется сейчас, не в такой форме ее нада поставить, перевернуть в радикале подходы. <...> Усиленны агенты ПУ. Я тоже чаще начал туда

заглядывать от того стало на душе спокойней. Втягиваюсь. Привыкаю».

Тут же запись о недостатке еды: ***«Я то ничего 2 обеда в день с'едаю. Каждый день рубль. Поправился. Ей туго приходится жрать нечего кроме хлеба а варить не из чего. Туговато»*** (27.11.1932)[84]. Степан Филиппович начинает запись, как будто пишет информацию «секретного сотрудника», он квалифицирует «разговоры» как *контрреволюционные выступления*. Обратим внимание на выражение *«бьют выговорами»*, выговор – способ причинить боль. Уже 8 декабря он применяет официальные классификации к самому себе: ***«Я не могу выступать открыто, резко, со свободными мыслями, приходится говорить только то, что говорят все. Приходится ити по наклонной плоскости по линии наименьшего сопротивления. <...> Создается характер подхалима, тайной собаки»***[85]. Раздвоение болезненно. Ему кажется, что он действует невпопад, тем самым навлекая на себя подозрение. ***«Сегодня кружководу комсомольской политучебы задал вопрос для чего существуют вожди разговорился дальше больше и дал на себя подозрение. А потом какое наросло нехорошее чувство. Это не осторожный шаг. Это чтото похожее на «Преступление и наказание» Достоевского»***[86].

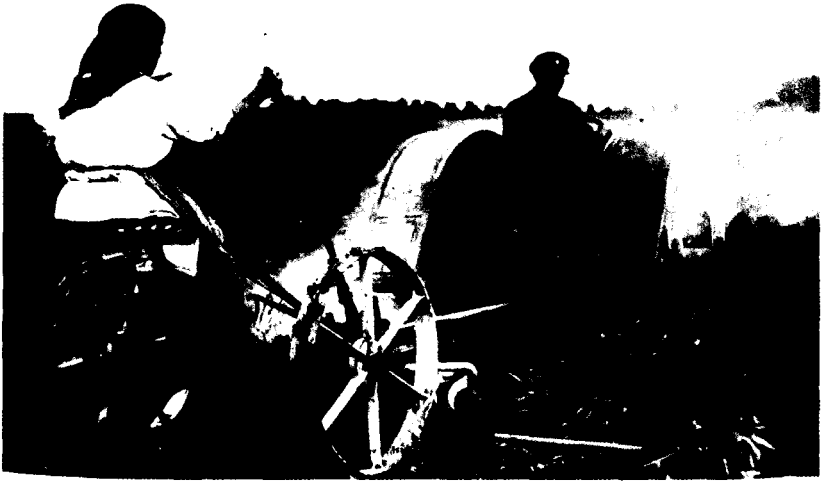
Следствием раздвоения становится возникновение позиции. Запись от 23 декабря 1933 года:

«Молодеж или иначе говоря взгляды молодежи можно разбить на две разные группы. Одна группа, которая в большом почете у существующего строя это казенные попугаи, зачастую непонимающие вообще ничего или в большинстве случаев просто делающие то, что им диктуют и никогда неимеющая собственного мнения, делающие все что прикажут без рассуждения. Эти люди мелко плавают в науке, и один на другого похож; как бараны в стаде. Есть другая категория людей, более менее ябы назвал либеральная, либеральная в том отношении, что находится, стоит и развивалась по другому пути может быть воспитания ну люди нешаблонных взглядов, передовые [нрзб.]. ***Очень заметно, что категория этих людей***

глубже, развитей, способнее, чем первая. Они делают все молча. На все смотрят критически сказав слово не оглядываются. <... > В смысле знаний чувствуется что они знают не вообще как первая категория, а глубины. Это глубокие люди. <...> Они на жизнь смотрят ясными не мутными глазами не стесняются говорить правды в глаза. Часто они числятся в списках не наших людей как их называют».

Здесь опять мы видим сочетание позиции и использования общего «доксического словаря»: не наши люди. Еще раз подчеркну, что из языкового плена не просто было выбраться. Пытаясь охарактеризовать своих товарищей, Степан Филиппович задает вопрос, принадлежат ли они к передовой части молодежи. Делает вывод, что принадлежат. Рассуждая об изменении собственных взглядов, он использует оппозицию революционный/реакционный. Раньше был революционный, ни слова против, а теперь усомнился, стал реакционным.

Летом 1933 года фабзайцев посылают на сельхозработы. Степан Филиппович принимает решение скрыть свою при-



Сельхозработы. 30-е годы

вычку к работе в поле. *«Нет первые дня мне шибко работать в поле не нужно. <...> А то спросят ты откуда это научился работать раньше работал что ли? Подозрение. А я ведь числюсь чистокровным рабочим. <...> И вообще бесед на с/х темы надо избегать»*[87].

Приведем ряд записей осени 1934 года, в которых звучит тема раздвоения.

«Во мне два человека. Один казенный ежедневно твердящий остерегайся блюди порядки, зря неплети всякой чуши, следи за собой за своим разговором. Постоянно дает мне наставления. Этот человек во мне больше всего живет. И второй, это человек, который собирает в душе всякую грязь, оставшиеся отбросы. <...> Это старая болячка моего происхождения и воспитания дает себя знать»[88].

Не оставляя мысли стать писателем, он мечтает написать о животрепещущей для него теме, которая, он уверен, будет затрагивать и волновать и других молодых людей:

«Я узял тему жизнь отживающего класса его перерождение и применение к новым условиям не могу никому рассказать и нескем мне посоветоваться. Ибо посоветоваться значит выдать себя. <...> Эта тема помоему весьма нова, и если бы ее создать сейчас безусловно цензура непропустила бы, но через несколько лет это будет можно»[89].

«В течение почти 5-и лет я жил нелегально. Как трудно психически переносить нелегальную жизнь. <...> Психически был запуганный зверек. Боялся вступить шаг непродумав его с полетической точки зрения и осторожности. <...> Вся жизнь построена на вымысле. Нужно говорить одному и помнить что говоришь чтобы в следующий раз повторить с мельчайшей подробностью. Нужно помнить, что говорил вчера, что говорил в прошлом году, как говорил, <...> что говорил о родителях, что говорил о своих знакомых»[90].

Степан Филиппович сам характеризует свою жизнь как ***«опыт нелегального на практике»***. С этим нелегальным тоже не так уж все просто. В советской культуре нелегальность не могла оцениваться абсолютно отрицательно. Опыт нелегальности – часть традиции: декабристы, народники, большевики. А потому отношение к нелегальности, по меньшей мере, противоречивое.

Ему постоянно грозит разоблачение. Опасность может прийти отовсюду. В 1934 году он все еще работает информатором ГПУ.

Облик крестьян 20-х годов

«Идеш на свидание и ожидаеш что тебе скажет почему скрыл свое прошлое, передадут дело на производство выгонят, исключат, уничтожат»[91]. Наступает момент разоблачения, но Степан Филиппович выдерживает, подобно настоящему подпольщику. ***«Много вопросов позадавали больше укоряли как я понял зачем скрыл от них. На все я ответил одной фразой "цыпленок тоже хочет жить". Поговорили очень спо-***

койно и хладнокровно. Что зарыто в их глубине души, неизвестно, но разговором я доволен. <...>Все выдержал.

Вся лехкостъ разговора их со мной обуславливается тем что за последние дня в частности сегодня есть постановление правительства о людях таких как я. В постановлении ясно указано, что человек 5 лет честно проработавший т. е. занимающийся общественно-полезным трудом восстанавливается в выборных правах. <...> Не могут быть лишены избирательных прав "члены семей лиц, лишенных избирательных прав в тех случаях, когда они материально независимы от этих лиц и источником своего существования имеют общественно полезный самостоятельный труд". <...> Есть еще один пункт не знаю который из них подойдет ко мне. В этом пункте говорится что "Дети высланных кулаков, как находящиеся в спец поселках и местах ссылки и вне их восстанавливаются правами по месту жительства районными исполнительными комитетами и городскими советами". <...> Вот эти аргументы делают перевес в мою сторону. Я очень доволен что разгадка моего прошлого прошла после этого постановления <...> будь что будет а хуже смерти не бывать»[92].

Ему хочется быть цельным, но не получается.

«Вчера был в НКВД. <... > Я понял что для того, чтобы доказать свою преданность я должен усиленно работать по части НКВД. <...> Он побещал если я буду работать хорошо все останется в секрете в противном случае вплоть до выселения из Москвы. <...> Я очень доволен разговором с ним. Как-то очищает душу от помой. Все говорили искренне правдиво в то время когда вся жизнь в другом месте ложь.

Данно 3 основные установки в моей работе. О настроениях масс по поводу революционного движения в Испании. Октябрьские торжества и разговоры. Не подготавлявается ли покушение на Сталина. <...> Об оружии среди ребят. Велел написать заявление о признании своих ошибок. Между прочим на столе у него лежало дело толщиною в 2 пальца все обо

мне. Удивляюсь что они могли обо мне собрать. Скоро должна быть окончательная развязка»[93].

Отметим, что после разоблачения Степан Филиппович даже чувствует облегчение. Эта запись дает также представление о круге обязанностей «секретных сотрудников». В конце 1935 года он опять упоминает о своих терзаниях в отношении прошлого, вызываемых НКВД.

В феврале 1935 года в дневнике запись о «нелегальном журнале»:

«Давно я мечтаю об организации нелегального журнала на правах рукописи. <...> Я прекрасно понимаю, что на такое дело будет отклик ребят, будет большое участие. <...>Вся беда в том, что нельзя доверять своих мыслей особенно теперь даже лучшему другу. В жуткий период политической реакции и преследований малейшей какой бы то ни было свободной мысли»[94].

Заметим, что Степан Филиппович готов «простить государство» и даже полюбить его, если сам будет прощен. Он радостно отмечает все случаи, когда дети репрессированных не изгоняются.

«Чувство уважения может со временем вылиться в любовь к государству, которое непризнает меня. Это исторический момент. Быть может отсюда начинает складываться мое новое мировоззрение. Мысль о том, что меня сделали таким же гражданином общей семьи СССР как и все обязывает меня относиться к тем, кто это сказал, любовно. Я уже не нахожусь у врага которого я опасаюсь каждую минуту, каждое мгновение»[95].

Эта запись позволяет понять ценность понятия «советский человек» для людей этого поколения.

Напомню, что о том же «проговорился» Владимир Ильич: номинация «советский народ» не обижает крестьянство. Здесь напрашивается параллель с историей о том, как Владимир Ильич

полюбил Сталина после статьи «Головокружение от успехов» за то, что он *простил* его семью.

У Степана Филипповича способность к прощению достигает апогея, когда он поступает в конце лета 1935 года в медицинский институт. ***«Пройдут года, если жизнь приведет, что я кончу институт эта страница, вызывающая воспоминания будет особо любимой»***[96]. Институт он воспринимает как ворота к жизни.

«Самое ценное что я получил от правительства это постановление о том что в институте имеют право учиться лица независимо от своего прошлого. <...> Это так ценно, я так благодарен за постановление, что немогу прямо выразить своей благодарности в коротких словах. Но это постановление делает меня человеком не зависимым ни от кого. Оно на 90% дает мне возможность жить и легально. Наступает конец нелегальным мытарствам. Прощай 1935 год»[97].

Контроль и самоконтроль, или Закалка

Итак, налицо следующая дилемма. С одной стороны, происходит *«насильственное отпарывание от прошлого»*, с другой, *«тайное самонасилие»*, если воспользоваться выражениями Ф. Ницше[98]. Н. Элиас писал о соотношении внешнего контроля и самоконтроля как о значимой характеристике как человека, так и общества.

Массы людей в послереволюционной России были насильно оторваны от своего прошлого.

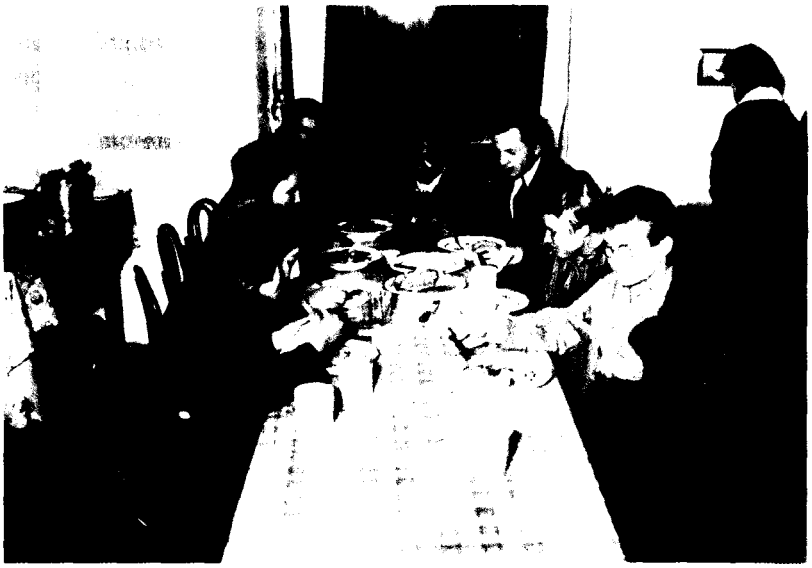
Однако Степан Филиппович действительно не совсем такой, как все. Решение писать дневник означает, что он имеет, подобно Робинзону Крузо, свой собственный остров, на котором он хозяин. В жизни он отнюдь не хозяин, его несет, но зато он властвует над чистым листком бумаги. *Единственный верный друг* – так называет он дневник, и это действительно так в условиях тотального недоверия людей друг к другу. Здесь он сам конструирует свой мир и перестает быть только игрушкой в руках судьбы. Впрочем, судьбу он в дневнике своем часто поминает. <...> Судьба же – *необходимость случайного* (А. Ромм).

Он оказывается способным объективировать как превратности жизни, так и самого себя. Это умение приходит через добровольное насилие над самим собой. Способность к целенаправленной работе над собой свойственна отнюдь не каждому. И часть этой тяжкой работы – работа над языком. Уже 10 октября 1932 года Степан записывает: ***«В последнее время я както почувствовал какуюто тягу к журналам. <...> Полемические события, цифровые данные (всякого рода), душе проницающие фразы, слова записывать в дневник»***[99]. И тут же: ***«Вспомнить в какой политической обстановке жилось, вобщем выполнять роль летописца»***[100]. Летописец занимает позицию наблюдателя. Он живет и одновременно наблюдает.

Это, кстати, тоже требует умения отнестись к языку как к объекту. Степан Филиппович сам отмечает ***«волевую сторону писания»***[101]. Эта запись относится уже к началу 1935 года. Мучительное трагическое раздвоение как раз способствует выработке новых качеств. Он явно не вмещается в свои роли, чувствует это, рефлексирует по этому поводу.

Бессознательные тактики превращаются в контролируемые стратегии, меняется структура личности. Он сам начинает делить людей на «культурных» и «некультурных», отделяя себя от последних. В записи от 12 февраля 1933 года он рассказывает о пьяной вечеринке бывших деревенских ребят, отмечая, что их ***«не возможно поставить на путь истинный путь культурного человека»***[102]. Он начинает планировать, рассчитывать свое время: ***«Между прочим сегодня рационально провел день. В общественной работе дело сделал и дома 4 часа занимался»***[103]. Он думает о будущем, хотя не уверен в том, что будущее у него будет. ***«Как быть потом дальше. Твердой классификации не имею, а без этого я потом пропаду. Учиться мне недадут. Я еще совершенно неоформленный человек»***[104].

Молодые люди планировали свою жизнь в рамках тех форм социальной организации, в которой они жили и которая составляла среду существования, неважно, идет ли речь о социальной организации или дискурсе. Так, они не подозревали, что может быть иное образование, нежели то, что дается в Коммунистической академии и тому подобных заведениях.



Коммунары в столовой Коммунистической академии

«Много я мыслей перебрал о том, куда в какую область науки посвятить себя. Однажды разговаривая с В. Воронцовым он предложил мне идем мол в исторический институт. После его слов я серьезно подумал над этим моментом и сделал вывод, что и действительно у меня есть вопервых желание заниматься историей и вовторых имею уклон в эту область. Это я открыл лишь после того как проанализировал себя[105]*. Я имею уклон в смысле немножко чего-нибудь пописывать <...> что особенно важно для изучения истории. Люблю философию, психологию, графологию, имею способности к политике все это имеет немаловажное значение в изучении истории. И если бы была возможность поступить в Историко-философский институт я вполне был бы удовлетворен. Препятствия заключаются в том, что в Историко-философский институт принимаются люди исключительно с большим партийным стажем и в большинстве случаев по командировкам РК ВКП(б). И второе – мое прошлое. <...> Я потерял надежу искать все же другой институт не Институт красной профессуры (ИКП). В крайнем случае если мне неудастся найти то-*

го института и придется итти в библиотечный Литературный отдел»[106].

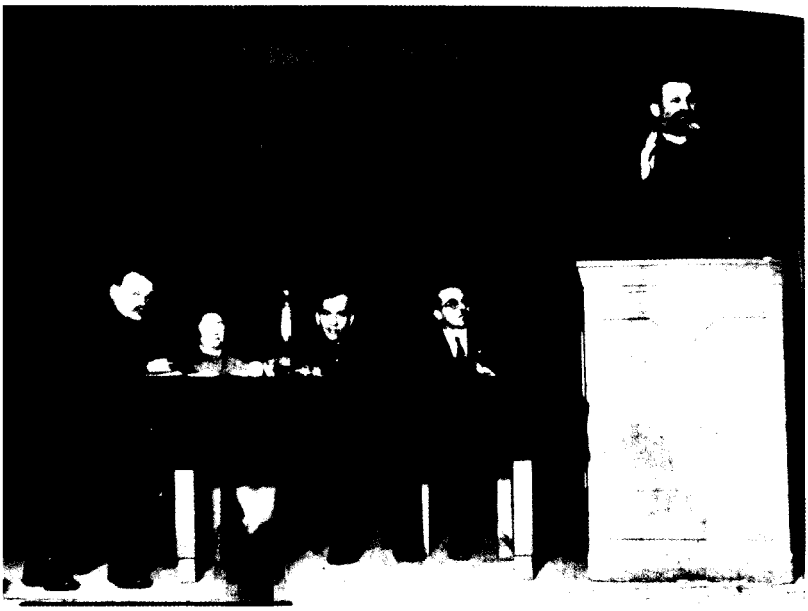
Огромную роль в складывании новой идентичности играло знакомство с биографическим каноном.

«Наблюдая за биографиями великих людей я обратил внимание на одну черту что на трудолюбие этих людей. И что же получилось. Я сделал интерестный вывод, что все великие люди, все таланты были страстно трудолюбивы и усидчивы. <... > Ленивый и ничего не делающий гениальным быть не может»[107].

Желанная культурность также требовала высокой степени самоконтроля: язык, манера держать себя, телесный статус в целом. Приведу отрывок, датированный 5 января 1935 года, который свидетельствует о крайней парадоксальности загадочного процесса изменения человека:

«Сегодня было закрытое комсомольское собрание. Впервые я почувствовал, что идеология моя в какой-то степени испорчена. Я очень резко заметил, что имеется две группы молодежи мыслящих поразному. И я на сей раз резко почувствовал что отношусь ко второй группе реакционной. Отчасти это не очень приятно. Этот сегодняшний взгляд на дела творящиеся встране помешают мне в дальнейшем если неудастся переломать себя в другую сторону. Я почувствовал, что на много и во многом отстал от передовой части тех культурных людей к которым недавно относился сам. Мнеже человеку склонному к общественным наукам желающему посвятить себя, свою жизнь чему-то из неточных наук нужно иметь взгляды первой части молодежи. В противном случае учится мне врядли разрешат т. е. врядли дадут.

Вообще судя по сегодняшнему собранию сейчас особенно после происшествии 1 декабря[108]*, после растрела старых вождей комсомола сейчас громадное внимание уделяют и будут уделять молодежи работы с ней. Сегодня много говорили вперт*



Политработа с молодежью в середине 30-х годов

вые в таком резком тоне о разговорах нездоровых настроениях существующих среди молодежи. Надо полагать что направление сегодняшнего собрания в сторону вопроса о разных настроениях было дано НКВД который исследовав нашу молодеж дал заключение что нужно предостречь от дальнейшего разложения. Одна из неприятных черт сегодняшнего собрания что основной упор делали на борьбу с классовым врагом. Я с громадным напряжением и страхом ожидал когда Ревин (секр. Парткома) делающий доклад зачитывал список выявленных врагов. Я <...> ждал, что вот, вот среди все зачитают и мою фамилию. Между прочим зачитали фамилию одного парня сына кулака высланного который бежал с сылки поступил в «Правду» и два года работал. <...> Сегодня именно сегодня я крепко почувствовал что значит идеология человека и в какой степени она влияет на его образ мыслей. Даже увлекаясь в последнее время стихами, уже чувствуется определенное направление тем которые я беру в описание. Хочется написать стих о ссыльных, о Украине южной и да-

леком Севере, лесе и буйной украинской пшенице. И как обидно вспоминать и говорить что причиной моего нового направления является НКВД. Они в каждом разговоре со мной, напоминают мне о моем прошлом заставели вкоренили в меня все ненужное. Раньше я и не думал о своем прошлом, а был обыкновенным рядовым членом общества даже непередовым они же сами меня заставили мыслить о другом но только меня за это будут бить. Ужастно получается вместо изменения они меня калечат»[109].

Итак, его выталкивают в прошлое. Делает это НКВД, грозя разоблачением. Он сам желает быть рядовым и нормальным членом общества. Не хочет он думать ни об украинском селе, ни об архангельских лесах. Именно разговоры в НКВД возвращают в прошлое. Разрыв между прошлой и теперешней повседневностью исчезает. Субъектность – непреднамеренный результат этого процесса, побочный его продукт.

Он оказывается способным занять позицию наблюдателя (хотя, конечно же, Степан Филиппович – образец того самого *подопытного наблюдателя*, о котором говорилось в начале работы). Таким он становится далеко не сразу. Он фиксирует обретение способности быть наблюдателем: *«не замечаю своей жизни, так как я живу мне кажется нормально, и вот нашла минута когда я на свою жизнь глянул как бы глазами постороннего человека и оказывается я живу пресквернo»* (09.04.1938)[110]. Понятно, эта способность начала складываться намного раньше.

«В последнее время я замечаю что образ мыслей моих заходит слишком далеко. Слишком реально гляжу на жизнь. У меня по часам портится психология. <...> Я слишком прозорлив и очень много вижу всяких недостатков большого пошиба, чего мне видать бы не следовало. Со своими взглядами я одинок. <...> Постепенно я отрываюсь, отщепениваюсь, мне начинают не доверять, отпихивают и я остаюсь один вто время, когда мои "друзья" находятся вместе. <...> Меня не взяли на дачу идеологически мне недоверяя. <...> Сейчас очень сильно заостряют вопрос о классовой бдительности, пожалуй больше

или в равной степени как в свое время заостряли в борьбе с кулаком» (24.01.1935)[111].

По этой записи видно, как Степан Филиппович продолжает пользоваться государственными классификациями (*портится психология, отщепениваюсь, идеологически не доверяют*). Однако только таким, крайне болезненным образом, через отчуждение и одиночество (по собственному выражению Степана Филипповича, через *терзания*) он обретает качества субъекта.

Отметим, что сам он нормальным считает совпадение индивидуального и социального, ибо от их рассогласования мучается и страдает. Приводимый далее отрывок также свидетельствует о том, что пишущий не может избежать государственных классификаций:

Плакат середины 30-х годов

«А вообще меня удивляет какое неспокойное положение в стране. Бесконечные открытия разных вредительских групп, затем пошло партийных течений, уклонов, уклончиков, собирание разговорчиков. За всем следят, ко всему придираются, не шелохнись, все делают по казенному. А если что беспощадно карают. <...> Вся страна находится с ежовых рукавицах. <...> Сегодня зашел в Украинскую библиотеку <...> Библиотека настолько была засорена, что сейчас списывают 2/3 литературы. <... > Как беспощадны правящие люди над своими врагами. И это во всем

мире. <...> Во всяком государственном правлении имеется определенная группа людей, на которую опираются. Даже у нас наблюдая сейчас за государственным правлением опора делается на рабочий класс, а в политическом отношении опора делается на партийцев. С ними ведется особая работа, их инструктируют секретными инструкциями. <...> Интересно я сегодня случайно узнал что собирается закрытое партсобрание, где будет прорабатыватся секретное письмо тов. Сталина, о котором беспартийные ничего не узнают, а если узнают значительно позже чем партийные. <...> Интересно как делаются всякого рода политические кампании, о которых говорят, что их якобы начали рабочие» (24–25.01.1935)[112].

Герою нашему уже недостаточно культурной жизни: *«В последнее время все трудней и трудней жить на свете. В отношении экономического обижаться не на что хлеб есть и чего больше надо. Деньжата тоже водятся и в кино хожу и в театре бываю. <...> Но жить тяжело. Тяжело то, что не знаю что будет со мною через 1–2 месяца»*[113]. В те же дни конца января 1935 года у него даже *«мелькнула мысль, желание вообще разделаться с комсомолом. <...> Быть свободным, независимым. А то командуют тобой как холуем»*[114]. В другом месте дневника он замечает: *«нет таких людей которые могут указать мне»*[115].

Подчеркну, однако, что политическое не является единственным предметом его внимания и забот. Он продолжает петь, танцевать на «вечерках», веселиться при малейшей возможности. Удовольствие не исчезает из его жизни. В 1934 году во время, когда Степан Филиппович ездил в родную деревню, его чуть не арестовали. Однако он убегает не слишком спешно, до одурения целуясь с девушкой, которая его предупредила об опасности. В записи конца 1937 года он подчеркивал, что не использовал *«располагающую обстановку для своих личных животных целей»*[116]. Обратим внимание на совмещение в одном отрывке тем любви и угрозы выселения из Москвы.

«В общем я провел с ней 7-го до 4-х утра, 8-го вечер в клубе. <...> По Митькиному выражению, целовальный фестиваль,

который я устраиваю с ней провожая домой. <...> В последнее время в связи с положением, которой возникло в связи с новым терзанием нашего прошлого, что весьма возможно меня выселят из Москвы. Я задумался насчет нашей женитьбы. <...> Одновременно преследовать цель не только лишьбы спастись, нет хочу полюбить человека и немного его любви»[117].

Перед Новым 1936 годом он записывает:

«Вышла новая песенка которая будет слышна на экране кино «Три подруги». Она не новая, но обновленная. Как она мне напоминает Украину, с каким чувством я уже целую неделю изо дня в день мычу ее.

Где эти теплые ночи
Где это пел соловей
Где эти карие очи
Кто их ласкает теперь»[118]

Первую сессию в институте Степан Филиппович сдать не сумел. Учиться ему было очень тяжело. В числе прочих обстоятельств нельзя не учитывать его слабую подготовку. Анатомию он не преодолел.

В феврале 1936 года его разоблачают, исключают из ВЛКСМ и отчисляют из института. Разыгрывается драма, которая представляет собой одно из клише эпохи. Запись от 13 февраля:

«Меня вызвали на институтский комитет ВЛКСМ. <...> Дали слово мне. Все рассказал почему и как, без запинки, без трепета и настолько смела и вызывающе держал себя что забыл даже уделить большое внимание в своем раскаянии в грехах. За слово я щитаю что хозяйство было крупное кулацкое, оно скорее было крупно середняцкое по тем хозяйствам которые были на Украине. Мне приписали «противосоветское выступление», записали в протоколе. Исключили из комсомола за скрытие социального происхождения, за обман общественных организаций, за противосоветское выступление на коми-

тете. <...> Ходатайствовать перед дирекцией института об исключении из института»[119].

И вот именно в этот момент он начинает восстанавливать неразрывную нить истории семьи. В дневнике я нашла симптоматичную запись:

«Второй день думаю, что говорить в райкоме (где его должны исключить из комсомола. – *Авт.*). *Составляю в голове примерный доклад. Чтобы лучше запомнить хотел бы записать эти мысли в дневник... Моя родословная рано или поздно пригодится. <...> Общими трудами, всей семьей восстанавливали предков по отцу. Мой прадед – Мирон – откуда произошел, т. е. кто был его отец неизвестно.*

У Мирона был сын Лукиян (прадед) родился примерно в 1793 г. Лукиян имел 4 сына и 2 дочки. <...> Явдоким (мой дед) родился в 1813 г. <...> Как видно и прадед Лукиян и дед Явдоким работали на панщине»[120].

Далее следует довольно обстоятельный рассказ о судьбе большой крестьянской семьи, которая то поднималась, то падала. Превратности жизни этой семьи вплоть до 1918 года принадлежат тому, что принято называть историей традиционного общества. Сам автор дневника уже к этому обществу не принадлежит. Однако для того, чтобы он обрел характерную уже для модерна личностную идентификацию и стал субъектом, ибо этого человека уже невозможно описывать посредством характеристик с приставкой «квази» и «псевдо», с ним должно было случиться то, что он пережил. Он превратился, и это отнюдь не обратное превращение. Восстановление непрерывности повседневности, вероятно, важная ступень этого процесса. Кстати, это произошло, когда герой наш посетил родину, где с трудом нашел на сельском кладбище могилу деда, умершего в 1904 году.

Свидетельство свершившегося превращения – разные средства идентификации. Дневник начинается в 1931 году с записей песен с «лебядкинскими» текстами типа «Зверства дочери», а кончается самоопределением через стихотворение Н.А. Некра-

сова «Родина», которое у него ассоциируется с воспоминаниями о местах детства:

«И вот они опять, знакомые места,
Где жизнь отцов моих, бесплодна и пуста,
Текла среди пиров, бессмысленного чванства,
Разврата грязного и мелкого тиранства.
И грудь моя полна враждой и злостью новой.
Нет в юности моей, мятежной и суровой,
Отрадного душе воспоминанья нет.
Но все, что жизнь мою опутав с первых лет
Проклятьем на меня легло неотразимым
Всему начало здесь, в краю родном...»[121]

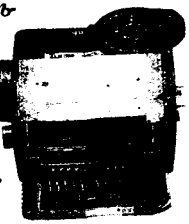
Более того, когда одиночество достигает апогея, он обнаруживает новую группу идентификации. Оказывается, он не одинок: ***«Как много выходцев другого класса оказывается открывают. Удивительно, что везде и всюду это оказываются хорошие люди, лучшие люди. Егор раскулачен. Васька Егоров раскулачен, Щукин – раскулачен, Зенков – сын жандарма, Галя Дмитриева – кто б подумать дочь торговца недавно вернувшегося из ссылки. И все они прекрасные, лучшие люди, прославленные герои труда. Интересный вывод нужно было сделать»*** (21.02.1936)[122]. Кстати, из института его тогда не исключили (правда, стипендии лишили), и в мае 1936 года он берет академический отпуск. Каким образом обретается новая идентичность и возникают черты субъектности? Раздвоение, деление жизни на «до» и «после» – значимая ступень складывания идентичности, типологически уже не принадлежащей традиционному обществу. В приведенных выше текстах из дневника внимание читателя обращалось на часто встречающиеся клише языка эпохи. Молодой человек осмысливает реальность посредством готовых дуальных оппозиций идеологического языка. Раздваиваясь, он подвергает эти оппозиции инверсии (те, кто по официальной номенклатуре являются «перерожденцами», подвергаются переноминации по этой же номенклатуре, превращаясь в «прославленных героев труда»). Это не свобода, но лишь

призрак ее, ибо за пределы властного поля эта игра еще не выходит. Сам способ классификации определяется властью. Автор дневника, конечно, портит игру власти, оборачивая ее в свою пользу, но не меняет правил, он в цепях.

Он неудачник, он чувствует неуютность и крайнюю степень одиночества. Он издает безмолвные крики, свидетелем которых является лишь дневник, он ощущает себя девиантом, он бунтует, но в принципе он остается только знаком и именем. Свобода (в том числе свобода от языкового плена) начинает брезжить тогда, когда восстанавливается разорванная цепь повседневности. Когда он перестает отрекаться от себя самого, каким он был раньше, от семьи, от предков. Именно тогда происходит преображение, в результате которого он получил свою награду – если, конечно, дар рефлексии можно счесть наградой.

Степан Филиппович ощущает дистанцию, которая отделяет его, каков он сейчас, от того, каким он был раньше. В 1933 году как представитель молодежи «Правды» он принимал участие в чистке аппарата Центрального телеграфа:

«Отдельными группами по 4–5 чел. мы проверяли работу аппарата Центрального телеграфа. Конечно тогда я по своему развитию <...> понимал в делаемых делах столько сколько понимаю сейчас в греческих богах. <...> Помнится было кроме меня еще четыре человека. Один представитель рабочих, слесарь, разбиравшийся в делаемом другими сколько и я а остальные три образованые вели все дело а мы подписывали там где нам показывали»[123].



Кстати, после того, как Степена Филипповича разоблачили, он на некоторое время утрачивает интерес к писанию дневника:

«В этом году потерял я любовь к своему дневнику. Считаю <...> нет теперь таких жизненных вопросов которые обязан скрывать от окружающих меня людей. <...> Мыслей, которые я должен скрывать в себе становится все меньше и меньше в связи с тем, что <...> основное мое прошлое известно знакомым и друзьям» (18.06.1936)[124].

Во второй половине жизни, кстати, он пишет уже на литературном русском языке. Эта человеческая траектория свидетельствует, что подчинение через овладение языком доминирующих обладает потенциалом освобождения. Чтение «документов эпохи» рождает убеждение: для того чтобы крестьянин превратился в некрестьянина, должно было случиться то, что случилось и со Степаном Филипповичем, и с Владимиром Ильичом, и с Иваном Ивановичем, и со многими другими.

Буквально в конце дневников за 1930-е годы Степан Филиппович записал:

«Несмотря на раздирающие душу вопросы неизвестности с удовольствием пою, кричу песню:

Веселья час и боль разлуки
Давай делить с тобой всегда
Давай пожмем друг другу руки
Ив дальний путь на долгие года»

<...>*«Если верить философскому изречению, что «бытие определяет сознание», то «бытие» специально для меня для таких как я не мешало бы усовершенствовать. Неисключена возможность и скорей всего с нами будет бог, а вокруг охрана»* (май 1938 года)[125].

Предчувствия его не подвели, и вскоре его арестовали. Однако он не только выжил, но и заглянул в XXI век.

Свидетель и рассказчик, или Праздники и будни

В дневнике Степана Филипповича есть записи о «социально и исторически значимых событиях». Как бы ни колебался он, как бы ни отвергал тот социум, в котором существовал, его темпоральные ритмы находились в объективном соответствии со структурами социального мира. Он считал историческими те даты, которые были обозначены красными цифрами советского календаря: ок-

тябрьские, первомайские и пр. Что касается членения времени, то здесь также наблюдается полное согласие. *«Как в деревнях ждут пасхи и рождества так и в городах ждут мая и октябрьских праздников»* (12.11.1938)[126].

Например, в дневнике есть описание празднования 7 ноября 1932 года.

«Я застегнул все пуговицы своего пальто, поднял воротник и медленно направился переулком к ближайшей улице. Надо пробраться ближе к Театральной. Интересно, какие из войск на парад идут первыми. На Красную площадь не попасть. Непропустят. Строго. Поворачивая за угол выхожу к трамвайной линии. Здесь заметно небольшое оживление. Путь трамвайного сообщения в полном разгаре. На остановках черные фигуры в ожидании трамвая. Разглядывая ярко освещенные портреты Ленина, Сталина, всевозможные лозунги, по Триумфальной, а потом по Тверской незаметно подхожу к «Правде». Во дворе пусто, даже темно. В буфете незначительная кучка завтракающих. Полки буфета празднично трещат от разнородных блюд, всевозможной сдобы. Опять путь по Тверской вниз до Театральной. Здесь народа много. Гуляют парами, тройками, весело разговаривают, разглядывают илюминации. От массы разноцветных электрических лампочек Тверская похожа на Млечный путь украинской летней ночи. В витринах картины писанные масляными красками. Площади, улицы увенчены диаграмами, показательными работами разных заводов. Все дышит празнечно. Гдето ниже по Тверской в сторонке слышны дружные армейские песни. Подхожу. Баталион человек в 700. Судя по маузерам командиров-начальников, по кожаным тужуркам стоящих, я предположил что это баталион рабочих ГПУ. Здесь преимущественно старики. И лиш изредка видно бритое молодое лицо. Отряд не стройный. Ели попадает идти в ногу. Попадаются лица не в тужурках, а в плащах, пальто туго неаккуратно перехваченных ремнем. Есть женщины.

Интересный один из начальников был. Громадный эсполин. В плечах как говорят косая сажень и правда в его плечах не меньше трех аршин. Туго напялена непоросту [нрзб.] *кожаная*

тужурка подпоясанная ремнем к которому прицеплен маленький браунинг. На ведерочной голове коженный картузик величиной с сито. К этому всему нечесанная борода да наверное нестриженная годов 5. С зади из под картуза пятятся клочя нестрижанных серебристых волос. Туловище очень несочетает с ногами. На ногах маленькие старенькие сапоги. Ноги тоненькие дивичьи. Вобщем вся фигура похожа на сахарный буряк, а вид чертополоха.

Меня удивило то что он стоял впереди всех и вел колону. На левой половине богатырской груди на красных кружках красовались акуратно прицепленных два ордена Красного знамени.

Рабочие отряды ГПУ. 7 ноября 1932 года

Это была первая колона войск которую увидал. С песнями они направились на Большую димитровку куда то вниз. С невероятным шумом моторов из боковой улицы не ожиданно появилась стайка танков. Пока я успел добежать 100 метров растояния они заполнили Тверскую до самого Кремля. Народу все прибывает. Каждый старается проникнуть ближе к Кремлю. Дружинники с красными и голубыми повязками, пешие и

конные милиционеры преграждают путь любопытных. Переходя на Б.Дмитровку, я заметил эскадрон кавалерии. Он плыл тихим и медленным потоком. В переди знамя. По бокам вооруженные. Не ожидано грянул марш. И тут оживилось все. За кавалерией пулеметные части а потом несколько батарей. Дружным шагом прошли пограничники. За ними на некотором интервале простые пихотинцы. А за ними пошли первые рабочие колоны. В октябрьские дни сравнительно с 1 мая войсковых частей было 10я доля. Очень удивительно почему?

Прихожу в «Правду» уже девятый час. Кучкам группируются рабочие. Людей совсем мало. После вкустного жирного обеда (заметим в скобках – вкус деревенский: вкусное=жирное. – *Авт.*) *выхожу во двор. Построившись в колоны отправляемся. На демонстрации было не весело. Пели мало. Правда были веселые порывы но это не особенно радостно. Как посмотриш на улицу что тучи перед бурей колышутся переваливаются, то и масса демонстрантов. Особенно в проходе на Красную площадь. Выходя сразу чувствуеш чтото не обычайное. Шум музыки... все движется единой массой. Взоры все прикованны на трибунны. Их человек 20. Из середины всех выглядывает угрюмым пасмурным лицом Сталин. Черные полуотвесные усы, большие черные брови из под которых виднеются пронзительные глаза. На нем простая шинель и армейский защитного цвета картуз. Ворошилов тоже не особенно весел, но с сияющим чистым красным лицом. Калинин опершись на перила приветствовал своими добрыми маленькими глазами. Его белая бородка похожа на козлинную. Молотов стоя полуоборотом смотрел тускнеющим взором на двигающуюся лавину. Буденный как всегда на вытяжку со своими неразлучными канатными усами и орденами. Не было Алексея Максимовича Горького. Хотелось бы его увидеть как он изменился с первого мая. <...> 1-го мая он очень весел был. Сравнительно с 1-го мая демонстрация прошла плохо. Чтото неладное в мире творится или незнаю. Скудно, скучно. Даже вожди все были скучные. Правда улицы украшены были богато. Вот единственное достоинство. Ведь юбилей 15 лет. Это надо было превратить в могучее, трескучее. Немного зделанно. Перед*

октябрем на рынок (в магазин конечно) выкинули массу товаров – давали всего. А после октября сразу бац. Часть белого хлеба подменили на черный. Это начало, а что дальше?»[127]

Убеждаешься, что следы голоса, тип видения объективируются только в попытках письма. Иначе они ускользают из поля зрения.

В июне 1934 года Степан Филиппович описывает встречу челюскинцев. 5 декабря 1934 года он пишет о реакции в Москве на весть об убийстве С.М. Кирова:

«Москва на военном положении всюду по улицам можно наблюдать, как движутся люди темными рядами и солдаты серыми полотнищами рядов. <...> Вчера в 8 вечера по рассказу очевидцев около Колонного зала <...> поднялось смятение. Люди вырвались из общих рядов очередей и побежали к дверям беспорядочной лавиной. Милиция, несмотря на подкрепление, не могла удержать лавины людей. По Тверской и по Б. Дмитровке кавалерия гналась таким бешеным карьером, что ужастно было смотреть. Таким карьером можно было бы ехать в чистом поле, где нет людей, но не по многолюдным улицам Москвы. Ближе к Дому Союзов конные беспощадно разгоняли народ. Лошади давили людям ноги те кричали»[128].

Вот описание праздника 7 ноября 1935 года:

«На мой взгляд, в этом году октябрьские торжества прошли без того праздничного шика, без партизанщины и ярой агитации за советскую власть, что наблюдалось в прошлые годы. Вообще я заметил нечто новое, распорядительное, хозяйственное.

Украшения не блестели особым шиком но улицы и дома были умеренно убраны по праздничному. Но пообычному, чего не делали раньше и как только недодумались к такому пустяку. Сразу же после праздников, т. е. 9/XI все флаги были спущены. Часть света использованного на иллюминациях, потушенно, несмотря на то, что сегодняшний день для рабочих яв-

ляется еще праздничным. <...> Но тут помоему расчетливая забота, чтобы рабочий отдохнул именно в последний день перед работой вышел к станку с приливом сил, а не расслабленный праздничной усталостью. Что вечером как и прошлый год проводилась военная агитация, военный шовенизм если можно так выразиться т. е. показ нечаянный будто бы показ громаднейших танков проезжающих по центральным улицам. Между прочим новое заметил на Красной площади вернее на трибунах ее. Обычно на правительственной трибуне стояло столько народу, что не разберешь кто же там. <...> В этот раз удачно сделано. На трибуне в верху стоял только Сталин, Ворошилов, Молотов и Калинин. Все остальные стояли на трибуне ниже их. Тоже самое на военной трибуне с другой стороны. Вобщем в этом году учтены не только крупные масштабы демонстрации учтены также психологические мелочи. Но все это вышло как-то естественно без искусства <...> без казенности и как будто бы незаметно. Я к сожалению не видел движения войск проспал. Такая казалось бы мелочь как мобилизация на площадях не артистов-профессионалов как другие годы, а кружки самодеятельности заводов которые выступали бесплатно еще раз подчеркивает о расчетливости»[129].

А вот полифоническая, многослойная, ассоциативная запись о встрече папанинцев[130]:

«В этот момент, когда я пишу эти строки по радио слышна звуки многочисленных оркестров, голоса приветствующие возвращающуюся четверку из зимовки на северном полюсе. <...> Папанин (нач. станции), Кренкель (радист), Ширшов, Федоров. Вокруг них поднята небывалая шумиха, в ход пущены все средства агитации. Народ возбужден и на устах у него папанинцы. <...> Искустно поднятая шумиха вокруг папанинцев, не знаю может они и заслуживают этого, но эта шумиха отвлекает внимание людей от мыслей в политическом направлении. Позавчера расстреляли группу Бухарина, Рыкова, Ягоды, Крестинского и др. Папанинцы замечательно отвле-

кают внимание от протекавшего процесса и результатов его.

Бухарин впоследнее время занимавший незавидный пост редактор газ Известия, академик, как я слыхал до процесса весьма образованный человек, говорят владеет 15 иностранными языками. Рыкова я лично видел В 1933 г. он был Наркомом связи. В то время проходила чистка аппарата Наркомпочттела. От молодежи "Правды" я был выделен членом комиссии по чистке Отдельными группами по 4–5 чел. Мы проверяли работу аппарата Центрального телеграфа. <...> Когда все было закончено собралось общее собрание ЦТ и представителей. На этом собрании выступил Рыков. Сухощавый, небольшого роста в пенсне, с острой бородкой и что еще запомнилось с гордо поднятой головой. В начале доклада он заикался затем разговорился и реч лилась плавно высоким тенорком. В процессе прений подавали вопросы. Ребенок лет 6 с запиской пробежал по всему залу и вручил записку в руки Рыкова. Он приласкал его посадил на колени, что-то говорил с ним. С пол часа он сидел у него на коленях»[131].

В 1938 году Степан Филиппович написал фразу о необходимости натуралистической фиксации фактов[132]. Он выступает свидетелем повседневности 30-х. Эти скромные байки о Золотом веке, который, естественно, позади...

«Когда наконец русские люди станут жить по-человечески. Поколение меня старше говорит, что 20 лет прошло, когда было время, что человек спокойно мог зайти в магазин и если у него были деньги взять что ему заблагорассудится в течение 15 минут. Я и мое поколение таких времен еще не видели. Сегодня, чтобы получить 10 м мануфактуры обыкновенной на блузку юбку я простоял в очереди с 9 часов утра до 6 часов вечера. И это в Москве в сердце страны. На периферии хоть бы ты простоял и 7 суток без еды и воды недостанет и этого. За 5–6 тысяч километров люди приезжают в Москву, чтобы купить 20–30 м мануфактуры. Как сегодня сказал один старик с деревни Курской области «Я голодный деревню перейду, а

вот голый деревню не перейдешь». 2 недели тому назад я был свидетелем как люди в час открытия универмага (а это говорят будничная картина) рвали друг на друге одежду в прямом и самом серьезном смысле давили друг друга, чтобы ворваться в магазин. Люди озверели. Когда волна людей схлынула спустя полчаса изпод дверей выволокли двух раздавленных женщин вызвали карету скорой помощи и увезли»[133].

Благодаря тому, что дневник Степана Филипповича сохранился – не сгорел в пожарах истории и не был сожжен самим автором, мы можем заглянуть в историю закалки, заточки (или даже гальванизации, по выражению Э. Юнгера) множества людей. Сам Степан Филиппович говорит об этом скромно и нейтрально: *«Жизнь выковала во мне качества настойчивости и терпения»* (письмо от 25 марта 1936 года)[134].

Когда он пишет о прошлом в 1988 году, он выражается столь же туманно, как и прочие наши мемуаристы, ибо одиночество и внутреннее потрясение (по его собственному выражению) – в прошлом: *«Приятно сознавать, что оживают и на бумаге и наяву невинные люди, незаслуженно гонимые в 30-х годах властями»*[135].

Среди прочитанного мною – еще один дневниковый документ. Это дневник партийного и профсоюзного работника Николая Андреевича Рибковского, который тот вел во время ленинградской блокады. Этот дневник был обнаружен среди бумаг Ивана Ивановича Белоносова[1]. Герой наш родился в 1903 году, был партийным, а потом профсоюзным работником. Проанализированный ниже дневник – индивидуальная и социальная версия картины мира того, кто принадлежал к советской элите второго поколения, того самого, к которому принадлежал и Василий Иванович Васильев. Иногда этих людей называют поколением 1938 года.

Дневник состоит из тринадцати тетрадок – одни тоненькие ученические, другие толстые общие. Он был начат 27 января 1940 года и обрывается на записи от 14 октября 1944-го. В общем, немного о жизни довоенной, а в основном – блокада.

Я не знаю дальнейшей судьбы этого человека, хотя наверняка ее можно было бы восстановить без особых трудностей. Герой наш работал в Смольном – достаточно обратиться к партийным архивам... Скажу откровенно, мне и хотелось и не хотелось этого делать. Хотелось оттого, что дневник читается как роман и любопытно было узнать, чем этот роман закончился. А не хотелось потому, что подобное расследование сформировало бы новый угол зрения на документ: когда конец «романа» известен, предшествующие события попадают под сень «результата». Словом, я обращаюсь к тому, что *вычитывается* из текста и вчитывается в него. Моя работа – попытка не просто установить смысл данного текста, но освоить его внутреннее пространство. А для этого надо дробить и упорядочивать, устанавливать ряды

и описывать отношения, последовательности, типы социальных связей. В процессе чтения я, подобно археологу, осторожно снимала культурные слои. Смысл прятался за смыслом, форма за формой.

Слой первый: свидетельство

Любой человеческий документ представляет ценность как свидетельство. Жизнь подробна, подробности драгоценны, тем более детали той «жизни на краю», которой жил наш герой. Я читала довольно много о блокадной ленинградской повседневности. Но лишь из этого дневника я узнала о такой детали, как смех людей на улицах во время налетов немецкой авиации на Ленинград в октябре 1941 года. Еще одна интересная подробность – приступ аппетита у ленинградских жителей во время первой бомбежки 9 сентября 1941 года:

«Только что возвратился из города. Устал, разнервничался... Ведь только подумать: обошел все, которые знаю, столовые, рестораны и кафе-закусочные и не пообедал? Из-за тревог... Народу у ресторанов, столовых, закусочных скопилось столько, что образовались километровые очереди. Как тревога все разбегаются. Прекращается подача»[2].

Грядки с овощами на ул. Чайковского. Ленинград, 1942 год

Или любопытные для нашего современника, не получающего зарплату месяцами, сведения, что, несмотря на блокаду, люди получали зарплату, платили за квартиру, что подписывались на займы добровольно-принудительно, что разыгрывались лотереи...

«Сегодня мне объявили, что я буду получать зарплату – одну тысячу сто рублей в месяц. Подписался на заем на четыреста пятьдесят рублей, из расчета месячного оклада на оставшиеся четыре месяца до конца удержали на заем.

С девятого декабря в Ленинграде распространяются билеты денежно-вещевой лотереи. Решили дать пятнадцать процентов месячной зарплаты. Я подписался на сто шестьдесят шесть рублей. Будут удерживать из зарплаты в течение двух месяцев декабрь-февраль» (13.12.1941).

Жизнь может оборваться в любой момент, но человек продолжает рассчитывать наперед...

И, конечно же, страшные реалии тогдашней жизни... Иждивенческих карточек хватает только на декаду. ***«Если продолжать быть иждевенцем – пропал»*** (17.11.1941). Смерть как повседневность: ***«У Октябрьского вокзала огромные лужи крови, конечности человеческих тел кровяные куски мяса в обрывках материи...»*** (24.07.1942). Вроде бы знаешь, а вновь потрясает... Или такая вот картинка: ***«Положив на гроб веревку, женщина зашла сзади навалилась грудью на гроб и свалилась... Я уже опаздывал на пленум Петроградского райкома партии, торопился. Помог подвезти квартал»*** (01.02.1942).

При малейшей возможности люди стараются вернуться к привычным повседневным практикам, вытесняя смерть «на поля». Например, герой наш описывает вечеринку, которая проходила под вой тревоги 24 марта 1943 года. На тревогу не обращали внимания. Сидели до трех часов ночи, пели старинные романсы под гитару, слушали патефон и чтение рассказа Чехова. Летом того же года люди пытались привычно отдыхать:

Повседневная жизнь блокадных ленинградцев

«Сегодня в Озерках было немноголюдно. Не было обыкновенного для мирных Озерков людского оживления. Но, отдыхающие были. Несколько групп, парочек и одиночек любителей загородных поездок. Одни забавлялись мячами, другие развлекались патефоном, третьи, обнажив свое тело – загорали. Четвертые прогуливались и лишь единицы купались...» (27.06.1943).

Интересно... Но меня больше всего привлекал сам человек, пишущий дневник.

Игры чтения

Как читать дневник и как о нем рассказывать? Из современной семиотики известно, что текст создается чтением. Но прочитать дневник можно совершенно по-разному. Читая, я стала разбивать прочитанное по рубрикам, производя первичную тематизацию. Из каждой рубрики вставал свой человеческий образ. Как будто разные люди, но человек-то один: точка пересечения множественных социальных связей.

Образ номер один – театрал, любитель кино и чтения. Начинаю я с этого образа не случайно, ибо добрая половина дневника связана с театром. Наш герой в тяжелые дни блокады ходил на «зрелищные мероприятия» не реже, чем раз в неделю (специально подсчитала)... Даже возникающий в памяти образ чае-

мой мирной жизни связан с театром. Вот запись от 15 августа 1942 года. Пишущий посещает то место, где жил раньше:

«День авиации. Был в Новой деревне. И вспомнился этот день предыдущих лет, когда здесь собирался почти весь Ленинград на праздник авиации... Коломяжная улица, на которой я жил, кишмя кишела народом... Печальным выглядит уголок, в котором я прожил с семьей свыше пяти лет... Заросли высокой травой тропинки к домику... Вспомнилась знакомая родная картина. Вот тут, под тенистыми деревьями, на густой траве, в часы досуга я частенько отдыхал с книгой или газетами, одновременно слушал радио, выставив на подоконник репродуктор. Бывало уснеш. Подбежит еще совсем малюсенький Сереженька, разбудит и уже не даст больше спать.

Вот стоял на том месте, где часто отдыхал под окнами своей комнатушке, казалось, вот сейчас откроется окно и моя супруга позовет: – Коля иди обедать, в театр опоздаем...»

Контекст свидетельствует, что вспоминает наш герой о 1935–1936 годах.

В письме жене, которое приводится в записи от 22 ноября 1941 года, он описывает репертуар театров, филармонии, сообщает об очередях на фильм «Маскарад», о том, что билеты в театр раскупаются заранее.

Как о событии он сообщает о кино, показанном после партийного собрания 23 февраля 1942 года:

«...На собрании после доклада нам показали семь выпусков кино-хроники "На защиту Москвы" и музыкальную кино-комедию "Свинарка и пастух".

Сюжет фильма очень простой, но фильм смотрится с большим удовольствием. Много жизни, красоты и музыки в этом фильме. Я с упоением слушал музыку, любуясь прекрасными снимками природы лесного Севера и высоких гор Кавказа, с ручейками выступающей красавицы весны, с бурными потоками вод падающих водопадов, увлеченный игрой актеров.

ВСХВ, Москва. Конец 30-х годов

Всесоюзная сельскохозяйственная выставка – прекрасный сказочный город, мирный колхозный труд, богатая колхозная жизнь, изобилие продуктов, счастливая радостная жизнь..., как все это теперь, сегодня, на фоне суровых дней отечественной войны, переживаемых трудностей и лишений, резко кажется еще более прекрасным, сказочным, дорогим и даже далеким. Посмотрев этот фильм скажеш: "Ради такой жизни, жизни полной творческого труда, радости и счастья теперь

не только еще крепче подтянешь ремень, еще сильнее напряжеш силы, еще тверже сохраниш выдержку, чтобы преодолеть трудности, пережить лишения и победить. Но если потребуется и жизнь отдаш"».

Кино воплощает поле желания, то, чего в жизни нет...
15 марта 1942 года Николай Андреевич с радостью записывает:

«Возобновили, наконец-то работу два кинотеатра: "Молодежный" и "Колосс". С пятого марта работает театр музыкальной комедии в помещении театра им. Пушкина (в "Александринке"). Сегодня оперетта "Любовь моряка". Ниодного билета в кассе. У театра огромная толпа жаждущих попасть на постановку. Тут не только молодеж, а люди средних лет, пожилые и даже старички и старушки, закутанные в старомодные саки, шапках-шалях, с муфтами и палочками. Не дай бог если кто объявит, что у него лишний билет. Достаточно заикнуться так всей оравой, давя друг друга, точно голодные на хлеб, набрасываются, готовые с руками вырвать билет, совершенно не спрашивая о стоимости...

Товарищи из Смольного ходили смотреть оперетты "Сильва" и "Баядера", так покупали билеты за два дня. Рассказывают в театре жуткий холод. Огромное помещение театра забито зрителями до отказа... Невольно вспоминается мне из истории, о Риме, когда народ требовал "хлеба и зрелищ"...»

Словом, театр, зрелища он беззаветно любит и с явным удовольствием перечисляет «возможности»:

«...В Ленинграде зрелищ достаточно, хватает, жаловаться не приходится. Большой драматический театр им. Горького, театр Музкомедии, КБФ, Городской, популярный ансамбль опереты под руководством Бронской, зал камерных концертов, Госфилармония, дома культуры, клубы, в помещении Малого оперного театра начались спектакли оперного коллектива из артистов театров им. Кирова и

В гримерной Театра музыкальной комедии. Ленинград, 1943 год

Малегота, оставшихся в Ленинграде, Ленгосэстрада, ансамбли песни и пляски и т. д. и т. п. Функционирует свыше двух десятков кинотеатров, в которых показывают новые фильмы. Но вот уже два месяца как я не был в театре. Месяц болел, а до этого и вот сейчас нет времени сходить в театр или кино... Так и пропали билеты на прекрасные места в партере» (19.09.1943).

Другой образ – человек, который вместе со всеми нес блокадные тяготы, голодал и холодал. Человек, в тело которого прочно встроен прошлый опыт голода. Горестно размышляя об известии, что иждивенческая норма снижена до 150 граммов, он вспоминает:

«Трудно. Это верно. Было время когда на "осьмушки" хлеба жили, а было, что я неделями не только не ел, но не видел хлеба» (20.11.1941). У него явно была нелегкая молодость. К декабрю 1941 года он перестает узнавать свое тело: «Даже сомнение взяло: ***«Мое-ли это тело или мне его кто подменил?» Ноги и кисти рук точно у ребенка, который еще растет, вытягивается, тоненькие, живот провалился. Ребра чуть не наружу вылезли»*** (13.12.1941).

Всю жизнь он болеет:

«И каких только болезней я не испытал за свою жизнь? Подумать только. Несколько раз болел воспалением легких во всех видах – односторонним, двухсторонним, простым, крупозным и наконец дошел до туберкулеза последней стадии. Было воспаление мочевого пузыря, десен, языка. Потом несколько месяцев мучал меня парапроктит. А еще раньше скарлатина, в период гражданской возвратный тиф и много других болезней. И теперь вот еще и гастрит... В такое время крайне неудобно чувствовать себя в гражданском...» (19.09.1942).

Разгрузка барж с хлебом. Ленинград, 1942 год

У него постоянно возобновляется кровохарканье. В октябре 1944 года врачи говорят, что он страдает сильнейшей неврастенией.

Третий образ – прекрасный семьянин, любящий свою семью, детей. Он пишет трогательные письма. Сверхчеловеческими усилиями почти год бережет для маленького сына коробку конфет – в те месяцы, когда ели несъедобное... И наш герой ел...

«Я ему (сыну. – *Авт.*) ***скопил пару плиточек шоколада послать в третьей посылочке. Составил целый список в чем ну-***

ждаются женушка и сыночек. Но вот одного, пожалуй, не достанем – это костюмчика для Сереженьки. Был ордер, но не было костюмчика на Сережу. Так ордер и пропал. Что-же касается чулочек, судков, платка на голову, ботинок для хозяйкиного сына и прочего, постараюсь достать. Конечно, можно быстро купить, по «блату», через знакомых, но это не в моем духе. Не приятно даже слышать когда говорят: вот достал, тот-то устроил по «блату»... Не хорошо, не честно» (22.10.1942).

Правда, он не выдерживает почти трехлетней разлуки с семьей, которая оказалась разбросанной (жена с меньшим сыном в далеком сибирском Ишиме, старший сын в Калининской области, глухонемая дочь в Вологодской области со школой). В 1944 году у него роман... Но это человеческое, слишком человеческое.

Четвертый – образ привилегированного чиновника, который во время всеобщей беды ел не то, что все, проводил ночи в теплом Смольном, а значит, имел иные шансы на спасение, нежели все прочие.

Окончив с отличием Московскую Высшую партийную школу в 1940 году, Н.А. Рибковский становится секретарем РК ВКП(б) в городе Выборге, который после окончания финской войны вошел в состав Карело-Финской ССР. Отходя вместе с отступающими войсками к Ленинграду, Николай Андреевич попадает в блокаду. Выехать он не может. В дневнике подробно описаны его мытарства. Он не работает, то есть является иждивенцем, получая ту самую карточку, по которой можно прожить лишь одну декаду из месяца. В начале блокады он к тому же заболевает дизентерией. 25 ноября 1941 года Николай Андреевич ест оладьи из дуранды на кокосовом масле (***«запах даже несколько приятный»***), кисель из какао, пьет рюмку пайкового вина с одной конфетой, получив сладости за вторую и третью декаду ноября. Сладости – это 100 г сахарного песку, 350 г конфет да 10 г чая... Он рад, что ***«покушал горяченькое»***, весь день пробегал из магазина в магазин в попытках отоварить карточки: в конце месяца продукты получают с трудом. 29 ноября 1941 года он записывает: ***«рассказывают, что некоторые уже кошек употребляют»***.

Однако вскоре ситуация резко меняется. Николая Андреевича зачисляют на работу в Смольный. 5 декабря 1941 года он становится инструктором Отдела кадров Горкома партии Ленинграда и начинает жить *не как все*. Справедливости ради надо отметить, что он не стремился специально к теплому (отапливаемому) месту в Смольном, а желал вернуться в распоряжение партийных органов Карело-Финской ССР. Вообще-то наш герой был верным рычагом партии и готов был работать там, куда пошлют. С началом работы в Смольном положение его кардинально меняется. Уже 9 декабря наш герой записывает:

«С питанием теперь особой нужды не чувствую. Утром завтрак – макароны, или лапша, или каша с маслом и два стакана сладкого чая. Днем обед – первое щи или суп, второе мясное каждый день. Вчера, например, я скушал на первое зеленые щи со сметаной, второе котлету с вермишелью, а сегодня на первое суп с вермишелью, на второе свинина с тушеной капустой. Вечером для тех, кто работает, бесплатно бутерброд с сыром, белая булочка и пара стаканов сладкого чая. Не плохо. Талоны вырезают только на хлеб и мясо. Остальное без талонов. Таким образом по продкарточкам можно будет выкупить в магазинах крупу, масло и другое что полагается и подкармливаться малость дома... Качество обедов в столовой Смольного значительно лучше, чем в столовых в которых мне приходилось в период безделия и ожидания обедать» (09.12.1941).

А вот запись от 5 марта 1942 года, которая свидетельствует о том, что нет уже никакой речи о «равенстве в страдании» (А. Платонов).

«Вот уже три дня как я в стационаре горкома партии. По моему это просто-на-просто семидневный дом отдыха и помещается он в одном из павильонов ныне закрытого дома отдыха партийного актива Ленинградской организации в Мельничном ручье. Обстановка и весь порядок в стационаре очень напоминает закрытый санаторий в городе Пушкине.

Местность здесь замечательная. Двух этажные с мизонином дачные домики окружены ровными, высоко вытянувшимися к небу соснами и лапчатыми елками. Отойдеш несколько шагов в сторону и домик теряется в лесной гуще. Огромная территория дома отдыха обнесена высоким забором. Но, когда идеш по этой территории – полное впечатление, что ты в непроходимом лесу... Очевидцы говорят, что здесь охотился Сергей Миронович Киров, когда приезжал отдыхать... От вечернего мороза горят щеки... И вот с мороза, несколько усталый, с хмельком в голове от лесного аромата вваливаешься в дом, с теплыми, уютными комнатами, погружаешся в мягкое кресло, блаженно вытягиваеш ноги...

Питание здесь словно в мирное время в хорошем доме отдыха: разнообразное, вкусное, высококачественное, вкусное. Каждый день мясное – баранина, ветчина, кура, гусь, индушка, колбаса; рыбное – лещь, салака, корюшка, и жареная, и отварная, и заливная. Икра, балык, сыр, пирожки, какао, кофе, чай, триста грамм белого и столько же черного хлеба на день, тридцать грамм сливочного масла и ко всему этому по пятьдесят грамм виноградного вина, хорошего портвейна к обеду и ужину.

Питание заказываеш накануне по своему вкусу.

Я и еще двое товарищей получаем дополнительный завтрак, между завтраком и обедом: пару бутербродов или булочку и стакан сладкого чая.

К услугам отдыхающих – книги, патефон, музыкальные инструменты – рояль, гитара, мандолина, балалайка, домино, биллиард... Но, вот чего не достает, так это радио и газет...

Отдых здесь великолепный – во всех отношениях. Война почти не чувствуется. О ней напоминает лишь далекое громыхание орудий, хотя от фронта всего несколько десятков километров.

Да. Такой отдых, в условиях фронта, длительной блокады города, возможен лишь у большевиков, лишь при Советской власти.

Товарищи рассказывают, что районные стационары нисколько не уступают горкомовскому стационару, а на некото-

Пансионат под Ленинградом. 1942 год

рых предприятиях есть такие стационары, перед которыми наш стационар бледнеет.

Что же еще лучше? Едим, пьем, гуляем, спим или просто бездельничаем слушая патефон, обмениваясь шутками, забавляясь «козелком» в домино или в карты...

Одним словом отдыхаем... И всего уплатив за путевки только 50 рублей. Перед отъездом в стационар, в библиотеке Смольного встретил своего приятеля писателя Евгения Федорова. Он подсказал мне прочесть его роман «Демидовы». Так вот за него и взялся со вниманием и некоторым пристрастием».

Не могу не сообщить читателю, что не пошли нашему герою на пользу пиры. Он тяжело заболел желудком от непривычного избытка еды.

Далее могут последовать обвинения в цинизме, лицемерии, обмане, аморальности... Попрано моральное чувство, в особенности, если вспомнить те записи, которые делали в конце этой тяжелейшей блокадной зимы другие люди. Отсылаем читателя хотя бы к «Блокадной книге» Д. Гранина и А. Адамовича[3]. Порой

напрашивается вопрос: а не *придуряется* ли он? Но останавливает тон сказанного, искренность и доля наивности. Наш герой не циник, он человек искренний. Ну кто заставлял его описывать жизнь в санатории (можно же было об этом-то умолчать)? И потом фраза, свидетельствующая об определенной картине социального мира и классификациях этого мира: ***«Да. Такой отдых, в условиях фронта, длительной блокады города, возможен лишь у большевиков, лишь при Советской власти»***...

А потому, оставив при себе эмоции, попробуем разобраться, как именно конструируется, *производится* и *воспроизводится*, говоря социологическим языком, это представление о реальности (и, соответственно, сама реальность)[4]. Для этого следует отнестись к сказанному как к социальному факту, то есть преодолеть границы нашего собственного опыта, сегодняшнего уровня понимания, заменить частные определения корпусом знания. А для этого пойдем дальше, снимем следующий «культурный слой».

Классификация социального мира

Наш герой – образцовый советский человек. Даже осенью 1941 года, когда положение его шатко и неопределенно, когда его привычный мир распадается, он черпает силу в ресурсе своей советскости. Официальный идеологический язык вносит порядок в мир, который рушится самым буквальным образом. Этот язык позволяет отфильтровывать угрозы целостности «Я» и мира в предельных экзистенциальных ситуациях.

«С театра вынужден был итти пешком. Трамваи не шли. Проспект Володарского до самой Некрасовской улицы засыпан осколками выбитых стекол... Дворники вывешивают флаги» (06.11.1941). В театре пишущий попал под бомбежку, чуть не погиб, но вывешивание праздничных флагов как дискурсивная практика намекает, что порядок жизни не совсем разрушен, несмотря на прямую опасность для жизни индивида.

Порядок жизни для нашего героя – советский порядок. Иного он не знает. На письме это сказывается в том, что в сугубо личном пространстве дневника наш герой пишет (во всяком случае,

старается писать) «по правилам». Не столько по правилам орфографическим и грамматическим, сколько в соответствии с господствующими риториками. Принимая безоговорочно готовые классификации мира, пользуясь готовыми дискурсивными единицами, он склоняется перед Историей. Так он участвует в воспроизводстве этого мира.

Он видится марионеткой власти, куклой на веревочках структуры. Он пользуется идеологическими клише как идиомами повседневного языка. Например, поздравляя семью с праздником 7 ноября 1942 года, наш герой пишет жене и сыну поздравление на открытке с портретом Сталина: ***«С нами Сталин. До свидания. Целую крепко. Ваш Папаня»*** (22.10.1942). ***«С нами Сталин»*** – часть интимной семейной коммуникации. А вот еще пример: ***«Будет и на нашей улице праздник» – как справедливо сказано в приказе т. Сталина».*** Вождь – производитель пословиц, или, что то же самое, порядка мира.

Сталин – персонификация власти и судьбы. Происходящее воспринималось нашим героем как генерированное властью. Вера в авторитет порождала метафизическую уверенность в пра-

Выступление Сталина. 7 ноября 1942 года

вильности происходящего: ***«И каждый раз я затаив дыхание вслушивался в каждое слово. Как просто, понятно, кратко и ясно т. Сталин ответил на волнующий вопрос: в чем причины временных неудач нашей армии»*** (07.11.1941). ***«Если это так то нет сомнений, что т. Сталин свое слово сдержит. Поможет, выручит»*** (18.11.1941). ***«Исключительно хорошо, умно и правильно ответил Сталин на письмо московского корреспондента... Просто и истинно справедливо сказано»*** (06.10.1942).

Место Сталина может занимать Ленин или партия, в том числе и в форме ее институтов: ***«Знаем, наша советская власть, коммунистическая партия в беде нас не оставит»*** (08.08.1940). ***«Правильно и своевременно Горком партии поднял вопрос о наведении чистоты и бытового порядка в городе. Наметили ряд мероприятий, но главное, это призвать к порядку людей, опустивших руки в связи с трудностями и переживаемыми затруднениями»*** (13.01.1942). Послушаешь его, так и валенки он от партии получил: ***«Сегодня я уже, следуя примеру других, обновил валенки. Как в них хорошо ногам. Мягко, а главное тепло. Воронцов выручил теплой шапкой... Правда шапка не казистая, но теплая... Выходит что я к зиме тоже подготовился... И Горком и Лениполком сейчас уделяют исключительно серьезное внимание бытовому и культурному обслуживанию трудящихся в условиях зимы»*** (01.12.1942). Свет для него – *лампочка Ильича*. Эту метафору пишущий также употребляет в качестве клише обыденного языка. Метафора не просто инструмент, она модель видения вещей и мира. Как и все символические системы, системы идеологического языка воссоздают реальность. Они реорганизуют мир в терминах действий, а действия реорганизуют в терминах мира.

Идеологический язык *переописывает* мир, как, впрочем, и обычный. Он предлагает и внушает системы классификации, которыми пользуются как привилегированные, так и непривилегированные. Приобретенные способы классификации мира кажутся «естественными», в том и сила классификаций.

Например, практически все пользовались классификацией *наш человек/не наш человек*. Но родилась эта классификация в поле доминирующих. Партия-государство как сверхсубъект классифицирует людей на нужных и не нужных.

Классификация *рабочий/иждивенец* также имела в советском обществе всеобщий характер. Она диктовала парадоксальность социальных игр. Любые классификации подразумевают исключение и отбор. Чиновник оказывался рабочим (явно полезным членом общества), потому что снабжался по рабочей карточке, а служащий – иждивенцем, ибо получал иждивенческую карточку. В условиях блокады вопрос о социальных классификациях был вопросом жизни и смерти. Власть над жизнью и смертью проявляется самым прямым и непосредственным образом. Самые нужные – партийные кадры. ***«К нам приходят, обивают пороги такие которым не только не полагается первой категории, а отобрать вторую и гнать в шею следует... Партийные кадры мы обязаны поддерживать. На это имеются указания горкома...»*** (01.12.1941).

В советском обществе роль идеологического дискурса в установлении порядка мира и самой социальной связи занимает центральное место. Это хорошо видно в моменты, когда происходит столкновение нашего героя с иными социокультурными системами, в которых элементы мира названы и скомпонованы по-иному. Вот что удивило Н.А. Рибковского, когда в 1944 году он попал в освобожденный пригород Териоки (ныне Зеленогорск):

«Но, что чрезвычайно удивило нас, так это сохранившиеся с 1941 г. наши плакаты и лозунги, расклеенные на зданиях и в помещениях дач и домов отдыха. На одном из домов отдыха, на видном месте, крупными буквами напечатанный плакат: «Смерть фашизму». А в доме, на одной из дверей лозунг «Трудящиеся Советского Союза, теснее сплотим ряды вокруг большевистской партии. Под знаменем Ленина-Сталина вперед к победе». В другом домике на стене нетронутая, приклеенная гумиарабиком газета «Красная звезда» за 3 июля 1941 г. Трудно себе объяснить как это все сохранилось? Неужели сюда не заглядывали знающие русский язык? Или лахтари против нашей агитации не возражают?..» (13.07.1944).

Итак, наш герой кажется персонификацией порядка, заданного партией. Он точно следует тому, что предлагает партия как

социальный институт в качестве правил, предназначенных для усвоения. К этим средствам и правилам относятся нормативные речевые практики. Здесь нет места шуткам. Ведь шутка служит цели доставить себе и другим удовольствие от нарушения установленного порядка – хотя бы на словах. Порядок слов и порядок вещей воспринимаются сугубо серьезно. Личные признаки оказываются вытесненными в пользу господствующей формы. Обычная речь – в пользу языка официальной идеологии. Происходит не просто слияние с ролью, но добровольная отдача себя под эгиду «антииндивидуалистического» принципа, подчинение коллективному и деперсонифицированному порядку, сверхчеловеческому принципу. Партия предлагала коды для расшифровки личного опыта, средства для определения смысла этого опыта. Герой наш самоосвящался через партию, а потому охотно использовал эти коды. Он определял собственную идентичность через признанные представления о себе самом. Между нашим героем и партией можно поставить знак равенства. И партия, и советское общество не могли бы существовать, если бы такие, как наш герой, не воспроизводили их своей жизнью. Роль таких людей в изобретении советского общества незаменима.

Сам способ употребления идеологической речи в контексте повседневной коммуникации свидетельствует о *согласии* нашего героя с требованиями общества. Вопрос лишь в том, каковы причины и условия согласия... Классификации идеологические кажутся социальной правдой, если связать их с классификациями социальными. Существует гомология между социально обусловленными качествами автора дневника и молчаливым принятием тех требований, которые предъявляло ему общество. В очередной раз подтверждается сложившееся еще у классиков представление о том, что надчеловеческая институция, управляющая власть, представляет собой символ общего сознания, коллективного чувства[5]. Отсюда вопрос: как производится то, что сам человек может ощущать как *«призвание»*? «Убежденность» действительно позволяла не только жить, а порою и умирать за «слова».

Жизнь – всегда становление и самоопределение, сближение и дистанцирование. Даже в тесном пространстве тринадцати тетрадочек дневника мы наблюдаем перемену в самом зрении пи-

шущего, которое соответствует изменению позиции в социальном пространстве. В начале блокады наш герой делит жизнь со своими соседями по коммунальной квартире. Он довольно часто их упоминает: кто что сделал или сказал, как кто-то кому-то помог или не помог. Он сопереживает. Постепенно соседи вытесняются за пределы поля письма. Живы они, умерли? Они вроде бы ушли, растворились... Лишь по оговоркам во второй половине дневника мы узнаем, что соседи вообще-то существуют.

«Исчезновение» соседей связано отнюдь не только с атомизацией всех людей в экстремальной ситуации блокады. Крайняя ситуация позволяет рассмотреть с близкого расстояния процесс производства новой позиции в социальном пространстве и новой идентичности.

Наш герой, попав на работу в Смольный, «дистанцируется» не только от ближайших соседей, но и от необходимости. Как это можно объяснить? Самый «примитивный» (впрочем, вполне имеющий право на существование) ответ таков: точка зрения человека меняется в соответствии с изменением его рациона. Наш герой не только подпитывается идеологией из газет и радио, докладов руководства, но и питается. Количество еды достаточно для продолжения жизни (не каждый день он роскошествовал, как в «стационаре»). Кроме того, он имеет доступ к теплу, к бане.

Обратим, однако, внимание на одну особенность, которая в анализируемом тексте выражена рельефно. Чем более он «дистанцируется», тем больше позиция его приближена к позиции театрального зрителя, который со стороны, с привилегированного места, наблюдает спектакль блокады. В контексте этих рассуждений по-новому начинаешь воспринимать его увлечение театром. Весь мир – театр, и все мы нем актеры. Наш герой тоже играет роль, но отнюдь не эпизодическую. Он претендует на роль режиссера социального театра. Точка зрения режиссера – позиция абсолютного наблюдателя-субъекта. Именно тогда в дневнике партийного работника все чаще появляется риторика партии и массы.

Партия рулит массой. Наш герой стремится быть тем, кто к массе не принадлежит. Дистанцирование от реальности дает ему

возможность судить людей, представляя их (он – *делегат* массы[6]), планировать жизнь «за них». К концу зимы 1941–1942 годов люди для него уже не «мы», а «они». Об изменении точки зрения свидетельствует запись от 26 февраля 1942 года. А ведь еще три месяца назад он был со всеми, почти что «в массовке»... Теперь ему неприятно смотреть на немытых ленинградцев.

«К слову сказать сейчас очень много горкомовцев болеет. Отчего бы, кажись, такое «поветрие»? Если в городе, среди населения, много желудочных заболеваний так можно объяснить истощением и тем, что водой пользуются прямо из Невы, подчас употребляют не прокипяченную как следует быть из-за недостатка топлива, в уборную ходят прямо в квартирах потом где попало выливают и руки перед едой не моют. Некоторые моются редко, чумазыми, с наростом грязи на руках ходят... Встретиш такого человека, а встречаются такие часто, не приятно делается. Ни водопровод, ни канализация не работают вот уже три месяца...

А у нас в Смольном, отчего? Питание можно сказать удовлетворительное. Канализация и водопровод работают. Кипяченая вода не выводится. Возможности мыться и мыть руки перед едой имеются. В самом Смольном чисто тепло, светло. И все-таки люди болеют расстройством желудка. Почти половина работников горкома и обкома сидит на диэте. Некоторые в больнице. В нашем отделе кадров почти все переболели расстройством желудка и сейчас из двух десятков работников отдела кадров больны восемь человек...<...> Присмотрится и видиш как много делается в Смольном, незаметного, большого, кропотливого, чтобы всячески облегчить переживание ленинградцами трудности и лишения вызванные блокадой. Привлекаются все и всё к этому. Идет борьба, настойчивая, упорная за сохранение жизни людей».

Он находится в той точке социального пространства, откуда «планируют», например – идеологическую работу среди подро-

стков: ***«Большая и сложная задача сформировать из подростка волевого гражданина, подлинного советского патриота»***. Надмирная точка зрения заставляет вытеснять реальность: подростки 14–16 лет работают по 10–11 часов, причем не только днем, но и в ночную смену.

Автор дневника даже массовое *выживательное* движение (как, впрочем, и любое другое) интерпретирует как инициативу партии. ***«Бывает так. Поднимут на какое-либо полезное дело народ, зажгут и успокоятся. Воспламенившаяся масса – угасает. Как в топке уголь. Если его не шуровать, будет тлеть пока совершенно не погаснет»*** (11.02.1942). Метафора угля и топки симптоматична. Он хочет не «быть с массой», а работать с ней: ***«Непосредственная работа с массами, что может быть интереснее, живее и захватывающе»*** (16.06.1943).

Установить баланс власти в свою пользу – получить право решать вопросы жизни и смерти, причем отнюдь не в переносном смысле: дать обед или лишить обеда, одеть или раздеть. Он ощущает право принуждать – в силу того, что действует от имени партии. В понятие воспитательной работы входили как идеологические практики, так и практики дисциплинарные:

«Когда мы приехали на комбинат, в полном разгаре был воскресник по уборке территории комбината. Сделано много. Собраны огромные кучи щепы, обломков, мусора. Кто хорошо, по ударному работал на воскресники сделан обед из трех блюд как поощрение. Бездельники получили лишь первое блюдо. Правда густой, с жиром, суп, но ни второго (каша со шпиком), ни третьего (брусничное варенье...) им не дали. – «Иначе не заставишь работать»... – заявил директор комбината Веречитин. Для ИТР и стахановцев обед приготовлен отдельно. Вкусный суп с грибами и сметаной, на второе фарш с рисом и на третье стакан кофе со сгущенным молоком и ватрушкой. Стахановцы и ударники получают в первую очередь курево... Коммерческий директор коммунист Лейдерман (инициативный, ходовой работник), изыскал меры поощрения. Комбинату передали трофейный склад с вещами (пальто, пиджаки, брюки, рубашки и другие носильные вещи), которые решено

Разборка улиц в блокадном Ленинграде. 1943 год

привести в порядок, реставрировать, починить и выдать тем, кто хорошо работает. Все это хорошо и все-же [без] ***систематической массовой воспитательной работы нельзя оставлять дальше».***(Запись от 17 сентября 1944 года.)

Чем более баланс власти складывается в пользу пишущего, тем в большей степени он склонен представлять свою точку зрения как «объективную». (Здесь, замечу в скобках, прекрасно ощущаешь сродство позиции теоретика и позиции человека во власти.)

Итак, опять остановимся, отметив двойственность позиции пишущего. Он режиссирует других, но и его самого режиссируют. По отношению к «массам» он доминирующий, во властном поле он занимает доминируемое положение. Это не такое уж устойчивое равновесие колеблется. Недаром Николай Андреевич столь старательно следует официальному канону советской идентичности.

Отсюда – необходимость обращения к *прошлому*, которое, понятно, мы можем лишь реконструировать его по дневнику. Обращение к прошлому – снятие еще одного слоя.

Еще один образ, или Идентичность как процесс

Если продолжить тему многоликости нашего героя, то из дневника встает еще один образ, образ человека, который лишь натянул на себя маску идеального рычага партии – идеологически выдержанного и «культурного» – и играет «как в театре».

Читатель, вероятно, заметил, что для героя нашего письмо – это труд. Причем пишет он отнюдь не с легкостью необыкновенной: зачеркивания, стирание, переписывание, орфографические ошибки. Бумага, на которой дневник написан, несет на себе следы рефлексивных усилий, свидетельствует об отсутствии спонтанности. Понятно, что рефлексивная «подотчетность» не абсолютна. Всегда остаются внесознательные логики практики, неотъемлемые от непрерывности повседневных активностей. Тем не менее активная (но не обязательно субъектная) роль пишущего дневник обращает на себя внимание.

Письмо в принципе является образцом опосредованного опыта. Именно поэтому по письму можно отслеживать процесс конструирования идентичности. Знаменитый британский социолог Э. Гидденс полагает, что люди, «Я» которых представляет собой рефлексивный проект, в массовом порядке появляются именно в условиях цивилизации модерна. Этот рефлексивный проект состоит в поддержании связных, но постоянно подвергающихся ревизии биографических нарративов. Осуществление этого проекта происходит в контексте множественного выбора, профильтрованного через абстрактные системы[7]. В нашем случае речь идет, конечно же, о сталинском модерне. Абстрактные системы представлены прежде всего идеологическим легитимирующим метанарративом, который, кстати, задавал и канон «правильного» жизненного пути.

Опосредованность нарратива дискурсивными (метанарративными) единицами гомологична представлению о возможности выбора из спектра *способов жизни*, или *жизненных стилей*, пусть даже этот спектр очень неширок. Рефлексивность прямо соотносится с трансверсальностью (надситуационностью) идентичности. Идентичность нашего героя надситуационна: он советский человек как публично, так и наедине с самим собой. Это

жесткая конструкция. Сегодня нам этот сорт людей кажется простоватым и глуповатым.

По тексту дневника мы можем проследить историю складывания этой идентичности. Повторим еще раз, что ее поиск применительно к этой группе можно представить как процесс, аналогичный процессу овладения иностранным языком (в отличие от языка родного). Имеется в виду *рефлексивный контроль* и дистанцирование в процессе идентификации. Участие в новых риторических играх как элементе новых практик приводит к смене *габитуса*.

Пишущий правильно – хозяин, пишущий неправильно – раб. Наш герой стремится быть хозяином. Он принимает предлагаемую языковую игру и работает на ее воспроизводство. В СССР язык «Краткого курса истории ВКП(б)» – то же, что в статусных обществах язык высших классов. Или то же, что литературный язык для того, кто раньше говорил на диалекте.

Новый язык равнозначен хождению в театр. Это – род театральной маски. И то и другое – знак нового стиля жизни, с таким трудом вырабатываемого и обретаемого стиля жизни тех, кто принадлежал к советской элите в первом поколении. А языковые особенности текста – метки пути, который проделал человек.

О чем свидетельствует текст дневника?

Иногда пишущий употребляет родительный падеж вместо дательного: *«не поддались паники»*, *«не угодил мамы»*. *Он пишет: «бонбандировка»*, *«для супруге»*, *«в связи с болезней»*, *«иждевенец»*, *«кстате»*, *«тертка»* (терка), *«дом с мизонином»* и пр. Он употребляет независимый причастный оборот: ***«я еще не успев понять в чем дело – раздался оглушительный взрыв»*** (24.08.1940). Он не ставит мягкий знак после шипящих. Но главное – языковой репертуар, который неоднороден и явно определяется социальной биографией пишущего. Он старательно копирует тогдашний газетный стиль, но из-под него вылезает *«с форсом»*, *«барышня»*, *«зало»*, *«супруга»* – из словаря городского мещанства. Ошибки и лексика – стигматы «рабского происхождения». Он не только свежий человек в элите, но и свежий городской житель.

Здесь следы его ранней семейной социализации. Как бы ни порывал наш герой со своим прошлым, как и другие бывшие крестьяне, удачно социализировавшиеся в советское общество, оно «вылезает».

Среда, из которой он вышел, – во-первых, в нем самом, это инкорпорированная история, во-вторых, рядом с ним. После длительного перерыва наш герой стал переписываться с сестрой. Кстати, сестру, которая оказалась в оккупации, он не искал. Она сама его нашла, надеясь на помощь. Для любопытного читателя сообщу, что он стал помогать сестре. Так вот то, как сестра его пишет (нелитературный, приближающийся к разговорному язык), напоминает записки бывшей крестьянки Е.Г. Киселевой, о которой речь пойдет ниже. В дневнике приводится письмо сестры о том, как ей удалось покинуть оккупированную территорию:

«...Нашу местность немец оккупировал 23 августа 1941 года. Отобрал хлеб, скот и вещи и отправлял в Германию. Но ничего не давал. Кормились как могли, ... плохо... Хлеб с водой. Над пленными издевались. По месяцу ста грамм хлеба не давали... Ели зелень... Много было повешено людей и сколько

Колонна пленных красноармейцев. 1941 год

растреляли. На моих глазах на большаке умирали пленные каждый день по 140–150 человек и больше... В январе 1942 г. наши части продвинулись к нам ближе... Карательный отряд стал згонять наших людей... Фрицы зашли ко мне трое открыли шкап и комод, что им понравилось взяли, самое ценное мое и Мишина, мне свиснули, рукой махнули, выходи... Я хотела взять одеяло дочь завернуть меня ударили плеткой, наставили наган, детишек вытолкнули за дверь, как стояли и пошли, а было холодно. Когда мы вышли на дорогу два фрица пошли рядом на квартиру, один остался со мной. Там я услышала стон и этот третий побег от меня в дом, я этим моментом в огород, думаю всеравно погибать. Бегла сама а вся тряслась, дочку на руку, а сын сам бежал даже сильней меня. Спрятались за сугроб просидели пока стало темнеть. Замерзли. И тогда решили итти дальше в деревни по направлению к Торопцу. Бегла семь километров без оглядки. Меня часовой заметил, много бил по нам, ранил меня в правую руку, но я всеравно бегла, кругом нечего не понимая а сама вся была в крови и дети от испуга ни разу не крикнули. Здесь я нарвалась на часового. Он кричит стой. Я здесь упала, дети закричали. Он подошел к нам, взял нас привел в деревню Пулово там был штаб (красных), меня распросили, забинтовали руку, детей накормили... Запрягли лошадь, отвезли в Липец... Военком дал нам одеяло хлеба и консервов...» (запись от 28 ноября 1942 года).

В течение жизни (она же социальная биография) человек последовательно социализируется через различные языковые репертуары. Институт (властная инстанция) налагает официальные санкции – *одобрять/не одобрять*. Наш герой явно проявлял способность к овладению новыми кодами. Он охотно работал над собой. Работу над языком следует рассматривать наряду и в контексте «имитаций» невербальных моделей поведения. Любимое нашим героем хождение в театр – симптоматика жизненного стиля советской элиты, нового и манящего. Наблюдается параллель с тем, что вычитывается из заметок других наших героев. Одни и те же практики – но результаты разные.

Для того чтобы идентификационный канон мог существовать, он должен социально воспроизводиться, то есть вырабатываться людьми в процессе совместной деятельности, быть общим продуктом. Бытование его возможно, только если он социально воспроизводится в жизненных практиках тех, кто его принимает, если проводится *риторическая работа* общества со этим каноном. Для тех, кто жил в тогдашнем обществе, он имел жизненный смысл. В каноне советской идентичности заданы первичные классификации мира и задан сам этот мир. Практики воспроизводства советской идентичности «регулярны», но не вследствие сознательного подчинения правилам, «сознательного» утилитаризма. Они коллективно оркеструются, не будучи продуктом организационного действия некоего дирижера. Чем сложнее игра, тем менее она видится прямо подчиненной правилам. Мы видим, как свободно производятся действия (мысли, восприятия, представления, желания), коренящиеся в определенных условиях воспроизводства[8]. Точно так же обусловлены и тактики избегания каких-то действий.

Способы демонстрации отдельной, личной идентичности являются выражениями *символической идиомы*, которая может быть распознана в любом обществе. Эта идиома использует *тело* и *производство* для материализации семиотического конструкта, который называется «Я»[9]. Исследовать идентичность как процесс значит показать, каким образом он развивается во временной протяженности, работает через язык и развитие социальных ролей, а также тесную связь между *частным* опытом самоидентичности и ее *публичным* выражением.

Умение играть в новые словесные игры, следовать правилам знаково-символического обмена, овладение техниками письма и чтения, достижение нормативной телесности составляли процесс обретения идентичности. Люди пользовались соответствующим набором культурных правил и языковых идиом, которые регулировали отбор, сочетание и осмысление элементов нового опыта.

Наш герой получил через образовательные институции соответствующие таксономии и схемы интерпретации социальной реальности (категории социальной причинности, исторического времени и пространства). В соответствии с этими схемами он р-

альность конструирует[10], то есть следует типичным мотивационным связям и отношениям, поведенческим рецептам и разделяет соответствующие ценностные иерархии. Языковой репертуар определяется соответствующим кодом – с одной стороны, групповым (советская элита), с другой – претендующим на универсальность в советском обществе первой половины его истории. Институции «объективно» требуют замены прежнего человека на нового с помощью процедур, подобных гимнастике. Слово «гимнастика» не случайно, ибо речь идет не только о «правильных» риториках, но и о соответствующем внешнем виде. Идеология, как «классифицирующая» машина, систематически маркирует человека. Кроме того, человек сам себя обозначает: как идеологическим словом, так и способами времяпровождения и телесными практиками, которые позволяют достигнуть соответствующего внешнего вида. Все вместе составляет специфический жизненный стиль, канон которого задавался соцреалистическим искусством.

Тот язык, которым так старается овладеть наш герой, выступает для него формой обозначения новой социальной позиции. Он отмечает границу, отделяющую его от «непривилегированных», пусть даже непривилегированные – его собственная сестра и родители. Узнав о смерти родителей во время оккупации, он пишет, что много лет он не имел о них сведений. Разрыв с родителями, вообще с деревенскими родственниками – тогдашний механизм исключения. Разрыв принимает форму обиды:

«Получил большое ... письмо от сестры Тони. ... Мамаша буквально бросила ее тяжело больную и в большом горе. Именно в день, когда было получено извещение о гибели мужа сестры Михаила. ... Выходит у нашей родительнице такое безразличное отношение не только ко мне, но и к другим детям. Ведь мою маму совершенно не волновала моя судьба. Она проявляла равнодушие ко мне даже тогда, когда я был при смерти в 1938 году... Разве после таких случаев вспомнишь хорошим словом своих родителей: отца, который жил только собой, как бы выжить; мать, – которая ради своего благополучия пренебрегает несчастьем родных сына и дочери? Вот случай, достойный пера писа-

теля – показать какой недолжно быть материя, тем более у нас, в Советском Союзе, где чужие, не знакомые люди в нужде помогают друг другу... Бог с ней ... Без родителей i вырос, а помощью комсомола и партии стал человеком, да как будто-бы не последним, и уж "как-нибудь", без родительницы доживу свой век» (запись от 25 сентября 1944 года).

Вспомним, что Степан Филиппович тоже был сильно обижен на отца.

Прошлый опыт, однако, встроен в тело. Этот опыт – жизнь поколений крестьян, то есть людей, которые всегда находились на нижних ступенях социальной иерархии. Наш герой – это человек, для которого подчиненное положение привычно. А потому даже тогда, когда он карабкается по социальной лестнице вверх, подчинение, пожалуй, даже не тяготит его. Находясь в подчинении, служа Партии, он вполне ощущает себя на своем месте. Человеческие (они же социальные) черты оказались востребованными для производства новых институтов. Внушение, вроде бы только исходящее от власти, и запросы взаимно соотносились, что еще раз подтверждает мысль о связи между существованием системы и свойствами ее агентов.

В новом кругу жизненная ставка нашего героя – послушание. Напомним, что послушание – главная добродетель Владимира Ильича. Он явно сам формировал свой опыт посредством доступных ему ресурсов. «Необладание» какими-то ресурсами – принцип расшифровки того, что происходит с человеком. Новый опыт «закрепляет» более ранний, тот, что был «до того»...

Словом, ситуация нашего героя диктует не просто жесткость, но двойную жесткость идентичности. Во-первых, он «свежий» человек во власти. У него нет никакой опоры, кроме самого аппарата. Он получил от партии «все», ибо у него нет помимо его теперешнего положения ни экономического, ни социального, ни культурного капитала. Во-вторых, он находится в ситуации прямой угрозы существованию. И не только потому, что идет война. Ему как партийному функционеру приход немцев грозил погибелью самым прямым и непосредственным образом.

Известно, что люди тем более истово воспроизводят ритуалы, в том числе словесные, чем в большей степени ставится под вопрос продолжение жизни. Новую советскую идентичность наиболее истово культивировали те, кто попал наверх из крестьян, то есть из социального слоя, само существование которого было под угрозой. Желая стать социальными удачниками, они культивировали техники как телесного, так и вербального самоконтроля. Эти техники – часть механизма защиты границ тела, которые должны быть закрыты от вторжения.

Для этих людей вопрос «веры» в связность повседневной жизни, а также символические интерпретации экзистенциальных вопросов *времени, пространства, континуальности и идентичности* был не просто актуальным. Это была проблема продолжения жизни. Каждый индивид должен был заново создавать *защитный кокон*, который мог бы помочь преодолеть превратности повседневной жизни. Надо было заново конструировать свою идентичность.

Отсюда – огромная роль «готовых» ответов, предлагаемых властью. В случае нашего героя не решается проблема реконструирования нового, «качественного» образа личной идентичности, поиска «Я». Об этом в дневнике ничего нет. Речь идет лишь о проявлении скрытых игр власти, обусловленных двусмысленностью социальных границ. Так или иначе, наш герой начинал как человек без капитала, а закончил членом группы *делегатов массы*, номенклатуры. Он – *освобожденный работник*. Конструирование собственной идентичности – элемент производства группы.

Но что именно он защищает, конструируя свою советскость, вопрос открытый. «Слова» ли, мировоззрение, даже веру? Привилегии? Вспоминая мирную жизнь, он грезит об «общечеловеческом», картины изобилия предстают перед его внутренним взором:

«Когда проходил мимо Витебского вокзала, вспомнил как бывало приедеш из пушкинского санатория, завернеш в один из гастрономов не далеко от вокзала, купиш колбаски батончик, яблок, груш, сладостей и спешиш домой угостить свою семью. Вот он памятный гастроном, так и стоит перед глаза-

ми с обилием фруктов и сладостей». (Запись от 6 февраля 1942 года.)

В тексте дневника никакого фольклорно-мифологического начала явно не прослеживается. Но в сновидческих описаниях прошлого, будущего и даже настоящего просвечивает сказочно-мифологический образ «страны обилия». (Это, кстати, позволяет под новым углом зрения прочитать и запись об отдыхе в Мельничном Ручье[11].) Другие записи также о том свидетельствуют:

«От посещения театра оперы и балета им. Кирова (б. Мариинки) у меня осталось хорошее впечатление. Театр выглядит новеньким, красивым, величественным. Чистота образцовая, много света и блеску. Торжественно и уютно. <...> Удивился изобилию всего в буфетах театра. И фрукты и разные сладости (шоколад, конфеты, пирожные), и пиво, и прохладительные напитки, как до войны. Но очень все дорого. Не по моему доходу. Яблочко 15 р. Шоколаду плитка 100 граммов 125–175 р. Пирожное 50 руб., бутерброд с колбасой 25 рублей. Одна конфета 13–20 рублей. Если пойти в театр с дамой, да в антрактах посидеть за столиком... то вряд-ли хватит моей месячной зарплаты, с вычетами и удержанием. Но все таки хорошо. Хотя и дорого, но есть. Культурно, красиво и приятно даже поглядеть... Но будет хорошо и еще лучше. Ценить станем выше, чем это было до войны, хорошую жизнь, в мирном созидательном, хотя и упорном труде» (07.10.1944).

Но ведь в сказке в город всеобщего благоденствия попадают не все, но лишь те, кто прошел многочисленные испытания. Вот и наш герой таков. И видится, как подобно сказочному Ивану-дураку он всех врагов обхитрил, испытания выдержал и дуется себе *«в козелок»* да слушает патефон или сидит в ложе *Мариинского Кировского* театра.

Повторю еще раз: дальнейшая судьба нашего героя неизвестна. Да и дневник его кончается по-иному. Но хочется расстаться

с ним в точке счастья. В этой небольшой главе, конечно, рассказано не все, что мы можем узнать о Николае Андреевиче. Кто-то скажет, что он дурной человек, но ведь человек неисчерпаем, подобно атому. Впрочем, он подтверждает справедливость мысли А. Платонова о реальном существовании людей, «думающих и действующих в плане ортодоксии, в плане оживленного плаката». Такие люди, как он, исчезли с поверхности истории, они уже ушли как антропологический тип. Но многие их помнят...

ТЕ, КТО ЗА ПРЕДЕЛАМИ ИГРЫ?

Текст Е.Г. Киселевой уже был проанализирован ранее[1]. Тем не менее и в этой работе представляется попросту невозможным его обойти – в силу разных причин. Письмо такого рода – действительно «редкая птица». Напомним: писать как видеть, видеть как жить. Живущих так, как жила Евгения Григорьевна, много. Однако пишут они редко. Подобное письмо хорошо представлено в «письмах наверх». Однако писать «для себя» – будь то дневники или воспоминания – такие люди обычно потребности не испытывают. Они оставляют после себя лишь корешки от квитанций, заявления о приеме на работу или предоставлении очередного отпуска да ритуальные поздравительные открытки. Письмо – практика *культурных*. Евгения Григорьевна образование имела – пять классов украинской школы, а карьеру свою закончила уборщицей на шахте. В данном случае мы имеем дело с документом внеписьменной культуры, написанным тем не менее представителем этой самой культуры, а не сторонним наблюдателем.

Итак, Евгения Григорьевна пишет, но от культуры письма она отчуждена. Зачем она стала писать в 64 года? Письмо ее рассчитано на «других». Эти другие – и соседи, с которыми она хочет рассчитаться, и даже далекие потомки. Для предполагаемого читателя пишет она свою *рукопись жизни*. Она неоднократно обращается к читателю: ***«читатель будит читать и скажет»***[2], ***«это все правда и только правда поверте мне читатель»***[3]. Текст Евгении Григорьевны дает уникальную возможность проникнуть за завесу молчания. К тому же для нас существенно, что в ее записках отсутствуют следы игры, подобной той, которая с разной степенью яркости представлена в других документах.

Как это интерпретировать? Напрашивается версия: такие, как Е.Г. Киселева, не участвовали в изобретении советского общества. Они лишь жертвы властных игр.

Попробуем разобраться. Рукопись Е.Г. Киселевой – вариант картографирования советской повседневности, буден и праздников, где на равных выступают написание письма Терешковой и покупка свиной головы для сороковин. Она же – вариант самоописания советского общества. Она же – книга Жизни. Здесь я выделяю именно симптоматику социальной реальности, как она встает из текста.

Социальные игры в низах общества – terra incognita, а потому легко становятся предметом разного рода идеологических и политических спекуляций. Неприкрытость и откровенность изображаемого, любовь нашего рассказчика к «подробностям» (как характеристика денотативного письма) позволяют получить ценную социальную информацию.

Приступая к чтению такого рода записок, в глубине души рассчитываешь погрузиться в мир осязаемых вещей и простых чувств, в который так хочется вернуться живущим в сложном мире мегаполисов. Получается, однако, что сталкиваешься не то что с тотально незнакомым, но с видимым, но не замечаемым. В то же время здесь не так уж много следов утопии разумного иерархического общества как симптома смерти. Итак, попробуем сделать первые шаги.

Мир, где все знакомы

Мир Е.Г. Киселевой – это мир, где все друг друга знают. Теснота, плотность массы, многолюдье ощущается почти телесно. Расстояния близки. Все знакомы, все в курсе «подробностей жизни»: ***«Ильяниха Д.С, Колбасиха Е.Н., бандурша Варька»***[4]. Незнакомых мало. Всех, о ком она пишет, она знает по имени, называет адреса, девичьи фамилии: ***«Шура Никитина помповара, Мария Щербина официанткой, Марфуша Кисловская Буфетчицей, а потом бросила Буфет перешла официанткой, ее прислала Комсомольская ячейка в столовую до нас. Недоступ Тоня была нароздачи, а тогда вышла замуж за Мороза Федю, и***

Рынок. Мир, где все знают друг друга

ее фамилия ызменилася, Житюкова Фрося, а потом вышла за муж фамилия изменилася. Клепхтор стояла на роздачи и судомойку подменяла»[5]. Что бы ни случилось, героиню тесно обступают люди, которые знакомы с ситуацией и легко «понимают»: ***«Одно время мы вдвоем пошли в Первомайку на рынок и я начала скупляться и упала у меня был первый приступ люди обступили смотрят как на зверя какого, а некоторие женщины сказали ему пригорни к-сибе она потеряла сознание а ты негодяй смотриш от хорошей жизьни упала, и началися у меня приступы»***[6].

Человек, на первый взгляд неизвестный, оказывается знакомым знакомых или родственников. ***«Когда я приехала сриди ночи с детьми в Калиново слезла из брички и пошла до первой попавшей хаты постучала к людям, эти люди оказалися знакомые мне моего мужи Киселева Гавриила Дмитриевича по работе и телефонистка Сорокина Валя...»***[7]. Но даже если человек незнаком, ему стараются объяснить то, что непонятно, как бы вводя в свой круг.

Круг родни широк: родные – все, кто близки по крови, включая двоюродных и троюродных, дальних. Сюда же входят кумовья и мужья: первый и второй, *родной* и *неродной* (то есть первый и второй) кумовья. Здесь свято соблюдаются обычаи и ритуалы. Стыдно не прийти на похороны, даже если при жизни ты был с тем, кого хоронят, в ссоре «на всю жизнь». Соседи принимают активнейшее участие в жизненных перипетиях семьи, например знают, как и во что одели покойника.

Власть здесь тоже своя. «Начальников» знают в лицо: «***зашли начальник милиции Помазуев Николай Иванович, Шароваров Николай Стипанович и Ляхов Тимофей***»[8]. Круг социальный узок, сети взаимозависимости коротки. Если попробовать нари-

Визит «начальника» в рабочие бараки

совать карту того пространства, в котором протекает жизнь Е.Г. Киселевой, то что мы на нее нанесем? Дома родственников и соседей, магазин и рынок, кладбище и больницу, милицию, «третью улицу», куда скрываются от разбушевавшегося мужа, да «Симафорную» улицу – род преисподней, куда как бы спус-

каются сошедшие с правильного пути мужчины и женщины: изменившие мужья, женщины легкого поведения, отсидевшие. Уже во второй половине жизни Е.Г. Киселевой на этой карте появляются сберкасса и телевизор.

Порою складывается впечатление, что жизнь протекает за пределами всеобщей общественной связи и сообщество, где живет Е.Г. Киселева, в *длинные* социальные связи не включено. Тем не менее и они присутствуют: Брежнева с Терешковой призывают, как господа Бога, для разрешения проблем, которые не решаются в ближнем кругу. Во всяком случае *сегментарная* и *органическая* социальная связь явно преобладают над *функциональной* и *механической*. Основное поле взаимодействий – мини-сообщество. Читающий документ многое узнает о жизни в нем: о привычках сна и еды, о трехсменке и крестьянском циклическом времени, о буднях и праздниках, рождениях и похоронах, Новом годе, днях рождения, Пасхе и Рождестве, которые на равных с Восьмым марта и Первым мая. О жизни в крестьянской избе, пятиэтажках и в барачных жилищах: ***«коридор был длинный у какой комнате живет Нинка а у Нинки жила на квартире эта Мария любовница моего мужа»***[9]. Мы узнаем о любви, о браке, о детях, о судьбе, о туалетах на дворе и привычках сексуальности. И, конечно же, о еде: о ритуальных праздничных и вообще любимых блюдах, о пирогах, борще и прочем: ***«яички свяченые, суп с гречкой и роспичатала рыбную консерву, соленые огурцы, паска нарезаная»***[10] да еще ***«много водьки и конечно самогончик»***[11]. А вот меню поминального обеда: холодец, селедка, колбаса, картошка с мясом, мясной салат.

Сам характер общественной связи свидетельствует, что сообщество, в котором живет Е.Г. Киселева, типологически принадлежит традиционному и полутрадиционному обществу. Во всяком случае те сюжеты, которые связаны с детством и ранней молодостью, явно развертываются в обществе традиционном.

Описание колхозного стиля жизни заставляет ощутить, что колхоз – маска общины. Как будто читаешь этнографические описания, причем классические, вроде С. Максимова[12]. Общинная социальность разрушалась, но жизненные стили во многом сохранялись. Если обращаться к референту текста (а не к тому,

как этот текст написан), то детство Е.Г. Киселевой ничем не отличалось от детства С.Ф. Подлубного, В.И. Едовина и других.

Текст Е.Г. Киселевой как вариант воспроизводства повседневности советской эпохи позволяет ощутить, что переход к новым, уже «модерным» практикам осуществлялся постепенно. Здесь не наблюдается тех «обвалов», о которых вещает нам Большая история.

Но прежде несколько слов о «логике практики».

Логика практики

В тексте Е.Г. Киселевой обнаруживается целая палитра кодов, которые можно представить как «правила», в соответствии с которыми она живет. Эти коды актуализируются как *тактики* (М. де Серто) и, будучи воплощенными, составляют ее *габитус*.

Мы достаточно легко их выделяем именно оттого, что текст Е.Г. Киселевой – не художественное произведение. Здесь – то, что сказалось само, что подсказала социальная и индивидуальная история, образ мира и себя, который возникает у пишущего спонтанно.

Мы практически не обнаруживаем в этом тексте цитат из идеологических рассказов. Евгения Григорьевна никогда не предпринимала попыток пойти с Карлом М. (то есть Карлом Марксом) под мышкой в Парк культуры. Ее текст не носит следов чтения.

При внимательном вглядывании в текст обнаруживаешь, что один из возможных способов членения «нерасчленяемого», казалось бы, текста – по пословицам, которые завершают «субнарративы». Пословица и присловье – официальные репрезентации принципов практики, объективации способов действия «в словах», модели восприятия мира. Они задают сам способ понимания и оценки происходящего, мораль, согласно которой судятся события жизни мини- и макросообщества. Пословица, авторский текст, ставший пословицей, миф старый и новый выступают на равных.

Вот ряд примеров отсылок к пословицам и присловьям: ***«Ну и ждем учерашнего дня как говорится в пословицы»***[13], ***«наверно***

этот человек не видел смоленого зайца, как говорится у Пословице»[14], *«хочишь укусить да поглубже да покрепче, сломаеш зубы товарищ Мария, кусай меня за заднее место оно завоняет и ты больше кусать небудиш, какая дотошнотная Женщина я и то молчу, а она дает знать что непутевая девушка была, ждала хлопца у чужой женщины и еще выпливает как гамно у ведре на верьх, отето тихоня бесовесная»*[15], *«отрезана скыба от хлиба типерь ее не притулиш, прийдеш до родных дадуть покушать хорошо скажи спасибо, анедадут и то хорошо»*[16], *«как говорится Жинка пока Борщь сварит сем раз мужика обманит»*[17]. Вот единственная отсылка к литературному тексту: *«Есть песня которую сочинил Тарас Григорьевич Шевченко. Люди горю непоможуть а скажуть ледащо так и мое горе наболевшее некому ненужно даже своему по крови»*[18]. Вот образец мифологизации Ленина, когда Ленину приписываются слова апостола Павла *«кто не работает, тот и не ест»: «Ленин говорил хто работает тот и ест»*[19]. А вот свидетельство превращения текста советской песни в пословицу: *«К сожалене день рождения только раз в году, я включила музыку, одиночество меня немучило»*[20].

Главные, ключевые коды в нарративе Е.Г. Киселевой связаны с нарративами традиционного знания, то есть с пословицами и присловьями. Сам тон их – обязывающий. А кто именно обязывает – не всегда понятно: семья и род, женская часть семьи, общечеловеческая мудрость, превратившаяся в набор прописных истин. Е.Г. Киселева воспринимает этот код как «природно-естественный», в нем она как дома. Именно через этот код она обращается к компендиуму вненаучного традиционного знания, к формам «наивной теории»[21]. Она спонтанно распознает те выражения, которые способна воспроизвести, то, что надиктовано силой объективации ее практики. Е.Г. Киселева не подтверждает «истины практики», она просто пользуется ими.

Члены сообщества, к которому принадлежит Е.Г. Киселева, верят в порчу и сглаз. Органическим элементом городской жизни продолжают быть архаические магические ритуалы. Е.Г. Киселева легко читает такое, например, послание: *«На второй день устаем утром у нас на порок выложен крест из камню и положим ломик говорю Митя иди посмотри какая нам благодар-*

ность»[22]. Крестом и ломиком обозначена угроза. Она следует обычаю, в соответствии с которым первый раз к только что родившемуся ребенку следует идти с курицей. Текст свидетельствует о присутствии целого ряда стереотипов культуры и архетипов подсознания, вообще монолитных массивов знания, которые обеспечивают непрерывность восходящей к архаике традиции.

Приметы выступают способом интерпретации повседневных взаимодействий и легитимации собственных действий. Е.Г. Киселева приходит в дом сына и обнаруживает, что невестка метет пол:

Обереги и предметы культа

«...а Мария взялася заметать комнату а я сказала когда я уйду тогда заметет, а ты хочиш меня вымест изквартири так, говорят в народе, когда чужой человек зашол в комнату то ненада заметать значит выметает из квартиры меня, да хотя намочи хоть Веник, а то пиль летит вглотку и на стены а она мне в ответ неуказивайте сама знаю, а раз знаеш то что заметаеш сухим Веником подымаеш пыль, я поняла, что ей затошнило моей снохе, что я пришла все напротив говорить мне, наверно испугалася что даст тарелку супу свекрухе покушать»[23].

Коды эти, воплощенные в нарративе, большей частью пришли не из книг. Наша героиня романов не читала. Чтение она считает делом в общем-то никчемным и пустым. «***Грамотная усё читает книги, газети романы газеты, ...а потом ... ходит больная целый день и злая как пантера...***»[24] – пишет она о своей сестре. Однако вышеприведенный ряд свидетельствует, что письменные коды также присутствуют. Е.Г. Киселева находится в поле воздействия различных дискурсов: бытовых, социолектных, пропагандистских и даже научных.

Во-первых, она научилась читать и писать в школе. Например, тщательно выписывает даты, а в одном месте рукописи сама указывает, что этому научили ее в школе: «***помню я писала робота робота заголовой в тетради работа такое то число и год 21, 22, 23, 24, 25 год это нас учила учительница***»[25]. Во-вторых (главным образом во второй половине жизни), она много слушает радио и смотрит телевизор, где все многие тексты, как известно, являются результатом предварительной письменной подготовки.

Нарратив Е.Г. Киселевой можно интерпретировать как свидетельство мастерства в искусстве жизни, искусстве жизненной игры. Кажется, что она действует по принципу «делай что хочешь», «все дозволено». С этой точки зрения любопытно обратиться к смешению кодов врачевания. Е.Г. Киселева много говорит о «нервах». Она нервничает, ходит к «***нервопотологу***». У нее «***нервная система росшаталася дальше некуда***»[26], у нее «***была потрясена нервная система***»[27]. Она лечит ожог «***импортной мазю***»[28], а давление уколами. Но помимо этого она читает ***Отченаш*** и пьет ***свяченую воду***, а также использует траволечение: «***все хочу пойти в больницу да нет силы лечуся сама дома, заварила зверобой <...>, кукурузные рыльца, хвощь и немножко бессмертника...***»[29]. Она ходит «***до Бабки и лечится почти каждый день***»[30]. «Принцип» отсутствует, используется все, что под рукой: и народная, и официальная медицина. Е.Г. Киселева не ходит в церковь, но молится любимому православному святому Николаю Угоднику: «***Всигда молюся Николай угоднику святому и прошу прощения хотя у Церкву и не хожу***»[31]. Новые обычаи, казалось бы, друг другу противоречащие, органически объеди-

няются: ***«на Кладбище ..., как обычно выступала женщина из похоронного Бюро, читала панахиду сичас такой обычай, без Батюшки хоронят, значит панахиду читает специальный человек нанимают»***[32].

Еще одна оппозиция, стороны которой легко друг с другом меняются: код ответственности (за детей) и код судьбы как снятие с себя ответственности. Судьба в тексте предстает *необходимостью случайного*[33].

Е.Г. Киселева легко обращается к двусмысленному языку правила, формулируемого пословицами. Как известно, пословицы дают противоположные рецепты по одному и тому же поводу. Она использует наличный язык морали для объяснения самых разных практик, воплощая своего рода «ученое незнание» как тип практического знания, не опирающегося на знание собственных принципов. Она легко производит неточный, но систематический отбор пригодного для данного случая – всего, что содействует продолжению хода повседневной жизни[34]. По всем интерпретируемым документам читатель может ощутить, что существует логика практики. Данный текст лишь малой своей частью входит во *вселенную дискурса* (Ж.-П. Сартр), и читателю доступнее логика практики. Переходя к жизни в городском обществе, Е.Г. Киселева где робко, а где с поражающей «естественностью» начинает пользоваться новыми кодами. Она как бы обращается к новому компендиуму: использует казенные, книжные фразы.

Мы уже говорили о том, что текст – это продукт диалогов различных кодов. Но особенно интересны куски текста, в которых не обнаруживается отсылок к известному коду или виду письма, где отсутствует укорененность как в народной, так и в идеологически-пропагандистской, книжной модели. Такие отрывки вызывают в памяти брейгелевские картины.

«...Я все помню, сколько было набито людей, верней Солдат в нашему огороде, лошадей много люди в чёрних накидках видешь донские солдаты в Новозвановки»[35].

Или еще:

«Сижу вяжу коврики из тряпъя, слишу по радиво поют песню, степом степом, мать ждет солдата где там дождется солдата из такого боя, как было в 1942 году. На передовой у Войну я вылезла из окопа после боя, наши отбили от немцев Новозвановку был сильный бой, те солдаты когда мы бежали в Блиндаж, немецкие солдаты тянули телефонную проволоку, а ещё один солдат взял моего рибенка и подал мне в Блиндаж, но я его боялася думала застрелить нас, но обошось без страха он нас нетронул, после их, заняли наши, сколько после боя набитых людей было, што овци лежать после пасбища отдыхают, хлопци радисты Немецкий и Наши хто ещё жи-

Жители оккупированных территорий. 1942 год

вой а раненые кричать спасите страшный суд. Учера мне сын Анатолий прислал письмо и фото из сибя я наниво смотрю он в форме милицейской старший летенант созвездочкамы на питлицах поставила перед собой на столе и смотрю сколько таких, молодых людей погибло в Отечественую Войну, начиная из 41 по 45 г. и невижу за слезами ничиво как только жалко дитей и вобще родных»[36].

Так или иначе чтение позволяет распознать, что знание, которым владеет Е.Г. Киселева, контекстуально, ситуационно, что оно зависит от социальной локализации (гендер, класс, социальная группа). Мы видим, каким образом жизнь социально конструируется через множественность социальных сетей, в которых движется человек.

Черты переходности

Сюжеты, связанные с жизнью Е.Г. Киселевой в *Первомайке* (поселке городского типа, а затем городе), – отражают новый тип социальности, в которой тем не менее еще сильны черты традиционного общества. Текст полнится свидетельствами транзитивности общества и человека.

Читатель уже заметил, что некоторые слова Е.Г. Киселева упорно пишет с заглавной буквы. Этими словами обозначаются значимые, особо важные вещи. Наряду с *Маером* (майор) и *Матросом, Участковым и Алкоголиком, Евреем Минстером* с заглавной буквы пишутся *Город* и *Война, Армия, Военкомат*, болезнь *Епелепсия, Телевизор (Цветной Телевизор)* и *Приемник, Шифанер* (шифоньер) и *Тримо* (трюмо). *Шахта, Ешалон, Ботинки* и *Немец, Отрезвитель, Милиция, Дом-пристарелых, Брюки, Туфли* и *Тунеядцы, Новое, Отец, Муж*, иногда *Мама*, а также *Жизнь* и *Водка*. Что это значит? Вывести единое правило невозможно: разные ситуации, представленные в записках, подсказывают разные трактовки. То кажется, что заглавной буквой обозначаются вещи, которые являются для Е.Г. Киселевой живыми. Жизнь видится пронизанной магическими токами, а мир одушевлен и заколдован. (По мысли Ю.М. Лотмана, здесь «возникает смысловая граница, которая играет основополагающую роль в социальном, культурном, космогоническом и этическом структурировании мира»[37].) В других случаях кажется, что так обозначены не люди, но духи отношений и ситуаций, некие отвлеченные понятия, а ряд их видится пантеоном богов. Можно также трактовать эти слова как систему топосов на когнитивно-нормативной карте. А если это так, то наша героиня по ментальности своей принадлежит обществу традиционному.

Одновременно записки фиксируют, например, ступени овладения новыми «жизненными приемами», новыми средствами деятельности и коммуникации, через которые модерн входит в мир повседневности. ***«Поехала искать своего мужа Гавриила. Села на станции Попасное и поехала в Святошено по розыску дали мне адрис. Приехала в Святошено правда сказать, я незнала до войны как ехать сроду негде далеко неездила но паровоз довез»***[38]. Вообще в прочитанных мною записках и воспоминаниях людей, принадлежащих к поколениям 1910–1920 годов рождения, момент поражающей встречи с поездом, как правило, фиксируется[39]. В записках Е.Г. Киселевой речь идет уже о конце 1940-х годов. Именно тогда наша героиня впервые попадает в большой город, в Киев, впервые сталкивается с телефоном:

Киев. 1946 год

«...Подехали к этому дому я зроду не видила такого большучего дома, куда заходить не знаю дверей много етажей много, комнат много, черт его знает, что делать и куда заходить в какые двери, первый раз в жизни выжу все это, висит телефон наборной и что с ним делать незнаю, как набирать

когда я зроду не держала телефонную трубку в руках. Заходит солдат а я стою и плачу. Чиво вы плачите я не знаю как обращатся с телефоном, и куда звонить а что вы хотите я ему подробно розказала он взял у миня адрис военной части, и стал звонить набрал номер было шесть часов вечера»[40].

К концу жизни телефон – атрибут ее повседневности. Сравнение «раньше» и «теперь» присутствует постоянно. Она входит в новый мир через мимезис: от практики к практике, без опосредования дискурсом. А быть может, мир в нее входит...

В сообществе, в котором живет Е.Г. Киселева, еще не сформирована область приватности. Человек здесь никогда не бывает один. Одиночество воспринимается как страдание. Ценность приватности еще явно не возникла. Большой интерес представляет отрывок о Телевизоре:

«...у комнате нету никово одна как волк... что делать? Одиночество страшное дело, а тут ещё погода туман дощь, сыро непойти куданибуть, ни в комнате сидеть, да спасибо человеку который выдумал Телевизор, радиво. Я включила радиво этого мало, я включила и Телевизор говорить на всю комнату кричит и там и там как бутто-бы, у меня в комнате много людей да ещё по Телевиденю передавали концерт песни и танци хоровые я стала подпивать, ох лехка лехка коробушка "коробейники" и мне стало весело на душе какую знаю песню подтягиваю одиночество это гроб с музыкой, а тем более зимнее время»[41].

Телевизор как бы переносит ее на деревенские посиделки. Бессонные ночи наедине с чистым листом бумаги для Е.Г. Киселевой – первые опыты одиночества, которое приносит удовольствие, смешанное со страданием: ***«Я пишу потому, что свободно льется из моей души эта рукопис о моей жизни»***[42].

Многое Е.Г. Киселевой неведомо. Например, код биографии, который считается общепринятым (так, в частности, считают специалисты по биографическому методу). Рукопись свидетельствует, что рассказчица не в состоянии выстроить нарратив в

соответствии с линейным временем, в то время как биография пишется во временной последовательности. Текст и пишущий пребывают в локальном времени, не отделенном от места. Это связано с тем, что описываемое мини-сообщество находится в состоянии переходности, его жизнь протекает «на грани» жизни/нежизни, общества/необщества.

Советские люди, вспоминающие свою жизнь, как правило, не удерживаются от сравнения «прежде» и «теперь». Причем неважно, сделали они советскую карьеру и принадлежат к советскому среднему классу или остались *внизу*, переместившись лишь «горизонтально».

Новая мирная городская жизнь по сравнению с деревенским детством и войной порою кажется чудом.

«Мои родители говорили. Вот будит так что у Москвы будиш делится, а мы будим видить ой мама что ты говориш неправду в 1927–28 году. Мама ты невсвоем уме мы говорим дети, а она говорит да да так говорят, и я вам говорю, а сичас вспоминаю маму права мама была, по Телевизору всё видим и по радиво слишым, как усе справедливо, как мы ушли далико от старого и пришли к Новому живем как господа, купаемся в Ваннах за ниимением угля и дров в 5и-Етажках кушаем что хотим, одеваемся хорошо, как живем хорошо еслиб воскресла моя мама посмотрелаб, все так и есть как она говорила но только не пришлося ей до жить погибла у Войну»[43].

Действительно, дистанция огромного размера, если сравнить не то что с временами немецкой оккупации, но и с обычной повседневностью детства:

«...я ходила там-же в школу а школа была рядом из Бабушкиной хатой, пойду раньше пока звонка нету залезу на Печку и греюся, сижу, слухаю звонок, тогда ходили полубосия, сжили бедно обутся невчём, кофта латка на латке тёплая, тогда бегу в школу слезаю из печки, стоять на улице пака откроют Школу замерзаеш одни чуни на всю семью»[44].

Сравнивая «прежде» и «теперь», рассказчики имеют в виду несоизмеримо более высокую степень онтологической безопасности жизни в 1960–1980-х годах по сравнению с традиционным обществом и с обществом в состоянии войны. Е.Г. Киселева принадлежит к поколению, которое очень хорошо помнит, что такое повседневная опасность смерти и социального небытия. Недаром она постоянно возвращается к военным воспоминаниям.

Для Е.Г. Киселевой вопрос о том, чтобы «жить не по лжи», не встает. Она этого «не проходила». Здесь нет и следов рефлексии по поводу собственной позиции в социальном пространстве. Существующая позиция принимается как данность. *Выживание* – главная проблема и главная ценность. Е.Г. Киселева – прежде всего человек выживший, вышедший победителем из множества ситуаций, угрожавших жизни. Быть может, это один из мотивов писания воспоминаний. Тот же побудительный мотив можно обнаружить и у других пишущих и записывающих.

В тексте Е.Г. Киселевой можно обнаружить описание множества ситуаций угрозы голодной смерти. Несколько раз повторяется рассказ о том, как она еще маленькой девочкой погубила тяглового быка, от которого напрямую зависело продолжение жизни семьи[44]. Речь идет об обычной ситуации обычной крестьянской жизни... С одной стороны, вроде бы стабильной и ритмичной, с другой – всегда на грани[46]...

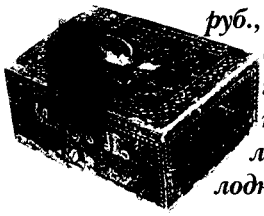
Вот описание еще одного случая:

«Что-то было толи революция толи Война немогу описать была маленькая нас у родителей было четверо Нюся, Вера, Ваня и я, и Виктор родился в х. Новозвановки. Я еще помню там на Картамыше, сидели на печки замерзали ни топить ни варить нечиво было чуть неподохли с голоду была зима суровая сидим ждём смерти, и вдруг под ежает бричка с упряжю лошадь, мы все к окну а Дядя Гриша маменной систры муж, Даши её звали Даря оны по нации молдаване, приехал по сугробам холоду лошадь угрузает по колено в снегу прывез мешок муки дров, угля на брычки, ну тут мы и пооживали все. Отец растопил печку, Мама напикла пышок и накормила нас всех Дяди Гришы давно в живых нет, царство ему небесное»[47].

Почти умерли, но «пооживали»...

А вот еще одна ситуация, уже времен войны 1941–1945 годов, которую можно счесть экстремальной:

«Живу из сестрой, Верой потом посорилися и я ушла в пустую хату взяла у пустой хате сибе кровать, стол, а из камню зделала табуретки, нарвала травы на кровать и стуля наложила в место постели и живу из детьми сама, в одно прикрасное время получаю письмо незнакомый почирк за моего мужа, пишет мне незнакомая женщина, ваш муж стоит у меня на квартире а она сама Деректор школы, здравствуйте незнакомая Женя, Ваш муж Киселев Гаврил Дмитриевич женился на молодой жине Вере и купил сибе сапоги за 400 руб., и купил патифон за 300 руб. вернея тогда все сциталося на тисячи развлекать свою шлюху. Как мне было обидно я так плакала, и пригортвала к сибе своих детей, что мне делать куда дивится не одется не обутся, и голодные...»[48]



Это состояние «на краю» в жизни Е.Г. Киселевой повторяется много раз: и до колхозов, и при колхозах, и, конечно, во время войны.

«У пустой квартири не было ничиво но стояла кровать на сетки а стол я взяла у другой квартире, стуля поделала из камню и нарвала травы на каменные табуретки и на кровать положила ребёнка на траву, небыло никакой постели спала из детьми как свини, а когда ишла рвать траву для коровы торибенка ложила в корыто драное нашла на мусорнику и перевязывала стежкой или чулкой что-бы невыполз из корыта, а сама уходила готовить сено на зиму для коровы»[49].

Война и голод, туберкулез, гибель братьев – одного на фронте, другого в немецком плену, гибель отца с матерью... Подобных историй, зафиксированных в письмах, дневниках, воспоминаниях, – великое множество.

Записки советских людей – не просто записки старых, то есть тех, кого уже не интересует будущее, кто прекратил «жизнестроительство» и просто доживает свою жизнь. Это – «записки переживших других»[50]. Опыт жизни говорит Е.Г. Киселевой, что все средства, направленные на продолжение жизни, хороши.

Невольно приходит мысль, что советское общество оставалось стабильным до тех пор, пока жили и доживали свой век люди, которые были свидетелями и помнили. Советское общество стало тонуть, когда они стали уходить из жизни, освобождая социальную сцену для новых людей и новых социальных игр.

Женское и мужское

По запискам хорошо видно, как общественное разделение труда воспроизводит разделение труда между мужчинами и женщинами. Конституирование сексуально-ролевого и социального аспектов идентичности идут рядом. В гендерных проявлениях одновременно объединяются социальная необходимость, как она была инкорпорирована с раннего детства, социальные условия существования «здесь и теперь», равно как «биологическое принуждение».

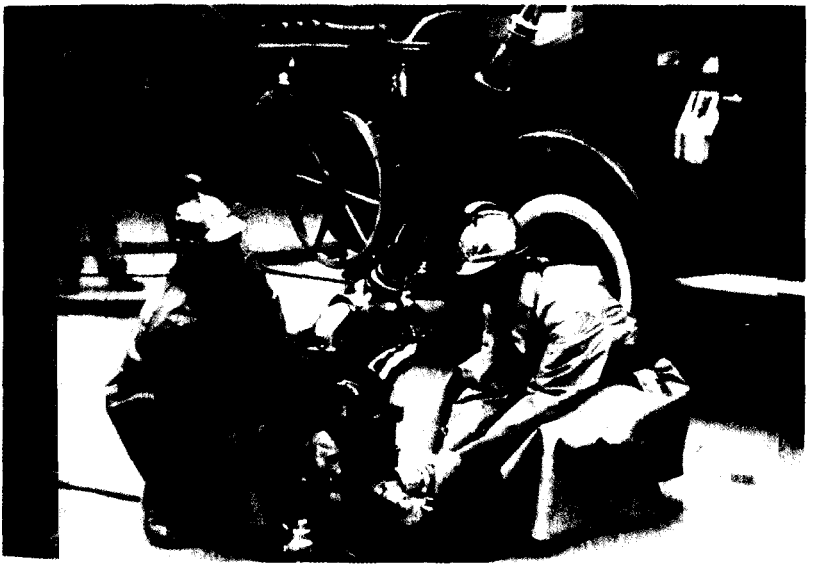
Читая текст, мы пребываем в постоянном круговращении событий и сюжетов. Это круговращение можно понять как род игры, постоянное инвестирование желания и получение удовольствий. В фокусе нарратива – если взять его как целое (отдельные куски исключительно динамичны) – не столько действие, сколько *сложная вязь человеческих отношений*. Иногда это вечное круговращение характеризуют как «женское время»: кольцо, напоминающее время-круг традиционного общества.

Е.Г. Киселева воспроизводит традиционный крестьянский эстетический идеал женской красоты. Ее считали красивой, «Розой в Красном барете»: ***«сытая цветущая полная чернявая волос кудрявый»***[51] ***«полная грудастая румяная»***[52]. Оппозиция – ***«худенькая, щупленькая», «непривлекательная девка»***[53]. Какой еще может быть идеал у часто голодавших бывших крестьян?

Е.Г. Киселева живет в сообществе, где норма задается мужчиной. Напомним: Отец и Муж пишутся с заглавной буквы. Как мож-

но судить по запискам, нормальная семья – традиционная, с мужчиной во главе, с традиционным разделением ролей. «На производстве» это разделение не так уж ощущается. Например, невестка нашей героини работает в шахте, как и мужчины. Она – газомер. Домашние работы четко делятся на мужские и женские. У мужчин – ремонт, у женщин дети, кухня, огород, святая обязанность стирки. Мужчина неспособен понять женщину: недаром наша героиня постоянно сокрушается об отсутствии дочерей.

Эта ситуация видится ей нормальной. Однако традиционной семьи нет как нет. Пожарник Гавриил Киселев унесен войной. Он все время «женится», у него три брачных свидетельства одновременно. Второй брак Е.Г. Киселевой – результат необходимости, условие выживания. Она не считает его «настоящим». Реальности этого брака посвящена значительная часть записок.



Пожарная бригада. 40-е годы

«Я с ним была росписана был у меня брачный сним но он был фективный, потому что я не развелася из Киселевым а у меня два брачных из Киселевым и из Тюричевым ну посколь-

ко такая жизьн мне было из Дмитрием Ивановичем ненормальная, я тирялася взять розвод из Киселевым, сиводня завтра и так дотянулося что ни тово ни другого бракы не действительные»[54].

Мечта о правильном браке, однако, остается, и Е.Г. Киселева в этой сфере, как и в других, пытается действовать «как положено», но опять не получается:

«Я взяла и переписала квартиру на ниго на Дмитрия мужже хозяин, а он что устроил взял замкнул квартиру узял ключи и пошол стал у конце улице и смотрить на нас как мы будим просить его пожалуста упусти нас у хату, показывает нецензурные виразки на руках вот вам а не хату и ключи я хазаин а не вы идите куда хочите, ...но мы нероступлялися вырвали замок и вошли в комнату обратно скандал да еще какой дошло до ЖКО да назад переписали на меня хату. Померилися живем обратно с ним, а как живем и бог бачить»[55].

Жизнь нашей героини представляется цепью неудач в попытках действовать «по правилам».

Отчего она многократно прощает непутевого мужа? Оттого, что отсутствие мужа ощущается как отход от нормы. Женщина зависима, у нее низкий статус в сообществе, если муж отсутствует:

«Вот и сичас мы еже старые, хотя у меня нету мужа. Хочу что-бы родычи собиралися у меня и дети дома в большые праздники да и вообще сичас или время такое или я старая без мужа, так смотрит на меня как неугодный алимент, разве я такая старая? нет это стали такые родичи нещитают меня за человека что я без мужа, но какой не муж был Тюричев Дмитрий Иванович все ходили и родычи и товарищи, как говорят что когда муж есть то во дворе бурьян нерастет, все есть защита и внимание к тибе, не стали комне собиратся, если какой празник то куда либо пойдут»[56].

Баланс власти между полами не в пользу женщины. Уход от мужа принимает форму бунта[57]. Уход совершился, героиня переживает эйфорию, но в то же время ее не покидает устойчивое ощущение вины. Мир мужчин и женщин – наследие традиционного общества. Новый мир – Водочный мир.

Антиалкогольная агитация. Середина 30-х годов

«У нашом доме их закаленых алкоголиков четыре а сколько их есть и женщины и мущины хотя сичас сухой закон всярамно п'ют достают спертное вобщим свиня болото находит ... большой дом на девяности семей 6-й и большенство алкоголиков»[58]. Членам этого сообщества хорошо знакомы симптомы хронического алкоголизма: «я ему говорю побольше пей водки, совсем испалиш лехкые, и желудок всегда будит поносить, испалиш мочевой вот тогда небудет держатся моча, вот тогда вспомниш Бабушку Женю, так будит как у Д.И. Деда Тюричева твоего Деда Неродного»[59].

Вообще с алкоголем дело обстоит неоднозначно. С одной стороны, выпивка – символ хорошей жизни: ***«так она привыкла чтобы за ней ухаживали и были пьянки»***[60]. Воскресный обед без

выпивки – дело не вполне приличное. С другой – с алкоголем борются: ***«что делать из алкоголиком, боримся всей семьей, я и сын его Отец Виктор, и Мария мать, и тесть Федор, и тёща Катя и Жена Аня а он отговаривается ото всех, пропал мой внук от водки»***[61]. Жизнь идет вразнос.

Пьянство в рабочих бараках. Середина 30-х годов

Ощущается, тем не менее, что распад традиционной социальности у мужчин и женщин происходит по-разному. Женщина пытается в браке следовать традиционной морали. У мужчин эта мораль разрушена. Женщины воспроизводят традиционные ценности, обеспечивая функции сохранения жизни сообщества. Например, мужчины пропивают жалованье, но жизнь семьи продолжается усилиями жены – за счет огорода, кур, домашних запасов. В нашей культуре женщина воспринимается как материя, хаос, который упорядочивается лишь с помощью мужчины. Встающая из записок картина обратная. Мужчина – разрушитель и носитель хаоса. Женщина – генератор порядка, носитель цивилизационных умиротворяющих начал. Мужчинам, о кото-

рых пишет Е.Г. Киселева, как будто наплевать на выживание. у них разрушен механизм выживания, который у женщин сохранен. Надо заработать деньги и трудовой стаж, надо не только вести хозяйство, готовить еду (***«картошичку с мясом»*** и тормозки для мужей и сыновей-шахтеров), но и приторговывать (коврикаами, зеленью с огорода), надо делать ***«консервацию»***, то есть запасы на зиму, поднимать детей. Е.Г. Киселевой удавалось сочетать все эти виды деятельности. В ее записках есть замечательное описание удачного дня, к которому мы отсылаем читателя[62].

Выполнение этих функций требовало порою сверхчеловеческих усилий. Был у Киселевой момент, когда она чуть было не сдалась, но все же вновь победила. Дело было в 1942 году, когда после перенесенных испытаний у нее началась депрессия[63]. Было ей 26 лет, но она не жила одним днем.

Нельзя сказать, чтобы счастье обошло нашу героиню. А. Платонов заметил как-то, что «количество радости, оптимизма приблизительно одинаково, и оно, это количество, способно проявляться почти в любых формах – в самой даже жалкой форме. Жизнь никто не может, не хочет откладывать до лучших времен, он совершает ее немедленно, в любых условиях»[64]. Пространство счастья Е.Г. Киселевой – особо выделенное в традиционной культуре время-пространство, предназначенное для полового и социального созревания молодежи[65]. Вот, например, описание посиделок, «головокружительного» полового чувства: ***«Смотрим идут хлопцы из Дачи Калино-Попасной, мы одна одну подбадриваем давайте девки давайте петь песни хлопцы идут, и смотрим между ними идет Матрос на побывку...»***[66]. Отсутствуют способы вербального представления любовного чувства: ***«А потом взял меня за грудь, прислонился и поцелувал»***[67].

Апогей ее короткого счастья – брак с Гаврилой Киселевым, пожарником и ***партейным***. Мы можем обозначить этот период как время, когда перед ней открылись возможности социальной мобильности. Это был брак по индивидуальному выбору. Брак продолжался с 1933 года и до войны. Ее второй сын родился 22 июня 1941 года – водораздел, после которого, как убеждена Е.Г. Киселева, вся жизнь пошла вразнос. Это молния, расколовшая ее счастье: ***«Красивое мое плаття, кримдешиновое, розово-***

го цвету, туфли модельные с розовинкой, и чулки под цвет туфлей, мне было тогда 25 лет, едим на линейке надворе тепло, солнце такая хорошая погода, лошад коричневого цвету, все суседи завидували да недолго»[68].

Соотношение внешнего контроля/самоконтроля

Люди, среди которых живет наша героиня, те, о ком на пишет, своим поведением напоминают детей: они не пользуются носовыми платками, отправляют естественные потребности на глазах у всех. На взгляд «культурного человека», они плохо себя контролируют, они не могут ждать, легко переходят от эмпатии и слез умиления к агрессии – вербальной и физической. Они кричат громко, когда им больно, они легко плачут, и в то же время они невероятно выносливы. Они способны выносить боль, но они и достаточно легко способны боль наносить. Читая записки, нельзя не обратить внимание на удивительные контрасты в поведении, перепады в настроении этих людей. Конфликты привычно разрешаются с помощью непосредственного, без задержки, «нелицензированного» насилия. Физическое насилие в повседневной жизни не является необычным событием. Крик, рукоприкладство в бытовых конфликтах – привычная для них картина жизни, особенно нефасадной – и в городе, и в деревне. Участники конфликтов не получают садистского удовольствия от вида страданий ближнего, скорее речь идет о спонтанных выплесках энергии, о снятии напряжения. Так или иначе, *внутренний контроль над проявлениями эмоций очень низок.*

Записки позволяют попристальнее вглядеться в ход развития конфликтов. Конфликт возникает легко, как бы на пустом месте, «вдруг». Рассмотрим несколько примеров. Пример первый:

«В тысячу девятсот сорок восьмом году я приехала из Попасной както прыпоздала варить обед выбрала из печки и вынесла жужалку на улицу на кучу где была и раньше, но сусед вырвал у миня ведро и швернул проч, ну мы с ним поздорили сильно, ... он меня ударил об этом узнал Дмитрий Иванович

ему сказали дети Витя и Толя мои сыны оны были еще маленькие, а Дмитрий Иванович был на работе притом из работы и пошол до Коржова а был пяный и побил Коржова, повыбивал зубы...»[69]

Пример второй. Соседи мирно играют во дворе в карты и «вдруг»: ***«его как разобрало пяный начал кричать одно и тоже а тут Гинько нес воду вода была возле Остапенковых, только из за угла стал выхотить Николай как он расходился кричить он твой любовник ... и начался крык драка...»***[70] Ряд этих «примеров» можно продолжить, он будет достаточно длинным.

Встает вопрос, как интерпретировать подобные ситуации? Богатый теоретический потенциал для такой интерпретации содержится в концепции цивилизации Н. Элиаса[71]. По его мнению, способность каждого члена общества себя контролировать, наряду со способностью контроля над социальными сетями и интерперсональными связями, – важный критерий цивилизационного развития того или иного общества[72]. Именно это позволяет проследить теснейшую связь между структурами общества и социальной личностью. Текст Е.Г. Киселевой предоставляет широкие возможности для подобного анализа.

Переменчивость настроения, частое переключение из одного модуса в другой: от веселья к печали, от любви к ненависти, от покоя к раздражительности – не особенности темперамента, но *социальное качество*. То, что в традиционном обществе, особенно на ранних этапах его развития, было присуще всем социальным слоям, а нынче сохраняется в «народных низах». Поведение людей, находящихся на нижних ступенях социальной иерархии, отличается спонтанностью и не подвержено строгому регулированию. Степень самоограничения и самоконтроля низка. Способность к подавлению аффектов ради рассчитанного и выверенного поведения практически отсутствует. Трудно говорить о какой-либо рациональности. Отсутствует, например, отложенное потребление как симптом целерациональности:

«Получает он денги выслугу лет три тысячи семсот говорю давай положу на книжку хоть немножко на черний день или

какой случай, ненада ложить, ну тогда купили кабана уже готового кормящего зарезали, друзя не выходили из хаты пока не съели у сего кабана и сказать нельзя было ничиво на столе не принималася сковородка жариного сала, мяса, водки каждым день»[73].

В процессе исторического развития происходит все большее разделение социальных функций. Индивиды должны подстраивать свои действия к действиям все возрастающего числа «других». Отсюда рождается изменение в самом способе рассмотрения «других», их индивидуальный образ «психологизируется». Восприятие «других» становится богаче в нюансах и свободнее от немедленной и эмоционально спонтанной реакции. В сообществах с низкой степенью разделения социальных функций, где цепи взаимозависимости коротки, а жизнь – более опасна и непредсказуема, «другие» воспринимаются «просто» как друзья или враги, хорошие или дурные. Соответственно и реакции единообразны и неконтролируемы. Е.Г. Киселева тоже воспринимает людей «просто». Об этом свидетельствует, в частности, «агиографический» характер описания «других», даже если этот «другой» – любимый муж.

Опасности, которые испытывают люди, среди которых живет Е.Г. Киселева, равно как она сама, это в преобладающем большинстве прямые физические опасности: голод, бедность, насильственная смерть. Подобные обстоятельства не стимулируют развития *эффективных способов самоконтроля*. Люди, которых мы встречаем на страницах рукописи Киселевой, не «умиротворены». Жизнь городских низов свидетельствует о высоком уровне открыто выражаемой агрессивности. Надо полагать, что такие социальные пространства в российском обществе обширны.

Городскую (и полугородскую) жизнь сообщества, к которому принадлежит Е.Г. Киселева, не стоит в этом отношении противопоставлять ее прошлой жизни, протекавшей в традиционном крестьянском обществе. Ее текст – еще одно свидетельство того, что отнюдь не вся жизнь в традиционных обществах окрашена теплым чувством гармонической общности и солидарности, о

которых писали теоретики от Тенниса до Редфилда[74]. Отечественная исследовательница деревенской культуры М.М. Громыко представляет деревенское общество гармоничным и умиротворенным, где люди и социальные функции друг к другу подогнаны, где конфликты привносятся только извне. Пишущие о сельских общностях явно или неявно полагали, что конфликты там не являются сильными, а чувство дружбы и единства развито в большей степени, чем в «больших» обществах[75].

Проблема представляется более сложной и многослойной. Воспоминания Е.Г. Киселевой о начале жизни содержат постоянные упоминания о жестоких конфликтах: ***«и истех пор Мама нестала из Параской дружить сволоч а не суседка. Мама все это говорила дома, на людях незвука, а сколько жили не здоровалися до 1941 года когда началася война и она погибла мама»***[76]. Агрессивность также высока. Наряду с передаваемым практически (через обычай и ритуал) неявным знанием «запись на теле» – основная форма научения детей: так им объясняют, что можно, чего нельзя. В детской микросреде установление балансов власти на микроуровне происходит также через применение физического насилия: кто победит[77]. Однако в конце концов происходит умиротворение: опять-таки за счет механизмов традиционного общества (через обычай и ритуал, шлифующую силу общественного мнения). В этом смысле общества традиционные являются высокоцивилизованными, ибо там существуют тысячекратно сопробованные и действенные способы управления конфликтами.

В новой среде (полугородская соседская общность) старые способы разрешения конфликтов и противоречий уже не работают. По запискам Е.Г. Киселевой прекрасно видно, как разрушалось традиционное общество «внизу», в тех социальных пространствах, которыми оно держалось. То, что раньше было невозможным, становится возможным. Например, традиция заставляет невестку подчиняться свекрови, выполнять определенные домашние работы, вообще «проявлять уважение». Скрепа обычая распадается, и невестки подчиняться перестают, причем это подчинение отнюдь не замещается каким-то новым уровнем отношений, оно просто прекращается. Конфликт становится более жестоким и неконтролируемым.

Свекровь приходит в дом сына с просьбой помочь по хозяйству, ожидая, что невестка будет столь же покорна, как сама она в молодости.

«Прихожу я до них, а она начала мазать, я захожу, я же просила что-бы сегодня вы покопали часок я зарезала курицу для вас, а ты затеяла мазать ти-же неработаеш могла-б и завтра помазать а она мне говорить выйди схаты меня так и сорвало ах ты идиотка, ты меня будиш выгонять их хаты, когда я тибе все в квартиру <...> крала от Тюрича, и тибе давала, и хату из Нач.ЖКО договорилася, дала ему денги, чтобы вас не выгнали из квартири, когда Райка ваша уехала, а ты меня из сыновой хаты выгоняеш? сволоч ты схватила Я щетку да её по очкам ахты сволоч неблагодарная иш ты как низко опало отношение у ния до меня, а она начала бить меня за мою доброту сильная молодая, да хто я чужая женщина свекров я. а я что нервнобольная вытрипаная, она мене волочила за волосы аж надвор как хотела бесстыжая сволоч и суседи видили Ерема и Цыган говорят вот так невестка»[78].

Е.Г. Киселева отнюдь не всегда является жертвой. Когда можно, она тоже бьет. Мнение соседского сообщества (в лице Еремы и Цыгана) существует, но оно утратило умиротворяющую, цивилизующую силу.

Текст Е.Г. Киселевой, взятый в социокультурном аспекте, – крик о потере традиционных ценностей. Действиями Е.Г. Киселевой управляют практические схемы, предписывающие порядок действия, соответствующие принципы иерархизации, деления, сами способы видения социального мира[79]. Эти принципы – ее инкорпорированное крестьянское прошлое. Она постоянно натыкается на то, что принципы не работают, коммуникативная компетенция не помогает, а код оказывается практически неприменимым. Записки Е.Г. Киселевой можно воспринять как историю распада традиционных ценностей, обычаев, порядка, лада, которые ничем другим не замещаются. Во всяком случае вопрос о новых кодах остается открытым. Диспозиции, определяемые габитусом, наталкиваются на препятствия в

процессе функционирования, ибо они объективно приспособлены к условиям, которых больше не существует. Диспозиции пережили социальные и исторические условия, в которых они возникли. Е.Г. Киселева почти ничего не может передать своим сыновьям, разве что посоветовать в дорогу всегда брать иголку с ниткой. Так или иначе, о проявлениях повседневного насилия мы читаем почти что на каждой странице. Как все же происходит умиротворение? Во-первых, виновника стараются тут же наказать посредством прямого физического насилия. Баланс власти устанавливается тут же, не сходя с места. Что-то напоминающее обычай талиона сохраняется, однако месть осуществляется не как долг.

Существуют и более сложные способы примирения. Как известно, суд в советском обществе воспринимается «широкими народными массами» не как правовое пространство разрешения конфликта, а как место наказания. «Прокурор на наше счастье и покой поднял окровавленные руки» – из городского фольклора. Предпочтение явно отдается суду не по закону, а по правде и совести. Люди из «низов» не знают, что такое правовое пространство разрешения конфликтов, но «чуют», что оно отсутствует:

«У нас в г. Первомайке как у Фашистов никаких исхождений нету для человека закон, закон черти их взялиб, ни Армия ни Рибенок, судят сами без виновника может что человеку надо отменить по Закону, и небылоб санции прокурора нет лижбе калым, животы понаедали и не приступи до их»[80].

Инкорпорированные коды традиционного общества придают уверенность в собственной правоте. Люди не понимают, отчего они не могут наследовать квартиру родственницы, коль скоро они за ней ухаживали и сами ее похоронили, то есть несли расходы на похороны, сделав все «как положено». Как несправедливый воспринимается институт прописки.

Тюрьма, лагерь, «зона» – значимый элемент повседневности, который всегда незримо (или зримо) присутствует: ***«глянула а возле его подезда стоить машина, критая Будка я думала чёрный***

Ворон за ним приехала, уменя огнем палохнуло серце, ой Боже мой, пошла надела очки вышла на балкон россмотрелася а то аварийная машина немножко отошла Успокоялася»[81].

Попадания в сферу действия централизованных систем насилия люди из «низов» стараются всеми силами избежать, уйти от явного столкновения с властями, обретая контроль над конфликтной ситуацией «домашними средствами». Вообще-то советское общество для них место, где *«обязательно накажут»*. Но ведь уходят, предпочитая разборки своими силами, в своем кругу, осуществляя не только немедленное физическое насилие, но и своего рода торговлю и мену.

Вот как был разрешен бытовой конфликт, который мы обозначили номером первым и который закончился выбиванием зубов соседу:

«Тот подал на Дмитрия в суд, он же мне муж черт его взял-бе, я давай ходить просить Ваня, Поля простите ему пожалуста он был пяный дурной, нивкакую нехотят ему простить, тогда Дмитрий Иванович уже на работе начал просил на-

Народный суд. Начало 50-х годов

чальство. Оны оба работали на шахте Первомайской и Коржов и Тюричев, ну нач. движения бил Селин Иван Захарович да помиритеся-же начал он его просить ну Иван Коржов согласился забрал из суда документы я ему говорю бери что хотиш хотя сапоги, или гармошку, у нас была или пальто, он сказал что сто рублей ну мы еже согласилися чёрт сним из ста рублями лижбе простил. Я говорю туда дверь шырокая а оттуда узкая из тюрьмы Я пошла в контору выписала сто рублей тогда была тысяча, все было на тысячи, принесла а он взял только 800 руб. Ну и он Коржов неуставил зубы сибе, а пропили все до копейки, и померилися как сто пудов из плечей снято, ой господи сколько пережитков я перенесла с этим мужом Дмитрием Ивановичем Тюричевым»[82].

Еще пример разрешения конфликта, на сей раз происшедшего в семейном клане:

«Киселёва Евгения Григоровна подала на вас в суд, но участковый их харашо знал, идите просите её ... Я говорю ну ладно. Кладите тысячу рублей на стол тогда я с вами помируся, я куплю путевку на курорт подличуся, тогда померюся и заберу документы из суда, оны положили на стол тысячу рублей старыми Я пошла забрала в суде документы, вот вам наука чтобы не ходили в уборную без друка, а то я буду за сто грам продаватся, свое здоровя дарить оно и так розтрёпаное дальше некуда»[83].

Примерно в том же роде разрешаются конфликты на производстве. Вот пример ситуации, когда общность защищает своего члена от попадания в орбиту правосудия:

«Было и так, он работал на Полтавской шахте подменял завшахтой Ковригу шахтёнка малинкая была, а в то время была карточная система в тысяча сорок седьмом году получил на работчих хлебные карточки трехразовки одноразовки талоны, и аванс свой и товарища Каракулина Дмитрия, десять тысяч облигаций, все получил и пошол в пивнушку отвес-

ти душу саванса, и всё это вытянуто в певнушки в Первомайки... Я пошла на шахту начала просить работчих простите пожалуста его дурака пяницу. Ну что если его заберуть и посадят в тюрму дадуть ему срок, а этого не вернет все утерянное дневные талоны, не умрем говорять люди, хотя и голодные но простим ему дураку алкоголику я получила алименти на дитей, и отнесли этому товарищу должок а самы какнибуть пережили, уладили это дело»[84].

Те же способы бытуют и позднее, в мирные и относительно безопасные годы застоя. Наша героиня, работая сторожем в гараже, случайно проспала кражу. Это мелкое по сравнению с вышеупомянутым случаем дело тоже уладили[85].

Упомянутые способы разрешения конфликтов – это старые как мир (социальный мир) способы жизни вместе.

Этика выживания

Сообщество, к которому принадлежит Е.Г. Киселева, выживает, используя испытанные социальные техники и образцы, представленные наиболее зримо в формах крестьянского повседневного сопротивления[86]. Здесь культивируются ценности равенства, не столько в смысле разделения всего и вся, но в смысле права каждого на существование, на жизнь. Здесь сохраняется «моральная экономика», что-то вроде крестьянских «кусочков», когда голодному соседу отрезается кусок даже от последней краюхи хлеба[87]. Это обычай как способ совместного выживания, встроенный в тело.

Мы опять-таки имеем дело со множественной, полифункциональной социальной связью, базирующейся на личном доверии. Современные функциональные отношения переводятся в термины личной короткой связи. Текст Е.Г. Киселевой полнится случаями подобной взаимопомощи.

В записках есть пример воспроизводства механизма «кусочков» в новой уже городской ситуации, в «большом» обществе. Наша героиня, работая во время голода 1933 года в столовой, спасает шахтеров, подкармливая их хлебом. Она «экономила»

Шахтер в забое. Начало 30-х годов

хлеб, утаивая талоны от положенного уничтожения огнем. В послевоенные годы дочь одного из этих шахтеров спасает в свою очередь ее, делясь краденой колхозной картошкой[88].

В процессе интерпретации такого рода ситуаций достаточно часто происходит перенос и модернизация понятий. Возникает соблазн полагать, что эти люди так поступают оттого, что моральны и «высокодуховны», что следуют моральному императиву, в то время как они скорее выполняют некий социальный запрет. В их тело встроены техники выживания общности. Во всяком случае мой опыт исследования человеческих документов об этом свидетельствует.

Вообще-то все действия, способствующие продолжению жизни, хороши, особенно если продолжение жизни под угрозой. Надо помочь родственникам, даже если они – «седьмая вода на киселе»: ***«я их приняла покупала вошы почисала, глаза больные позакисали я их лечила мочой»***[89].

Можно и украсть (например, колхозные тыквы, чтобы покормить детей), можно спикульнуть, *выгадать на кусок хлеба*[90]. Е.Г. Киселева несла в себе в форме неявного практического знания представления об испытанных способах социального выживания и применяла испытанные тактики даже тогда, когда ее жизнь относительно наладилась. Она вязала коврики и продавала их на рынке. Она ***«жила бутилкамы здаю вот мне идо-***

бавок к зарплате а свою зарплату я ложила накнижку сберегательную»[91].

С течением лет Е.Г. Киселева обучалась и новым для себя способам жизни, овладевала новыми социальными изобретениями. Одно время она работала в магазине и как на духу выкладывает, как именно она научилась обманывать покупателей: ***«до 1941 г. я работала у магазине и чесно и обманывала людей»***[92]. Речь идет о новых для бывшего традиционного человека способах перераспределения общественного богатства. Такими стратегиями овладевали многие. В данных записках этот процесс объективирован.

Е.Г. Киселева скорбно размышляет об упадке обычая соседской взаимопомощи, о распаде других традиционных поведенческих кодов. Героиня наша продолжает помогать, но взамен не ожидает ничего получить:

«Такой урожайлывый год 1984. Все овощи есть фрукты, яблуки вышни. В зеленых магазинах всё есть лук, картошка морква, свекла, часнок, перец берите питайтеся только зачто? брать? оба лодари работать нехотят, а работают то все денги пропивают. Я пошла в зелёный магазин взяла дажет мочёные кавуны все есть, Ленин, говорил хто работает тот и ест. Ларискин муж детям отец плотит алименты регулярно вот она и сидит неработает, а сичас запила, как сичас Водочный мир, все люди подурели от Водки, и её мужа Сашу выгнали из работы тожеть за водку был п'яный наработе. Алиментов нету нечиво получать нечим жить и вот труба как она пишет в записки а я ведь Бабушка, глянула какой Юра голодный душа заболела покормыла его и дала Ведро картошки, Банку литровую Вареня вишневого, лук крупы пшеничной ушки мучные, пусть варят суп детям её, дала яблук свежих, пусть дети едят хотя оны неродные мне всеже их жалко»[93].

В современных обществах существует огромное многообразие досуговых активностей. Большая часть их, включая спорт, служит не только для снятия напряжений, канализации аффе-

ктивного, либидинозного, но также способствует неагрессивному возбуждению[94]. Среди разных способов проведения досуга упоминается клуб, где смотрят кино, хождение в гости. В мире Е.Г. Киселевой нет сложившейся досуговой области, где происходило бы контролирование иначе «расконтролированных» эмоций. Нет упоминаний о спорте, об играх. Даже праздник в его релаксационной и компенсаторной функции практически исчезает. И советские, и религиозные праздники соблюдаются свято, но все они вырождаются в пьянку. Алкоголь видится единственным компенсаторным средством.

Социальные атрибуты подобных соседских общностей довольно хорошо описаны социологами, пишущими на тему «культура бедности»[95]. Это низкий уровень образования, неквалифицированный труд, разветвленная сеть родственных связей, мужское доминирование, жесткое разделение ролей в семье, господство норм агрессивной мужественности, интенсивное чувство привязанности к «мы-группе» и интенсивная враждебность к «они-группе».

Документ свидетельствует, что в одном и том же обществе могут одновременно существовать люди с разными структурами личности. «Грубые» люди, которых описывает Киселева и от которых она сама себя не отделяет, цельны. У них нет притязаний на какой-либо престиж, а значит, они обладают большим диапазоном разрядки аффектов. Они живут в соответствии с обычаями своего круга. Недаром специалисты отмечают, что культура бедности – культура гедонистическая. Быть может, здесь не так уж много радости, но полноты жизни хватает. Полна чаша жизни. Текст Е.Г. Киселевой – самоописание такого сообщества.

Малая общность и большое общество: новые коды?

Выше говорилось, что складывается впечатление, будто эти группы обитают в стороне от дорог Большой истории. Однако они развиваются в рамках государства и большого общества, они вплетены в систему функциональных связей, в сложные социальные

фигурации. Они испытывают давление и государства, и со стороны других социальных групп, то есть главным образом извне.

По отношению к этим людям вряд ли можно применить понятие *преображения*. Речь, скорее, может идти об отождествлении тел. Их приучали к новым типам подчинения через разного рода дисциплинарные практики, через «запись на теле». Они меняли свое «естество», обретая новый тип телесности. Природные ритмы крестьянской жизни менялись на механические машинные ритмы. У них не было привычки к промышленным типам труда. Они порой попросту не понимали, почему на работу надо ходить каждый день и «по гудку», не прерываясь после получки ради «праздника». Их жестоко учили, выпуская законы, весьма напоминавшие те, что действовали в Англии в период промышленной революции. Они были объектами действия централизованных средств насилия и аппарата надзора. Уйдя из деревни, эти люди становились тем топливом, которое молох государства забрасывал в горнило модернизации.

В тексте нет дискурсивной игры с идеологическим языком. Отсутствуют и свидетельства попыток конструирования новой идентичности через самоконтроль: через стремление к выработке правильного языка и следованию нормативам поведения.

Имена довоенных вождей практически отсутствуют. Имя Ленина упомянуто два раза, из них один в уже приведенном контексте – в качестве компонента присловья. Сталин упоминается один раз в связи с войной: был он ***«милостив и доверчив»***, не подозревал, что Гитлер – ***«игаист человеческого существования»***[96]. 22 июня 1941 года – единственная историческая дата, которую Е.Г. Киселева упоминает. Остальное для нее в тумане: ***«толы революция то ли Война»***[97]. Большая История, с которой постоянно соотносятся записки «культурных», для Е.Г. Киселевой в качестве предмета сознания отсутствует. Для нее «октябрьские» и «пасха» выступают на равных.

Записки – еще одно свидетельство тому, что чувство истории не является самоочевидностью, что оно культивируется. Е.Г. Киселева, проучившаяся только 5 лет в сельской школе, обрести его не сумела, даже до «Краткого курса» не дошла. Ее время – не бесконечная стрела Прогресса.

В записках нет ничего ни о репрессиях, о раскулачивании, ни о лагере (исключение – упоминание о немецких лагерях для военнопленных и о наших лагерях для немцев-военнопленных). В последнем случае она подчеркивает, что пленные немцы получали те же 1200 г хлеба, что и наши шахтеры. Жизнь в лагере и за пределами лагеря не слишком отличалась по степени насилия и агрессивности. Нет между ними демаркации. Хотя, как свидетельствует приведенный выше отрывок о «черном вороне», чувство страха возникает легко.

Как Е.Г. Киселева вступает в систему длинных социальных связей большого общества? Вот, например, местному начальству, которое знают в лицо, не доверяют. Близкая власть, естественно, несправедлива. Справедливости ищут у власти далекой, представленной, например, В. Терешковой или Л.И. Брежневым. «Далекие» – где-то в центре, а по отношению к «ближнему кругу» – на периферии. Письмо, написанное бабушкой от имени внуков, относится к речевому жанру крестьянской челобитной.

«Я писала Терешковой Валентине Владимеровне, помогите пожалуста нашему горю, вот такого содержания письмо, милая женщина наша защитница мира женщин и Дидей дорогой наш человек от горя и беды я послала вам 11/11 1979 письмо а вот нам прислали из горисполкома свое ришения выселять, судить, из квартиры как я вам уже писала это пишу я на имя Анны Ф что у миня маленкой рибенок родился 1979 г. 5 сентября. Мы не приписаны в этой квартири Крупская 9 кв 6 наша бабушка а моя сестра умерла 17/X 1979 г. и мы остались в этой квартире, мы за бабушкой ухаживали за больной и похоронили за свой щёт а похороны обошлися немало. Я не работаю в декрете посколько у меня маленький рибенок, работала Токарем. муж работает Сварщиком Донецкий ЦЭМ цех по изготовлению обсадных труб, нам по 20 лет нам негде жить, с припиской очень трудно и мы хотим что-бы нас приписали в эту квартиру Крупская 9 кв.6, и не беспокояли судом и Милицией мы оба комсомольцы в трудное время в стране мы всегда будим в переди. Стоим на очереди на квартиру

3-тий имеется отношения из производства в Горисполкоме, помогите пожалуста.

Киселева Анна Федоровна Киселев Юрий Викторович»[98].

Послав письмо Терешковой, Е.Г. Киселева читает молитву: ***«молю бога что-бы Юра из своей симей остался в этой квартире, господи помоги нам грешным, и читаю отченаш»***[99]. Совмещение письма и отрывка о молитве позволяет ощутить, что и письмо «наверх», и *Отченаш* выступают в одной функции: как взывание к «высшей инстанции». Обращение к кодифицированному языку происходит, когда говорящему или пишущему надо подчеркнуть объективность высказывания.

Кстати, чтение записок развеивает расхожее убеждение в иждивенчестве «совка». К властям обращаются как к Господу Богу, но рассчитывают больше на себя самих. Понятно, что, часто поминая судьбу, какую-то часть ответственности стремятся с себя снять.

С одной стороны, мы являемся свидетелями попытки вступить в длинную функциональную общественную связь, переводя ее на знакомый язык связи личного типа. С другой – стремление использовать общий риторический языковой код советского общества. Попытка наивная и неуклюжая, но именно она позволяет ощутить прагматику этого кода. Еще один пример. Е.Г. Киселева обращается к жестокосердому начальнику: ***«Какой вы несознательной, вы партейный а он комсомолец если чуть в стране стрясётся вы-же вместе, в переди сражатся пойдете, в него пришло сознание спросил, а где он что непришол сам а бабушка за ниво пришла, я говорю он наработе какая разница, ну я еже тут сняла, еслиб Юра был в это время тут мне кажится он-бе взял трубку и позвонил до Письменого*** (фамилия начальника. – *Авт.*) ***нач Ж.К.К»***[100]. Отчего к начальнику «вернулось сознание», потому что жалко ему Е.Г. Киселеву? Оттого, что он услышал знакомые слова и встрепенулся, как полковая лошадь? А может быть, в силу того, что Е.Г. Киселева, цитируя официальный дискурс (метанарратив), не только указывает на объективность высказывания, но и обозначает факт родства? Рассматривая ситуации такого рода, осознаешь, что существует

понимание именно в витгенштейновском смысле: понимать – быть способным правильно использовать. И начальник, и Е.Г. Киселева прекрасно понимают идеологические коды и их расшифровывают. Они разные люди, но понимают друг друга, постольку поскольку в их тела и язык встроена одна и та же история. Практики оказываются взаимопонятными, наделенными объективным смыслом.

В то же время действие не является автоматическим на все сто процентов. Это, кстати, одно из немногочисленных свидетельств неавтоматизма действия. Бабушка советует внуку в подобных ситуациях быть «немножко артистом». Эти люди «внизу» тоже артисты в том смысле, что они (правда, без особой охоты) участвуют в общей игре. Они делают такие же ставки, как и те, о ком шла речь выше, но нехотя. Если ставить вопрос о соотношении *добровольности/принудительности*, то баланс здесь иной, нежели у «идеальнотипических» советских людей. Здесь доля автоматизма явно выше.

Выше говорилось о Телевизоре, компенсирующем отсутствие привычного круга соседей и родственников и открывающем новые горизонты: ***«телевизор лучшей друг в комнате усе услышеш и увидиш и розвличение <...>»***[101]. Именно через телевидение входит в сознание политический дискурс. Телевизор у Е.Г. Киселевой появился при Брежневе. Она «проспала» Сталина, но Брежнев прочно вошел в ее жизнь. Это вхождение происходит постольку, поскольку политический дискурс способен предстать в контексте личного опыта:

«Сичас сижу и смотрю Телевизор как Брежнев Л.И. в Германии с нашим посолством и ему вручают Хорекен германский руководитель страной орден высшей наградой германской Демократической республики, а также съехались социалистические страны руководители, смотрю наних все люди как люди, нет разници мижду народами, а вот на немцов немогу смотреть равнодушно аны нашы враги а типерь цилуют нашего любимого и защитника мира Брежнева Л.И. как вроде такие хорошие гады проклятие розкрываются мои раны хотя оны комунисти, сидят на креслах в дворцах культуры жизнерадосные одети

прилично а мне все кажится оны в тех шинелях в зеленых, в сапогах с подковами, который очувается ихний стук шагов и собственая пичаль на душе томится до сих пор, и все думается что оны нас обмануть так как в 1941 году»[102].

Вообще она иностранным руководителям не очень-то верит, улыбка Рейгана кажется ей фальшивой. Но, с другой стороны, ***«люди есть люди хоть оны наши Враги»***[103]. Враг (нечеловек) превращается не в друга, но в человека. Читатель оригинала этого текста обратит внимание на те места, где описывается, как «советские» и «немцы» вместе хоронят убитых, вместе вытаскивают корову из подвала.

В противоположность советской интеллигенции Е.Г. Киселева относилась к Л.И. Брежневу хорошо. Он для нее вроде царя Александра III-миротворца: ***«Брежнев Лионид, И, заграницу ездил и завоевывал дружбу между нашой и заграничнимы людмы обятиями и поцелуями»***[104]. Е.Г. Киселева продолжает жизнь благодаря собственной силе и витальности, умению терпеть и браться за любую работу, однако благодарность и чувство удовлетворения выжившего она переносит на «представителей». Наверное, оттого, что чувствует себя игрушкой в руках надличностных социальных сил.

Работая на материале западных обществ, Н. Элиас полагал, что централизация насилия, монополизация его государством, приводит к появлению на исторической сцене людей с развитыми механизмами самоконтроля. По его мнению, там, где установлена государственная монополия ни насилие, снижается степень насилия частного, и это помогает снизить общую степень насилия в обществе. Применимо ли это теоретическое положение к советскому обществу, если судить по этим запискам?

У нас имело место культивирование самоконтроля, род «репрессии по отношению к самому себе», но в иных социальных пространствах – например, в советском «среднем классе». Там мы можем зафиксировать и потребность в управлении эмоциями, и высокую степень стыдливости, и наличие дифференцированных кодов поведения, и стремление к обозначению социального отличия через «культурность». Николай Андреевич, Иван

Иванович и Василий Иванович, Степан Филиппович культивировали техники самоконтроля. Это играло огромную роль в «изобретении» советского среднего класса. Однако социальное пространство последнего было достаточно узко и тесно. Слишком большое место занимают пространства, подобные тому, о котором идет речь в тексте Е.Г. Киселевой. Наличие централизованной системы насилия не снижает степени насилия повседневного. Существующие внешние социальные запреты не превращаются в органический встроенный самоконтроль. В то же время, раз в каких-то ячейках общества не произошли психологические сдвиги, не возникла и способность к самоконтролю. Отсутствие этих систем самоконтроля только увеличивает мощь систем централизованного насилия, хотя, как говорилось выше, мини-сообщество старается ускользнуть.

Можно ли считать ценности сообществ, аналогичных тем, в котором жила Е.Г. Киселева, отклонением от господствующей системы ценностей? Думаю, что нет. Во всяком случае Е.Г. Киселева никакой «системе» ничего не противопоставляет. Какие-либо коды, не выраженные в официальном кодифицированном языке, практически отсутствуют.

Российский опыт XX века при всей его уникальности может претендовать на универсальное значение. Не одно поколение и не один раз пребывало на грани социального бытия. Люди не только испытывали голод, холод, угрозу физическому существованию, они ощущали распад социальных связей, опасность превращения общества в необщество, в пространство войны всех против всех. Слишком часто они хоронили без гробов и ели несъедобное. В условиях снижения онтологической безопасности развитие цивилизационных качеств, сопряженных с усложнением социальной связи, с культивированием различных средств самоконтроля, оказывается невозможным. Опасности такого рода ощущаются и в наши дни. Более того, этот опыт представлен в виде инкорпорированной истории, в форме социальной памяти. И первое и второе выступают в качестве предварительного условия процессов, развертывающихся сегодня. Можно легко представить себе внуков нашей героини в числе бастующих шахтеров, а внучек в ряду тех, кто торгует на вещевом рынке в Лужниках.

Исследование документов, подобных запискам Е.Г. Киселевой, это обращение к тем сторонам социальной жизни, которым до сих пор в отечественных социальных исследованиях не уделялось достаточного внимания (маргинальное социальное бытие, первичные социальные общности, в том числе аффективные, первичная социальность, динамика внешнего ограничения/самоконтроля, различные типы повседневных взаимодействий). Рассмотрение российского общества XX века под углом зрения социального бытия/небытия позволит нетривиально подойти к тем процессам, которые до сих пор обсуждались в рамках социально-политического дискурса.

Самый важный вывод из нашего анализа текстовых документов состоит в том, что без участия тех, кто никогда особенно не желал поучаствовать в социальной игре советского общества, это общество вряд ли было бы изобретено.

Другой вопрос, что Евгения Григорьевна лишь *поневоле* играла в общую советскую игру, идеологическую игру в слова. Она оказалась прикованной к месту: ***«Я живу в Первомайки так где и до войны жила только улицу переменила и шахту»***[105]. У нее нет капитала (экономического, социального, культурного, символического), а потому путь социальной мобильности (вертикальной и горизонтальной), который она проделала, очень короток.

Другой наш герой, Степан Филиппович, одновременно овладевал нормами литературного языка и новыми для бывшего крестьянина и «свежего» горожанина жизненными (в том числе телесными) практиками, воплощающимися в представлениях о культурности. Литературный язык, которому он учился, был по преимуществу языком официальной идеологии. Именно через письмо он обретает биографическую идентичность и субъектность. Не овладев «языком власти», он остался бы там же, где и Евгения Григорьевна. Получается, что язык доминирования несет в себе потенциал эмансипации, что проблема «тоталитарного языка» не так уж проста, как это когда-то казалось.

ЖЕРТВА

Все, о ком шла речь до сих пор, имеют общую черту. Все они родом из крестьян. В этой главе на сцене появляется героиня, которая происходит из иных социальных пространств.

Лариса Михайловна Де Морей так начинает свой рассказ.

«Я родилась в 1914 году 22 апреля (!). Естественно, как действовала Власть в то время, знать я не могла, но память моя запечатлела некоторые события детских лет»[1]. Как известно, 22 апреля – день рождения В.И. Ленина. Она не могла маленьким ребенком помнить деяния власти, но она сразу же дает понять, что эти деяния – главные. Да и эта Власть с заглавной буквы роднит ее с Евгенией Григорьевной Киселевой, сколь бы далека она ни была от нее – ментально и социально.

Главное время – это время Большой истории, Большое историческое время советского календаря. Она представляет свои воспоминания как «мемуары человека, живущего при восьмом главе правительства»[2]. А свою позицию она сразу определяет как позицию песчинки, подопытного наблюдателя. Она называет себя «участник-песчинка», в другом месте «счастливая песчинка», тем самым подчеркивая, что уж она-то отнюдь не является главным агентом советского общества. Она зависима, в том числе и потому, что она женщина.

«Я русская, но прадедушка был француз, женат на русской с примесью украинской крови со стороны матери, моей бабушки. <...> Прадед Людвиг был сапожник, дед Василий Леонтьевич, он же Людвигович (так писалось в документах) ювелир, известный в Одессе. А три его сына Виктор – инженер, Сергей – бухгалтер и Михаил, мой папа – врач-терапевт»[3]. ***Отец***

матери – моряк-механик, плававший за границу. Она вспоминает, что в Одессе «еще в 30-е годы, когда облезала покраска, сквозь нее просвечивали буквы фамилии Де-Морей»[4].

Одесса. 30-е годы

В 30-е годы работы деда ушли в Торгсин.

«Для меня еще не ясно, где моя родина. Родилась в Одессе на Украине, а с войны живу в Московской обл[асти]. ***Сама считаю своей Родиной Россию, не отделяя ее от Украины»***[5], – пишет Лариса Михайловна.

Период нормальной жизни был короток. Обычный интеллигентский стиль жизни: ***«приобщение с самого раннего возраста к духовным ценностям и к любому труду. А еще любовь к людям и уважение к их личному достоинству, независимо от того, кто это – дворник или профессор»***[6].

Начало 20-х – голод, общая судьба. Здесь содержание мемуаров Ларисы Михайловны не отличается от воспоминаний других наших героев. Царь-голод уравнял всех. ***«Помню кубик серого мышиного цвета – порции в нашей семье оставлявшие-***

ся на ужин. Такие я видела после войны в Ленинградском музее блокады»[7].

Неоднократно возникает в памяти Ларисы Михайловны страшное воспоминание: ***«По широкой полосе вдоль берега реки проходили тропинки, я увидела женщину с лопатой под мышкой, на руках у нее было завернуто тело ребенка. Из-под рядна свешивались синие детские ножки»***[8].

Лагерь беженцев из голодающего Поволжья. 20-е годы

Семья спасалась от голода в деревне. До 1924 года жили в селе Кисляковка под Николаевом. К этому времени НЭП был в разгаре: куры, гуси, утки, все необходимое на огороде. Как и прочие наши герои, Лариса Михайловна с удовольствием воспроизводит на бумаге длинные ряды съедобного, вспоминая рождественские и пасхальные блюда. Кутья и *узвар* на Рождество. Окорока, колбасы, салтисон, студень, жаркое из своего поросенка. Гуси и утки с яблоками, пироги с капустой и фасолью. Пасхи сырные сырые, заварные и запеченные, куличи на 50 желтках, пророщенная пшеница. ***«А какой был вкусный***

хлеб, самый белый "молоканский", подовый с шапкой, полубелый, ситный, ржаной и др.»[9]

Мемуаристка рассказывает, как в деревне трансформировали их фамилию: французская фамилия Де Морей прочитывалась как Дымари или Деморенко.

С 1924 года семья живет в Николаеве, навсегда расставшись с Одессой. Лариса Михайловна вспоминает о годах учебы. Перемены в повседневности происходят не так быстро, как о том пишется в газетах. Школа, в которой училась наша героиня, была бывшей частной. Владелица частной школы становится директором трудовой семилетки. До поры до времени ценности семейной и школьной социализации совпадают.

В 1925 году директрису «убирают», приходит новый директор: ***«Совершенно изменился дух в школе. Не помню, по каким поводам собирались собрания учеников, но помню, что на них требовалось активно выступать, кого-нибудь критиковать, вплоть до доносов учеников друг на друга»***[10].

Школьная атмосфера воспринималась как чуждая, дома сохранялся прежний дух. Домашний театр, дружба на всю жизнь. Страницы девичьего альбома 1926 года, который хранится в фонде, обрамлены в стиле модерн.

Лариса Михайловна окончила школу в 1929 году.

Ее свидетельство об окончании трудовой школы опять-таки в рамочке в стиле модерн. Новых свидетельств советского образца в Николаеве, вероятно, еще не было. Надо было продолжать учебу, и Лариса Михайловна поступила туда, куда она могла поступить: сначала в химпрофшколу, а потом в хлебоэкспортный техникум. Здесь она опять не чувствует себя своей:

«Годы учения в техникуме – не лучшие воспоминания. Стиль, начавшийся в 7-м классе, здесь процветал вовсю... Какая польза могла быть в этой активности, если она выражалась, в основном, в речах на собраниях, содержания и назначения которых я даже не помню. <...> Надо сказать, что тогда начался «поход» на воспитанность и даже аккуратность (личную). Это считалось «мещанством». Так вот мы, будучи на практике, на элеваторе, шли об руку. Собрали собрание <...>

и пошло. Тут и молчание на собраниях, и аккуратные ногти Зины, все было возведено в преступление. Но когда дело дошло до того, что мы де ходили под ручку по территории элеватора и завлекали иностранцев-моряков <...> тут уж моя застенчивость пропала, и я, ворвавшись в кабинет директора, <...> выкрикнула "прекратите это издевательство"»[11].

Функции компенсации помогает выполнять культурный капитал: ***«Основное "хобби" было все-таки рисование и музыка, что исходило от родителей»***[12]. В 1929 году Лариса Михайловна впервые ездила с отцом в Москву. Она описывает свои впечатления от посещения Третьяковки: Брюлов, Семирадский, Суриков, Репин, Нестеров... ***«В это первое посещение Москвы запомнился храм Христа-Спасителя. Мы зашли туда во время службы, и не могли рассмотреть детально великолепные росписи известных художников. <...> Какое варварство уничтожить такую красоту!»***[13]

Третьяковская галерея. Конец 20-х годов

Они с отцом останавливались у подруги матери: ***«Несколько лет жила с мужем в Лондоне, где он – коммунист с 17 г., работал в Совучреждении (кажется АРКРОС)»***[14]. (Позднее он погиб в лагерях.) Эти строки требуют комментария. Подруга матери – явно из «бывших» и принадлежит к тому же кругу, что семья Де Морей. Подруга вышла замуж за социал-демократа, который в послереволюционной России принадлежал к элите.

Тут же Лариса Михайловна рассказывает том, о чем мемуаристы-мужчины, как правило, умалчивают, не считая столь мелкие телесные страдания достойными упоминания: насекомые, несущие угрозу болезней, так же, как и голод, уравняли если и не всех, то многих.

«Отрицательный момент, неизбежный в поездках поездом: почти никогда не обходилось без последующей санобработки, т. к. насекомых набиралось и в волосах и в белье. <...> Тридцать второй и третий годы, голодные (помню на улицах Николаева трупы умерших от голода). Тяжелы они были и для нашей семьи. Холод в квартире, плохое питание, болели воспалением легких, а для мамы это кончилось туберкулезом»[15].

Продолжим, однако, наш рассказ. Жизнь идет, и она вовлекается в практики, которые не были типичны для средней дореволюционной интеллигенции. ***«Меня тянуло к спорту. Лето много проводили на реке в яхт-клубе. Плавали. Катались на лодках. Одно время посещала "Будинок физкультуры"»***[16]. Она посещает яхт-клуб и играет в крокет. Она увлекается не только театром, но и кино: ***«Помню "Нибелунги" с главными героями Зигфридом и Кримхильдой. Мэри Пикфорд и Дуглас Фербенкс были кумирами»***[17]. Не обошло нашу героиню и всеобщее увлечение туризмом. В 1935 и 1936 годах была мода на туризм в Крыму. ***«Хорошо было ходить по дорогам Крыма компанией и распевать "Широка страна моя родная". И молодость, и богатая природа Крыма соответствовали широте песни и нашему настроению»***[18]. В то же время, как можно реконструировать по рассказу Ларисы Михайловны, до тридцать шестого года она человек верующий.

Во время учебы в хлебоэкспортном техникуме она поступила в художественный техникум, который, впрочем, скоро закрыли. Позднее она учится в музыкальном техникуме, который также не заканчивает[19]. С *культурной* профессией не получается.

Сестра ее Татьяна учится в Одесском художественном институте. Татьяна в Одессе выходит замуж за сокурсника, скульптора Василия. Еще до войны они поселились в Вербилках, где работают на знаменитом Дмитровском фарфоровом заводе.

Окончив хлебоэкспортный техникум, Лариса Михайловна работает год (1932–1933) в Экспортхлебе на элеваторе, потом на нефтебазе в лаборатории. Ей 19 лет. Ходит с косами, но ее называют на «вы». В 1936–1937 годах работала в Николаевском портовом элеваторе Заготзерна. Потом в бухгалтерии Николаевского рыбзавода.

Жизнь вроде бы налаживалась. В 1936 году перешла на дневное отделение *музтехникума*. Как раз в 1936 году врачам добавили зарплату. ***«В доме был праздник, когда папа получил одновременно за несколько месяцев разницу. Папе купили новый костюм, купили простыни, а то пользовались заплатанными, выкупили вещи из ломбарда»***[20]. Но осенью 1936 года отец умирает от аппендицита. Мать в туберкулезном стационаре. Она умирает в 1937-м.

В сентябре 1937 года Лариса Михайловна вышла замуж за инженера-судостроителя Ивана Чернова. ***«Мне импонировала его упрямая настойчивость в достижении своей цели – попасть к нам в дом, завоевать мое расположение. Да и теперь я ценю эту способность в мужчине – идти напролом (не нахально, но целеустремленно), завоевывать симпатию женщины»***[21]. 8 февраля 1938 года мужа арестовали. ***«Это водораздел жизни... Первый период озарен светом, теплом – рай и только. Никакие тревоги, полуголодные, холодные времена не могут затемнить ощущения счастья!»***[22] Ее брак продолжался 4 месяца 20 дней.

Жена заключенного

После того как посадили мужа, ей стала помогать Ксения Карповна, домработница из раскулаченных[23].

«Конечно на 86 р. стипендии я не могла ее содержать, но мы остались вместе бедовать. Так же я жила бы с родной бабушкой. Жизнь пошла кувырком, после 3-го курса музтехникума, работала периодически, т. к. начались поездки в Москву за «правдой». Стали из моих вещей шить детские и К.К. продавала их на рынке. Брали заказы на вышивку. Вышивали обе, по очереди – одна вышивает, другая читает вслух, например, Чехова. Летом К.К. еще подрабатывала у хозяйки нашего дома – она разводила в саду цветы, а К.К. носила их на базар. Так мы с Ксенией Карповной прожили до 17.06.41 г. А я как выехала в тот день в Ленинград, по вызову на свидание с мужем, так больше в Николаев и не попала. 12 августа немцы заняли Николаев и всякая связь с К.К. и семьей Черновых была прервана до 44 года»[24].

Она начинает искать правды. Приемная прокуратуры СССР – «мясорубка».

У этих людей пытались «искать правды»

«Вспоминаю сейчас еще один разговор по делу мужа, в Приемной Президиума Верховного совета СССР. Меня принял секретарь Калинина. В маленьком кабинете были только я и он.

Я изложила свою просьбу – распорядиться о пересмотре дела мужа, поскольку он подписал под пыткой, что шпион. Этот молодой человек явно мне сочувствовал. Он спросил: «Почему Вы пришли в Верховный Совет?» Я ответила, что обращаюсь к Верховной Власти, т. к. ни в НКВД, ни в Прокуратуре ничего не добилась, а он мне доверительно сказал, что Верховный Совет в дела Прокуратуры и НКВД не вмешивается. Вот и ищи правды и защиты у Верховного Совета»[25].

Post factum, уже в старости, она замечает, воспроизводя интеллигентский нарратив-клише: *«Я могла тогда встретиться в этих, вершивших преступления местах с А. Ахматовой, М. Цветаевой»*[26].

Она начинает через некоторое время ездить на свидания с мужем.

«Вот еще счастливое обстоятельство для десяти Николаевских жен "шпионов". Нам стали присылать вызовы в Ленинград на свидание с мужьями. <...> За один приезд давали два раза по 2–3 часа в присутствии Нач. спецтюрьмы Дьяченко. Это происходило в "Крестах", куда муж приезжал трамваем в сопровождении "свечки". Муж был хорошо одет, приносил цветы. Разговор только на бытовые темы. Но муж сообщил мне, что осужден Тройкой и что на суде они не присутствовали. Им просто зачитали приговор. <...> Нач. тюрьмы не опроверг факта заочного суда. Не по конституции...»[27]

17 июня 1941 года Лариса Михайловна ушла в отпуск. Она собиралась поехать в Ленинград на свидание с мужем, который работал в шарашке: «специалист по судостроению, имел свою группу и задание по строительству подлодок»[28]. Он был демобилизован довольно быстро. Демобилизацией на языке заключенных называлось перемещение из тюрьмы в шарашку. Л.М. приехала с сестрой мужа в Ленинград на свидание с мужем, назначенное на 21 и 23 июня. С мужем она встретиться не сумела, так как началась война.

«В конце декабря 41 г. (Лариса Михайловна уже работала в госпитале, рассказ об этом будет приведен ниже. – *Авт.*) *я вдруг получила деньги от нач-ка Спецтюрьмы Татарской АССР денежный перевод на с. 50 руб. На талончике было указано – за какие месяцы семейное пособие (!). Это жене шпиона! (?) Дело в том, что ОКБ, в котором работал в Ленинграде муж-шпион, эвакуировали в Казань. Муж дал адрес сестры и таким образом нашли меня, и я стала получать деньги. Талончики переводов и сейчас хранятся, где писалось – за работу вашего мужа, или семейное пособие за такие-то месяцы. Бойцы, за которыми я ухаживала (т. е. их жены), не получали семейного пособия, а жена шпиона получала сто руб. в месяц (?!). Впоследствии стали приходить и письма от моего мужа, передаваемые через вольных сотрудников»*[29].

В 1943 году начинается переписка с мужем[30].

Вольнонаемный, через которого осуществляется переписка, просвещает Ларису Михайловну:

«Пишите мне на адрес...В конверте своего обратного адреса не указывайте, в письме Ванюше не пишите его фамилии, а также не подписывайтесь своей фамилией, а пишите, как будто пишет мужчина мужчине и подпишитесь мужским именем. Это для конспирации от жены»[31]. Речь идет о двойной конспирации. Уход мужа – ключевая тема рассказа. Лариса Михайловна была верной женой, она ждала мужа более 10 лет. Она писала, подбадривала, слала посылки, обращалась в органы власти за правдой.

Муж Иван Чернов освобождается 8 февраля 1948 года. Его оставляют на работе в одном из конструкторских бюро. В августе 1948 года она приезжает в Ленинград, он ее не встречает и затем признается, что с первого дня свободы «живет у Юлии Жемаринской». Это был удар, который она вынесла с трудом.

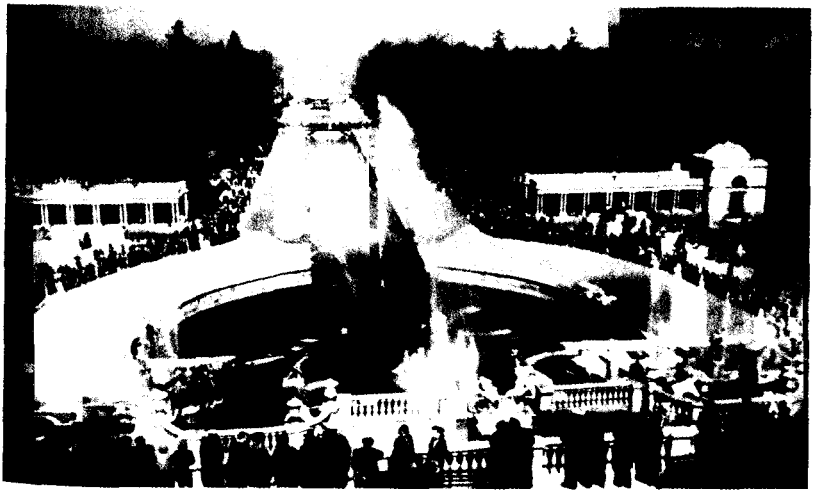
«Вот существует такое образное выражение; человек не в себе, катается по полу. Так вот я его осуществила ночью фактически. Не знаю, как это получилось, но действитель-

но каталась на ковре по полу. <...> А как можно было верить, что после излияний на свиданиях, что не кончает с собой потому что я его жду и верю в его невиновность. Можно было верить в мужскую надежность? А пережив столько за десять лет борясь самой со столькими трудностями, можно ли было рассчитывать на какую-то мужскую опору? Нет и нет!»[32]

Вскоре его выслали в Дудинку, где он работал главным инженером Дудинского порта. Юлия с ним не поехала. Иван писал Ларисе последующие 10 лет, она ему не отвечала. В 1956 году Ивана реабилитировали, но появился он только в 1959 году. Поселился в Воронеже, умер в 1974 году.

Военная одиссея. Страдания тела, культурный капитал и русская свобода

Если попытаться как-то закодировать рассказ о войне, то этот код – жизнь, испытание и путь. 22 июня 1941 года – еще один переломный момент в ее жизни.



Петергоф. Июнь 1941 года

«22-го в Воскресенье мы с К. поехали в Петергоф. Причем при посадке на пригородный поезд была такая давка, что у меня оставался на руке синяк. Мы сразу пошли во Дворец, осмотрели его спокойно. Спускаясь по узкой лестнице со второго этажа я услышала отдельные слова: бомбили, Одесса, Киев, но даже не обратила внимания. А когда мы с Клавой сели за столик буфета, к нам подошла официантка и спросила: «знаете, что война...» И тут же повторила о бомбежках. Точно вчера я ощутила, что от шеи побежали "мурашки" <...> Не осознавали, не верили, насколько это серьезно. В одиннадцать часов в парке у громкоговорителей собрался народ, и мы услышали выступление Молотова о вероломном нападении Гитлера, фашистов на нашу Родину. <...> Мы осмотрели парк и в конце дня вернулись в город, успев сфотографироваться на фоне Самсона. В Ленинграде нас поразило, что уже все стекла были оклеены крест накрест. Между двумя и тремя часами ночи была тревога, и мы с Екатериной Фоминичной и Юрой спустились с 4-го этажа во двор. <...> 23-го свидания нам уже не дали, мы кинулись в ж. д. кассы, т. к. у нас были билеты только до Вербилок, куда мы собирались заехать к Тане и Васе.

Бегство населения после объявления войны. 1941 год

В кассах была настоящая паника, невозможно было купить билеты. Последняя надежда на Стрелу, уже не считаясь с тем, что дорого – надо было спешить домой, нам обоим на работу. <...> Почему мы так стремились домой? У всех, понятно, было это стремление, да еще не сознавали, что это за война. Все были уверены, что немцев не пустят дальше границы с Прибалтийскими республиками. Такова уверенность в силе народного патриотизма»[33].

Ей удалось попасть только на «людской поезд» – товарный с нарами. Наша героиня вспоминает, что люди ехали и на открытых платформах. *«"Людские поезда" на станциях обслуживали кроме медперсонала и "кормильцы", не помню, на каких именно станциях, к вагонам подносили бидоны с горячим супом и хлеб. Это бесплатно»*[34]. Она хотело попасть к сестре в Вербилки, но не попала. Поезд привез ее в Харьков. На харьковском эвакопункте она получила направление на работу в колхоз. Эвакуированных принимали там гостеприимно: *«Даже поправилась за три месяца». «Вспоминаю с горечью, что тот обильный урожай не убрали полностью. Рабочая сила – одни женщины... А они, натрудившись с рассвета на своих приусадебных огородах, уже неохотно ехали в поле»*[35].

Николаев был занят 12 августа 1941 года, а эвакуированных в октябре отправили дальше на Восток.

«Вопрос с ночлегом разрешался легко, пока ехали по территории Украины. Но как пересекли границу Воронежской области, удивительно все изменилось. Нас подолгу держали на улице, хотя был уже ноябрь, и значительно похолодало. Не пускали, говорили, вы напачкаете – сколько заплатите. <...> Боялись, что мы напачкаем, но мы пока ехали по Украине, ночевали на земляных полах и не набирались насекомых. А в Воронежской, Саратовской обл. подверглись такому нашествию, что и в волосах и в белье невозможно было вывести[36].

Лишь к зиме Лариса Михайловна добралась до Саратова. В Саратове Л.М. получила направление в село Фриденфельд

(Комсомольское), а затем в село Экгейм, где эвакуированные заняли дома выселенных немцев.

«Село Экгейм представляло собой в основном прямую улицу с глиняной дорогой с глубокими канавами по обеим сторонам. Дома саманные, а иногда деревянные. <...> Во дворе были летние кухни с русскими печами. А зимой кастрюли с пищей ставились в котлы «саркофагом». Я так называю потому, что эти своеобразные печи, довольно высокие прямоугольные, стояли посреди комнаты, топки на полу из кухни, забыла, где был колодец, из которого носила в дом воду. На одной из окраин села были казахские жилища и даже юрты. У них были верблюды. Это уже азиатские картины. Я бывала в этих жилищах в поисках обмена на продукты своей шелковой косынки. В одном зажиточном доме были и столы и стулья, самовар на небольшом столике, чистые дорожки на полах, а ели они, сидя на коврах и подушках по-турецки»[37].

На место она приехала с температурой 39,5°.

«Летнее пальто не приспособлено к морозам 30 гр. Я завязывала на затылке свои длинные волосы и распускала их, по спине под пальто. Ходила по улице вприпрыжку, мурлыча под нос что-то бодрящее. Впоследствии познакомившись с эвакуированной из Брянска (в зимнем пальто), узнала, что она принимала меня за сумасшедшую, т. к. иначе не могла себе представить человека "поющего" на морозе в таком одеянии и ставила меня в пример ноющей своей сестре, одетой в беличью шубу.

Как прошел этот гайморит после двухнедельного кровавого насморка, я сейчас не представляю. Видно, молодость, оптимизм... Теперь первая задача была борьба с насекомыми»[38]. *Понятно, что Лариса Михайловна не выздоровела окончательно. У нее возникло сердечное заболевание. «...Когда отеки ног дошли до коленей, меня освободили от работы и уложили на койке в свободной палате. Кто-то добрый взялся постирать мою одежду, а я опять надела на голое тело пальто, за*

что и получила замечание от врача. Правда, узнав, что у меня нет смены, он извинился»[39].

Приснился ей вещий сон, к которому в своих воспоминаниях она возвращается не один раз.

«Сон. Я в церкви. Не держусь на ногах, но ползу на четвереньках к священнику, стараясь поцеловать крест в его руках. Мне это с великим трудом удается, и я, проснувшись, перекрестилась и сказала: Господи помилуй! В этот же день я была принята в санитарки, мне был выдан мешок сена, матрац, правда, только до половины тела, наволочка под сено, вообщем постель. Кроме того паек 500 гр. хлеба с госпитальной пекарни и завтрак, состоявший из манной каши и кофе с молоком, и обед из 1-го и 2-го»[40].

Этот сон как перевал между областями жизни и смерти: будешь или не будешь продолжать существование... Сторона жизни предстает в образе 500 граммов хлеба и манной каши. Страх, отчаяние, ожидание и надежда спрессованы в цифре, которая обретает экзистенциальный масштаб.

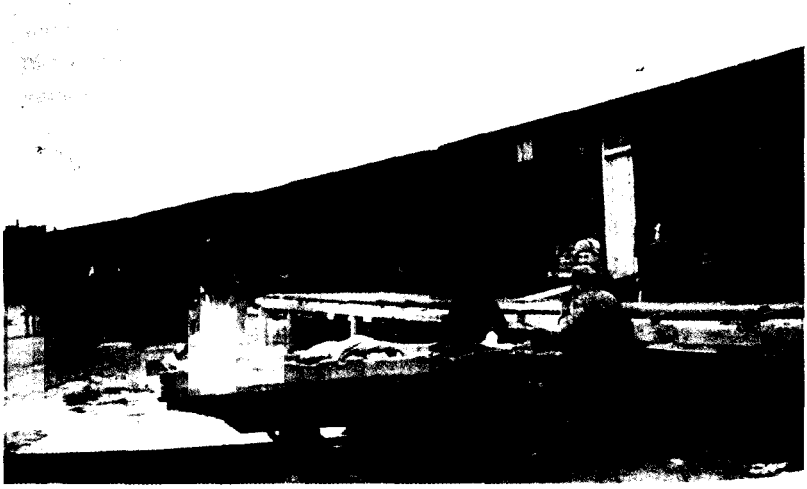
Сон, правда, сбылся не совсем.

«Кормить завтраком и обедом нас вскоре перестали, когда кончились продукты, вывезенные с Украины. Военные госпитальные, конечно, раненные, обеспечивались провизией нормально. А вольнонаемные получали утром из пекарни Госпиталя 500 гр. хлеба и баланду утром и в обед. Если в этой жижице попадался в тарелке кусочек картошки в ноготь, хвастались этим событием друг другу. Бывало, врач, уходя из столовой оставит на столе недоеденную корку, ее тут же кто-нибудь доедал. <...> Если доставали соль, то с очистками пировали. Слегка отварили их и потом немножко мутило. Я предложила: давайте печь в котлах – это оказалось значительно съедобней. Садились вокруг котла, в котором пеклась картошка, и грелись и ели хрустящую снедь и чувствовали себя почти счастливыми»[41].

Лариса Михайловна пользуется теми же выживательными тактиками, что и Евгения Григорьевна, неважно, что они родом из разных социальных пространств. Спичек не было, и люди передавали друг другу угольки, пишет она. Эти угольки – знак взаимной поддержки. Уголек подобен кусочку хлеба, который дает человеку возможность не умереть сегодня и встретить завтрашний день. Подругу ***«поставили в раздаточную, где вечером она должна была развесить на 250 человек раненных хлеб, сахар, масло и сыр. <...> Мы работали до 12-ти, а то и позже. Конечно, подкармливались за этой работой***[42]***. Сотрудники госпиталя подворовывали топливо. «Завхоз мог догадаться, что бомбили госпитальные, но он был добрый человек, понимая, что жить в квартире, в которой в ведре замерзает вода, при температуре на дворе 30–40°, невозможно»***[43].

Лариса Михайловна повествует о госпитальных буднях. Начальник госпиталя...

«...в условиях школьного здания, без водопровода, без электричества (на весь госпиталь была одна большая керосиновая



Эвакуация раненых. 1942 год

лампа для операционной и керосиновые мигалки не во все палаты) госпиталь был поставлен так, что не одна теперешняя больница могла бы взять пример и по чистоте и по уходу за больными. <...> Помню поступление раненых со Сталинградского фронта – 140 чел. Меня он (начальник госпиталя. – *Авт.*) *посадил в приемной, где их раздевали до-гола, парикмахер Поля брила во всех местах а затем они поступали в маленькую ванную, где их мыли и надевали чистое белье, затем препровождались в палаты. Все эти раненные были сплошь покрыты вшами. Белье усеяно насекомыми, а пояса трикотажных кальсон выглядели так, точно вышитые мелким жемчугом – от гнид. Я принимала их вещи, записывала и укладывала а мешок, затем они поступали в стирку, а то, что не стиралось, в вошебойку.*

Можно себе представить, как все это было трудно. Одна ванна, отапливаемая дровяной колонкой. На морозе мужчины (немногие рабочие госпиталя) пилят, колят дрова, а другие наполняют бочку водой из обмерзшего по краям колодца, обивая по-временам лед. Затем подъезжают к крыльцу и ведрами носят воду в колонку. А результат – образцовая чистота в палатах и ни единого насекомого. Нас всех осматривала ст. сестра или сестра-хозяйка, и если находила даже гниды в волосах, не допускала к работе, отправляя на санообработку»[44].

Лариса Михайловна объясняет, что такое «вошебойка», с помощью которой не на жизнь, а на смерть боролись с блохами и вшами.

«Когда прибыли бойцы Сталинградского фронта <...> начальник вызвал меня и сказал, что ставит меня на вошебойку, причем объяснил, что это вызвано доверием ко мне. А ответственность заключалась в строгом соблюдении режима этого прозаического процесса. Вошебойка представляла собой камеру около двух метров высотой и в основании примерно побольше кв. метра. Под ней малюсенькая топка для дров. Надо было развесить в камере вещи, плотно закрыть, затем нагрев до 90 гр., держать при этой температуре ровно 10 мин,

никак не меньше. Затем, открыв камеру, сняв еще не остывшие вещи, загрузить новые. В помещении, где была камера, был мороз, и я попросила выдать мне теплые вещи, чтобы не превратиться в сосульку в моем пальтишке. Мне были выданы солдатская ватная куртка, ватные штаны и валенки! Это было счастье! <...> Еще одну радость мне принесла вошебойка – чтение. Понятно освещена она не была, но сидя у топки, я читала при свете горящих дров. Дома мы очень экономно пользовались керосиновой лампой, огонь которой был величиной с вишневую косточку, не почитаешь»[45].

Эвакуированных одолевали не только вши, но и стенные блохи, с которыми боролись народными способами: *«Мы мыли полы с полынью, сами натирались ею и, ложась спать, обкладывали себя ветками. Тогда объясняли это явление, связывая его с наступлением Сталинградской битвы. Сейчас вспоминается, как, сидя в речке, обмоешься глиной вместо мыла. А потом разотрешься свежей полынью»*[46].

Героическая сторона войны – честная борьба, победа или смерть на поле брани – числится за мужчиной. На долю женщины приходится негероическое. Женские свидетельства, в том числе и рассказ Ларисы Михайловны, еще раз позволяют увидеть, сколь огромна была в годы войны роль «негероических» родов деятельности, которые все мы так легко обозначаем как «женское дело». В тылу на женщину ложится вся тяжесть поддержания жизни.

Лариса Михайловна отмечает, насколько тесными становились отношения в сплоченном коллективе раненых и персонала:

«Взаимоотношения персонала с ранеными были прекрасные (даже более того, были иногда от них дети). Между сотрудниками дело обстояло похуже, многие открыто стали жить парами, имея в тылу или оккупации семьи. Пары стали нормой у многих: врачи между собой или с сестрами, сестры с начальниками отделов госпиталя. <...> Поскольку в эвакогоспитале тяжелые случаи были редки, обычно дежурный врач разрешал сбор у рояля и под мою музыку в коридоре при

керосиновой лампочке были танцы, модные тогда фокстрот или вальс. Раньше я их не играла, а теперь подобрала с голоса, так что заменяла патефон. <...> Характерным для наших вечеров было оригинальное одеяние кавалеров – кальсоны и нижние рубахи, пижам в госпитале не было. Еще зимой накидывались на плечи странноватые длинные серые халаты, вроде шерстяные. Все мы, конечно, были в белых халатах. Расходились только с отбоем»[47].

Досуг раненых солдат. 1941 год

«Интересно вели себя легко раненные, ходячие бойцы. Летом они совершенно свободно ходили по улицам села, да и на свидание с девушками, а это было очень в ходу, одеты были <...> в кальсоны и нижние рубахи и назывались у нас "белоштанники". Мне тоже случалось быть объектом внимания "белоштанников"»[48]. *«Был трагикомический случай: в палате лежал больной с поврежденной кожей. Над его койкой была сделана палатка, чтобы простыня не вызывала боли (было лето). Однажды ночью деж*[урный] *врач застал под этим поло-*

гом медсестру. <...> Однажды принесли бойцу письмо из дому с вложенной в него похоронкой. Это вызвало радостный смех, т. к. родные уже знали, что он только легко ранен»[49].

Рассказ продолжается. *«Таким образом к концу 41-го года я оказалась более или менее в благополучии, не считая летней одежды. Связь с сестрой возобновилась, была почти сыта. Да еще, о радость, в госпитале оказался беккеровский рояль в хорошем состоянии – наследие немецкой школы. <...> Так получилось, что обязанности санитарки я совмещала с функциями культработника»*[50].

Когда задумываешься о том, что помогало нашей героине выжить, понимаешь, что культурный капитал занимал здесь далеко не последнее место. Она жадно читает, музицирует в самых невероятных жизненных условиях и обстоятельствах: выживая после ареста мужа, борясь с насекомыми, голодая и холодая[51]. Она стремится повысить степень самоконтроля: *«Мы с Ниной увлекались познавательной литературой. Как-то попался журнал, не помню название, – педагогический. Читали и делали выписки. Запомнила оттуда полезные советы: как владеть своим настроением»*[52]. Более того, складывается впечатление, что русская свобода[53] только и может существовать на грани выживания. Так свободен странник, не обремененный ни вещами, ни устойчивыми социальными связями:

«Вообще многие моменты в той жизни теперь кажутся фантастическими. Спрашиваю себя: Как же можно было так жить? Но зато – какая свобода! Как человек все-таки зависим от вещей. Можно понять странников, отшельников. Они ведь совершенно свободны для духовной жизни». <...> «Я жила в нищете: ни вещей необходимых (одежды), ни предметов быта: кастрюль, ложек, вилок, тарелок. Нашла ночной горшок и, выпарив его, я варила в нем, если было что сварить, например, летом суп с лебедой, капустными листами или добытой на собранном поле картошкой. <...> Потом поменяла этот горшок семье с детьми на кастрю-

лю. Поставив эту кастрюлю в печь с горящими дровами, вынула ее с выплавленной сбоку дырой. <...> Уборка в квартире совсем простая при отсутствии мебели, ковров. Стирка не набиралась. Мыла не было, стирали летом глиной в реке. Шить нечего, правда, я как-то нашла большой мужской носовой платок и сшила себе руками из него бюстгальтер[54]*. В общем, мы были свободны от бытовых дел, самых неинтересных и неблагодарных. Имея столько незанятого работой времени, проводила его в том же госпитале вечерами у рояля. Летом было легче, и не мерзли, и природа там хороша. Я бы назвала Левитановскими местами»*[55].

Отметим, что наша героиня сохраняет эстетическую диспозицию, хотя ее повседневность времен войны мало чем отличается от того, что претерпевала Е.Г. Киселева. Кстати, напомню, что еще до войны, когда Лариса Михайловна ездила на свидания с мужем в Ленинград, она отвлекалась от суровой реальности и укрепляла свой дух впечатлениями от ленинградских музеев.

Оценивая свой опыт времен войны, Лариса Михайловна пишет: *«Несмотря на всю тяжесть положения в эвакуации (полураздета, полусыта, болезни и пр.) вспоминается, пожалуй, больше положительное. Во-первых, я была довольна, что в силу своих физических и нравственных возможностей я приносила своей деятельностью пользу в тяжкие годы войны, всенародных страданий. Меня Бог миловал – не попала (фатально) в оккупацию, что было бы хуже всех переносимых бед»*[56].

В размышлениях о свободе воплощена некоторая сумма культурных коннотаций. В реальности же она рада вернуться к отягощенности бытом: *«Я наконец вернулась к нормальному быту и долго не могла нарадоваться, что сплю на кровати, укрываюсь простыней, одеялом, ем из тарелок с ложками, вилками, пью из чашек, да еще с авторским танечкиным оформлением»*[57].

Она воссоединилась с сестрой весной 1943 года.

По дороге домой Лариса Михайловна попадает в Сталинград. Она рисует пейзаж после битвы:

«Все превратилось в какой-то бытовой мусор с искореженными железными предметами быта, от чайников, корыт до кроватей. От деревьев только несколько обгорелых стволов. И, вот, удивительно: местами доносились человеческие голоса из-под земли. Еще оставались живые люди! А издали виднелась очередь у водопроводной колонки. На краю вокзальной площади «жилье», сооруженное из мятого кровельного железа, обломка стены, возле привязана коза, на земле стоит примус. <...> Города не было! А он жил!»[58]

Главный ж/д вокзал Сталинграда. 1943 год

В июне 1943 года Лариса Михайловна поступает на работу в заводской клуб культработником, она руководит самодеятельностью и с увлечением готовит концерты и ставит пьесу о героине-подпольщице. В 1944 году переходит в художественную лабораторию.

Уже в Подмосковье она встречает день Победы. *«Трудно вспомнить отдельные какие-то моменты этого дня – просто сплошное ликование»*[59]. Только в 1946 году ей удалось посетить семью мужа в Николаеве.

«Рассказам не было конца о переживаниях их в оккупации, моих в эвакуации. Я считаю, что мне тогда, когда в Ленинграде достали один билет, очень повезло, что я не попала под фашистов. Если бы я уцелела при них, то могла бы пострадать от своих. <...> А это еще страшнее, чем холод, голод и пр. пережитые мною тяготы. <...> Помню – плакали мы при встрече с Анной Николаевной. Она рассказывала, какой гнет на душе испытывала в период оккупации. Она находила какое-то облегчение, ходила в церковь. У Зиночки К. на квартире стоял какой-то военный немец, но повезло – оказался человеком, не причинил им зла. А вообще бесчинствовали они, на площади у рынка стояла виселица. <...> Разрушений в городе было сравнительно немного»[60].

Когда война вроде закончилась, еще продолжают жить не только воспоминания. Живым напоминанием служат пленные немцы.

«У нас в Художественной лаборатории работал художник – пленный немец, окончивший Дюссельдорфскую академию. Он рисовал очень грамотно и очень сухо. Человек был замкнутый и, чувствовалось, не расположенный к нам. Вообще прежних немцев на заводе было порядочно. Жили в бараке под охраной, работали в основном рабочими. Они получали паек, как и наши рабочие, но им его не хватало. Помню, как один из них что-то украл, и его побили рабочие. А противоположное отношение русского человека. Это наша тетя Фрося уборщица, давала пленным хлеб, жалела. Это в то время, когда немцы в Белоруссии повесили ее сына. На недоуменные вопросы на этот счет отвечала, – ну это другой был. Помню у нас что-то было с электричеством, и прислали ремонтировать немца Ганса. <...> Он все очень аккуратно починил (это черта национальная), мы дали ему поесть. Вот смотреть процесс еды (именно процесс) было забавно. Голодный человек не ел, а совершал потребление пищи. Казалось, что он осмысливает каждое движение. Вот я положу в рот хлеб, теперь возьму ложку и наберу еды, потом возьму ее в рот. А вот как они шли бес-

Колонна пленных немцев. 1944 год

смысленно умирать за Гитлера, непонятно. Тут уж, наверное, преобладала другая черта – дисциплинированность, исполнительность. Был один пленный Франц, симпатичный. Он был великолепный портной мужской. Шил всем – и начальству лагеря и заводским безукоризненно. Его уважали, разрешали свободно ходить. <...> Он был сын владельца швейной фабрики. Рассказывал, как отец не разрешал детям подолгу спать, подымал рано и гнал на фабрику работать. Вот он и не пропал в плену. Был и сыт и почти свободен. Характер у него был оптимистичный, почти веселый»[61].

Фарфор, керамика и Сталин

С января 1946 года Лариса Михайловна работала в художественной лаборатории Лобненского завода строительной керамики, куда перешла работать вся семья, то есть сама героиня и сестра Татьяна с мужем Василием. Потом она работает некоторое время на Кучинском заводе керамических блоков. В 1953 году ее увольняют по сокращению штатов, выдав положительную характеристику. За эти годы Лариса Михайловна стала художницей

по фарфору и керамике, в 1950 году она вступила в Московский областной союз художников в секцию прикладников[62]. Это позволило ей работать на вольных хлебах, не считаясь *тунеядкой*.

Одним из ключевых моментов *рассказа о себе* служит история профессионального становления. В архивном фонде есть фотографии, на которых фигурировали произведения ее рук – чашки, блюда, вазы. Но что это? В 1948 году, когда муж еще сидит в шарашке, она лепит барельеф с портретом Сталина. 28 декабря 1949 года в Музей революции СССР панно «Сталин – сердце народа» передают в качестве подарка вождю от Лобненского завода строительной керамики. Она делала декор для гостиницы «Украина» (картуши с дубовым венком над окнами), керамический декор для здания МГУ на Ленинских горах, то есть мелкие рельефы и украшения сталинских фасадов, приглашающих рядового советского человека принять участие в празднике изобилия. Ее сестра сделала до войны блюдо с портретом Ворошилова в орнаменте, а после войны декоративное керамическое панно с портретом Зои Космодемьянской. В фонде хранятся эскизы для сувенирных тарелок к VI Всемирному фестивалю молодежи и студентов (1972 год).

На фотографиях то, о чем умалчивается в тексте записок.

Записки индивидуальны, в них слышен голос пишущей. Героиня пишет *своим языком*. Это правильный литературный язык. Рассказ героини вполне можно интерпретировать как повествование жертвы режима. В тексте, кстати, не так уж много идеологических клише. При сопоставлении с фотографиями картина утрачивает определенность. Изображенное на фотографиях легко интерпретируется в рамках концепции всепроникающей тоталитарной власти, которую не замечают, но которая присутствует везде.

В записках, кстати, факт создания барельефа с портретом Сталина рассматривается просто как профессиональное достижение: ***«В 1943 году сделала лепное панно с барельефным портретом Сталина, которое было подарено ему в юбилейный год. <...> Вот и доказала свою самостоятельность в творчестве. Работа была оценена удачной, была на художественной выставке, посвященной юбилею Сталина»***[63]. Изготовление портретов вож-

дей – просто способ зарабатывания на жизнь. Лариса Михайловна рассказывает о буднях рядовых производителей идейной массовки. В этой области тогда царил ремесленный труд, художественное духовное производство не было таким уж массовым, хотя пишущая употребляет это определение.

Производство на фабрике художественных изделий. Конец 40-х годов

«Тогда массовым потоком шли портреты Сталина и др. членов Политбюро в технике сухой кисти на полотне. Художник, владевший этой массовкой в совершенстве, стал нас и Б-а [Василия Боголюбова, мужа Татьяны] учить. Это делалось так: было несколько трафаретов, по которым делалась основная подготовка, каждый трафарет был для определенного цвета и черт лица. Мы взялись за Сталина как за самый ходовой товар. Обзавелись "дырочками" – глаза, губы, усы и проч. После трафаретной подготовки портрет заканчивался от руки, и тогда утверждался худсоветом, а затем Главлитом. Не помню, сколько платили за эти портреты, но пока мы их освоили, пришло время их отмены»[64].

В 1950-е годы они занимались оформление клубов и праздников. В 1956-м оформляют елку в Колонном зале.

Противоречие вербального и визуального, которое остановило мое внимание, еще раз с очевидностью дает понять: невозможно рассматривать советское общество и культуру только как эманацию власти, как отношение, где есть один субъект и центр круга жизни – власть, а где все остальные люди – лишь объект властного воздействия. Осуществление власти невозможно без *согласия*, без соучастия тех, над кем властвуют. Соотношение добровольности/принудительности, желания/принуждения могут быть разными. Лариса Михайловна не любила Сталина, как Владимир Ильич, но она охотно делала барельефы, а тем более оформляла Колонный зал.

Всегда имеет место некое априорное молчаливое согласие относительно значения мира, согласие, которое лежит в основе опыта мира как мира здравого смысла. Закон пребывает за пределами мира людей и встраивается в их язык и тело. Государство имеет способность и возможность налагать способ видения и соответствующие ценностно-оценочные структуры. В то же время понимаешь, что никакие правила не могут реализоваться, не будучи воспроизведены людьми – неважно, подтверждают ли они громко свою веру в правило, молчаливо подчиняются или даже выступают против. Случай Ларисы Михайловны свидетельствует о неоднозначности и сложности картины. Достаточно сопоставить: трагическое лицо на фотографии 1937 года и фото с барельефа со Сталиным, которые мирно сосуществуют в личном фонде Ларисы Михайловны[65].

Названное противоречие попросту поражает. Хотя, если внимательно прочитать текст воспоминания, то и там мы обнаружим случаи цитирования советского дискурса (или идеологического метанарратива).

Вот отрывок из рассказа о жизни в эвакуации. ***«Нельзя сказать, что мне жилось хорошо с соседями. Это был совсем чужой мир, ненавидевший все советское. Мать и дети по вечерам пели католические молитвы»***[66]. Запись свидетельствует, что Лариса Михайловна в советский мир все же вписалась. Приведу еще один отрывок:

«Это было в 1939. Мы с приятельницей смотрели к/ф «15 лет без Ильича». И вот когда на экране был гроб с телом Ленина, сменяли почетный караул и вошел Сталин, зал зааплодировал (!) <...> Мы с приятельницей только переглянулись. В этой массе не было ни чувства скорби по Ленину, но не было и любви к Сталину. Просто стадное чувство – положено Сталину аплодировать, даже когда рядом гроб с телом Ильича. <...> Сейчас не могу согласиться с теми, кто по радио и в прессе высказывает мнение, что, мол, нельзя осуждать то поколение, они, мол, верили Сталину. Были верующие, но в массе больше проявлялся страх за свою судьбу»[67].

Получается, что и для нашей героини гроб Ленина, тело Ильича – священные предметы, то есть классификации доминирующих для нее естественны. Сама же Власть зловеща. Недаром она часто пишет это слово с заглавной буквы. Ее муж в заключении, она чувствует дыхание власти в затылок, хотя иногда ей кажется, что власть – это фикция.

Так или иначе, получается, что советская культура – отнюдь не наносное дискурсивное образование. В этом отношении обращение к данному фонду с его коллажем записок и визуального материала особенно интересен. Во всяком случае ответ на возникающие вопросы невозможно дать по принципу «или-или». Автор записок ни в коем случае не сочтет себя соучастницей, пособницей власти. Она никогда не была «за», и в своих записках она это объявляет. Ведь Лариса Михайловна сама себя определяет как потерпевшую и подвергает свершившуюся историю нравственному суду.

«Доброе отношение, взаимопонимание между людьми считаю одной из великих ценностей жизни, наряду с природой, музыкой, вообще искусством. Такая значительная область человеческой деятельности, как политика, всегда была наименее любима мною. Политически считаю себя малограмотной (не была ни в Комсомоле, ни в Компартии), но судить о политике вообще как в историческом прошлом, так и в современности – осмеливаюсь сказать – борьба за власть (не гнушаясь

террористическими актами против соперников), лицемерие присуще политическим деятелям всех времен, стран, партий, ее нельзя назвать нравственной. <...> Я являюсь не только свидетелем ее результатов, но и потерпевшей»[68].

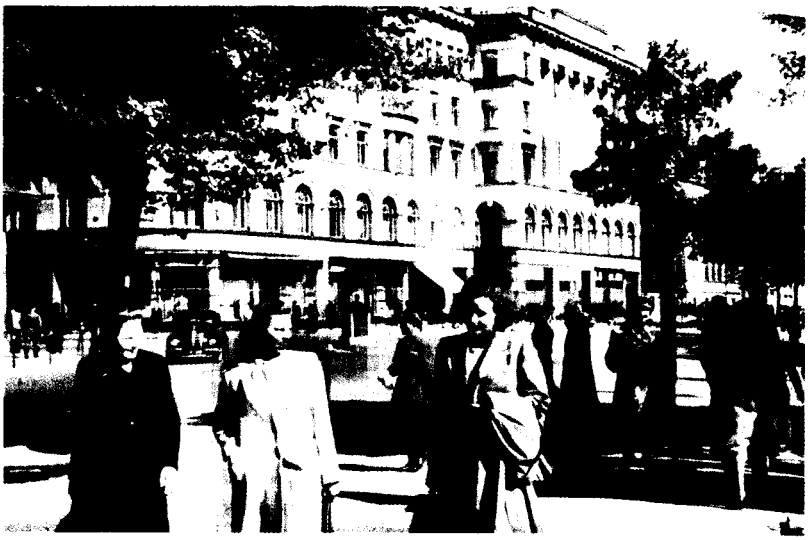
Член Союза художников и туристка

Став членом Союза художников, Лариса Михайловна уже не со *всем народом*, как во время войны. Она оказывается в поле культурного производства. Она желает быть отделенной от *социально чужих*. Добиться этого трудно. Когда в 1951 году она переезжает в Кучино, возникает квартирный вопрос. Квартиру из трех комнат она и сестра с мужем *получают* как две отдельные семьи, то есть квартира как бы коммунальная. Это *ведомственная жилплощадь*. В ее комнату чуть было не подселили девушку-рабочую. ***«Тут тоже пришлось поволноваться, т. к. директор давал эту комнату на двоих с Аней М., но по счастью его зам <...> дал мне ордер на эту комнату для меня одной, а Аню поселил с др. рабочей девушкой в соседнем подъезде»***[69]. Но все кончилось тогда хорошо[70].

Члены Союза художников имели право время от времени ездить в Дома творчества. ***«Что стало самым нужным, желанным, это получить путевку в творческую группу, особенно в Дом творчества в Дзинтари***[71]***. Это бесплатные путевки, оплачивался проезд. Там предоставлялось помещение, иногда на одного человека, питание (вкусное) и, при надобности, лечение, морские ванны в курортной поликлинике. Для нас – женщин это был просто рай. Никаких хоззабот, только твори»***[72].

Институт Домов творчества возник еще в 1930-е годы. Лариса Михайловна получила возможность пользоваться им только с конца 1950-х. Любимым ее местом стала Прибалтика.

«Вот сейчас происходят непонятные трения в межнациональных вопросах. Трудно понять, откуда они, когда мы так тепло дружили и с латышами, хозяевами дома и с др. прибалтами и вообще с людьми разных национальностей, художниками.



Рига, улица Кирова. 1952 год

Правда, в магазинах Риги, иногда на улице, можно было почувствовать неприязнь к русским. В Прибалтике очень заметно отличалась культура быта не в пользу нашей. Чистота на улицах образцовая, а наши (даже художники) допускали окурки на тротуаре»[73].

«В начале 60-х годов мы могли работать в творческой группе на Комбинате Художественного фонда в Москве <...> В начале я осваивала технику Майоликовой росписи, резко отличающуюся от фарфоровой. <...> Вот в Риге дело обстояло лучше. Есть небольшой экспериментальный завод, где местные керамисты постоянно могут выполнить свои работы в материале. А мы, областники и москвичи должны дожидаться очереди на творческую группу на 3 месяца. <...> И даже в группы «за свой счет» тоже очередь»[74].

Лариса Михайловна повествует о символической борьбе в поле художественного производства, ставкой в которой были в том числе и поездки в Дома творчества. Постепенно ***«небольшой дружный коллектив конца 40-х – начала 50-х годов разросся и разделился на воинствующие группы. При выборах в Правление***

Союза каждая группа старалась выбрать своих[75]. *<...> Конфликтные ситуации возникали, в основном, на почве оплаты труда; не зарплаты, а гонораров за творческие работы, заказные, или самостоятельные авторские, приобретенные с выставок закупочными комиссиями Худ. Фонда, Министерства культуры и др.»*[76]. Здесь возникали *приспособление, угодничество, даже взятки.*

Наступает время, когда Лариса Михайловна начинает вести образ жизни и осуществлять практики, в которых культурный капитал имеет главное значение.

«В 1964 г. была Российская выставка Прикладного искусства в Ленинграде в Русском музее. <...> Жили в гостинице «Россия». Часто бывали у Нины Н, подруги детства, жившей рядом с музеем на площади Искусств. <...> Спали мало, надо было посетить побольше музеев и знакомых. <...> В Смоленске была на вернисаже зональной выставки. <...> У меня на этой выставке был договорной комплект из трех ваз (это он был принят аплодисментами Выставкома) и еще ряд встречных работ. Кроме встреч на выставке и торжественного ужина в ресторане «Днепр», где Лев Кербель мастерски играл на ложках, осматривали город, старую крепость и, уже самостоятельно, Смоленский собор, действующий. Тогда посещение подобных памятников архитектуры, в которых была служба, было, мягко говоря, не принято, и мы втроем во время службы пошли тайком. Но боялись зря – наше все начальство приехало специально на службу автобусом местного худ. Фонда»[77].

Постепенно Лариса Михайловна обрела свободу. Свободу от мужа, от каждодневного хождения на службу. Она, вероятно, чувствовала себя то странником, то перелетной птицей. А потому, наряду с пребыванием в Домах творчества, участием в выставках, ее любимым занятием стал туризм – как *культурное* странствие, как выражение полноты жизни, ее нового качества. *«Самые счастливые периоды – это пребывание в творческих группах, поездки на вернисажи в Ленинград, Смоленск, и в Кали-*

нинграде-Кенигсберге побывали». Недаром она хранит благодарности, полученные за участие в культмассовых предприятиях в домах отдыха и туристических путешествиях.

Туристический лагерь. Конец 50-х годов

Вот запись, в которой объединились обе разновидности практик. А кроме того, нельзя не отметить и еще один момент. Она прокатилась на теплоходе, который был личным теплоходом Гитлера.

«Путешествия – моя страсть, поэтому, отдыхая в санаториях, не пропускаю ни одной экскурсии и еще езжу индивидуально по интересным местам.

Одно из них – Геленджик. <...>Там купалась, ходили на гору, а потом купили экскурсионную путевку в Сочи из Новороссийска т/ходом "Россия", бывш[ий] ***"Адольф Гитлер". Комфортабельный т/х, показывали комнату, служившую Гитлеру кабинетом. <...> Обратно на т/х я не вернулась, а поехала в Хосту, где купила в Доме творчества курсовку на лечение.***

Тогда Дом занимал только двухэтажный дом, бывшую дачу Куприна. Жила я поблизости от Дома, а время проводила в компании художников. Дом давал раз в неделю художникам машину открытую, для поездок на этюды. <...> В 58-м еще сохранялись дикие пляжи»[78].

Она нашла нишу, где чувствует себя уютно. Более того, здесь она лидер и ведет за собой других. Для тогдашнего советского общества подобный тип практик несомненно был элитарным, хотя Лариса Михайловна не принадлежала к высшему слою советской элиты.

Для нее поездки в Прибалтику равны поездкам в Европу. Это «наш Запад». ***«Экскурсии доставляли мне большое удовольствие. <...> А тут своеобразие архитектуры прибалтийских городов, особенно старых улиц. Могу считать, что побывала в Европе»***[79]. Крым и Кавказ тоже любимы. ***«В Крыму я бывала в молодости в 35-м, 36-м и уже с мужем в 37-м. А на Кавказе впервые в 58-м <...> Десять раз я побывала в Хосте в Доме творчества и каждый раз много ездила с экскурсиями и самостоятельно от Сочи до Сухуми»***[80]. Место духовного паломничества – Пушкинский заповедник. Лариса Михайловна вспоминает, как в 1973 году она была свидетелем слез на глазах экскурсантов.

В 70-е годы у Ларисы Михайловны появилась молодая подруга, почти дочь (разница в возрасте – 26 лет), которая с удовольствием разделяет с Ларисой Михайловной культурные практики. Вместе ходят в кинолекторий, в театр (И. Смоктуновский в роли царя Федора), в консерваторию по абонементам. Молодая подруга сама организует экскурсии (Абрамцево и Бородино, Мелихово, Марфино и Ростов-Ярославский). Они вместе ездят в Ленинград, гуляют «на природе». Разговаривают о своих культурных пристрастиях и вкусах, делятся книгами, влияют друг на друга. Подруга под влиянием Ларисы Михайловны усомнилась в качестве живописи Константина Васильева. Сама она просвещает Ларису Михайловну относительно Марины Цветаевой, делится самиздатовским Булгаковым.

По воспоминаниям нашей героини можно увидеть, как свое практическое знание она передает уже следующему поколению.

Возникает среда, в которой главной ментальной оппозицией являются «практичность/благородство души». Это среда аполитичная, знаком которой является *непрактичность*. Туризм – деятельность *непрактичная* – знак причастности. Эта среда испытывает интеллектуальное превосходство по отношению в «начальству», которое практично. В советском социальном пространстве эта среда имеет свой собственный участок (не такой уж, кстати, маленький). Представим себе мысленно население разного рода НИИ, в том числе «секретных», выросших из *шарашек*, подобных той, в которой томился муж нашей героини.

В рукописи есть еще один мотив, связанный с темой народа.

Действительно, в мемуарах время от времени звучат сентенции «о народе». Вспоминая годы детства, проведенные в деревне, Лариса Михайловна пишет: ***«Не помню никакого хамства. Была своя деревенская культура»***[81]. Она употребляет выражение *«народный патриотизм»*.

Народное – простое, неискушенное и, конечно же, аутентичное. В пассажах рукописи, посвященных «народному», прочитываются коннотации «народной правды», подлинности в противоположность городской испорченности: ***«Еще не исковерканная природа, не разрушенные традиции. Недалеко от берега реки <...> белая церковь. Мы с сестрой очень любили ходить туда смотреть венчальный обряд»***[82].

Лариса Михайловна от народа себя отделяет. В ее тексте нет никаких признаков овладения «культурностью», как у других наших рассказчиков. Она сама *носитель культуры*.

Причисляя себя к интеллигенции, семья полагает необходимым народ просвещать, цивилизовать. В течение практически всего советского периода это называлось *«вести культурную работу»*. В рукописи есть свидетельство этому. Отец Ларисы Михайловны, как участник самодеятельности, получил 9 июля 1924 года справку, текст которой воспроизводится в воспоминаниях:

Справка

«С организацией Ликбеза тов. Деморей является председателем в правлении, которым и значится до настоящего вре-

мени, состоит членом драмкружка, читает научные лекции. В местном Кружке проявил себя как способный музыкант на рояле, в чем Свято-Троицкий с/с удостоверяет»[83].

Лариса Михайловна тоже всю жизнь активно занималась культурно-просветительской работой. Какое-то время она была штатным культработником. Она несет в себе инкорпорированную традицию. Народ же всегда просвещен недостаточно:

«Не почувствовал наш народ, увы, что Революция была совершена высокоидейными людьми не для своих собственных благ, а для лучшей жизни всех народов страны. Не появилось чувство собственного достоинства, право иметь свое мнение в различных вопросах. Постоянно фразы "Начальству видней"»[84].

Народ и цивилизован тоже недостаточно:

«Горжусь, что я русская, люблю русский народ за открытость, незлобливость, песни русские! Но в некоторых случаях берет досада, что не хватает самоуважения и, чего греха таить, аккуратности. Даже те, кто в своем доме держит порядок, в общественных местах не находит нужным его соблюдать. У нас у дома хороший садик, но окурки, бумажки и прочий мусор засоряют его. Пока были загородки, были цветы, кусты, сняли забор – все вытоптано, даже кусты»[85].

Лариса Михайловна стоит на стороне объективности:

«Не могу не высказать мысли о том, что нам свойственны крайности. От возвеличивания личностей и фактов истории до полного уничтожения абсолютно всего, что было, отрицания, высмеивания прошлого. <...> НЕЛЬЗЯ так, нужен объективный подход. Да, происходит переоценка ценностей, но если бы в нашем прошлом не было ничего положительного, то мы бы уже не существовали как Государство. <...> Трудно восстановить храм в душах людей. Я уже

вспоминала о том, что еще до войны сохранялась своя культура во всех слоях народа, была она своя у жителей деревень, хотя безграмотных, своя у рабочих. И те, и другие уважали себя, уважали интеллигенцию. Постепенно все перемешалось и все стали грамотные, но интеллигентов почти не стало»[86].

Рассуждая о том, кто такие простые люди, она тем самым себя к ним не причисляет:

«...терпеть не могу, когда люди скромно называют себя «простыми людьми», не являясь по сути таковыми. Они чаще – воинствующие хамы. Вот с этой последней категорией не нахожу контакта, просто избегаю общения. Мои друзья как раз и есть простые люди в лучшем смысле этого слова. Среди них – профессор-доктор филологических наук, художники, кое-кто, как и я со средним образованием, а то и без него, но со своей внутренней культурой, самоуважением (без заносчивости), с чувством такта.

А еще не люблю так называемых интеллигентов. Имею в виду людей из простых семей, получивших высшее образование и всячески старающихся подчеркнуть свою интеллигентность (в кавычках) именно отсутствием простоты. Высокомерный тон, претензия на хорошие манеры (часто смешная). Они ни в коем случае не назовут себя простым человеком, а вот относиться к простому человеку могут свысока, думая, что это их возвышает»[87].

Словом, несмотря на отсутствие высшего образования, Ларисе Михайловне свойствен интеллигентский комплекс с его двойственным отношением к «народу», с колебаниями между духовным аристократизмом и народопоклонничеством.

***

Свою рукопись Лариса Михайловна начала писать в 1990 году. Она напечатана бледным шрифтом: купить что бы то ни было, в том числе и ленту для пишущей машинки, было тяжело.

«Август 1990 г. Время трудное, но интересное. Перемены в стране колоссальные. Но чувствуется упорное сопротивление злых сил, которым перестройка ни к чему, что мешает жить привычной жизнью паразитов. Дай Бог победить добру. Трудно это, т. к. зло росло еще с периода Гражданской войны. Далее пришли к власти «коммунисты», по сути дела карьеристы. К сожалению, наш народ не имел мужества, да и достаточного развития самосознания, чтобы противостоять не только деспотизму сталинского периода, но и безнравственности последующих «вождей». <...> А теперь стали слишком храбрые на выкрики на митингах, забастовках и т. п. действиях, не способствующих улучшению нашей жизни... Вот и думаю – не дожить мне до лучших времен»[88].

3 октября 1996 года, откликнувшись на призыв радио «Россия» назвать главные события XX века, Лариса Михайловна назвала следующие:

1. Революция 1917 года, свержение самодержавия.
2. Преступления Сталина и его коммунистической клики: репрессии 1930–1940-х годов.
3. Великая Отечественная война 1941–1945 годов.
4. Распад великой державы СССР в 1991 году.

Тем самым она засвидетельствовала, что жила по советскому календарю. *Недаром распад великой державы вызывает боль.*

«Последнее СОБЫТИЕ 20-го века – тяжкое – распад СССР. Идет ломка нравственных начал: многие стоявшие близко к Властям, сразу стали миллионерами. А простые труженики? Многие растерялись, оказавшись на грани «выживания». Но я верю в Величие Российского народа, победившего в страшной войне фашизм. Победит он и «политические игры» множества партий, дерущихся за власть. РОССИЯ возродится в своем ВЕЛИЧИИ. 8 октября 1996 г.»[89]

Рассказ Ларисы Михайловны завершается цитатой из большого нарратива о Родине, великой и могучей, родине, за которую можно и пострадать, и отдать жизнь[90].

Подведем некоторый промежуточный итог. Надеюсь, читателю удалось увидеть, что люди, рожденные в разных социальных пространствах, по сути, следуют одним и тем же правилам игры – как кодифицированным, так и некодифицированным. История каждого уникальна, у кого-то она совпадает с нормативным биографическим нарративом, у кого-то нет. Одни играют охотно, другие не очень, а третьи (как Евгения Григорьевна), казалось бы, вообще не пытаются. Но общая игра, называемая советским обществом, как мы его знаем (и узнаем по приведенным рассказам), возникает как непреднамеренный результат. Еще раз повторим, использование понятия и метафоры игры позволяет объяснить, как на одном поле и по одним правилам начинают действовать участники, разительно друг на друга не похожие.

Объем этой книги, ограниченность времени жизни ее автора, сам метод, подразумевающий длительную кропотливую работу, не позволяют развернуть столь широкую панораму, как этого хотелось бы. Думаю, что в одиночку с такой задачей вообще справиться невозможно.

В этой (весьма короткой) главе ответ на поставленные вопросы дается на примере поля культурного производства, главным образом литературного[1]. Во-первых, это поле не является общим, охватывающим всю социальную реальность, наподобие полей экономической и политической власти. Кроме того, в СССР культурное поле было лишь относительно автономно. Оно тесно связано с общесоциальным полем власти и идеологии. Во-вторых, мы имеем в наличии наибольшее число нарративов, касающихся практик в этом поле.

В поле специализированного производства культуры действовали, как минимум, два типа агентов. Одни – те, что недавно покинули крестьянскую или мещанскую городскую среду и вошли в мир письма и печати. Напомним, как наш герой, юный Степан Филиппович, мечтал стать писателем. Кажется мне, что и дневник свой он писал не без мысли – ни дня без строчки.

Новые литераторы были разными людьми. Одни являли собою тип старого российского мечтателя, пересаженного на советскую почву, из тех, кто снимал иконы, а на их место вешал портреты Маркса, Ленина и Розы Люксембург, а по праздникам, одевшись в чистое, читал энциклопедический словарь. Другие – «прагматики», одержимые торопливым желанием хорошо жить («пожить и пошататься», говоря словами Зощенко). Слово «прагматики» хочется взять в кавычки, ибо эти люди не столько рассчитывали рационально, сколько их просто «несло» течением жизни. Ставшие профессионалами приобщились к очередной волне российского просвещения[2]. Они верят в рациональное переустройство мира, человека и его сознания. Они с охотой овладевают новым языком, который видится им «естественным». Практическое чувство подсказывает им, что история «дала шанс», и они этим шансом пользуются. Идеологический язык и язык нормы совпадали. Нетрудно себе представить: недавно научившись читать и писать, крестьянин или молодой человек из маленького провинциального городка со страстью неофита творит лебядкинскую поэзию[3]. Как *пролетарский элемент* он оканчивает рабфак, поступает в Литературный институт, детище А.М. Горького, и становится советским прозаиком или поэтом, который пишет не своим языком, а языком власти. История писателей такого сорта прекрасно описана Е. Добренко[4]. Тот же процесс превращения идеологических клише в идиомы повседневного языка наблюдается и у непрофессионалов, как показано выше. У писателей эти клише становятся предметом деятельности, они творят их сами.

Эти люди – идеальные игроки культурного поля, ибо стараются точно следовать правилам. Понятно, что, как и во всякой игре, они не только выигрывают, но и проигрывают. Их наказывают, лишая достигнутого с таким трудом (а порой и жизни), их

выдвигают и ссылают, казнят и милуют. Но вот еще один интересный вопрос: как вступали в это поле, где действуют общие правила, литераторы, совершенно *не похожие* на «свежих» писателей и производителей идеологии, социализировавшихся уже в советском обществе?

Бывшие люди в новом обществе

Речь идет о группах писателей, которые или прошли социализацию в дореволюционной России (М. Булгаков), или нашли свое место в поле литературы до того, как в стране начались радикальные перемены (М. Пришвин, К. Чуковский, А. Толстой). Это те, кто помнил «другую жизнь», «прежние годы – милые» (дневник К. Чуковского от 27 февраля 1923 года)[5].

Если у «свежих» писателей отсутствовала позиция по отношению к происходящему, то этого нельзя сказать о писателях из второй группы.

Для большинства из них происходящее в послереволюционной России – пляски дикарей. К. Чуковский отмечает, что вокруг *«**"некультурные" лица, вонь, грязь и полное отсутствие интеллигентных физиономий**»*[6]. Вожди также не вызывают симпатии: *«**До чего омерзителен Зиновьев. Писателям не подает руки**»*[7] (дневник от 10 июня 1924 года). Историк, впоследствии советский академик Ю.В. Готье замечает в дневнике, что историческую сцену заполонила *«**гориллья публика**»*[8].

Те, кто резко перешел на сторону советской власти подобно В. Брюсову, вступившему в коммунистическую партию в 1919 году, также ощущают, что попали в социальный вакуум. Так, литератор Я. Черняк, описывая юбилей В.Я. Брюсова (1923), обращает внимание в дневнике: *«**В черном сюртуке, молчащий и как автомат кланяющийся и пожимающий руки, он был страшен и жалок. Ни одного сверстника! Ни одного сотоварища по действительным литературным связям. Ни одного искреннего поздравления, горячего привета**»*[9].

Бывшие люди ощущают себя чужими и неприкаянными, ибо перестало существовать поле культурного производства, отношения в котором были им понятны. Они вырваны с корнем и не

могут играть привычные роли – пьеса уже другая. Завязка имеет место, а развязка – во мраке неизвестности. Невозможно продолжать привычные практики: профессор вынужден ходить пешком через весь город, таскать на себе мешки с продуктами, а литератор – читать лекции «гориллам». Они мечтают уехать. До поры до времени они воспроизводят спонтанную социологию группы, к которой принадлежали, а значит, соответствующую картину мира и «взгляд на вещи». Прошлый опыт активно присутствует в форме схем восприятия, мышления и действия.

Но вот те, кому пришлось уехать, уехали, а другие остались. Что происходит? Сначала настроение *спать и видеть сны*, погибнуть или быть собой, по крайней мере, воспитать детей в соответствии с собственными идеалами и понятиями. Они продолжают делать то, что могут, что диктует их *габитус*. Однако почва выбита из-под ног. Нет оснований для того, чтобы жизнь продолжилась. Быть в башне и оттуда созерцать и понимать эпоху оказывалось невозможным.

Разрушающаяся башня культуры – ключевая метафора в романах К. Вагинова[10]. В «Козлиной песне» башня превращается в башенку бывшей купеческой дачи в Петергофе, где собирается нечто вроде литературного салона. Потом и эта башенка разрушается. Она исчезает с лица земли так же, как разрушаются вещи – свидетели жизни иной. Люди, посещавшие башню, больше не пишут книг, ибо этим книгам не суждено выйти в свет. Они ощущают, что для вопросов, которые их волнуют (например, вопросов философии и методологии), попросту нет аудитории.

«Неучаствующие» могут разве что записать в дневнике подобно М. Кузмину: ***«Вечером в стиле Рембрандта было на дворе под открытым небом жактовское собрание»*** (14 августа 1934 года)[11]. Это видение постороннего. Только невключенность в игру способна породить эстетическую ассоциацию с Рембрандтом. Они пишут о том, что прошло. У Кузмина в дневнике 1934 года появляются картины детства, воспоминания о счастливых 1905–1907 годах. В новом мире он занимает позицию зрителя (насколько это было возможно). Позиция эта имеет свою цену. Скорбная верность прошлому означала голодное существование, а то и несуществование.

Запись Кузмина от 30 августа 1934 года: ***«Все полны съездом, о Западе сквозь правительственные очки, о Горьком, Толстом, Маршаке, о Малом театре. Я совсем везде не причем. <...> Все очень далеко от меня»***[12]. Они могут, конечно, объявить этот мир «мрачной чепухой» (дневниковая запись М. Кузмина от 31 августа 1934 года)[13], ругнуть современность, ***«духовно плюнуть»***[14], по выражению К. Вагинова, в сторону марширующих пионеров (вероятно, «духовный плевок» у Вагинова – аллюзия на «духовный расстрел» у Н.Н. Бухарина). Но *«гнусная эпоха»* их ломает. Они сброшены с башни и стоят перед альтернативой: участвовать или исчезнуть. Можно было, конечно, ощущать пародийность нового мира, ибо этот мир движется в своеобразном ритме по отношению к *норме*, к некоторому *правильному* метру (вернее, к тому, который полагают правильным). Исчезли пространства воспроизводства агентов данного типа. Лишь некоторые из них (М. Зощенко, К. Вагинов и др.) проявляли искреннее любопытство к новому миру.

Происходит борьба разных человеческих видов, разных «социальных конструкций человека». С одной стороны, речь идет о тех, кто понимает, что «веселая и счастливая жизнь это не безболезненный самотек, а трудное аскетическое ограничение и самовоображение, почти очковтирательство, но только так жизнь может быть активна и продуктивна. Боюсь только, не отлетит ли тогда от жизни то, что называется жизнью, и не впадет ли она в производственный кризис»[15]. И о других, которые этого не подозревали (М. Бакунин) и которых, конечно же, больше, много больше. Сообщества, в которых производство *«Я»* достигало высочайшей степени рефлексивности, были как бы и не к месту. Нужны ли были люди, которые писали, подобно М. Кузмину, дневники, предназначенные для совместного прочтения в сообществе?

Тем не менее жизнь вокруг кипит. Родилось новое поколение. Новые праздники приобретают *«общенародный и непринужденный характер»*[16]. Постепенно происходят изменения, в результате которых «старые» литераторы начинают играть на одном поле с новыми людьми. Сказанное не означает, что люди постигли правила, осознали их и начали игру. Нет, они вместе с

другими вступали в область *«совершенно новых, трудно постигаемых отношений»*[17]. Мы же вступаем в область практических схем, непрозрачных для самих «носителей».

Восстановление нормы

Объясняя происшедшее, указывают в первую очередь на страх смерти. Да, действительно, смерть была ключевым действующим лицом исторической драмы. Смертельная угроза – предварительное условие, предпосылка изменения людей и общества. История грустна. Дыхание смерти ощущали практически все люди, включая тех, о ком шла речь выше. Пресловутый страх той эпохи (1920–1950-е годы) не сводился к прямой угрозе жизни. Он многослоен. Уместно напомнить о проблеме, которая в социологии или антропологии принадлежит к числу вечных. Это проблема *нормальности/отверженности*. Человек, живущий в непривычном для себя обществе, как правило, испытывает страх остаться *вне игры*. Вспомним метафизический ужас отверженности, который испытывал М. Зощенко, попытки М. Булгакова лечиться гипнозом «от страха». Страх смерти парализует, страх отпадения от нормы располагает к тому, чтобы вступить в игру, пусть даже смертельно опасную.

Симптоматична запись того же К. Чуковского: ***«Я – без гнезда, без друзей, без идей, без своих и чужих. Вначале эта позиция казалась победной и смелой, а сейчас означает только круглое сиротство и тоску»***[18]. В испытаниях тяжелейших лет удалось сохранить свое «Я». Но цена этому – «ненормальность» во всем своем ужасе. Победа пиррова: нет пальто, нечего есть, нечем кормить детей, не на что купить книги или билет на поезд.

Здесь и не пахнет безоговорочным принятием новых классификаций мира. Однако императив продолжения жизни действует: вспомним платоновское *«а надо было жить дальше...»* Здесь нет и преследования сознательной цели «переброски мостов». Люди живут, их «несет» по жизни, они решают проблемы повседневного существования, делая выборы постоянно.

Цепь мотивов и обусловленностей оркеструется. Жизнь пестра, и игру, о которой идет речь, можно реконструировать толь-

ко *post factum*, подобно тому, как из кусочков мозаики составляется картинка. Погибель рукописей и книг по самым разным причинам (цензура, бумажный кризис, групповая борьба) для профессионального литератора трагедия. В 1920-е годы быть свободным художником очень тяжело. Приходилось испытывать двойное давление – рынка и идеологической цензуры. Отсюда желание снизить гнет.

Нельзя не отметить, в частности, почти неуловимый момент смены ментальных классификаций. Оппозиция *цивилизованный/дикий* действует. Но ее содержание меняется. Эмигранты в своих свидетельствах, как могли, подчеркивали дикость страны, которую покинули. В категорию «диких» попадали не только «гориллы», но и те, кто чувствовал себя ничтожной группой цивилизованных в варварской стране. Кому хочется числиться «диким»? Здесь – возможная точка сближения «старых» и «новых» литераторов, оказавшихся в одной категории.

«Бывшие люди» применяли к меняющемуся на глазах миру структуры восприятия, которые сложились в иных социокультурных обстоятельствах. Ежедневно и ежечасно они воспроизводили в качестве *габитуса как системы предрасположенностей* (П. Бурдье)[19] стиль жизни, то есть манеру ходить и говорить, одеваться, презентировать себя, обустраивать дом, воспитывать детей.

Они привыкли жить с нянями, помощницами в домашнем хозяйстве. В старой России рынок такого рода услуг был полон. Естественно, они желали видеть плоды своего труда в печати, на сцене и, как прежде, зарабатывать на жизнь литературным трудом. В противоположность «новым» литераторам, «старых» соблазняла не возможность перехода в новое социальное качество, но возможность воспроизводства прежнего, похожего на привычный стиля жизни.

Когда в 1931 году появляются писательские пайки, настолько большие, что их невозможно съесть сразу, это воспринимается как явление самоочевидное и нормальное.

В 1931 году К. Чуковский наблюдает: ***«Похоже, что в Москве всех писателей повысили в чине. Все завели себе стильные квартиры, обзавелись шубами, любовницами, полюбили сытую***

стильную жизнь... Я вчера был там у Сейфуллиной. У нее приятно то, что нет этого сытого хамского стиля» (запись от 24 ноября 1931 года)[20]. ***«Был я у Пильняка... Первое впечатление: Страшно богато, и стильно, и сытно, и независимо»*** (запись от 25 ноября 1931 года)[21].

Историк Е. Осокина отмечает, что «именно интеллигенция, состоящая в списках КСУ (Комиссия содействия ученым. – *Авт.*) и других элитных организаций интеллектуалов (союзы писателей, композиторов, архитекторов и прочие), получила в 1932 году спецснабжение, близкое к нормам работников центральных партийных и советских учреждений»[22]. Литфонд, Художественный фонд обеспечивали путевками. Писателям и драматургам предлагали записываться в жилищные и дачные кооперативы.

З.Н. Пастернак вспоминала:

«Наступал 1936 год. Писателям предложили строить дачи в Переделкине и одновременно кооперативный дом в Лаврушинском. Денег у нас было мало... Но мы все-таки сэкономили и внесли свой пай на квартиру в Лаврушинском, а дачи ничего не стоили, так как их строило государство. Наша дача находилась против дачи Пильняка, а с другой стороны был дом Тренева. Дачи строились на широкую ногу, по пять-шесть комнат, и все они стояли в сосновом бору... За пятикомнатную квартиру полагалось заплатить 15–20 тысяч. А у нас было накоплено только восемь, и хватило только на две комнаты. <...> Кстати, потом дом перешел в ведение жакта, все внесенные паи вернули и оказалось, что мы зря отказались от большой квартиры»[23]. В нашей культуре квартира до сих пор принадлежит к числу почти что трансцендентных ценностей. Как отмечала в дневнике Е.С. Булгакова, ***«для М.А. есть одно магическое слово – квартира. "Ничему на свете не завидую – только хорошей квартире"»*** (запись от 13 ноября 1938 года)[24].

Писатели заводят знакомство с антикварами, обставляют жилье мебелью с дворцовых распродаж.

Разительны перемены в жизни А.Н. Толстого. В 1910-х петербургские дачники «в один голос решили, что он только притворяется графом»[25]. В середине 20-х после возвращения в СССР у него «скромнейшая сервировка, щербатые тарелки и простые железные вилки». Уже к концу 20-х он живет в особняке в Детском селе на Пролетарской улице, обстановка у него дворцовая, а в 1935 году он уже несомненно граф, «заслуживший любовь и признание народа»[26]. Впечатляет описание стиля жизни на даче в Барвихе конца 1930-х.

«В камине уже разгорелись огромные березовые поленья, на столе и на стенах мерцают свечи в канделябрах и настенных бра. <...> В открытые двери, ведущие в другие комнаты, виднеются освещенные мягким светом, прекрасные картины, гравюры, старинная мебель, шкафы с книгами, вазы с цветами. И много зеленых растений в горшках. <...> Алексей Николаевич нет-нет да и взглянет на все это с любовью и радостью – ведь каждую вещь выискивал он сам, руководствуясь своим вкусом и знаниями, и сам находил ей место. Каждый гвоздь для картин и гравюр вбит в стену его руками. А все вместе в какой-то мере является его удачным художественным произведением. И вот все заняли места за столом. Наполняют рюмки и бокалы (водку Алексей Николаевич всегда переливал в затейливые штофы времен Петра Первого), подают разные пироги и кулебяки на железных листах прямо из печи, огромные горшки гречневой каши с печенкой, грибами и шкварками, разные рыбы и горячие закуски на сковородах, подогреваемых горячими углями, насыпанными на подносы <...>. За столом сидели писатели, поэты, музыканты, певцы, художники, актеры, скульпторы, изобретатели, ученые, летчики и военные. Не могу припомнить все имена, но запомнились в тот вечер Д.Д. Шостакович, Н.С. Голованов, Ю.А. Шапорин, А.В. Неждановa, Зоя Лодий, Н.А. и Е.Л. Пешкова, К.А. Федин, К.А. Липскеров, И.Д. Шадр, П.Д. Корин, М.М. Громов, Р.Н. Симонов, А.Н. Тиховюв (Серебров), В.С. Басов. <...> Звучали стихи Пушкина, Лермонтова, Блока, Маяковского, Есенина, Пастернака. Их читали не только поэты и актеры.

В тот вечер даже прославленный Герой Советского Союза М.М. Громов, с большим внутренним волнением и очень хорошо, наизусть читал стихи Пушкина и Лермонтова»[27].

На фотографии 1943 года А.Н. Толстой сидит в рабочем кабинете в ермолке. Искусствовед Р. Кирсанова пишет, что в XIX веке этот головной убор носили – в сочетании с халатом – щеголи в качестве домашней одежды, а ***«в 20 в. ермолку <...> связывают с обликом маститого, седовласого ученого, своего рода штамп при экранизациях или сценических интерпретациях сюжетов, где действующим лицом оказывается погруженный в книжную премудрость персонаж»***[28].

Постепенно складывается новое социальное пространство. Для «старых» оно *возвращено*, а порой расширено и приращено. Для писателей из обеих групп оно быстро становится привычным. Выход за его пределы внушает ужас, иногда смешанный со стыдом. Напрашивается сравнение с переходом из СВ в общий вагон. Вокруг нищета, коммунальные квартиры, очереди, дети, ворующие дрова. После кремлевской больницы попадать в обычную не слишком приятно.

Вновь обратимся к дневнику К.И. Чуковского: ***«Халатов*** (председатель правления Госиздата и председатель ЦЕКУБУ. – *Авт.*) ***устраивает меня в Кремлевской больнице. Я не верю своему счастью»***[29]. Соседи ему не нравятся, и он цитирует М. Зощенко: ***«пустяки и блекота»***. Однако именно в этом месте дневника появляется запись, что К.И. способен разделить общий энтузиазм[30]. Отсюда уже совсем близкое расстояние до известного отрывка о Сталине от 22 апреля 1936 года: ***«Вдруг появляются Каганович, Ворошилов, Андреев, Жданов, Сталин. Что сделалось с залом! А ОН стоял немного утомленный, задумчивый и величавый... Я оглянулся: у всех были влюбленные, нежные, одухотворенные и смеющиеся лица. Видеть его – просто видеть – для всех нас было счастьем... Домой мы шли вместе с Пастернаком и оба упивались нашей радостью»***[31]. Можно ли отказать пишущему в искренности чувств...

Так рождается *согласие*, но ни о каком договоре речи, в общем-то, нет. Подчинение правилу – пусть даже не без сомнений

и колебаний – вознаграждается самым буквальным образом. В 1932 году у Пильняка покупают оптом собрание сочинений[32]. К. Федин *«потолстел до неузнаваемости. И смеется по-другому – механически. <...> Всякий приходящий раньше всего изумлялся его пиджаку, потом рассматривал заграничные книги»*[33].

В 1934 году Чуковский замечает в дневнике, что у Тынянова дом сделался полной чашей (15 января 1934 года)[34]. Ю. Олеше в 1934 году не писалось: *«Я получаю во Всекодраме по тысяче в месяц авансом в счет будущего и больше ничего не имею. Правда, я целый год не писал»*[35]. В 1934 году начали печататься К. Симонов и М. Ажаев, А. Софронов и М. Алигер. А. Фадеев стал членом правления СП СССР. В литературных кругах 1934 год отмечается как удачный. Аналогичные процессы имеют место и в других творческих средах. В 1934 году И. Бродский рисует Сталина, мечтая о поездке в Америку. *«Там дадут за портрет Ленина 75 000 долл.»*[36] У И. Ильинского *«шикарные, стильно обставленные комнаты»*[37]. Напомню дневниковую запись Е.С. Булгаковой от 31 декабря 1934 года: *«Господи, только бы и дальше было так!»*[38]

А что значит так? Слава, признание, ужины при свечах, икра, севрюга, телятина, сласти, вино, водка, цветы? Вспоминается живописное полотно В.П. Ефанова «Встреча артистов театра им. К.С. Станиславского со слушателями Военно-воздушной академии им. Н.Е. Жуковского» (1938), на котором дамы в вечерних платьях, стол изящно сервирован и изобилен, пирующие расположились в александровских креслах, а военные – уже не красноармейцы, а господа-офицеры[39].

1934 год – год Первого съезда советских писателей и создания Союза писателей СССР. С одной стороны, литературное поле автономизируется (отграничивается пространство символической игры со своими специфическими ставками и выигрышами), имеет место собственно литературная конкуренция. С другой – как и в иных сферах общества и культуры, «политический и идеологический капитал» оказывается главным. В противоположность «новым литераторам», для которых социальное пространство немыслимо расширилось, «старые» чувствуют себя узниками. Метафора узника присутствует у Булгакова: *«меня*

никогда не выпустят отсюда, никогда не увижу Европы...» Тем не менее он отстаивает право на собственный жизненный стиль. Е.С. Булгакова отмечает в дневнике: ***«В многотиражке "За большевистский фильм" напечатали несколько слов М.А. о работе над сценарием "Мертвых душ" и портрет М.А. – в монокле! Откуда они взяли эту карточку?! Почему не спросили у нас?»***[40] Факт остается фактом: фотография, представляющая не что иное, как символический жест протеста, существовала. Мемуаристы отмечали, что Пильняк презентировал себя как иностранца (одежда, манера держаться), то есть постороннего.

Анализ функций образа иностранца в культуре, относящийся, правда, к 1920-м годам, содержится в статье М.О. Чудаковой. Одна из функций этого образа – воспроизводство прежней российской традиции как стиля жизни. Исследовательница пишет: «Для Булгакова люди, разорвавшие прикрепление одежды к ситуации, – и не русские (т. е. не следующие традиции), и не иностранцы. Сам же он, стремящийся подчеркнуть свою связь с «миром державным» (О. Мандельштам), придающий особое значение *норме* жизни (разумеется, *старой норме* – 17 ноября 1921 г., едва попав в Москву, он пишет матери, что надеется «в три года *восстановить* норму – книги, одежду и квартиру»), вызывает у окружающих впечатление, близкое впечатлению <...> от «иностранца». Монокль, манжеты, брюки на шелковой подкладке, на много лет запомнившиеся Ю. Слезкину, <...> все это части нормального для него костюма, выглядевшего в тот момент в ситуации, скажем, визита в редакцию более искусственно, чем костюм для игры в гольф в писательском ресторане»[41]. Образ иностранца, напомню, соблазнял и рядового юношу, обдумывающего житье[42]. Итак, «иностранец» – образец. Но одновременно это посторонний. Напомню также известный рассказ Э. Герштейн: «Году в 1936-м Анна Андреевна совершила с Пильняком экзотическую поездку в открытой машине из Ленинграда в Москву. <...> Где-то под Тверью с ними случилась небольшая авария, пришлось остановиться и чинить машину. Сбежались колхозники. И легковая машина, и костюм Пильняка обнаруживали в нем *советского барина*. Это сразу вызвало вражду. Одна баба всю силу своего негодования обратила на Ах-

матову. "Это – дворянка, – угрожающе выкрикивала она, – разве вы не видите?"»[43]. Получалось, что в сознании колхозников, высыпавших на дорогу, образ «деятеля культуры», образ партийного чиновника и образ «дворянки» (как принадлежащих к классу доминирующих) слились воедино. Недаром П. Бурдье описывал группу интеллектуалов (интеллигенции) как доминируемых в среде доминирующих.

У «свежих» писателей отсутствует дистанция по отношению к собственной позиции. Когда она появляется, они ощущают, что «попались», и «стреляются от пьянства» или действуют «с особым цинизмом». Они пользуются «уловками», свидетельствующими о прекрасном чувстве игры. Например, М. Кольцов написал книжку о Сталине: встает вопрос, как напечатать ее. Кольцову приходит в голову мысль о том, чтобы использовать пионеров, которые собираются с визитом к Сталину. Пионеры должны были обратиться к вождю с просьбой, ***«чтобы он позволил напечатать какую-нб. книжку о себе, т. к. пионеры-де желают узнать его жизнь, а книжек никаких о нем нету»***. Кольцов ***«скромно и застенчиво сказал: – А не лучше ли направить эту депутацию ко мне, пусть пионеры напишут, что они просят меня написать о Ст***[алине]***, а я покажу ее старику: вот, мол, с утра до ночи надоедают, что делать»***[44]. В 1934 году Кольцов привез из Германии мальчика. *«Никаких сантиментов тут нет. Мы заставим этого мальчика писать дневник о Советской стране и через полгода издадим этот дневник, а мальчика отошлем в Германию. Заработаем!»*[45]

В среде «старых литераторов» эта дистанция существует изначально, ибо участники игры отличаются рефлексивностью и субъектностью. Именно эти качества позволяли полагать, что необходимость четко следовать социальной линии – лишь социальная маска, которую можно снять, а можно надеть. За маску человек ответственности не несет. Нет срастания лица и маски, а оттого и доля цинизма больше. И тогда отнюдь не только щекастые, с холеными шеями и бестактными голосами, но и холеные, с «культурными» голосами, говорят о Пушкине для масс.

Игра здесь не просто метафора *социального*, как о том написано в первой главе. Эти игроки полагают, что они могут по желанию войти в игру и выйти из нее. Им кажется, что они способ-

ны сформулировать эксплицитно правила социальной игры, «пересказать игру». Нельзя не учитывать, что «осознание» нормы (правила) хотя бы немного изменяет выбор в предписанном направлении. Тем более, что подчиняться правилам оказывается «выгодно». Рождается уверенность в том, что они-то – мастера и могут *играть с правилами*, а не *исполнять* их, тем более что сами правила создавались отнюдь *не вопреки* им.

Если Кольцов ведет большую игру, то, например, вдова Брюсова работает «по мелочам». При подготовке к печати писем Брюсова она вписывает «революционный смысл» в письмо Брюсова Горькому[46].

Демаркацию между типами поведения литераторов, принадлежащих к разным группам, провести трудно. По словам Л.Я. Гинзбург, «механизм приспособления, двойной механизм отвлечения от страдания и влечения к удовольствию, не мог бы работать без присущего человеку равнодушия к тому, что его не касается. <...> Человека касается то, относительно чего его среда создает установку внимания. <...> Никто *не говорит* того, чего *не говорят*»[47]. Она же замечает, что психологически сороковые годы проще тридцатых. А в тридцатые интеллигенция испытывала «не подавленность, но возбужденность, патетику, желание участвовать и прославлять»[48].

Сосуществование, близость страдания и удовольствия поражают. Арест часто соседствует с пиром. В мемуарах З.Н. Пастернак соседствуют описание именин и ареста Б. Пильняка в октябре 1936 года. Т. Иванова, жена писателя Всеволода Иванова, комментирует строки Б. Пастернака:

«Со мною сходятся друзья,
И наши вечера – прощанья,
Пирушки наши – завещанья,
Чтоб тайная струя страданья
Согрела холод бытия».

«Каждая такая пирушка в ту пору могла стать и прощальной, и перед началом "страданий", и несущей в себе зерно "завещательное" для пока остающихся». Рядом она замечает: «Мало

заботясь об обстановке (и в квартире на Лаврушинском, и в переделкинской даче единственное украшение – развешанные по стенам окантованные рисунки Леонида Осиповича Пастернака), Борис Леонидович обращал большое внимание на сервировку стола и собственнолично покупал <...> хрусталь и фарфор»[49]. Точности ради отметим, что запись Т. Ивановой относится уже к началу 1950-х годов.

Жизнь состояла из компромиссов. Подписывается соответствующий договор, так как нужно отдыхать, ехать в отпуск. Из дневника Е.С. Булгаковой: ***«Очень грустно, что М.А. должен подписать этот договор. Но нам нужны деньги на поездку в Киев»*** (запись от 19 мая 1936 года)[50].

Порой возникает неподдельная страсть. М.А. Булгаков писал пьесу о Сталине. Записи в дневнике Елены Сергеевны свидетельствуют: главное настроение – надежда. ***«Миша взялся за пьесу о Сталине. Только что прочла первую (по пьесе вторую) картину. Понравилось ужасно. Все персонажи живые... Бог даст, удача будет»*** (16 января 1939 года)[51]. В сообществе драматургов и актеров пьеса нравится тем, что ***«непохоже на все пьесы, которые пишутся на эти темы<...> что замечательная роль героя»*** (7 июня 1939 года)[52]. Сомнений в искренности нет. Но даже если сказанное неискренне, это значения не имеет. Правила приняты, игроки увлечены: ***«Никакого моста М.А. и не думал перебрасывать, а просто хотел, как драматург, написать пьесу – интересную для него по материалу, с героем – и чтобы пьеса эта не лежала в письменном столе, а шла на сцене...»*** (17 августа 1939 года)[53].

Эта ставка по типу не отличается от тех, что делали молодые люди, которые только мечтали стать писателями. ***«На Чичерова*** (Чичеров И.И. – один из театральных чиновников. – *Авт.*) ***произвело оглушительное впечатление, когда в ответ на его вопрос Миша ответил, что работает над пьесой о молодом Сталине»***, – пишет Е.С. Булгакова 17 июня 1939 года[54]. Тип ставки в игре, риторический ход у Е.С. Булгаковой и С.Ф. Подлубного по форме совершенно совпадают[55].

Литераторы советуются с экспертами типа К. Зелинского о том, как лучше выпрямить идеологическую линию. Зелинский

имеет особое чутье «на линию» оттого, что у него конструктивистское прошлое и ему вновь и вновь приходится доказывать свою лояльность. Н. Тихонов отрекается от прежнего стиля. К. Чуковский редактирует самого себя до неузнаваемости. Стиль литераторов из первой и второй групп сближается. Вырабатывается общий язык как основа взаимопонимания. Писатели могут презирать «сплошную массу», которая ценит только штампы и требует готовых формул. Однако они сами производят эти формулы. Параллельно смене литературного стиля идет смена убранства в домах. Вырабатывается жизненный стиль советской элиты.

У академика Е.В. Тарле роскошная квартира: ***«Лабиринты. Много прислуги – вид на Петропавловскую крепость, много книг. Три рабочих кабинета. Пишет историю нашествий»***[56]. И у Треневых дома, машины, дачи – благосостояние, заложенное «Любовью Яровой». Напомним, что Б. Пастернак и К. Тренев – соседи по даче.

Общее пространство игры

Цивилизованные и просвещенные, конечно же, не любили нецивилизованных и непросвещенных. Первые вполне справедливо полагали, что получаемое вторыми ими не заслужено. Цивилизованные не забудут отметить, что философ академик Александров не знал, что Владимир Соловьев был не только философом, но и поэтом, и путал Федора Сологуба с Владимиром Соллогубом, что композитор Дзержинский «малокультурен», что некультурные писатели пишут языком без цвета и запаха. Их раздражает безвкусица: мещанские бархатные скатерти и вырезанные из дерева полочки, дешевые базарные штучки и дрянные открыточки. А более всего неприятно отсутствие интеллигентных лиц, дремучие глаза и мясистые деревенские щеки.

К. Чуковский пишет о Н. Вирте: ***«И все-таки есть в нем что-то симпатичное, хотя он темный (в духовном отношении) человек. Ничего не читал, не любит... ни поэзии, ни музыки, ни природы. Он очень трудолюбив <...>, но вся его природа хищниче-***

ская. Он страшно любит вещи, щегольскую одежду, богатое убранство, сытную пищу, власть» (15 октября 1941 года)[57].

«Цивилизованные» обладали культурным капиталом, которого у «нецивилизованных» не было. Они служили образцами культурности. Происходили стремительные сближения, в том числе и через матримониальные стратегии. Современная мемуаристка пишет: ***«Девочка из хорошей семьи русских интеллигентов вышла замуж в красной косынке вместо фаты в 1929 году. Вышла за красного командира, деревенского парня, полуграмотного, но талантливого самородка, взметнувшегося на гребне времени в военную гатчинскую академию...»***[58]. Самородок становится в дальнейшем главным редактором газеты «Советская Россия».

Принадлежащие к разным группам дистанцируются друг от друга. ***«Да, пришло возмездие!»*** – радуется Е.С. Булгакова, когда арестовывают критика Авербаха (23 апреля 1937 года)[59]. Реально обе группы активно взаимодействуют. Напомним, что в 1938 году композитор Л. Книппер пытался писать оперу на либретто по роману П. Павленко. В том же году П. Павленко написал совместно с С. Эйзенштейном сценарий фильма «Александр Невский». У А. Толстого дача обставлена антикварнатом, а в саду растут мичуринские яблоки.

Социально-генетически старые и новые литераторы и профессиональные производители идеологических текстов принадлежат к разным группам. «Новые» литераторы тоже были разными людьми.

Карьера в советском обществе требовала свободного владения языком идеологии. Идеология реорганизует мир в терминах действия, а действия организованы в терминах мира. Единственно возможный порядок для них – советский, ибо другого они не знают. До того у них было крестьянское (или местечковое) детство. Они пользовались готовыми социальными риториками и классификациями даже в сугубо личных документах. Вожди для них выступают в роли производителей пословиц или, что то же самое, порядка мира. Сталин – персонификация власти и судьбы. Все, что в жизни происходит, воспринимается как генерированное властью. Партия как сверхсубъект классифицирует людей: одни нужные, другие нет. Они хотели быть нужными

и «нормальными». Выше описано, насколько сильна была «воля к норме» (М. Фуко) у бывшего крестьянина, носившего стигмат принадлежности к отживающему классу.

Прошлый опыт их встроен в тело. Это опыт поколений людей, которые стояли на нижней ступени социальной иерархии. Находясь в подчинении, служа партии, они вполне ощущали себя на своем месте, ибо не знали «другой жизни». Жизнь для них нова и интересна. Жизненный горизонт безмерно широк, если сравнить с тем, каков этот горизонт был у отцов. Речь идет не просто о том, что импульсы, исходившие от власть имущих, с удовольствием подхватывались. Вера в авторитет порождала метафизическую уверенность в правильности происходящего. Эти люди, предрасположенные к новой игре, сделали возможным возникновение новой системы социальных отношений, что еще раз подтверждает мысль о связи между существованием «системы» и свойствами людей – агентов этой системы. Размышляя над судьбами и текстами, ощущаешь, что власть как надчеловеческая конструкция сделана людьми и представляет собой символ общего сознания, коллективного чувства и действия.

Порядок слов и вещей большей частью воспринимался сугубо серьезно. Употребляя слово *«игра»*, мы понимаем, что речь идет о серьезной, смертельно опасной игре.

Действительно, вроде бы имеется в виду лишь проявление скрытых игр власти, обусловленных двусмысленностью социальных границ. Эти люди стремились режиссировать другими, но их самих режиссируют. По отношению к «читательской массе» они режиссеры, но в поле власти они – подчиненные. Они не имели никакой опоры, кроме Партии, и буквально получили от Советской власти все. Они «новые люди», помимо их теперешнего положения у них нет ни социального, ни культурного капиталов. В этом отношении они схожи с партийными аппаратчиками и воплощают аппаратный стиль в культуре. Именно такие люди становились чиновниками от литературы.

Писательство в этом случае – не работа со словом, а ставка в игре социальной мобильности, средство и элемент жизненного стиля: смена деревенского на городской, провинциального на столичный. Меняется тип одежды, еды, жилья. В том же ряду

находится и язык. Для этих людей идеологические программы и жизненные соблазны взаимозаменяемы. Страх и соблазн – в одном флаконе. Недаром метафоры власти несут в себе не только представления о господстве, о насилии, но и ласку, заботу. «Ласка» Сталина распространяется на всю страну, даже солнце, как писал поэт, светит «неуемным сталинским теплом»[60]. Они греются под этим солнцем и пишут о том стихи. Они пользуются теми дивидендами, которыми любое общество наделяет тех, кто подчиняется социальному правилу.

Итак, налицо *охота к игре*. На этом моменте следует остановиться. Охотное принятие новых кодов расшифровки опыта порождает соблазн писать о культуре и власти как о взаимодействии двух субъектов. Рассуждения в терминах выбора не менее распространены, чем представление о советской культуре как эманации власти. Представление о непреднамеренном социальном изобретении позволяет нарисовать более сложную, стереоскопическую картину.

Следует обратить внимание, что взаимодействие групп привилегированных производителей советской культуры развертывается в особых социальных пространствах. Постепенно складываются общие места в пространстве, где развертывается игра. Среди них есть относительно автономные. В Переделкине, на Николиной горе, в Малеевке, в домах творчества художников «деятели культуры» ведут собственную игру. Там происходит символическая борьба, там своя элита, свои рядовые. Разные игроки наделены разными типами капиталов-ресурсов. Переделкино – место, где гибнут писатели, но те, кого губят, мимо этого места все равно пройти не могут. Образуется общее пространство как система «возможных проявлений, в отношении которой каждый агент должен определить свое место»[61].

В Барвихе, Соснах, в «Кремлевке» они делят пространство с партийной и хозяйственной элитой. Здесь «деятели культуры» занимают положение явно подчиненное. Стиль жизни здесь, как правило, им не нравится: тоска, чиновная публика, глупые жены обкомовцев. Однако те, кому все это так противно, продолжают бывать в этих неприятных во всех отношении местах, да и не по одному разу.

Одержавшие верх в игре (состязании, борьбе) разделяют общий стиль жизни доминирующих. Доминируемые могут и бедствовать. Так, художник П. Кончаловский явно принадлежит к доминирующим. Тарковские – скорее доминируемые. Марина Тарковская, дочь поэта и сестра режиссера, вспоминает:

«Кончаловский изображал какой-то совсем другой, не похожий на наш, мир – изобильные натюрморты, дачные веранды с охапками тучной сирени, испанские пионеры – крепкие, веселые подростки, освещенные ярким солнцем. Макушки берез, написанные на фоне синего ветреного неба, назывались "Макуши берез". В этом названии уже было превосходство художника, ведь я говорила просто «макушки». Был в каталоге портрет упитанной девочки, которая горестно смотрела на своих многочисленных кукол. "Что мне с ними делать?" – гласила подпись. Дальше шел портрет мальчика. Отставив правую ногу, он держал в одной руке охотничий рог, в другой ружье. "Андрон Михалков". Запомнилось это необычное имя и ощущение какой-то другой, необычной жизни, где царили уверенность, сытость и благополучие. Конечно, эти детские впечатления были мною давно забыты, когда Андрей в шестьдесят третьем познакомил меня с Андроном Михалковым-Кончаловским. <...> И я вспомнила, как когда-то, сидя в полутемной комнате, где пахло сыростью и заводом, подолгу рассматривала его детский портрет...»

Многообразны симптомы принятия общей грамматики социальных правил, которую принадлежащие полю культурного производства разделяют со «всеми прочими». Например, *все* знают, как правильно апеллировать «наверх»: надо непременно ссылаться на интересы рабочих, колхозников и служащих. Решая какой-либо вопрос, они по правилам жалуются на депутата: «Разве у депутата есть дела, которые его не касаются?» Напомню, что тем же риторическим ходом пользуется Е.Г. Киселева.

К. Чуковский воспринимает передачу Пастернаком романа за границу как *сумасшествие*. Сумасшествие – нарушение общих норм. По-иному ту же мысль выразил К. Федин: «Сильно навре-

дил Пастернак всем нам!»[62]. Что значит «всем нам»? Вероятно, группе *деятелей культуры*, которые играют по известным правилам на родном поле. Точно так же К. Паустовский опасается Солженицына, видя в нем «врага интеллигенции»[63].

Групповая борьба обостряется, когда речь идет о наградах, присвоении званий. До последних дней существования СССР звание Народного артиста или Героя Социалистического труда было ценностью, как бы награждаемые ни относились к *совдепии* (потом *совку*). Символическая борьба по поводу наград порою чуть ли не переходила в рукопашную.

Именно в результате описанного многомерного и поливалентного процесса «деятель культуры» ощутил себя действительно значимой фигурой. Так, С.Я. Маршак искренне радовался, что его здоровьем интересовался Н.С. Хрущев.

Можно ли сегодня предполагать, чтобы кто бы то ни было из литераторов воскликнул, подобно Б. Пастернаку в 1953 году: ***«Начинается новая эра, хотят издавать меня...»***[64]? Жизнь, конечно, напоминала о принципе реальности. В больнице, куда он попал, Б. Пастернак уязвлен тем, что ***«он, первый поэт СССР, неизвестен никому в той больничной палате, куда положили его»***[65]. И тогда кажется, что только власть стоит между писателем и читателем и что писателя *заставляют* писать так, а не иначе. Именно в этом контексте сложилось и стало самоочевидностью, не подвергаемой сомнению, убеждение, что роль правительства состоит в том, чтобы уничтожать и угнетать людей искусства. Сам же человек искусства ощутил себя субъектом, равновеликим «партии и правительству». Читая многочисленные мемуары, порою поражаешься, какой уверенностью в значимости («историчности») происходящего веет со страниц.

Игра крайне серьезна, пока сопряжена с опасностью. Когда непосредственная опасность отступила, она обрела качества ироничности. Напомню из Р. Барта: «Ирония? Ее носитель сам находится в безопасном месте»[66].

Постепенно становится скучно. Ю. Трифонов отмечает в дневнике: ***«Какая-то всеобщая и, в общем, довольно скучная игра... Все играют. Одни машинально, по привычке, другие со скрытым раздражением, третьи – иронически усмехаясь, а не-***

которые даже с вдохновением»[67]. Наблюдение относится к выборам 1957 года, но его вполне можно распространить и на другие виды социальных игр. Сам Ю. Трифонов к 50-летию получает орден «Знак почета». Его вдова свидетельствует, что сей орден в просторечии назывался «Веселые ребята»[68]. Что произошло? «Правило» подвергалось сомнению, становилось предметом иронии, тем не менее правило выполняли. Действия несогласных с господствующими ценностями могут работать на воспроизводство правил игры. Любое общество и любая культура сохраняются до тех нор, пока в релевантном масштабе сохраняется поведение, ориентированное на нормативные установления, пока у игроков сохраняется практическая вера в правило и соответствующее отношение к нему.

Игра невозможна без игроков. Игра идет, пока есть люди, получающие преимущества от следования именно этим, а не иным правилам. Вряд ли кто будет сомневаться в том, что советская цивилизация и советская культура существовали, пока правила работали. Порядок рушится, когда сами игроки чувствуют, что правил никто не соблюдает. Тогда исчезает возможность игры по старым правилам и складывается «новая грамматика». Стоит только перестать принимать игру, мир и действия, в нем выполняющиеся, становятся абсурдными. Возникают вопросы о смысле бытия и мира, которые никогда не задают те, кто увлечен игрой. Кажется почти невероятным, что некогда сами они принимали участие в общей игре.

Воспоминания об этом «приватизируются», как, например, у А. Тарковского:

«Я не смущаюсь. Да вы знаете, мои стихи даже стали песней, числится чуть ли не народной. А дело было так: служил я в редакции газеты Западного фронта «Боевая тревога», дослужился до капитанского звания, часто печатал в газете собственные стихи. Ну и получил приказ маршала Баграмяна написать стихи о Сталине. Написал «Гвардейскую застольную». Да вы ее знаете, ее все знают, композитор... не помню фамилию, музыку написал... И он негромко запел:

Выпьем за Родину, выпьем за Сталина,
Выпьем и снова нальем...»

«Я подхватил», – завершает мемуарист[69]. В дальнейшем А. Тарковский как человек с *безукоризненной* репутацией физически не выносит мест, связанных с вождем. Мемуаристка вспоминает, как ему предложили на время переселиться в особняк Алексея Толстого, где а качестве секретаря вдовы писателя работала сестра жены. ***«Категорическое «НЕТ!» – «Почему?» – «Неудобно и некомфортабельно там, где бывал он». – «Кто?» – «Сталин»***[70].

Тогда-то общество начинает потихоньку разваливаться.

На краях

Присутствие низовой тенденции в советской культуре вполне внятно. Можно сказать, что именно с ней связаны непреходящие достижения этой культуры. Они – плоть от плоти советского общества, они не могли бы быть рождены вне его. Они *органичны*. Однако результаты эти не вписывались в существующую номенклатуру классификаций – хоть в советскую, хоть в постсоветскую или советологическую.

Можно счесть симптоматичной историю взгляда на А. Платонова как на сатирика. И хулители, и хвалители долгое время (а некоторые и до сих пор) убеждены в сатирическом характере его текстов.

Первые читали в них пасквиль на советскую действительность и строительство социализма. Из сатирической трактовки совершенно понятны упреки в «идеологических срывах», то есть в нарушении норм идеологической речи. Соцреализм представлял собой своего рода гибрид, где неоклассическая норма была сплавлена с низовой струей. Конструкция страстей обычных людей была социально востребована, но она должна была быть «правильной», отвечающей норме идеологической речи, а также нормативного высокого вкуса. Укрывательство от социального языка недаром воспринималось как опасное. Чутье критика подобно локатору определяло нарушение социального порядка.

«Защитники» Платонова пользовались теми же классификациями, подтверждая, что да, мол, сатира по отношению к советской действительности. В. Боков писал о Платонове: «В одной его фразе больше сатиры, чем в сюжете иного сатирика. *"Он поселился у одной вдовы и постепенно женился на ней"*. <...> Сатира – меч, который он никогда не выпускал из рук». Говорили об ироничном отношении к советской действительности. В лучшем случае стиль воспринимался как «всеобъемлющая пародийность», говорилось о травестировании как смене масок, бурлеске и буффонаде, за которыми скрыты лирическая взволнованность и подлинно трагический разговор о смерти. Буффонаду видели там, где ее не было, например в «Усомнившемся Макаре». Но может ли идти речь о сатире или об иронии? Ироник – тот, кто находится в безопасной позиции. Сатирическая позиция подразумевает возможность взгляда со стороны. У Платонова же полная включенность, а не позиция наблюдателя. Какая уж тут безопасность и ирония? Мемуарист пишет о Платонове: «Он создавал собственную действительность, и она казалась загадочной, странной и даже уродливой для тех, что знал только натуральную, общедоступную действительность и не искал другой»[71]. Но есть ли эта «натуральная действительность»? Мир обговорен и предварительно интерпретирован. «Нормальная» кодифицированная действительность релятивна. Любое произведение – не только художественное, но и, допустим, антропологическое, социальное – есть фикция. Это «нечто сделанное», «нечто созданное» (лат. *fictio* – создавание, составление, выдумывание, выдумка). Сделан не только артефакт, но и человек, его тело и язык, сделана и многократно переписана история.

Здесь дело в несоответствии общепринятым кодам, когда, словами В. Шкловского, текст не помещается в ящиках, по которым раскладывают литературу. Неправильность не поддается рубрикации. Нормально то, что закодировано, опосредовано (литературой, радио, телевидением). Художника определяют как «наивного» вследствие его неосведомленности в логике игры. В качестве наивных они создаются самим культурным полем[72].

Даже там, где идеологическая норма не прослеживается, а текст вполне безыдеен, критическое сознание катится по нака-

танной колее. «Безыдейность» отвергают и выискивают идеологию, оппозиционную по отношению к официальной. Например, текст читается как *форма народного сопротивления*. Неумелость письма легко поддается интерпретации как «безыскусность», «наивность», «свежесть взгляда», детскость. С точки зрения свежести и наивности интерпретировали, как мы помним, и Е.Г. Киселеву, письмо которой «круче» самого крутого симуляционистского жеста. Той же операции подвергали поэтессу Ксению Некрасову.

Пребывающие в поле литературной игры назначают своим иным письмо, обнаруживающее чуждый опыт. Судят об этом ином (другом) только извне (и возможно ли по-другому?). В *ином* письме говорится о том, о чем большинство молчит, о *неназываемом*. Производителей некодифицированного письма пытались приручить через идеологическую речь. От них ожидали ответственности говорящего человека, то есть *позиции*. В то время, когда жили наши герои, позиция сопряжена была с идеологической определенностью. Происходило, однако, искажение идеологической речи, которая обретала неустранимую двойственность, вызывая тревожное чувство чужеродности.

Тексты, о которых здесь идет речь, не кодифицируются, ибо те, кто их пишет – люди жизни, надежды и негромкого голоса. Жизнь не может быть кодифицирована «до конца». Мы оказываемся в мире серьезного отношения к жизни. Пишущие – из тех молодых людей, которые создавали потребную им родину после долгой беспризорности и испытаний. В текстах образовывалось пересечение и скрещение между видимым и видящим, пишущим и читающим. Эти тексты – огонь, который будет гореть, пока случайность не разрушит то, что ни одна случайность не в состоянии произвести. Это голоса тех, кто ориентирован на продолжение жизни всех, кто *за равенство в страдании*. «Нужно страдания волжан разделить на всех людей России, в равных долях, чтобы почувствовать всем, что такое голод», – писал Андрей Платонов[73]. Но кто же на это согласится – чтобы *на всех*?

Наивные писатели и художники отнюдь не находится в оппозиции. Происходящее в России в советскую эпоху они считали

своим и отнюдь не отвергали господствующие коды специально. Платонов – не сатирик. Однако он говорил о том, *о чем не говорят*. И даже когда о том, то *не так*. До поры такие писатели стремились писать *как надо*.

Писателей «настоящих» и «нужных» они уважали, относились к ним с пиететом, но оставались при своем: для вас быть человеком привычка, для нас радость и праздник. Они вполне уважают и игроков идеологического поля. Да их, кстати, на это поле обычно и не допускали, держали на расстоянии. Платонов, впрочем, был членом Союза советских писателей. Однако, когда Платонов на несколько лет исчез из литературы, мало кто опечалился – свидетельствовал современник.

Лишь некоторые прошли школу профессионализма в противоположность «классическим» наивным художникам. Но они вернулись в ту стихию, из которой вышли. Таков был, кстати, художник Ефим Честняков, который, поучившись в Петербурге в Академии художеств, вернулся на круги своя, в данном случае к хлебопашеству. Ему удалось дать нам, зрителям, шанс ощутить мир крестьянина, этого *великого незнакомца*, изнутри. Зачерпнув «большой» культуры, он вернулся в культуру деревенскую, которую никогда не считал малой. Вернулся переводчиком с культуры на культуру. У Ефима Честнякова есть высказывание: «...Когда фантазия сказку рисует – это уже действительность <...> и потом она войдет в обиход жизни так же, как ковш для питья».

Припоминается из Ксении Некрасовой:

«И в такой вот час и возникает
Светлое желанье стать ученым
Или зодчим, мудрым и суровым,
Чтобы все, что видишь, все, что понял,
От себя народу передать»[74].

Они вне поля игры или, в редких случаях, на ее краях – как А. Платонов, ни с *пролетарскими писателями*, ни с *попутчиками*. Робки были и скромны. А. Платонов, отстаивая свой текст перед редактором, просто говорил, что «так надо». Тихая поэ-

тесса Ксения Некрасова ничего не говорила, а просто писала, пока хватало жизненных сил.

Люди типа Платонова или Некрасовой «выпадают из своих биографий, как шары из биллиардных луз» (О. Мандельштам). По идее, их биография диктовала им стать «маловысокохудожественными» пролетарскими писателями или соцреалистами – продуктами «литературной учебы», о которых писал Е. Добренко. Некрасова, кстати, училась в Литературном институте.

Нельзя не отметить и еще один момент. Дело тут не столько в том, что именно они делали, сколько в сети отношений, в которую помещалась их деятельность. Они не попадали в набор позиций и оппозиций, предоставляемых полем культурного производства. Кстати, никто не сомневается, что не только А. Ахматова и Б. Пастернак – писатели. С. Михалков и В. Кожевников, В. Ажаев и В. Панова, С. Щипачев и А. Караваева – несомненно писатели, хоть и плохие. Ксения Некрасова получила отказ в приеме в Союз советских писателей[75]. Платонов – член Союза советских писателей, но он маргинал. Он начинал как типичный писатель-самоучка. Его ранние (1914 год) стихи приводит Е. Добренко в книге «Формовка советского писателя»[76].

«Душно, душно в пекарне,
Смраду и дыму полно.
Грязно, как будто на псарне,
Свет не проходит в окно...
Сколько часов за работой
Булочник бедный стоит,
Грязный, больной и разбитый,
Три часа в сутки он спит...
Встань, осмотрись, что ж ты спишь,
Союз «Мучного изделия» открылся —
Товарищ, что же в него не спешишь?»

В 1920 году молодой Платонов писал, что «вся пролетарская культура определяется сущностью самого пролетария – сознанием. Вся работа этой культуры будет постройкой истины – последней и завершающей»[77]. Вопрос о том, как А. Платонов из на-

ивного стихотворца и прозаика превратился в того Платонова, которого мы знаем, вероятно, не имеет ответа. Но он даже не ставится почти никем, в том числе не делает этого и Е. Добренко. Это неудивительно, ибо такого рода превращения принадлежат к числу сложнейших загадок.

«Наивные» писатели считали, что имеют право на рассказывание своей истории, на стихотворение. Право на рассказ (то есть утверждение взгляда, видения) – предмет властных отношений. Неравноправность позиций не позволяет *обойти вопрос*.

Голос, которому так хотели придать определенность, ускользал из-под определяющего взгляда. Даже внешность как антропологическое качество ускользает. Есть портрет К. Некрасовой кисти Р. Фалька. На холсте мы видим аллюзию на Модильяни.

И всегда трогает их феноменальное равнодушие к антропологическому маркированию принадлежности к полю пишущих – ни вечного пера, ни пишущей машинки: карандашом на обрывках бумаги, или, как Е.Г. Киселева, в школьной тетрадке. Здесь иная антропология: *«непохожи на писателей»*. Равнодушие к одежде, но если выпадает, то радость:

«Мне подарили
бархатное платье.
А раньше
два только платья
было у меня»

(К. Некрасова)

Платонов – *чужой* не потому, что не презентировал себя в качестве иностранца, как его соавтор по «Че-Че-О» Пильняк. Он не вписывался *антропологически*. ***«Среди парадных писателей в ярких галстуках, велюровых шляпах, импортных пальто <...> он казался слесарем, пришедшим починить водопровод: простая кепка, москвошвеевский костюм, синий плащ, стоптанные ботинки, седоватые неприглаженные волосы, неприметное на первый взгляд лицо мастерового»***[78]. Если они берут метлу в руки – то не ради символического жеста, а для заработка. А. Платонов, чтобы устроить кабинет, выбросил ванну и стал ходить в баню.

Л.К. Чуковская считает Ксению Некрасову не совсем нормальной. Она записывает в дневнике от 6 января 1948 года: ***«Скоро явилась запыхавшаяся Ксения Некрасова. Она всегда льнет ко мне, почтя мое заступничество за ее стихи в «Новом мире». Села рядом. Я этому соседству не обрадовалась: я чту в ней поэта, но психически неуравновешенных людей переношу с трудом»***[79].

А вот Я. Смеляков:

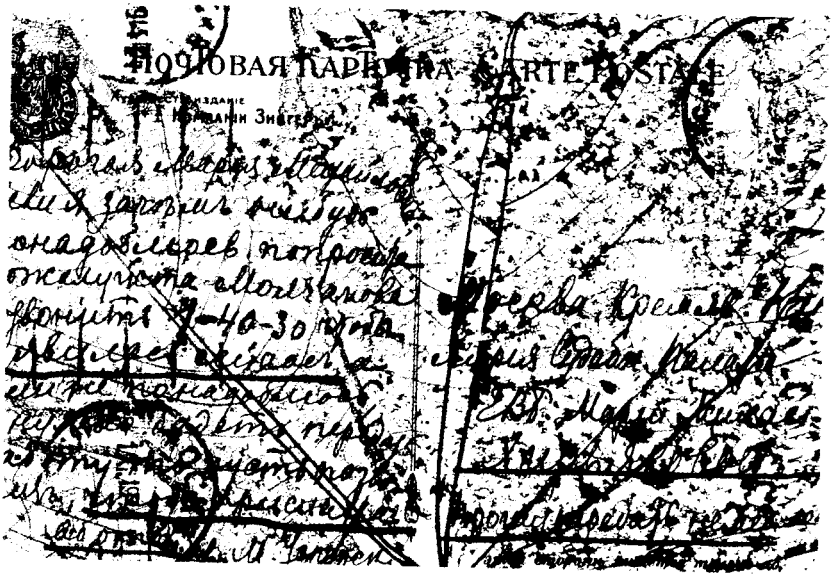
«Что мне, красавицы, ваши тряпки,
ваша изысканность, ваши духи и белье?
Ксеня Некрасова в жалкой соломенной шляпке
в стихотворение медленно входит мое...»

Мы выходим за пределы эстетического или идеологического суждения, когда преобладает даже не столько мораль или идея прекрасного, сколько *идея жизни*. Искусство почти кончается, но самоочевидный и автоматический опыт оказывается *опытом через усилие*. Это чувство объединяет и тексты «наивных писателей», и К. Некрасову, и А. Платонова, и немногих прочих.

Те, кто пребывает в поле эстетической игры, играют серьезно, но без духа серьезности. Жизненная игра не равна эстетической игре. Когда говорят, что художники и поэты – дети, неявно подразумевают, что они имеют возможность длительное время культивировать детское отношение к миру. (Начинаешь задумываться порой, а может, прав Заболоцкий? – *Дети, если вы – богема / Буду драть за волоса.*) «Наивные» писатели (или те, кто почти что там, где *кончается искусство*) не принадлежат к числу тех, кто может держать экономическую необходимость на расстоянии вытянутой руки. Они прикованы к жизни.

В рамках этого отношения к миру, развертывающегося в особом пространстве, игра не является вопросом правоты или неправоты, жизни или смерти. Эстетическое отношение к миру при всех *перформансах* и прочих придумках возможно только в условиях опыта, освобожденного от суровой необходимости. Границы такого рода определяются с трудом, а потому трудно преодолимы.

Так или иначе, рассуждая об общей игре, которую мы назвали игрой в поле культурного производства, нельзя забывать о тех удивительных непреднамеренных результатах, которые она порождает. Сказанное, впрочем, относится и к той игре, которая называется советским обществом.



СЦЕНЫ ИЗ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ ПЕРИОДА «ЗАСТОЯ»: СЕМЕЙНАЯ ПЕРЕПИСКА

«Не знаю, надо иль не надо,
Хотел ли я иль не хотел...»
Народное

Теперь время рассказать, как я читала материалы еще одного из фондов «Народного архива»[1]. Это была семейная переписка 70–80-х годов нашего с вами века (1972–1990), которая составляла примерно 1200 писем, открыток, телеграмм.

Метафора *«годы застоя»* подразумевает отсутствие изменений и социальную скуку. Но даже по этой переписке, которая не более чем песчинка в море социальных взаимодействий, видно: жизнь постепенно менялась. Внимательный читатель увидит, как в эти годы в процессе воспроизводства повседневных практик вынашивались перемены. Сама повседневность также конституируется по-новому. Общество и люди не могут не меняться. Кто-то скажет, что про *годы застоя* мы и так помним... На это следует ответить так. Во-первых, помнят не все, а лишь те, кому «за сорок». Уже произошла смена поколений. Любое свидетельство запечатлевает подробности той или иной эпохи. Человеческая память коварна, и детали из памяти легко стираются.

Нельзя не отметить и еще один момент. По сравнению с жизнью первого советского поколения жизнь участников этой переписки отличалась значительно более высокой степенью онтологической безопасности. Недаром многие не очень молодые люди вспоминают *годы застоя* с умилением: тишь да гладь, да Божья благодать... Однако погружение в источник разрушает и это окрашенное ностальгией впечатление.

Изученные мною послания писали люди рядовые, не занимавшие никаких больших постов, не состоявшие в родстве с «историческими» личностями, не диссиденты, не свидетели так называемых исторических событий. По письмам реконструиру-

ется картина российской повседневности (главным образом 1970-х годов). Центральная фигура – женщина, инженер-строитель. Назовем ее Еленой Петровной М.[2] Она родилась в 1933 году, училась, вышла замуж, родила троих детей. С мужем разошлась и стала главой семьи.

Это для России ситуация обычная, ее особенность состоит только в наличии троих детей. Подруга называет нашу героиню «декабристкой». Она самостоятельно *поднимает* детей. Ее бывший муж неаккуратно платит алименты, сумма которых очень мала. Переписка содержит довольно много запросов об алиментах, которые не платятся, и официальных ответов на них. Поднимать детей ей помогает мама.

Отец – дедушка ее детей – погиб на войне. Родители, крестьяне по происхождению, были родом из-под Липецка. Жизненная траектория отца тоже типична: бывший крестьянин, окончивший военно-политическое училище. В фонде есть его фотография в форме батальонного комиссара. На фотографии 1940 года этот человек, которому тогда было 38 лет, выглядит старым. Судя по семейному альбому, он участвовал в установлении советского порядка на Западной Украине. Он принадлежит к поколению тех, о ком шла речь выше.

Семья практически ничего не знает о более далеких предках. Елена Петровна писала в Народный архив: ***«Мне стыдно писать об этом... Я знаю, что все они землепашцы, а больше ничего»*** (06.09.1990). Стыдиться здесь, однако, не приходится. Ситуация типична для страны, где более чем у 80% населения семейные корни уходят в безбрежное крестьянское море и где история жизни – не биография индивида, а путь рода.

Семья часто переезжала. В 1960-е годы Елена Петровна руководила строительством в Казахстане (в Рудном и Кустанае). В конце 1976-го семья переехала в Смоленск, а 1981-м – в Новороссийск. Отчасти из-за этого – такое множество корреспонденции.

Итак, Елена Петровна – центр, вокруг которого организуется переписка. Ее собственных писем мало, зато ей пишет множество людей: дети и мать, вдова батальонного комиссара, большой круг родственников – брат и его жена, невестка, зять и их роди-

тели, множество сослуживцев. Кроме того, в фонд вошла переписка ее детей – с друзьями, подругами, однополчанами.

Таких семей – тысячи. Они жили на Рабочих и Коммунистических улицах и были обычными советскими гражданами, которые принимали жизнь такой, какова она есть. Они от нее не дистанцировались.

Явление семейной переписки, которое нынче превратилось в уходящую натуру, меня завораживало. Переписка в культуре недавнего времени – один из ритуалов, которые и создают то, что мы называем семьей. Семья играет огромную роль в поддержании социального порядка. Ритуал переписки позволяет сохранять и воспроизводить *чувство семьи*[3]. Это часть повседневных взаимодействий, в процессе которых происходит постоянный обмен. Родственники ритуально обмениваются поздравлениями с семейными и государственными праздниками. По переписке можно понять, чему и как учат детей, то есть реконструировать социальные и культурные нормы. Из писем матери детям хорошо видно, как обучают житейскому ноу-хау: от способов получения страховки и умения купить железнодорожный билет с пересадкой до способов вхождения в отношения с незнакомыми людьми или выхода из трудного положения (как поступить, если у тебя, допустим, украли документы). «***Кулек с орехами Свете, а кулек с рыбой тому, кто тебе возьмется помочь, если это будет необходимо***», – пишет мать сыну (21.11.1984). Родители советуют детям, как надо себя вести «***чтобы не испортить, не переломать себе жизнь в самом начале***» (29.08.1978). Или вот советы брата сестре, как дешево купить телевизор: «***Узнают, кто из знакомых собирается сдавать телевизор, чтобы купить новый. Затем убеждаются, что телевизор работает хорошо, или что ремонт нужен небольшой, и служить он будет еще долго. Платят владельцу рублей на 5 больше, чем заплатил бы магазин***» (22.01.1976).

Багажная квитанция содержит список нажитого за жизнь:

Гарнитур-стенка 1
Гарнитур спальня 1
Ящики с книгами 16

Холодильник «Бирюса» 1
Пианино «Циммерман» 1
Пальто женское 2
Шуба женская 1
Куртки мужские 3
Ящики с одеждой 10
Подушки и одеяла
Ящики с посудой
Ковры 2
Ковровая дорожка

Мы узнаем, в каких жилищах обитают люди, и какова квартира, которая считается хорошей, «как у людей». Например, сын Елены Петровны какое-то время жил в Актюбинске, в Казахстане: «***Живем мы в землянке, плотим 30 рублей. Тесновато, правда, купили шифонер, диван-кровать и повернуться негде***» (02.02.1980). А вот образ желанного жилища: «***с раздельным санузлом, хорошей кухней, встроенным стенным шкафом, кладовой***» (02.02.1978).

Писать – императив. «***Не писать не могу, писать в другой позе тоже не могу; очень устал, очень хочу спать***». Наряду с другими вещами детей учат писать письма бабушкам и товарищам. И они пишут: «***Кстати ты знаеш что у нас есть васька? ...он спит как ребенок лапу под голову а сам растянется на весь дух...***» (27.12.1979). По просторам огромной страны шли фотографии, на которых запечатлены социально санкционированные моменты семейной жизни, например вступление в брак. У кого нет дома многочисленных фотографий в загсе? Фотографии в жанре «*на смертном* одре» пересылаются, когда смерть нарушает целостность семьи: «***Коварен закон природы, вырывая членов семьи***» (10.11.1985). В письмах детей часто присутствует рисунок – обведенная рука как символ целого, состоящего из частей.

Переписка запечатлевает мир повседневных представлений, обычаев и ритуалов. Переписка может быть понята как один из способов поддержания этого мира, продолжения социальной жизни, то есть она направлена на практические цели. Кроме то-

го, это способ эффективной презентации себя самого. Дети посылают друг другу конфетные фантики, а юношество ценит сам факт коммуникации: «***Все-таки здорово иметь друзей далеко от своего города. Получать письма, отвечать на них – здорово***» (28.01.1982). Писем много и потому, что идут они довольно быстро (например, из Смоленска в Новороссийск шесть дней).

Письма посылаются в конвертах. Поздравления пишутся на открытках. Социальный мир организован. На конвертах и открытках официальная картина мира. Она диктует: эти дни праздничные, а эти нет, эти события и люди – исторические. Словом, здесь снова всплывает тема официального календаря как способа выражения социальной принудительности, которой подчиняются вполне добровольно.

Темы картинок на марках – техника безопасности на лесоповале, коллекция русских самоваров, «10-я пятилетка – пятилетка эффективности и качества», виды Уфы (к 60-летию Башкирской АССР) дом-музей Ленина, космические спутники и станции космической связи, призывы пользоваться междугородным телефоном, антенна приема метеоинформации, Всемирный день породненных городов. Бросается в глаза утрата идеологической резкости 1930–1950-х. Здесь уже отсутствует Сталин в сочетании с колосящейся нивой. Рядом с официальной символикой возникают символы природы. 1-е Мая – праздник не столько труда, сколько весны. Даже октябрь уже не только Великий, а почти что просто октябрь: золотая осень и предзимье. В поздравлении с *«Октябрьскими»* обнаруживаешь библейскую аллюзию: ***«Поздравляем с праздником Великого Октября и желаем крепкого здоровья, праздничного настроения и всех благ – земных и небесных»*** (06.11.1982). На открытке в честь Дня Победы серп и молот прикрыты веткой сирени. Подпись к открытке гласит, что изображен сквер Революции, но «главные герои»— ирисы и свежая зелень. А за завесой официального языка – мир семейной жизни. Но из времени не выпрыгнешь! Выше уже говорилось о том, что для того, чтобы официальный нарратив «усваивался», инкорпорировался, нужны точки пересечения Большого рассказа и рассказов маленьких. В фонде есть открыточка: на ней улица старого русского города с дере-

вянными домишками на фоне новых жилых громад, здесь же старая церковь, на переднем плане молодая женщина ведет за руку ребенка. Думаю, что это как раз тот самый случай совпадения. Я сама могу засвидетельствовать, что такие открытки покупались с удовольствием. Здесь представлено тогдашнее поле желания: сменить квартиру без удобств на ту, что с удобствами. Здесь же церковь как знак интереса к истории, а также и вхождения религиозного православного ритуала в повседневность советских людей.

Понятно, что мы не имеем права делать обобщения по переписке одной семьи. Мы лишь фиксируем то, что вычитывается из этого источника, следуя совету Р. Харре исследовать индивидуальное проявление так, как если бы оно было типичным[4]. Преимущество этого метода состоит в том, что характеристики изучаются системно, делается попытка дать подробное описание структурных отношений и взаимодействий. Здесь существует и возможность риска: то, что принимается за типичное, может вовсе не быть таковым. Понятно, что сделанное следует соотносить с другими случаями.

Государственное мясо и моральная экономика

Примета времени № 1 – ДЕФИЦИТ. Эта проблема занимает огромное место в жизни[5]. Люди чутко прислушиваются к пульсу продовольственного снабжения. Складывается впечатление: такой предмет, как недостаток продуктов питания, даже превращается в риторическую фигуру. Об этом пишут, когда не знают, что сказать дальше: ***«Даже не знаю, что еще написать. У нас в магазине масло свободно, правда оно бутербродное по 3.20 и в пачках»*** (03.04.1983). Понятно, что об этом предмете более всего пишут женщины, на которых падает основная тяжесть добычи еды. Читая письма, попадаешь в «ведьмин круг».

Из Липецка в Кустанай: ***«У нас было все лето очень жарко – 35–37 градусов. Конечно засуха. Овощей нет совсем. Поэтому на рынке цены очень высокие... Будет, конечно, трудно. Особенно мне, т. к. я не заготовила себе овощей на зиму. Тут даже па-***

ника была: расхватали в магазинах крупу, сахар, макароны и даже соль и спички. Плохо было несколько дней с хлебом, но сейчас налаживается все. Правда круп и макарон пока нет в магазинах» (29.08.1972).

Из Кустаная в Смоленск: в Новосибирске *«очень плохо с едой. Но я уже привыкла»* (11.07.1980).

Из Липецка в Смоленск: *«В городе начались перебои с молоком, редко бывает масло, колбаса. Валя ... ездила в Москву и привезла нам 2 кг колбасы и 1 кг масла»* (29.10.1980).

Из Смоленска в Новороссийск: *«Снабжение по-прежнему плохое. Кроме молочных продуктов ничего нет. В основном на предприятиях организованы пайки, и те, кто там работают, относительно живут ничего. Днем еще что-то бывает в продаже, вечером пусто»* (17.06.1982).

Из Кустаная в Новороссийск: *«Масло сливочное мы получаем по талонам по 150 гр. Немного не хватает. Но нечего обходимся. Колбаса в магазине бывает, постоишь и возьмешь. Мясо только коммерческое говядина 4-30, свинина 3-50. Но нечего можно жить помаленьку. Овощи есть в магазине картофель 13 коп»* (28.03.1983).

О дефиците желанного и остро необходимого пишут в эпическом тоне. Это что-то вроде природных сил, к которым человеку остается только приспособиться. Желать постоянного ассортимента продуктов в магазинах – это вроде как желать хорошей погоды. *«Погода не балует, то жара то холод. Нет желанного ровного тепла»*, – пишет одна старушка другой (03.08.1978). Каждый знает, что столь желанной ровной погоды в нашем климате не бывает. Так и с продуктами питания и прочими товарами. Режим описания – природная данность. Походы за едой, поиск одежды – что-то вроде похода за грибами – то ли найдешь, то ли не найдешь. Вопрос ставится в пассивной форме: *«Как вас снабжают?»*. Кто снабжает, какая таинственная сила, от которой зависит человеческая жизнь? *«Снабжение несколько улучшилось. Может это в связи с выборами. Молочные продукты без перебоя, иногда торгуют мясом, курами. Масла по-прежнему нет. Из овощей только огурцы и капуста, ну а на базаре все в изобилии, только цены малодоступные»* (22.11.1982). Вот еще от-

рывок: ***«Смоленск отметил свое 1125-летие. Праздновали роскошно. И культурная программа и продовольственная были на уровне. Должна сказать, что сейчас в Смоленске есть возможность купить овощи – капуста, картошка, лук, огурцы, редиска и т. д. все в магазинах, а также мясные продукты. Мы еще не поняли – это навсегда, или связано с майскими праздниками или юбилеем, но вот уже два месяца торгуют говядиной, а масло и куры постоянно»*** (30.05.1988).

Вот отрывок, где эта неведомая «снабжающая» сила персонифицирована в секретаре обкома: ***«У нас новый секретарь обкома вроде чуть получше стало с продуктами – талоны на масло отменили, но на сахар (по 1 кг) и на колбасу (0,5 кг) еще сохраняется. Но мы все покупаем в кооперативном или на рынке. На государственное мясо попасть можно очень редко, а бегать за ним по полдня сил нет»*** (конец 1988 года). На первом месте то, что можно назвать проблемой *государственного мяса*, того, что можно купить по твердой цене, но которое доступно не всем. Кстати, пройдет немного времени, и ученым придется сделать «комментарий к общеизвестному»: а что, собственно, имелось в виду?.. И объяснять, что имеется в виду мясо, которое в числе других продуктов продавалось по стабильной, заниженной цене.

По этим отрывкам можно легко сделать вывод: а, вот оно, пресловутое советское иждивенчество, вечный расчет на *государственное мясо*! Но по переписке хорошо видно, что этих людей неверно называть пассивными, просто действия их отнюдь не похожи на то рациональное экономическое действие, которое нам описывают экономисты. Люди предпринимают все, что могут, чтобы удовлетворить свои нужды и компенсировать недостатки планово-раздаточной экономики. Без таких компенсирующих действий социальных агентов (действий, повторяемых миллионы раз!) эта самая экономика существовать бы просто не могла.

Во-первых, везут недостающее из разных мест. Надрываются под тяжестью колбасы, масла, птицы и говядины, фруктов, которые тащат с юга. Те, кто живет в Центральной России, уповают на счастливую Москву. ***«Генка ездил в Москву привез мясо 6 кг и вина хорошего к Новому году, апельсинов... Там народу мно-***

го перед Новым годом» (23.12.1982). Москва может, конечно, проявить суровость. *«Я совершил ряд поездок по Москве, но продуктов купить не могли. Было воскресенье, а в этот день 90% продмагов закрыты, чтобы люди не вывозили из Москвы продовольствие»* (11.10.1981).

Еще одна социальная техника воплощена в принципе «Бери, пока есть!», делай запас. Из Актюбинска в Смоленск: *«Я уже купила 10 кусков мыла. Но сноха пообещала достать ящик порошка стирального. Я думаю вышлю вам мыла и порошка... Мыло пока есть, но тоже не везде, нужно взять пока есть... Перед праздником давали много мяса, так люди даже по ночам стояли. Но уже наверное набрали на полгода»* (01.05.1981).

В кулинарном репертуаре советских низов и не вполне низов почетное место занимают те продукты, которые можно долго хранить – пресловутые тушенка, сгущенка и колбаса-сервелат. В религии повседневности это предметы культовые...

Среди способов семейного выживания почетное место занимают домашние заготовки. В этой культуре соленья и варенья – не менее как императив. Не сделаешь – нечем зимой будет полакомиться. Разнообразие ты должен создавать себе сам. *«А то у нас в прошлую зиму не было варенья и было очень скучно. Покупали повидло и мед»* (03.08.1978). О домашних заготовках и их объеме непременно друг другу сообщают: один засолил тринадцать банок огурцов, а другой – только восемь.

Продовольственная проблема решалась и посредством шести соток, на которых умудрялись выращивать кур и кроликов. «Шесть соток», возвраты к земле, осуществляемые на садовых участках, – проблема, требующая специального исследования: *«Откуда прорезалась любовь к земле, сама диву даюсь. Мама говорит голос предков-крестьян с отцовской стороны»* (27.07.1986).

Городская семья, однако, не может жить натуральным хозяйством. По переписке видно, что люди замечательно использовали такое достижение цивилизации, как надежная система почты. Читая письма, я составляла список пересылаемого. Он необъятен и свидетельствует о непредсказуемости возникновения дефицита. По просторам нашей огромной страны шли мастика для пола «Самоблеск», *«бархатная бумага больших размеров ли-*

стовая» (27.10.1986), кинопроектор «Орленок», лекарства (женьшень и седуксен, диаспонин и АТФ), очки, книги, крышки для консервирования, мыло, стиральный порошок, масло, чеснок и лук, детские колготки и детское питание, ***«простой плотный спортивный костюм»*** (27.04.1989), утюг... ***«Послали вам утюг, как раз здесь появились в продаже, ждите, а то без утюга дюже плохо»*** (13.08.1981). Шлют подарки – австрийские носки и польский одеколон, ткань для выпускного платья, фотоаппараты и фотопленки, женские сапоги и джинсы.

Понятно, что делать это было возможно лишь при условии низких почтовых тарифов. Вот, например, бабушка обвязывает внуков, в том числе живущих в других городах. Для примерки свитера и шапочки пересылаются. При современных ценах эта практика стала невозможной и исчезла как *ископаемо-хвостатые* (В. Маяковский) динозавры. Читая письма, мы оказываемся в кругу домашней неформальной экономики[6].

В рамках этой экономики удовлетворяются даже такие символические потребности молодого поколения, как распространяющееся вширь желание иметь «фирменную» одежду, новую аудиотехнику. Нет «фирменного» – носят или отечественное (например, джинсы «Тверь») или самодельное: ***«Бабуля пожалуйста свяжи Генки шапочку спортивную а то у него шапки нет, Виталька знает какие это шапочки, там еще Adidass написано»*** (02.02.1981). Школьницы в провинции 1970-х мечтали носить кримпленовую форму и ходить в темных очках. Но для многих это оставалось только мечтой.

В 1980-е годы предметом престижного символического потребления стал кассетный магнитофон. Но это опять-таки дефицитный товар: ***«Кассетных магнитофонов 4 класса в продаже нет. Сейчас продают 3 класса, а они не менее 200 руб. В Москве недавно видели 4-й класс типа "Легенда", "Спутник". Это самые маленькие магнитолы. Но за ними выстроился мгновенно "хвост" и подступиться было невозможно»*** (20.10.1981). В письме от 28.02.1987 (в стране пошел процесс перестройки) торжественно сообщается о приобретении супермагнитолы Sharp – AF7007. Но это был сверхпрестижный сверхдефицит. Без обращения к тому, что происходило в поле маленьких повседневных жела-

ний маленьких людей, мы вряд ли сможем объяснить, отчего общество к концу 1980-х стало так радикально меняться, отчего масса людей так пожелала изменений.

Люди, о которых идет речь, конечно, не голодали и не были раздеты. Но они не могли свободно реализовать энергию желания, сделать свой выбор.

Следует еще раз подчеркнуть: все, что вращается в кругу домашней экономики, строится не на эквивалентном обмене, а на моральной экономике бескорыстного дара и долга, сердечной привязанности и нравственных оснований[7]. Каждый член семьи – часть целого, но старшие поколения главным образом отдают, а младшие получают.

Из Смоленской области в Новороссийск:

«С продуктами у нас пока хорошо. Мяса он (муж. – *Авт.*) ***где-то достал много. Приезжали еще свекровь с дедом до того, как мы приехали. Привезли картошки 3 мешка, компотов 10 банок, капусту, варенье. Шторы дала на окна, половика 2 на пол, 2 клеенки, 2 коврика...»*** (30.11.1984).

Принципы моральной экономики распространяются не только на узкий семейный круг, но на сослуживцев, друзей и знакомых и охватывают все практики взаимопомощи. Эти практики часто социально маркируются как женские. Речь идет о реципрокности, взаимности (*«семья, которая нуждается в нем, как и он в помощи семьи»*). Впрочем, ими пользуются и мужчины, исповедующие жизненное правило ***«привыкнуть, притереться, познакомиться, войти в коллектив»*** (11.06.1979).

До самого последнего времени эти практики обозначали как непроизводственные виды деятельности. Обратим внимание на то, что с позиции Л. Тимофеева и И. Клямкина эти процессы, роль которых в жизни любого общества трудно переоценить, подпадают под определение теневой экономики, с которой, как известно, надо бороться[8].

Лишь в последние десятилетия они стали предметом внимания социальных теоретиков. Исследование их позволило найти новый язык разговора о социальном, а в результате концептуализировать то, что люди знают практически: не только политическими решениями и замечательными реформаторскими пла-

нами держится мир, но и тем, как люди «упираются», спасают детей от всяческих напастей, «оттягиваются» за бутылкой, беседой и письмом[9].

Динамика ценностей и язык

Анализ позволяет проследить постепенное изменение типа социальной связи, а также динамику ценностей.

Поколение, у которого было крестьянское детство, живет с соседями семейно-общинно: ***«А умерла она внезапно. Пришлось помогать»*** (30.01.1979). ***«Около нас построили большой дом, так что у нас стало весело, народу много»*** (20.04.1983). Это царство множественной, полифункциональной, персонифицированной социальной связи.

Поколение самой Елены Петровны (1930-х годов рождения) также было в очень близких отношениях с соседями. Но наиболее значим для них круг сослуживцев. Рабочий коллектив не менее ценен, чем семья. Так, сослуживцы входят в крут приглашаемых на свадьбу наряду с родственниками. Они не обязательно приезжают (если речь идет о поездке в другой город), но приглашают их непременно, полуофициальной открыткой (иногда используют специально выпускаемые открытки-приглашения). То же касается юбилеев. На юбилей гости собираются со всей страны, но и сослуживцы входят в их число. Критерий удачности юбилея – «люди собрались». Как пишет одна из корреспонденток: ***«Я свой тоже юбилей отметила покупала 10 б водки, 2 шампанские 2 коньяка, 2 вина плюс родственники привозили. Отмечала дома, собирала 2 стола. Один приходил гл. бухг., а второй собирались родственники»*** (1983). Нельзя сказать, что отношения технической или экономической целесообразности переносятся на семью – напротив, отношения семейные переносятся на работу. Поддержание такого типа связи ощущается как моральный долг и как социальная потребность. Трудно различить, когда мы имеем дело с профессиональным призванием, а когда следует говорить об удовольствии от жизни в тесном сообществе *трудового коллектива*. Уйдя на пенсию, они тоскуют по кругу сослуживцев. ***«А я опять тоскую по рабо-***

те, а вернее по общению с какими-никакими людишками» (10.03.1986). Дети крестьян (а таковых в России большинство), получившие высшее образование, очень ценили свой статус. Труд, работа – самоочевидная ценность. Напомню, что труд для нашего общества категория исторически новая.

Письма свидетельствуют: отношения между бывшими сослуживцами поддерживаются многие годы. Они приглашают друг друга на свадьбы и юбилеи, оказывают друг другу услуги, выручают деньгами, проводят вместе отпуск. Когда Елена Петровна переезжает из Смоленска в Новороссийск, то есть к Черному морю, начинаются интенсивные визиты как родственников, так и сослуживцев. Только в 1983 году к ней обратилось несколько бывших сослуживцев-друзей с просьбой принять их на отдых. То же и в последующие годы. ***«Приеду я с внучей и дочей...»***, – пишет главный бухгалтер стройтреста, где работала в Смоленске Елена Петровна (17.07.1985). У Елены Петровны довольно сложные семейные обстоятельства, но ей неудобно отказать. Она должна следовать обычаю и быть жертвой социального принуждения, которому, впрочем, она подчиняется вполне добровольно. Подобные ситуации возможно интерпретировать двояким образом. С одной стороны – проявление коммюнотарности. С другой – род вынужденности. Путевки – тоже предмет дефицита. Речь идет о том, что называют добродетелью из необходимости. Для этого поколения семьи цивилизованность – ценность. При переезде семьи из Кустаная в Смоленск их привлекла культурность города: ***«Смоленск прекрасен, особенно сейчас, когда он весь в цвету. Город чист, зелен, стоит на красивой холмистой местности, пересекаемой живописными оврагами. Культурная жизнь несравненно выше наших казахских окраин. Имеется множество зрелищных учреждений, театров, музеев, памятников. Особенно прекрасны парки в самом городе и вокруг него»*** (25.05.1976). Они отделяют себя от родственников, которые умирают ***«нехорошей смертью»*** – то ли отравляются газом, то ли становятся жертвами убийства (03.01.1977).

У поколения детей (1960-е годы рождения) работа и досуг уже совершенно разделены. Работа – докука. ***«Работа не нравится ужасно»*** – лейтмотив в письмах детей.

Одна девушка бросает ненавистную работу оператора ЭВМ и становится продавцом (1983 год, лето). Другая девушка, бухгалтер по профессии, пишет: ***«Сегодня на работе мне совсем нечего делать: утром перерисовывала орнамент для кофты, потом писала письма. Затем ходила в гости к девченке в другой кабинет, теперь вот опять пишу письма... пока нет большой работы и наша крыса – главная не видит»*** (17.01.1985).

Дочь пишет матери: «***Мам, ты спрашиваешь про работу, ничего страшного, просто мне не нравится работать на производстве»*** (19.11.1981). Зять мечется, то трудится монтажником, то переходит в МВД и работает в «зоне».

Род занятий не выбирают в соответствии с тем, что называют профессиональным призванием. «Труд» для них – абстрактная категория. Главное пространство общения – досуг. Работа и досуг – разные пространства.

Здесь нет протеста, скорее речь идет о диффузном неудовольствии, о невыраженном ясно желании – как в народной песне, отрывок из которой послужил эпиграфом к этой главе: *«Не знаю, надо иль не надо/Хотел ли я иль не хотел...»* Это неудовольствие выражается в равнодушии к официальным ценностям. Люди не видят жизненного смысла в том, чтобы их искренне принимать или хотя бы постоянно подтверждать. А такой смысл явно имел место у отца Елены Петровны и у нее самой.

Смена в поле социальных ценностей прослеживается в отходе от официального идеологического языка. Этот язык выведен за пределы семейного круга. Среди пишущих письма нет людей, *мыслящих языком плаката* (А. Платонов). Этот язык сохраняется лишь постольку, поскольку он нужен для обращения в официальные инстанции. В 1980-е годы вовсю функционирует жанр «письма на Съезд». Елена Петровна использует его, когда старается выручить сына из армии. Она, кстати, отмечает, что XXVII съезд КПСС получил 250 000 писем, по свидетельству газет. Дома этот язык не нужен, хотя сама главная героиня, естественно, член КПСС. Разговоры «о политике» – предмет иронии. Это признак старости и повреждения в уме: старенький папа ***«стал болтливый, суетливым и все о политике рассуждает»*** (ноябрь 1978 года).

Как уже было показано, в записках советских людей первого поколения, бывших крестьян, идеологические слова использовались некритически, между ними и человеком, их использующим, дистанции не было. Следы прежней ситуации присутствуют лишь в письмах матери Елены Петровны, которая как раз принадлежит к этому поколению: 1903 года рождения.

Вдова батальонного комиссара была не очень грамотна. Она пишет знак процента вместо градуса. Получается, например, что в Кустанае был мороз 40%! Она не в очень хороших отношениях с написанием дат. Погода у нее *голодная* (вместо «холодная»), мохеровая кофточка у нее *магеровая* кофточка, вместо нормально – *нармяльно*, алименты – *олементы* и пр. Сообщая внуку о том, что наступило Рождество, она пишет: ***«Сегодня поповский праздник рождество я нечего не делаю»*** (январь 1977 года). Она явно использует слова, которым научилась в школе или услышала от мужа. Однако, сообщая, что она не трудится (ибо грешно), она подтверждает тем самым, что этот праздник чтит. Она ходила в церковь: в одном из писем сын спрашивает ее, была ли она на торжественной службе в соборе (03.09.1977).

В переписке старшего поколения – следы традиционной культуры. Старушки обсуждают приметы: много инея на деревьях – быть урожаю. Естественно, пишут о болезнях. В лечении они сочетают рецепты народной и профессиональной медицины: ***«Стало немного лучше и меня выписали. Но все равно пришлось идти к бабке. Она мне заговорила и дала еще мазь. Я мазала и обертывала красной тряпкой, ранки все зажили»*** (28.03.1983). Подобные сентенции напоминают то, что обнаруживалось в практиках Евгении Григорьевны Киселевой.

Здесь время сказать, что в семье был человек, который имел самое непосредственное отношение к воспроизводству официального идеологического дискурса. Это брат Елены Петровны, 1927 года рождения, преподаватель научного коммунизма. Сама профессия – рудимент более раннего периода истории. Он единственный в семье наследник отца-комиссара. Он делает доклады о революциях и контрреволюциях в Латинской Америке так же, как его отец докладывал о международном положении. Он публикует в многотиражке статью «Социализм и мир неодоли-

мы» (22.10.1978). В одном из писем сестре он рассказывает, как нашел в областном архиве свидетельства о том, что его отец выступал в деревне с докладами о международном положении.

По идее, такой человек должен жить в языке и ритуале идеологии. На первый взгляд, это так. ***«Сегодня устал по-собачьи. С утра кое-что обобщал по подготовке к партбюро. К 11.00 собрался в Институт, ибо собрал не все материалы»*** (17.11.1973). У него почти каждый день лекции в политпросвете. Это и «общественная работа», и небольшой заработок (подработка). Готовясь к лекциям, он мучается, мало спит. ***«Из общественных поручений у меня такие: Левобережный райком КПСС потребовал выделить меня для методических семинаров с пропагандистами района. <...> В Институте пойдут по эстетике с преподавателями кафедры иняза и сотрудниками библиотеки... С октября пойдут платные лекции по программе университета марксизма-ленинизма в военном городке и на транспортном заводе»*** (09.1973).

Тему «О развитом социалистическом обществе» он считает трудной. Именно он советует сестре прочитать в еженедельнике «Новое время» статью генерального секретаря компартии США Г. Холла «Саморазоблачение Сахарова» (11.1973).

Но и у него официальный язык лишь обрамляет жизнь. Ему все равно, что обсуждать на семинарах – проблемы развитого социализма или построения правового государства (на последнюю тему он вел семинар в апреле 1989 года). Его волнует главным образом слишком быстрое изменение программ: ***«Учебный год идет с измененными программами, а это неприятно. Программы нестабильны, на будущий год новые изменения»*** (04.05.1990).

Отход от официоза проявляется у него в том, что он активно конструирует мир частной жизни – больше думает о покупке вещей в кредит, страховке, налогах, рассрочке на подписку. Действительно глубоко его волнует проблема «метеопатии», влияния неблагоприятной погоды на человеческий организм. Он стремится дать каузальные объяснения своего плохого самочувствия: ***«часто менялось барометрическое давление»***, ***«атмосферное давление играет»***, ***«резкие скачки температуры и давле-***

ния атмосферы вызвали <...> болезненные явления» (27.08.1981). Дыхательная гимнастика и проблема покупки спортивного костюма значат для него больше, чем служение официальному языку, за которое он получает зарплату. В конце 1980-х – начале 1990-х годов, в период бума периодики, он выписывает не «Новый мир» или «Наш современник», а «Твое здоровье» и «Физкультуру и спорт». Его интересуют системы питания и способы продления жизни. Круг чтения: М. Вислоцкая «Искусство любви», Г. Шелтон «Как обеспечить сочетаемость пищи», И. Чирковский «Рождение в воде», А. Зубков «Хатха-йога в меняющемся мире», Джуди Гласе «Жить до 180 лет» и др. Он проявляет огромный интерес к психотерапии. Он сообщает сестре, что прочитал шесть брошюр: «6 советов раздражительному человеку», «18 советов деловому человеку», «Поведение типов "А" и "Б"», «Введение в аутотренинг», «Тесты на угрозу инфаркту». Первую брошюру он переписывает от руки и посылает копию сестре. Не обошел его и интерес к психотерапевту Кашпировскому. Здесь уместно напомнить, что рефлексивное отношение к телу – параметр модерна.

Брат Елены Петровны остался вдовцом, и постепенно у него началась новая жизнь. Он переустраивает свой дом и ищет спутницу жизни, вовсю используя перестроечное новшество – брачные объявления. Получив 84 предложения, он начинает выбирать. ***«Черт с ними с женщинами. Займусь я квартирой, а к женщинам вернусь весной. И только так решил, посыпались предложения женщин»... Обязательно буду до предела осторожен, осмотрителен... Возраст невест? Одна – 42 лет, две – 48 лет, две – 58 лет. Кандидатов можно найти сколько угодно, но это нехорошо»*** (08.11.1989). В целом он недоволен женщинами: ***«приходят с какими-то иждивенческими настроениями, ни разу не услышал ни одного доброго совета, как мне реорганизовать свое хозяйство, украсить квартиру»*** (04.05.1990). Словом, он человек частной жизни.

Поколение детей дистанцируется от официального и идеологического языка, хотя довольно часто прибегает к цитированию социально-идеологического дискурса. Они не то чтобы подвергают его осмеянию, но держат ироническую дистанцию. Например,

девушка, которая любит поспать по утрам, пишет, что ее будят, *пока не проснется комсомольская совесть*. Со старыми идеологическими клише происходит риторическая игра. ***«Выговор с занесением в личное дело»*** – шутливая угроза, упрек за то, что адресат не пишет (07.02.1985). Еще пример дистанции по отношению к официально одобряемым ценностям: ***«Я уже рабочий человек... Я вношу свою лепту в строительство коммунизма. В общем, трудилась как пчелка. Я уже имею профессию продавца»*** (11.07.1980). Работа на садовом участке именуется *«решением продовольственной программы»*. Они употребляют выражение *«культурно отдыхать»*, но с иронией, например, когда пишут о весело проведенном дне рождения. Демонстрация на 7 ноября – приятное времяпровождение, повод для встречи с друзьями. Что-то вроде праздничной демонстрации в фильме «Застава Ильича» М. Хуциева. Портреты вождей, лозунги видимы, но не замечаемы, а потому их и нет на экране. ***«На демонстрацию меня родители не пускали, т. к. боялись, что я простужусь, я сегодня все равно удрала на нее»*** (07.11.1982). Еще раз повторим, участие в праздничной демонстрации доставляет удовольствие, но это удовольствие не имеет ничего общего с тем чувством удовлетворения, которое Владимир Ильич Едовин получал от того, что стоял во время праздничной демонстрации на трибуне.

Ирония подразумевает позицию по отношению к говоримому. Дети умело участвуют в иронической языковой игре. Они сознательно сталкивают социально одобряемый нарратив и неофициальную речь. Открытка, полученная девушкой от подруги, состоит из двух частей. Одна – официальная, как учили родители и школа. Другая – «от души». Перед нами риторическая игра с социальным каноном, смелое сопоставление разных речевых стилей[10].

«Дорогая Леночка!

От всей души поздравляю тебя с наступающим Новым 1979 годом!

Желаю тебе отличного здоровья, успехов в учебе, счастья в твоей личной жизни, радости и веселья в эту новогоднюю ночь и всегда.

Целую тебя. Галя К.»

«Ты, злодейка, что усмехаешься? Ежели ты невинная девица, то ты должна скромно опустить очи и зардеться, а не зырить на сию открытку, как гнусная злодейка. Ну желаю тебе в новогоднюю ночь накиряться как следует (да смотри не дерябнись нигде), и приглянуться какому-нибудь гарному хлопцу» (27.12.1978). На первый взгляд кажется, что их выбор – тоже выбор частной жизни, который легитимируется ссылкой на А.С. Пушкина, изучаемого по школьной программе.

Из девичьей переписки:

«Трудов напрасно не губя,
Любить так лучше самого себя!
Предмет достойный, ничего
Любезней, верно, нет его –
Ты согласна со мной?» (11.07.1980)

Кстати, следы изучения литературы по школьной программе обнаруживаются то тут, то там. Молодые женщины придают форму своим чувствам посредством отсылки к А.П. Чехову: ***«Лена, обязательно прочитай "Даму с собачкой". Не пожалеешь. Совсем по-другому читается сейчас, чем раньше»*** (30.09.1985).

Результат отхода тогдашних молодых от официальных ценностей неоднозначен. «Хорошие дети», не принимая внутренне официально одобряемые социальные классификации, действительно уходят в мир частной жизни: наряду с работой вязание, музыка, сидение дома, поездки на экскурсии по праздникам, спорт и фотография. Они могут обходиться без алкоголя: ***«не понимаю как люди пьют эту гадость»*** (05.12.1984). ***«Когда он узнал, что я непьющий, то аж прослезился от умиления»*** (03.04.1986). Они культивируют ценности семьи. Сыновья нашей героини идут, скорее, этим путем. В социологической литературе и в публицистике отход от ценностей советской цивилизации трактуется однозначно положительно.

Однако чтение переписки позволяет увидеть, что такой однозначности нет. Другой вариант – складывание неконформистской «антишкольной» культуры, которая быстро сближается с уголовной. Об этом свидетельствует переписка части младшего поколения.

Женские будни

Специального внимания требует реконструкция картины повседневной жизни женщин, родившихся в 1960-е годы: брак, развод, дети, аборты, тюрьма.

Быть *блатным(ой)* – реальная перспектива. Брат пишет брату из армии о сестре: ***«Ты уж смотри за ней, чтобы она блатной не была»*** (06.01.1978).

Из Кустаная в Смоленск: «***Ольга Щегай в Ленинграде, письма нам пишет, я ей так завидую, такая блатная стала со всеми перезнакомилась, с неграми познакомилась. Живет в 15-этажном общежитии, с пацанами торчит. Поет в эстрадном, короче житуха такая, можно позавидовать***» (11.11.1977). ***«...ты знаешь, у нас сейчас уроки так проходят. Никто нормально не слушает... Сидим, балдеем»*** (08.05.1977). ***«В понедельник ... в школу не пошли и, вместе с Гришкой, пили, так здорово»*** (11.12.1978). ***«Вчера физику сдала и напилась от радости»... «Привалова почти все экзамены на 5 сдает. Молодец такая девчушка!.. Такая блатная, жаргончики блатные... Дожди заколебали»*** (16.06.1979).

Хороша та работа и компания, где можно открыто, без социальной цензуры говорить о своих желаниях, об алкогольных практиках, о желании прогулять. ***«Я работаю в магазине, мне очень нравится. Все девчонки балдовые, все балдеим... Почти каждую субботу пьем, т. к. день рождения часто... Что хочешь, то и возьмешь, лишь бы деньги были»*** (31.01.1979). ***«Коллектив у нас хороший, очень дружные мы. Чуть ли не каждый день пьем. Ну а что поделаешь? Ведь работаем в торговле, тем более в коллективе, а как я могу пойти против общества? Вот и приходится за здоровье каждого пить. Нет, серьезно, знаешь как торгаши бухают дикий ужас! А я и сама иду в первых числах... Конечно, поживешь в болоте, сам позеленеешь...»*** (09.12.1980).

Они не принимают социально одобряемые критерии карьеры, жизненных стилей. По иронии судьбы (или истории?), культивируя противопоставление «мы» и «они», эти молодые люди маргинализируются. Вместо приватности возникает подчинение новой коллективности, в которой действуют законы

полу-уголовной, а то и просто уголовной среды. В языке – блатная музыка.

Чистых невозможно отделить от нечистых. Зять Елены Петровны работает в тюрьме, друзья и подруги дочери в тюрьму попадают. ***«А Курбаного Олежку посадили, наверное уже расстреляли! Да, <...> вот такая она жизнь! Перед выпускным он убил, зарезал врача за печатку по-моему. А все же жалко его. <...> Но и в то же время готова убить его!! Ведь <...> можно ударить раз, но ведь он как садист ковырял его ножом, представляешь?!! Он был пьяным, но ведь это ничего не говорит!»*** (11.07.1980). Юное поколение – как юноши, так и девушки – прекрасно осведомлены об адресах мужских и женских тюрем и зон. Из девичьего письма: ***«Верку нашу посадили <...> сидела пока в нашей тюрьме»*** (29.01.1980).

Вот рассказ подруги дочери об одиссее все той же Верки:

«Верка устроилась на ламповый завод проработала один день это был день пятница в субботу и в воскресенье нажралась чифиру и теофедрину и в понедельник пошла на больничный и опять та же история в больницу не пошла больничный не закрыт на работу не ходит и в конечном счете она наверное загремит туда где уже была... Я тебе наверное уже писала, что Лютый сидел и когда тот парень освобождался Лютый сказал ему зайти к Верке и помочь ей устроиться на работу поторопить ее чтобы она скорее прислала бланк, Лютый хочет расписаться с Веркой, а теперь Верка ходит с этим парнем живет с ним, и дома у него ночует и называет его своим мужем. Он зовет ее замуж, а она боится, что Лютый придет и зарежет ее» (06.09.1986).

Происшедшее – объективное социальное поражение семьи и общества. Семейный социальный и культурный капитал растрачен. Ни один из младшего поколения семьи не получил высшего образования. Даже в ограниченном пространстве одной семьи мы видим, как создаются предпосылки для того, что сейчас называют социальной криминализацией.

Их личная жизнь не задается, вне зависимости от ситуации в области публичного. Жизнь дочерей, которая не залаживается, – тема переписки поколения нашей главной героини, то есть поколения матерей: ***«С одной стороны Оксаной все восхищаются (не преувеличивая), врач она хороший, ее ценят, всячески одобряют, большую общественную работу ведет и с другой стороны личная жизнь – сюжет для низкопробного романа»*** (конец 1988 года).

Что именно имеется в виду, понятно из переписки дочерей. Дочери явно отличаются низкой степенью самоконтроля и свободно говорят о том, что для матерей – табу.

«У девок наших все хорошо. Побили Эрика <...> наши мальцы, а рядом была Верка, она как раз с ними тогда пила. А теперь ее таскают по милициям, чтоб сказала кто бил. Ирка наша приехала с юга, отдалась какому-то Вове, и теперь нет месячных, но есть Вовин адрес. Он живет в Мичуринске, кончил Тамбовское летное училище. Хочет родить. У Ворониной тоже нет месячных. <...> У Поклада жена тоже беременная» (17.12.1984).

Когда внучке Елены Петровны было только 7 месяцев, дочь снова забеременела. Она сделала «по знакомству» аборт, когда срок беременности был уже 3,5–4 месяца. Она пишет матери: ***«Мам, а у меня был мальчик, как столовая ложка размером. Я 2 ночи спать не могла. А сейчас успокоилась. Все таки срок еще не очень большой 19–20 недель. Ну ладно, это все прошлое»*** (07.06.1983).

Вот отрывок из письма от апреля 1987 года. Пишущая рассказывает о своем романе и сообщает последние новости:

«Миша этот был 3 года на Севере наверное денежки есть, он ко мне хорошо относится, я хоть чуть вспомнила за три года, как это целоваться и ласковое слово, а теперь когда все это будет опять. <...> Танька Рыба не родила, сделала аборт, свекруха не разрешила ей рожать. Так что у них сейчас только одна девочка Оксана 2,5 года. 16 апреля у Бэна была свадьба <...>, Бэнова жена уже беременная 3 месяца. <...> Гунька

гуляет, да сколько с мужем живет, а абортов ни одного не сделала, вот Лен, у нее поучимся как это надо так. <...> Пришел Тереховский из тюрьмы. <...> У Лявы ребенок уже большой месяцев 10. Лява пьет. От Федора ушла жена».

По переписке возможно реконструировать представления о правильных и неправильных брачных стратегиях. Старшее поколение полагает, что хорошо, если «семья обеспеченная, это немаловажно». По мнению брата Елены Петровны, его сын заключил хороший брак. Мать его жены инженер по образованию, секретарь парткома, отец рабочий-экскаваторщик. (Отметим, что в данном случае имеет место частая ситуация: женщина обладает бóльшим образовательным капиталом.) ***«Сережа и Наташа на деньги, заработанные в стройотряде, купили в кредит холодильник, а на деньги, подаренные к свадьбе – телевизор (155 р.). 2х комнатная квартира у них бесплатная: за нее Сережа работает дворником в ЖЭКе. Семейный бюджет у них около 200 руб в месяц (две стипендии = 95 руб., наши =50 руб, дворницкие = 60 руб); Родители Наташи трудовой народ. Мама – секретарь парткома, инженер по образованию, папа – рабочий экскаваторщик. <...> Были две свадьбы. Одна с родственниками и друзьями (15 чел.) в ресторане "Украина". Вторая – студенческая (30 чел.) без родителей (мы ушли в Кремлевский дворец съездов на концерт)».*** Свадьба дочери Елены Петровны (конец 1980 года) более традиционная, на нее предполагалось пригласить 70 человек. Размах свадьбы осуждался братом Елены Петровны: ***«совсем по-литецки или по купечески (если брать период до 1917 г.)»*** (31.11.1980).

После пышной свадьбы вскоре происходит развод: ***«С Вовсиком развожусь и так что надоел уже, а больше из-за квартиры. <...> А такого Козла, кабеля, всегда можно найти и если я его потеряю то это даже лучше, все равно мы с ним жить похорошему не будем, а хренова жить и мучится. <... > Была бы я и Ромка и мамка, а больше мне не кто не нужен»*** (29.01.1980).

***

Многое еще можно рассказать. Тем более что семья Елены Петровны продолжает существовать. Правда, мы не знаем, что случалось дальше: в распоряжении исследователя нет ничего

кроме переписки.... Возможно, члены семьи, тем более представленные новым поколением, сделали новые жизненные выборы. Внимательное чтение позволяет нам отметить симптоматику дальнейших перемен. Так, среди знакомых детей появляется *Христианка* (именно так, с заглавной буквы она сама себя именует). А христианка она потому, что ее ***«раздражает эта погоня за наживой, богатством, даже если все это за счет собственного труда»*** (07.02.1985). Есть свидетельство того, что в повседневность входит ритуал крещения детей. В 1980 году крестили первую внучку нашей главной героини. Реалии ритуалов не всегда нравятся: ***«В Пасху посетила кладбище, и до сих пор хожу с тяжелым сердцем. Я и раньше слышала о том, что происходит, но не представляла, что это так мерзко. Кладбище – это место усопших, должно быть тихим, торжественным, уютным. То, что я увидела, потрясло. Почти на каждой могиле расположились компании подвыпивших людей, смех, споры, едят, пьют и ругань пьяных. Даже старые люди ведут себя также»*** (апрель 1985 года). Интерес к православному христианству сочетается с астрологическими увлечениями: ***«И еще я просила тебя чтобы ты из гороскопа переписала про Анжелку и про Генку»*** (13.01.1983).

Они пользуются любой возможностью, чтобы расширить жизненное пространство, сделать прорыв. В 1984 году наша героиня совершила туристический круиз вокруг Европы. Это событие на всех его этапах обсуждается в переписке: ***«Такое путешествие бывает раз в жизни и будет вспоминаться светлым пятном»*** (15.11.1984).

В то же время мы видим, сколь мало могли они предвидеть, действуя в соответствии с инкорпорированными схемами. Их ментальная карта коррелирует с географическим пространством огромной страны, называвшейся СССР. Солдат-армянин с легкостью думает о том, чтобы переехать во Львов, учиться там и жить (27.10.1986). Одна часть семьи может жить в Нальчике, другая в Риге. ***«Женихи наших милых девчонок разбросаны по всему Союзу»*** (07.02.1985). Девушка из Нальчика называет Фрунзе, Киев, Минск. Интернациональный брак нормален. Ощущение цельности социального пространства – самоочевид-

ность. Ими регулярно овладевала охота к перемене мест: ***«Где б такое место найти что жилье какое-нибудь получить, я бы даже не задумалась, хочу на юг и все»*** (1985). Идут последние годы существования СССР, а они все меняют Смоленск на Таллин или Алма-Ату. Части единого пространства классифицируются в соответствии с оппозицией *дикое/цивилизованное*. ***«Привет из дикого Казахстана»***, – пишет солдат девушке (10.07.1980). Эстония – цивилизованная: ***«Живут они значительно лучше нас. Снабжают их лучше некуда. Все есть, начиная несколькими сортами мяса и кончая различными рыбными продуктами»*** (03.10.1984). И лишь неясное ностальгическое чувство заставляет мечтать о возвращении в места родные: ***«Пойдем на пенсию обязательно обменяемся на Россию»*** (из Казахстана 17.04.1987). ***«Всегдашняя мечта к старости добраться да своей Родины Украины»*** (конец 1988 года). Нам неизвестно, удалось ли им вернуться.

Перестройку и гласность они приветствовали, но далеко не безоговорочно, поскольку мир на глазах утрачивал ясные очертания: ***«Гласность в стране мне не на пользу, сникла как-то, что не знала и не видела, но противно.***

История – причем тут мы?» (07.04.1988 из Ленинграда).

***

Попробуем подытожить, что именно мы узнали из чтения одной семейной переписки. Отметим, что автор-исследователь пребывал в зазоре между «насыщенным описанием» и «диагнозом» (К. Гирц), то есть между определением значений, которые имеют социальные действия для самих действующих лиц, и констатацией, как можно более развернутой, того, что дает нам полученное таким образом знание об обществе.

Мы узнали, как переписка поддерживает «чувство семьи», тем самым воспроизводя семью как общественное отношение. Мы узнали правила повседневной жизни и подробности практик выживания в последний период советского общества. По смене языкового репертуара мы получили «слепок» социального изменения и наглядно «узрели», что значит альтернативность истории. Мы смогли разглядеть, как происходит то, что

называется социальным наследованием. В целом же чтение переписки, которая охватывает почти 20-летний период, позволяет хорошо ощутить, что имеют в виду, когда говорят, что историю делают люди.

Анализ самоочевидностей, реконструируемых по этой переписке, тоже поучителен. Именно в этих рамках, которые воспринимаются как естественные, герои действуют и планируют действия. Самоочевидность – то, что не обсуждается, но подразумевается. Для них естественно иметь работу, иметь оплаченный декретный отпуск (*«С работы я не уволилась, т. к. мне будут платить 35 руб. до апреля»* (29.11.1982), выплачиваемые вовремя зарплаты и пенсии. Они рассчитывают на это. Это основа рациональности. Для них естественна стабильность рубля, оплата декретного отпуска и бюллетеня по болезни. Самоочевидна пунктуальная выплата пенсий и зарплаты дважды в месяц. Молодые люди были уверены, что вне зависимости от социального поведения их не уволят в течение трех лет после окончания учебного заведения. Они могли надеяться, что рано или поздно они обретут бесплатное жилье, что сегодня кажется отнюдь не гарантированным. Понятно, что вокруг бесплатного жилья шли свои социальные игры: *«Уже не знаем к кому обращаться и кого угощать, только бы помогли. <...> Мы уже через обком взялись»* (03.08.1985).

Читая письма, еще раз понимаешь, что этот мир, где не надо было стыдиться безденежья, ушел. Они иногда ропщут: «50 лет, а за душой ни гроша кроме долгов» (28.07.1986 из Кустаная в Новороссийск), но эти сетования, однако, имеют характер скорее риторический. Они легко занимали и давали в долг без процентов и на любой срок. Когда Елена Петровна попросила у брата денег на свадьбу дочери, он дал в долг не сразу, зато мы получили возможность кое-что узнать о семейном бюджете: *«За 2 дня до твоего письма я купил радиоприемник высшего класса "Ленинград-002". Он стоит 200 руб. <...> и съел деньги. В домашней кассе осталось 75 руб. Выручила сообразительность Таи* (жены. – *Авт.*): *тряхнуть сберкнижками, взяли, посмотрели их. У меня 197 руб (без расчета процентов за более, чем год), у Таи 90 р. <...> Решено снять с моей книжки 135–145 руб.»* (31.11.1980).

По переписке видно, что их выраженные эксплицитно желания были совершенно не похожи на самоочевидности (путешествия, много хорошей еды, стереосистемы Sharp и пр.). И лишь солдаты срочной службы понимали, что существуют некие онтологические предпосылки: «хороших вещей в жизни мало: сон, перекур, увольнение, обед» (29.07.1977). Перечисленные и другие самоочевидности, казалось, составляли не переменную, а постоянную величину. Вернее, ту, которая лишь виделась постоянной. Здесь слово казалось – ключевое. Когда эти величины релятивизировались, когда стала ясной их необязательность и относительность, годы застоя и предстали утраченным раем (для тех, кто их помнит). Понятно, идея рая на земле (неважно, в прошлом или в будущем) принадлежит к числу утопических. Утопия – место, которого нет.

Если в предыдущей главе мы имели дело с ситуацией, когда агентов «несет» к переменам, то здесь мы погружаемся в процесс реконверсии. В центре внимания – процесс переопределения мира и поиск позиции в новом, на глазах возникающем социуме – при сохранении преимуществ прежнего привилегированного положения.

***

Недавно в «Независимой газете» печатались записки Екатерины Московской «Повесть о жизни с Алешей Паустовским»[1].

Сегодня каждый понимает необходимость множественного прочтения любого текста. Газета представила записки как род *belles-lettres*, то есть текста-произведения (Р. Барт). Специалист по гендерным исследованиям увидит в записках ситуацию женщины в условиях «крутого» советского модерна. Одной из интерпретаций будет социологическая. *Повествование о себе* в этом случае видится как объективация общих социальных процессов. Действительно, рассказанная история дает возможность осветить значимые моменты слома советского общества и его трансформации: ведь социальное изменение тесно связано с тем, что именно происходит с социальными агентами. Текст написан в первой половине 1990-х годов. Момент этот интересен: перерыв в производстве социальных отношений не уничтожил соответствующие габитусы. Героиня пишет, вспоминая. Воспоминания подразумевают дистанцию, это теперешняя речь о прошлом. Но воспоминания пишутся рукой, принадлежащей телу, нагруженному историей.

Из сказанного может сложиться впечатление, что социологическая интерпретация нарратива, предложенная ниже, совсем

необязательна. Она – лишь одна в ряду других. Однако есть обстоятельства, которые делают именно социологическое чтение настоятельно необходимым. Текст Е. Московской сразу же после напечатания вызвал отклики, появились рецензии. Это явно свидетельствовало о том, что существует группа, оказывающая доверие сказанному. У текста была преамбула: «Удивительно, как эта изящная женщина пронесла сквозь тяжелые жизненные перипетии острые переживания той поры... за сугубо частными переживаниями автора "Повести о жизни с Алешей Паустовским", стоит целая эпоха, определенный социальный круг людей с яркими драматичными судьбами, и все это сквозь художественную призму...» (Кулиса НГ, 1, 1997). Тем самым высказывалась уверенность: сугубо личные переживания привлекут интерес, получат коллективное одобрение хотя бы у части читателей «Независимой газеты». Группа читателей, правда, не так уж велика (тираж газеты – примерно 45 тысяч экземпляров). Ни в одном из откликов собственно социальный аспект представлен не был. Присутствовало что угодно – кроме внимания к социальному зрению рассказчицы[2]. Это позволяет высказать гипотезу, что существует группа людей, которые пользуются общим корпусом социального знания, общими метафорами и классификациями. Они объединены общими категориями мышления, создающими поле тяжести, внутри которого складываются отношения повествовательницы и читателей. Социальное знание подобно стеклу, которого члены группы не замечают. Оно для них – лишь прозрачная среда, но не твердая субстанция. Задача данной работы – *реконструкция кристаллической решетки социального знания группы* советской и постсоветской элиты, к которой принадлежит героиня (а также те, кто себя с ней отождествляют).

Кому и чем интересна история чьей-либо частной жизни? Игрой на предсказуемости (понятности) и отклонении от таковой (интересности). В данном случае мы имеем дело с проблемами, которые возникали в жизни многих. Людям любопытно, как и каким образом героиня преодолела препятствия, несущие угрозу «целям и ценностям». Нет ничего лучше истории о том, как опасности были успешно преодолены. Сама история – также своего рода социальная база данных[3]. Это становится ясно, если

представить себе массу тех, кому данная история абсолютно неинтересна.

Рассмотрение повествования нашей героини как текста подразумевает внимание к тому, как этот текст сконструирован (тропы, риторики)[4]. Здесь следует говорить о нерефлексируемом, о том, что не представлено прямо, что ускользает и не является специальным предметом для пишущего и говорящего: о социальных отношениях, номенклатурах, эталонах, классификациях. Базовый аппарат социального знания группы состоит из множества актуальных ценностей и репрезентаций, которые специфическим образом классифицированы и организованы. Этот классифицирующий аппарат выступает в качестве оператора практики производства текста.

Итак, займемся социологическим переписыванием текста Е. Московской, осознавая, что большинство людей не хотят быть переописанными. Они хотят, чтобы их принимали так, как они видят себя сами.

Генеральский поселок «Трудовая», или По праву гордые

Зачем человек пишет? Зачем заключает «автобиографический пакт»[5] с самим собой? Прежде всего – чтобы ответить на вопрос «Кто я есть?»

Современная социология рассматривает идентичность как процесс. Одновременно может существовать множество идентичностей. Например, одна – фактическая, констатируемая, другая – ценностная, желанная, та, на которую индивид имеет притязания. Или, например, одна идентичность социальная, другая гендерная[6]. Текст можно интерпретировать как историю смены идентичности. Рассказывание истории – род действия, направленного на некий эффект. В самом факте повествования о себе присутствует желание повлиять на тех, кому рассказывают, убедить в своей правоте, соблазнить.

Однако часто потребность поведать миру о себе тесно связана и с возникновением несогласованности, угрожающей идентичности[7]. Рассказ о себе – история о том, как человек преодолел

этот вызов. Здесь речь идет о вызове, ответить на который пришлось советской элите.

Прежде чем рассказать об изменении, представим, *что* именно менялось. Идентичность, которую условно можно назвать *первой*, структурирована положением героини в социальном пространстве. Она не обсуждается и представляет собой некую изначальную веру. Режим исходной идентичности – *природная данность*. Категории социального восприятия выступают как *здравый смысл*. Здравый смысл – то, что не просто можно, но и должно навязать другим в качестве нормы представления. Категории восприятия мира – продукт инкорпорации объективных структур социального пространства[8]. Этот тип идентичности представлен в самой «наивной форме», форме принадлежности от рождения и в этом смысле противостоящей «прагматической вере». Между габитусом и полем имеет место непосредственное согласие. Екатерина Московская занимала в пространстве отношений советского типа место привилегированное. Категории социального пространства представлены в пространстве физическом. Все упоминаемые в тексте адреса – «престижные». Это легко считывает каждый москвич. Адреса могут меняться, но все они окутаны аурой *привилегий*.

В 1960-е годы героиня жила на улице Горького: ***«улица Горького, дом 27/29, подворотня, слева висит мемориальная доска Фадееву (его квартира как раз над нашей).., а лактионовская на следующем этаже, напротив Фадеевых, № 17»*** (Кулиса НГ, № 1, 1997). Это бывшая квартира министра иностранных дел Громыко почти немыслимой для тогдашней Москвы площадью 180 квадратных метров. Рядом жила семья соцреалиста номер один живописца А. Лактионова: ***«Во времена моего детства это была реликтовая семья, из прошлого – доброго, русского, дореволюционного...»*** (Кулиса НГ, № 2, 1998).

В 1967–1968 годы дед Екатерины, он же ее приемный отец, был главным редактором газеты «Советская Россия», членом ЦК КПСС. До этого он пребывал в ссылке: работал послом в Северной Корее.

Привилегированное пространство населяли не только члены ЦК КПСС, но и деятели литературы и искусства. Ближний круг –

СОВЕТСКАЯ РОССИЯ
Газета Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза
СТВА СССР
СОВЕТСКИЕ ГРАНИЦЫ НЕПРИКОСНОВЕННЫ

В.П. Московский, в 1967–1968 годах главный редактор «Советской России»

«соседи по даче – весь генеральский поселок "Трудовая", старинные знакомые и близкие папины друзья, с которыми папа прошел войну, корреспонденты, фотокоры его фронтовой газеты... Сколько историй рассказывалось, особенный мастак на них был, конечно, дядя Степа Михалков, уж когда он начинал, то все в три погибели от хохота в слезах выкрикивали: хватит, Серега, пощади/... Очень все наши любили Наталью Петровну Кончаловскую, и если она вспоминала о чем-то, то слушали, затаив дыхание, она знала иную жизнь, иные страны, людей, о которых уже писали в учебниках...» (Кулиса НГ, № 2, 1998). В ближнем кругу встречались Александр Кривицкий и Константин Симонов, Натан и Евгения Евдокимовна Рыбаки и брат ее Корнейчук, Ванда Василевская.

Пространство, где протекает жизнь Екатерины, включает и высотный дом на Котельнической набережной с гулкими подъездами, ***«роскошными, но полумрачными»*** (Кулиса НГ, № 1, 1998). В последующей жизни героиня перемещается с улицы Горького в район Аэропорта, она оказывается в другом кругу, но

тоже привилегированном: ***«будущий о. Владимир Вигилянский, священник церкви Святой Татьяны, зять Ираклия Андроникова, детский хирург»*** (Кулиса НГ, № 2, 1998).

«Я шла от Тверской через Патриаршие пруды в английскую спецшколу № 20» (Кулиса НГ, № 4, 1998). ***«Я заканчиваю художественную школу, подумываю и о Суриковском, и о Литературном институте. Школа № 175, улица Медведева. Крыльцо со старинными колоннами, деревянная лестница в учительскую»*** (Кулиса НГ, № 1, 1997). Школа элитарная, откуда можно притязать на все перечисленное. В число соучеников входили дети как политической, так и художественной элиты. Дети Аллилуевы учатся вместе с сыном художника Александра Лактионова и сыном писателя Драгунского.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Служебный пропуск № 20

ЛЕВАЯ ТРИБУНА

Тов. Сталин

12 июля 1937 года.

Комиссар Госуд. Безопасн. 3-го ранга ДАГИН

ГУГБ НКВД 1 ОТДЕЛ СССР

Действителен только при предъявлении удостоверения личности.

Вход со стороны пл. Революции.

Пропуск на трибуны Красной площади для «политической элиты»

Именно в этом пространстве конструируется идентичность нашей героини. Идентичность, как известно, не сводится к вербальным обозначениям. Она подразумевает множественность практик – телесных, поведенческих. Глубоко личные предпочтения, которые конституируют *идентичность* индивида, даны в социальном взаимодействии. Отбор и ранжирование желаний –

органический элемент социального процесса. Нельзя не учесть также, что речь идет и о стратегиях избегания, неосознанного, непреднамеренного (избегания людей, проблем и пр.). Язык и телесные режимы (свои для каждого общества, для каждого социального слоя) имеют огромное значение для складывания и объективации самоидентичности[9]. Быть компетентным (идентифицируемым) агентом – значит быть в состоянии на равных участвовать вместе с другими в производстве и воспроизводстве социальных связей и отношений. Соответствие объективным условиям порождает иллюзию целенаправленности, сам орегулирующегося механизма.

Одежда – «внешняя» форма нарратива самоидентичности. В кругу Екатерины свои знаки принадлежности – ***«джинсы, дубленочка»***[10]. А кроме того: ***«... юбка мини «до трусиков», черный, бархатный, скорее пояс, чем юбка, колготки белые, высокие сапоги – черные. Итак, черный свитер, черная юбка, белые колготки, черные сапоги. Существовал вариант № 2 – белый кожаный берет (в любое время года красно-черный бархатный короткий жакетик, шерстяная белая юбка, красные в черную клеточку колготки, черные сапоги (вот белых не было). Я, дочка цековская, конечно не понимала всей своей великолепной заграничной шикарности, я привыкла быть одетой красиво – по своим вкусам, но по дедовским зампредсовминовским возможностям и маминым «подкидываниям тряпочек из-за бугра», что, конечно, дети советских писателей, даже таких как КГ.*** (Паустовский. – *Авт.*), ***не имели. И на черной «Чайке» они не ездили, а я и не задумывалась о том, что меня возит «Чайка» с Мишей или Сашей за рулем ... или такси... Дети тех, которые имеют, не понимают и не ценят, слава Богу, таких вещей, это их среда обитания, и они ее не замечают, как воздух, которым дышат. Понадобилось и мне двадцать лет, чтобы начать осмысливать все это. Но те, которые не имеют...»*** (Кулиса НГ, № 1, 1997). Многоточие, которым заканчивается период, симптоматично.

У Екатерины и ее знакомых есть няни, домработницы. Дети отдыхают зимой в пансионатах или на дачах, летом – в Гурзуфе или Паланге и опять-таки на дачах, где ***«огромаднейший дачный обеденный стол с террасы выносили под вековой дуб, и каж-***

дыми воскресными или праздничными днями он сверкал белой скатертью, фужерами и закусками» (Кулиса НГ, № 2, 1998). Выходные дни проводят на скромной госдаче в Баковке, забор в забор с дачей Фурцевой. В буфете можно купить ***«швейцарского шоколада с орехами, молочного, мандаринов, шампани, джуса апельсинового в банках, «Золотого руна» <...> , любимых лимонных долек взяли несколько коробок»*** (Кулиса НГ, № 2, 1997). Все перечисленное – продуктовый *дефицит* той эпохи, знак принадлежности к элите. Рядовым гражданам все это было недоступно, кстати, в том числе и по деньгам.

Принадлежащие к элите лечатся и умирают в *Кремлевке* (то есть в Центральной клинической больнице 4-го управления Минздрава)[11]. Там умирают и Екатеринины родственники, принадлежащие к политической элите, и К.Г. Паустовский, как *деятель литературы и искусства*. Элиту хоронят если не на Новодевичьем, то на Кунцевском кладбище. Еще одна привилегия – свобода от необходимости. От необходимости освобождает социальная позиция[12]. Екатерина не просто может позволить себе то, чего не могут другие. Она может не делать того, что для большей части социальных агентов – категорический императив. «Другим» надо работать, чтобы добыть себе пропитание и продолжить повседневное существование. «Другим» трудно карабкаться по социальной лестнице. Они *знают свое место* – в том смысле, что прекрасно знают, на что могут или не могут притязать. Она обладает социальным капиталом, который позволяет ей в полной мере пользоваться возможностями, теоретически предлагаемыми *всем*. Екатерина занимается живописью. Позднее она стала членом МОСХа, но не ощущала *необходимости* участия в играх в соответствующем поле культурного производства в качестве императива: ***«Больше живу, чем работаю, куча других забот, хотя и считаюсь профессиональным живописцем, членом Союза. Интересно, существует ли еще этот союз, МОСХ, должен был остаться»*** (Кулиса НГ, № 3, 1998).

Екатерина презирает женщин, которые вынуждены жить с нелюбимым в силу «необходимости». Она исповедует ***«невозможность лечь под законного мужа из выгоды и сохранять с ним***

совместную жизнь без любви, потому что удобно и общее имущество» (Кулиса НГ, № 5, 1998).

Она может не знать о ГУЛАГе: ***«...я не знала ничего о ГУЛАГе, о тех, кто приходил потом оттуда живой, возвращался в Дом на набережной и по другим адресам»*** (Кулиса НГ, № 1, 1997). Следует отметить, что прочитанные мною человеческие документы, написанные людьми из непривилегированных слоев советского общества, свидетельствуют: они-то как раз о ГУЛАГе знали. Социальный низ и ад «зоны» располагались рядом, соседство было непосредственным, и не знать было просто невозможно.

Была и еще одна свобода, свобода пересечения разного рода границ и нарушения табу. Для Екатерины существовал лишь один императив – свободная реализация желаний, одна истина – истина желаний. Отсюда, вероятно, активная сексуальная практика еще в школьные годы: ***«Преград не было никаких. Я не ведала, что такое девственность, а значит, что к ней необходимо как-то особо относиться»*** (Кулиса НГ, № 2, 1998). Понятно, ощущаемое ею как высочайшая степень свободы оборачивалось ловушкой, ролью машины для любви. В той культуре, в которой проходила юность Екатерины, «принуждение к сексу» как к телесному

режиму определенного типа не было явным императивом: учебники «по сексу» отсутствовали, секс не выступал картой в политической игре. В этом отношении она действительно смотрится пионером русской сексуальной революции, которая развернулась на наших глазах в постперестроечные годы[13]. Текст демонстрирует, что «секс у нас был», но бытовал в привилегированных социальных пространствах. Как это часто бывает в истории, именно в среде привилегированных рождаются культурные схематизмы, которые в дальнейшем становятся всеобщим достоянием.

У Екатерины вызывало неудовольствие любое оформляющее, сдерживающее, цивилизующее начало, например школьная форма: ***«Как реформа, так новая форма. Но суть оставалась одна и та же: плебейские, то есть советские методы, – уничтожить всякую индивидуальность. Не смей высовываться, чулки в резинку, обувь темная»*** (Кулиса НГ, № 1, 1997).

Пишущей невдомек, что введение формы, похожей на гимназическую, – симптоматика *великого отступления*, ренессанса российско-имперского начала в советской культуре, изменения стиля жизни элиты начиная с конца 1930-х годов. Социальная позиция Екатерины – продукт предшествующей реальной и символической борьбы. То, что для нее почти природа, создано поколением ее деда-отца[14].

В тексте присутствуют лишь следы его жизненной истории. Он был родом из Вологодского края: ***«Вологодская родня круглый год, сменяя друг друга, жила в нашем доме; играл аккордеон, пелись песни и частушки»*** (Кулиса НГ, № 2, 1998). Его жизненный путь типологичен для принадлежащего к «поколению 38-го года» социального удачника из крестьян. Приемная мать – бабушка Екатерины – из интеллигентской семьи. Брак – плод типичных матримониальных стратегий конца 1920-х – начала 1930-х. Именно в результате этих стратегий сложилась советская элита, которая была становым хребтом советского общества.

«Девочка из хорошей семьи русских интеллигентов вышла замуж: в красной комсомольской косынке вместо фаты в 1929 году. Вышла за красного командира, деревенского парня, полуграмотного, но талантливого самородка, взметнувшегося на

гребне времени в военную гатчинскую академию ...Мама-бабушка, вырастившая меня, ... поневоле была по сути своей очень тихой и одинокой, глубоко несчастной «женщиной в себе», ... все отрицающей смолоду (так же как и я, только молча в диких советских джунглях» (Кулиса НГ, № 1, 1997).

Здесь время обратить внимание на оппозицию дикий/цивилизованный, которая имеет ключевое значение для интерпретации этого текста. В «первой идентичности» предикатом дикости наделяется все, что не совпадает с нормальным «здравым смыслом» группы, представляемым в качестве разума. Точно так буржуа, определяя традиционные формы жизни как пережиточные, дикие, обретали моральное право на доминирование как через прямое насилие, так и через другие техники (дисциплинарные процедуры, нормирование и пр.)

Первоначальная система классификации мира у героини связана с инкорпорированием позиции и соответствующих структур социального порядка. Опыт, организованный в систему, заставляет верить в свое могущество как род *естественной монополии*. Текст дает возможность хорошо ощутить, что привилегированный топос выступает как убежище, откуда, будучи в безопасности, можно критиковать кого угодно и что угодно. Именно этот топос – генератор семантических делений.

Приведем контексты употребления определения *«дикий»* в интерпретируемом тексте: *дикие советские джунгли, дикое окружение, плебейские советские методы, уничтожающие всякую индивидуальность* (Кулиса НГ, 1, 1997), *дикое хамское время* (Кулиса НГ, 2, 1997), *этот жуткий социум, дикая атеистическая среда* (Кулиса НГ, 5, 1998).

Дикие – предмет антропологии. Они бездушны, душа есть у немногих: ***«Такую душу в этой дикой Советской державе можно только самому взрастить и воспитать»*** (Кулиса НГ, № 2, 1997).

Дикие – прежде всего непривилегированные: ***«1992 год... Под моим окном*** (в Африке. – *Авт.*) ***сейчас чинная сходка, мужики, простонародье советское, гутарят о политике, прослушав утренние известия по своим корейским, японским, тайваньским транзисторам. Это местная нищета – сторожа, уборщики, не***

хватает только вождя в перьях и ракушках» (Кулиса НГ, № 3, 1998). Это – низ. Рынок подержанной одежды в Африке называют «помойкой». Екатерина замечает: ***«там покупают туалеты сограждане»*** (Кулиса НГ, № 1, 1998). Образ вождя в перьях и ракушках неслучаен.

Диких наказывают, перевоспитывают, от них спасаются. Начало 1990-х, трудные годы перемен на родине, Екатерина провела с мужем-дипломатом в Африке: ***«мы ... молим Бога оставить нас здесь, не ввергать в развал и хаос Москвы, не лишать тепла и еды. Что нам их стрельба в сравнении с кошмарами развалившейся "империи зла"»*** (Кулиса НГ, № 3, 1998). *Дикие* – в плену необходимости, тем они и жалки.

В «первой идентичности» автономия по отношению к позиции отсутствует. Идентичность практически равна позиции. Героиня живет в согласии с условиями существования. Текст позволяет прочувствовать, что представляет собой *спонтанная социология господствующих*: она подразумевает представление своего взгляда как «естественного» и авторитетно утверждает этот взгляд.

Екатерина не принуждена к тому, чтобы уважать социальную дистанцию. Скорее наоборот, она сама держит дистанцию. В тексте прекрасно прослеживаются способы различения, дистанцирования, сближения.

Групповой нарциссизм демонстрируется и через словарь группы. Например, то, что требует комментария для «непосвященных», подается как общеизвестное. Допустим, далеко не все знают, что «Сенеж» это Дом творчества на озере Сенеж, а «Коровник» – Дом творчества художников им. К. Коровина в Крыму... Свойство любой элиты – закрытость, замкнутость на себе и одновременно естественное умение дать понять «другим» превосходство собственного положения.

Алеша Паустовский как трикстер и культурный герой

Интерпретируемый текст называется «Повесть о жизни с Алешей Паустовским». *Алеша*, Алексей Паустовский – сын писателя

Екатерина и Алексей Паустовский

К.Г. Паустовского. С ним у Екатерины был роман в 1967–1968 годах. Он продолжался примерно полгода, им обоим было по 17 лет.

После этого жизненные траектории наших героев разошлись. Нельзя сказать, что Алеша – единственная и неповторимая любовь, пронесенная через всю жизнь. Как свидетельствует сама героиня, «*...**здесь может показаться, что я люблю тебя*** (Алешу. – *Авт.*), ***но любила-то я своего Ваню, Ваню Лактионова***» (сын художника А. Лактионова. – *Авт.*) (Кулиса НГ, № 2, 1998). У Екатерины, впрочем, были другие романы и несколько браков. Алеша стремился быть художником андеграунда, он помогал распространять Самиздат. Интерес Екатерины к диссидентству явно ситуативен, ибо завершился вместе с романом. Сразу после завершения короткого романа «***"Континент", "Грани", "Посев", "Вестник" и чужие рукописи исчезли из моего поля зрения***» (Кулиса НГ, № 1, 1998).

Героиня обращается к тому, что происходило зимой 1967–1968 годов (в том числе включая в текст отрывки из своих дневников того времени) именно тогда, когда проблема идентичности встала перед ней во весь рост: в начале 1990-х годов. В тот момент «естественная» идентичность принадлежащих к советской элите людей оказалась под большим вопросом, а отношение к ней, дистанцирование от нее обрело огромное значение. Следствие – оживление воспоминания об Алеше Паустовском. Тем более что Алеша уже не может засвидетельствовать правду излагаемого, ибо он в 1976 году умер.

Знакомство и роман с Алешей – первый выход героини за пределы «данной от природы» идентичности. Алеша выступает как трикстер, помогающий переступить границы «ближнего круга».

Дед-отец Екатерины воплощает власть идеологическую (главный редактор «Советской России»). Старшее поколение

писателей – К.Г. Паустовский, В.Б. Шкловский и другие видятся ей оппозицией в старшем поколении. Алеша пребывает в андеграунде, он представляет тех, кто стал позже ***«великим советским авангардом, горкомом, Малой Грузинской, Америкой»*** (Кулиса НГ, № 1, 1997). Таковы позиции сторон.

Социальные агенты непрерывно производят классификации ради утверждения или изменения собственного положения в социальном пространстве, а также для изменения самой этой классификации. Символическая борьба за их перемену отнюдь не «второстепенна». Идеология в советском обществе была главным средством установления всеобщей общественной связи. Именно поэтому доминируемая когорта элиты утверждается через автономизацию от поля профессионального производства советской идеологии как легитимной картины мира. Ставка в этой борьбе – изменение властного баланса.

Мы оказываемся в поле борьбы за трансформацию видения (зрения), то есть там, где складывается своя система противопоставлений, различий, отклонений, проявляющихся во всем – и в «словах», и в самих агентах, и в их действиях.

Алеша – борец с *системой*. Он курит не «Золотое руно» или «Кент», а «Дымок» или «Приму». Ту же функцию выполняет, вероятно, ранняя крайне интенсивная сексуальная жизнь, социально не одобряемая. Он постоянно осуществляет символические протесты и разрывы.

Разоблачительная игра, переворачивание значений идет постоянно. Особое удовольствие доставляет ритуальная профанация советских святынь. Один «тарусский юноша» сочинил стишок:

«Ж... народная высохла сморщилась,
Плюнула в морду тирана-царя!
Задница наша от жира залоснилась
И заблистала в лучах Октября!

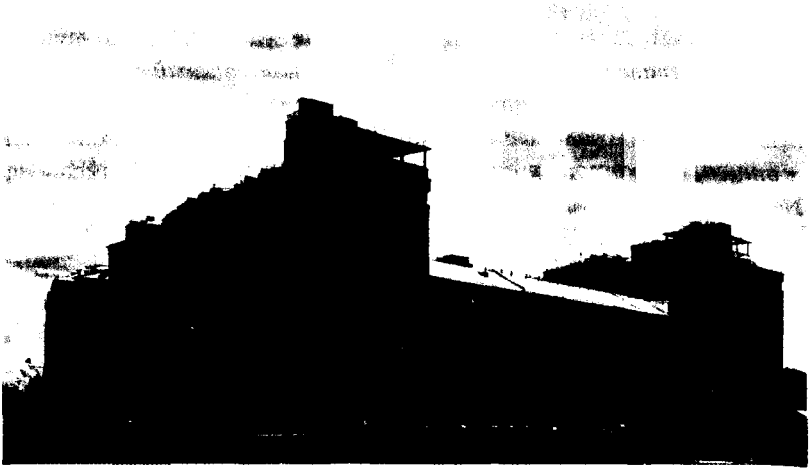
Борис Исакович (Б.И. Балтер, писатель. – *Авт.*) ***покатывался со смеху, аж до икоты»*** (Кулиса НГ, № 3, 1998).

Желчный Алеша клеймит соцреалиста А. Лактионова – *«деръмо с глазами и руками гения»*: ***«А он отличный оставил документик эпохи «Обеспеченную старость» – всю эту продажную советскую сволочь с коврами и вазами на трупах своих жен и отцов, от которых она письменно отказалась»*** (Кулиса НГ, № 1, 1997).

Алеша спорит с отцом-дедом Екатерины: ***«До крика дед както раз: "Если я тебе поверю, то я должен пойти сейчас в сортир и пустить себе пулю в лоб, как мой сосед сверху – Фадеев"»*** (Кулиса НГ, № 2, 1997).

Алеша стремится расколдовать мир, к которому принадлежит Екатерина. Он – срыватель покровов. Алеша разъясняет Екатерине, что ее отец-дед Московский как человек системы непременно участвовал «в убийствах»: ***«Но не идиот же он догадывался ... Потом, раз он добрался до таких постов, это неизбежно, Катя, он же человек системы». – «Значит – знал. Зачем же ты тогда споришь с ним, как с тем, который не знал, открываешь ему глаза, для чего?» – «Не знаю даже, но что-то подмывает, эти люди часто так устроены, что не видят очевидного, будто у них внутри стоит приборчик, который выключает их мысль, как только она дотрагивается до запретной темы, они все будто в активном гипнотическом состоянии. Я хочу разгипнотизировать, что ли...» – «...Знаешь, эта машинка, приборчик – инстинкт самосохранения, у них не спрашивай ничего, все равно, кроме лжи, ничего не услышишь. Конечно, у них готовая версия, байка, они же знали, что такой момент наступит, что им придется ответить на твои "зачем", "почему", "с какой целью"»*** (Кулиса НГ, № 4, 1998).

Словом, Алеша безоговорочно против. Однако протест его оставляет двойственное впечатление. Это впечатление обусловлено тем, что акты протеста происходят исключительно на территории противника. Алеша амбивалентен потому, что упорно навязывает свое присутствие в ненавидимом им социальном пространстве. Его собственное социальное пространство – отнюдь не социальный низ. Напомним об адресах: высотка на Котельнической набережной, писательские дома в районе метро «Аэропорт». Если не Дом литераторов, то Передел-



«Дом на набережной»

кино, Таруса и прочие места, которые в ментальном пространстве советской культуры находились *наверху*.

С одной стороны, Алеша предъявляет знаки элитарности: «всем» пересекать границы запрещено, а нам можно (следствие выгоды статуса и топоса). С другой стороны, постоянно осуществляется род символического протеста и разрыва. Так, простонародные сигареты «Дымок» он спрашивает в буфете на госдаче, вызывая смех буфетчицы. Он нарочито навязывает свое присутствие в привилегированных пространствах, как бы намекая его обитателям, что неплохо бы им подвинуться и освободить *место*. Так, А. Лактионова Алеша клеймит, пребывая с ним на одной лестничной площадке.

Идет постоянная игра принятия/отказа, разрушения/возведения границ: ***«Моему дяде-брату отец привез из Канады настоящие джинсы, это была невидаль»***. Алеша, которому эти джинсы достались, отдает их другу-художнику Демыкину, которому ***«они так нравились, весь вечер глаз с них не спускал»*** (Кулиса НГ, № 1, 1998).

Тело Екатерины – также ставка в символической борьбе. Их первое сексуальное сближение происходит на госдаче. Овладев Екатериной, Алеша оставляет след. Он пакостит врагу на его же территории. Одновременно он культивирует и изживает садо-

мазохистский комплекс. Алеша помогает Екатерине овладеть новыми техниками тела, изучая вместе с ней «Камасутру».

В тексте есть свидетельства общности пространства, относящиеся к более позднему периоду: ***«Андропов и Щелоков тоже собирали живопись и советским авангардом не брезговали, об этом я узнаю много позже, когда поздними вечерами (чтоб никаких любопытных!) буду присутствовать на приемах сих лиц Ащеуловым – председателем Горкома на Малой Грузинской, 28»*** (Кулиса НГ, № 2, 1997). Алеши уже не было в живых. Екатерина повествует о том, что члены Московского комитета графиков пришли с восторгом и «внесли себя в список». Имеется в виду список членов жилищного кооператива, который «почему-то» строился в привилегированном районе города. По ее легенде, КГБ удобнее было наблюдать за всеми скопом. Но не все ли равно было КГБ, где их наблюдать?.. Пишущая полагает, что Алеша непременно разгадал бы эту интригу. Поведение Алеши, как оно представлено в тексте, свидетельствует, что он не выходил за рамки общего кода. Он действовал в поле борьбы между теми, кто властвовал над классификациями (политика и идеология), и теми, кто хотел эти классификации переменить.

Оскар Рабин – художник, один из лидеров «лианозовской группы»

Екатерина и Алеша представляли разные когорты элиты. Но их безоговорочно сближало одно: области социального пространства, которые находятся за пределами их собственного, наделяются предикатом дикости. Художники андеграунда – «полевые антропологи». Тематика живописи художников подполья – советский сюр, представление абсурдизма и хамства советской жизни: ***«Почти Брейгель. Мужицкий, только персонажи – родные алканы, советские менты, у пивного ларька в сумеречном дрожащем све-***

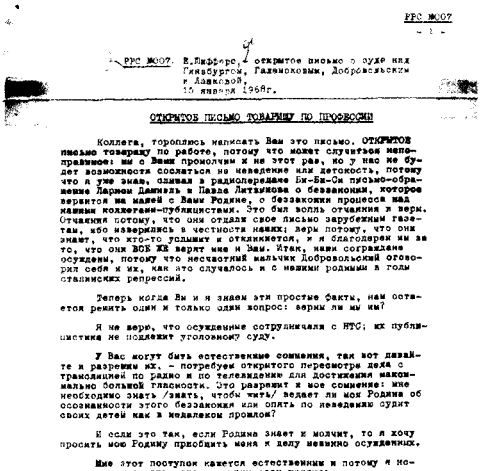
те одинокой лампочки, улица тонет во мраке, горит глаз голодного бездомного кота» (Кулиса НГ, № 1, 1997).

«Народ» в принципе им обоим не интересен. Он *одинаковый* и *нереальный*: ***«Таруса – пьяный город... Здесь нет ничего реального... мужики сплошь одинаковые: в валенках и ватниках – все нереально»*** (Кулиса НГ, № 2, 1998). Как написано несколько по иному поводу, ***«нам казалось, что людей нет»*** (Кулиса НГ, № 2, 1998). ***«Реальности в моей жизни не было, отсюда, видимо, и вырастало ощущение исключительности»*** (Кулиса НГ, № 1, 1997). В этом приходится с пишущей согласиться. Наблюдатель же обнаруживает источники, из которых проросло постсоветское клише, воспроизводимое во множестве нарративов, растиражированных в *media*: в советском обществе жизни не было...

Так же как и Екатерина, Алеша наделен свободой от необходимости. Он ***«давно бросил советское образование, я же отказалась снять в классе своей 175-й правительственной... школы то обручальное кольцо, которое ты надел мне. ... В соседнем переулке, у гостиницы «Минск», была школа рабочей молодежи (идиотское название, если вдуматься), туда меня взяли с распростертыми объятиями. После меня школа эта стала пристанищем всех талантливых и неусердных в совдеповских занятиях молодых людей, имена которых теперь хорошо известны...»*** (Отметим, опять письмо «для своих». – *Авт.*) ***Как мы умели довольствоваться малым, "жулики теневой школьной экономики". Пузырь французских духов брал самые неприступные крепости»*** (Кулиса НГ, № 1, 1998).

Они были освобождены от необходимости самой возможностью иметь «пузырь» духов, путевки, цветы, конфеты и цековский паек на 7 ноября, которыми «задабривали» и «нейтрализовали» учителей. Этой возможности не было у тех, кто не полагал *идиотским* название *«школа рабочей молодежи»*.

Символические игры, как известно, могут нести смертельную опасность. Алеша участвует в распространении самиздата и тамиздата (Кулиса НГ, № 1, 1998). За ним устанавливают внешнее наблюдение. Он вступает с наблюдателем в драку и почти что убивает «внешнего наблюдателя»: ***«И там, в подворотне, у нас была темь, и никого, он нагло уже пер на меня... В общем, ребята когда-***



РРС №007

РРС №007. Е.Шифферс. Открытое письмо о суде над Гинзбургом, Галансковым, Добровольским и Лашковой. 15 января 1968г.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ТОВАРИЩУ ПО ПРОФЕССИИ

Коллега, тороплюсь написать Вам это письмо. ОТКРЫТОЕ письмо товарищу по работе, потому что может случиться непоправимое: мы с Вами промолчим и на этот раз, но у нас не будет возможности сослаться на неведение или детскость, потому что я уже знаю, слышал в радиопередаче Би-Би-Си письмо-обращение Ларисы Даниэль и Павла Литвинова о беззаконии, которое вершится на нашей с Вами Родине, о беззаконии процесса над нашими коллегами-публицистами. Это был вопль отчаяния и веры. Отчаяния потому, что они отдали свое письмо зарубежным газетам, ибо изверились в честности наших; веры потому, что они знают, что кто-то услышит и откликнется, и я благодарен им за то, что они ВСЕ ЖЕ верят мне и Вам. Итак, наши сограждане осуждены, потому что несчастный мальчик Добровольский оговорил себя и их, как это случалось и с многими родными в годы сталинских репрессий.

Теперь когда Вы и я знаем эти простые факты, нам остается решить один и только один вопрос: верны ли мы им?

Я не верю, что осужденные сотрудничали с НТС; их публицистика не подлежит уголовному суду.

У Вас могут быть естественные сомнения, так вот давайте и разрешим их. - потребуем открытого пересмотра дела с трансляцией по радио и по телевидению для достижения максимально большой гласности. Это разрешит и мое сомнение: мне необходимо знать /знать, чтобы жить/ ведает ли мои Родина об осознанности этого беззакония или опять по неведению судит своих детей как в мрачном прошлом?

И если это так, если Родина знает и молчит, то я хочу просить мою Родину приобщить меня к делу невинно осужденных.

Мне этот поступок кажется естественным и потому я испытываю неловкость, ставя первым свою подпись.

Е.Шифферс, режиссер.

Я посылаю это письмо в газету "Сов.культура" и лично знакомым.

15 января 1968 года. Москва.

Протестные письма творческой интеллигенции СССР

то на всякий случай дали перчатки с металлическими шипами. У меня не было выхода, я измолотил его. Я понимал, что домой нельзя. Было очень поздно, поехал к Оскару Рабину... Этот остался лежать там» (Кулиса НГ, № 1, 1998). Обратим внимание на указательное местоимение *«этот»*, употребляемое без указания лица, к которому это местоимение относится. Кстати, по свидетельству Екатерины, лица убиваемого Алеша не приметил. *«Этот»* – значит чужой, не совсем человек, нелюдь. А значит, с внешним наблюдателем, у которого, вероятно, были жена и дети, можно поступить как угодно. Образ врага благополучно существует в сознании элиты, а не только *у масс*, как принято считать.

Можно также высказать гипотезу, что Алеша поступил с «внешним наблюдателем» так же, как он поступал с женщинами. Агрессия здесь – полукриминальное воздействие на тело другого человека, на чужую идентичность. Он склонен демонстрировать силу в любых обстоятельствах. Он подпитывался разрушением, невольно разрушая себя. Его ранняя смерть неудивительна. Практическое чувство подсказало Алеше, где именно следует скрыться. Естественно, у Екатерины, в квартире редактора *черносотенной «Советской России»*...

Визит в квартиру на улице Горького нанесли и друзья – Борис Балтер, который вел литературные дела Паустовского, и Марк Фраерман, юрист. На их расспросы Екатерина спокойно замечает: ***«Видимо, у Алеши не было выбора»***, на что получает ответ: ***«Вы***

действительно, судя по всему, сильная натура и не по годам...» (Кулиса НГ, № 1, 1998). Через некоторое время Алеша покинул квартиру. Опять он был освобожден от «необходимости», от «детерминизма»: ***«Его не посадили, он не был даже под следствием. ... Тот человек, слава Богу, остался жив, потому друзья семьи сумели помочь, как и обещали. В нашей стране все умеют молчать»*** (Кулиса НГ, № 1, 1998).

В минуты смертельной опасности части элиты, пребывающие в состоянии символической войны, заключают перемирие. Затем война может возобновиться.

Не первый раз приходится убеждаться: ***«Рабовладельцы... ГУЛАГ... ...лесоповал... "тройка"... вся страна на костях... генофонд...»*** (Кулиса НГ, № 2, 1997) есть разменная карта в символической борьбе. Цель этой борьбы – изменение балансов власти, объективированных в физическом пространстве и символически означенных. Речь идет о соперничестве разных частей доминирующего класса, которые имеют как общую историю, так и общее социальное пространство[15].

Стратегии изменения, или Письменный отказ

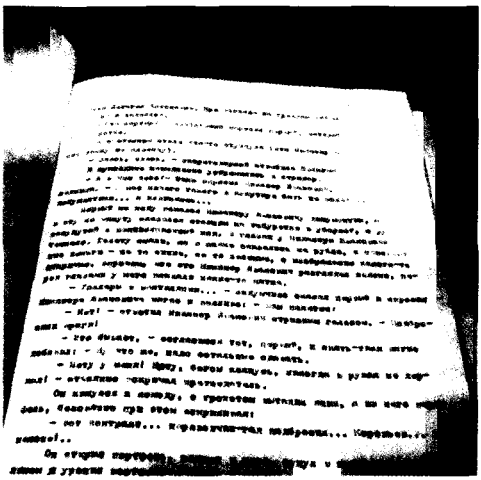
Так или иначе, в жизни Екатерины происходят перемены. Пересечение границ маркируется встречей Нового 1968 года в Центральном доме литераторов (*«проклятый гнусный дом писателей»* – слова, приписываемые В. Шкловскому): ***«Я буду в мини ярко-розовом с какими-то оранжевыми и лиловыми треугольниками, ткань мне прислала мама из Праги, а сшили в цековском ателье. Еще было пальто на алом шелковом подбое из темно-синего букле»***... (Кулиса НГ, № 1, 1997). В Праге живет и работает ее настоящая мать. Отметим, что Прага-68 в тексте никаких политических коннотаций не имеет: скорее, что-то вроде модного отдыха на Рижском взморье после войны.

Во встрече Нового года в ресторане ЦДЛ участвуют Арбузовы и Шкловские, Савва Кулиш, Борис Балтер (Кулиса НГ, № 2, 1997). Кто не был в ЦДЛ, тот встречал в Переделкине, например Каверины. ***«Как меня все любят, как любят!»*** (Кулиса НГ, № 2, 1997).

Новое видение рождается тогда, когда сомнению подвергаются самоочевидности. Процесс развертывается вокруг этой переоценки и нового упорядочивания, как распад маски на две половины. За распадом вполне реальная история. Выворачиваясь наизнанку, рассказчик-актер обретает двуединство.

Екатерина двулика, о чем свидетельствуют языковые игры. В зависимости от контекста говорения улица то Тверская, то Горького. Тверская там, где об «интеллигентном прошлом», о «на самом деле». В ***«партийно-правительственной папке с адресом»*** (Кулиса НГ, № 1, 1997) она хранит свои живописные картоны. Она любит книгу нашего детства «Четвертую высоту» Е. Ильиной – о Гуле Королевой.

В стратегии смены идентичности велика роль романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита». С романом ее знакомит Алеша. Как известно, впервые текст был опубликован в журнале «Москва» (№ 11, 1966; № 1, 1967). Так как в записках Екатерины речь идет о тайном чтении, имеется в виду, вероятно, парижское издание Ymka-Press 1967 года[16]. Наша героиня отождествляет себя с Маргаритой, а Алешу с Мастером. Для социолога любопытно, что больница доктора Стравинского из романа у Екатерины ассоциируется с Кремлевкой: ***«И вспоминается больница Стравинского, описанная вами, Михаил Афанасьевич, чудесная больница, дом скорби и вид с балкона на заречный бор. Когда вы сочиняли свою клинику, этой "Кремлевки" еще не было»*** (Кулиса НГ, № 2, 1997). Для такого сближения есть объективные основания. Напомним, что Маргарита как жена ответственного работника входила в круг тогдашней советской эли-



«Мастер и Маргарита», самиздат

ты[17]. Полюбив Мастера, она с этим кругом порывает (или, наоборот, он с этим кругом сближается?).

Екатерина полагает, что делает то же самое. Она обращается к маркированию через иную символическую систему. Возникают новые разметки поля классификаций, новые структурации и легитимные иерархии.

После ночи на госдаче в Баковке молодые люди идут к могиле Пастернака в Переделкине (Кулиса НГ, № 2, 1997). В конце 1967 года Екатерина ничего не знает о Пастернаке. Лишь потом входят в ближний круг Борис Леонидович, Марина Ивановна, Аля (***«родная не только по душе, но и по крови»***): ***«И Ариадной-то Сергеевной я ее не представляю – она для меня Аля, маленькая Аля, которая во Вшенорах с Мариной Ивановной гуляла. А через 50 лет я по их дорожкам пришла и камушки с берега речки увезла с собой в Москву»*** (Кулиса НГ, № 1, 1997). Через уменьшительные имена снимается дистанция.

Возникает метафора прозрения: ***«Ты был уже зрячий, а я еще слепушка»*** (Кулиса НГ, № 1, 1998). Прозрение идет рядом с монополизацией. Пастернак, ***«сложный» поэт, трудный для масс»*** (Кулиса НГ, № 4, 1998), принадлежит им. Его присоединяют.

К. Леви-Строс высказывал мысль, что личный опыт только тогда оформлен сознательно и приемлем эмоционально, когда вписан в схему, присущую культуре данной группы[18]. Лексика истории индивидуальности выстраивается в соответствии со структурой используемого социального языка, понятного как самому пишущему, так и другим людям. Субъективные состояния объективируются, впечатления формулируются благодаря системе, в которую включен личный опыт. На помощь приходят старые схемы, вписанные в тело в качестве генератора актов игры и семантических операторов. Екатерина эти схемы воспроизводит, но ей кажется, что она совершенно изменилась.

Она пользуется все тем же приемом отделения себя самой от дикой среды. Только теперь *дикие* – ее непосредственное окружение, та ветвь семьи, в которой она жила и в которой сложилась ее первая, «натуральная идентичность».

В разных местах текста об одних и тех же людях и событиях, атрибутах бытия она пишет по-разному: то «с аппети-

том», то с отвращением, то с любовью, то с презрением. Эти дрейфы предиката дикости не рефлексируются. Холеные, *милые, интеллигентные* «вдруг» превращаются в воплощение зла: ***«круг больших военных и советских начальников разного разлива, возраста и ведомств. Михалковы, Регистаны, Сурковы.., Хрущевы.., Долматовский в разных вариантах.., был в родне Караганов, тот, что кино; редакторы крупных газет, послы, иностранные журналисты, соседи, Лактионовы, много громких фамилий (всех не вспомнить, да и ни к чему, слишком громко и теперь звучат имена пустых людей, прости меня, Господи, если я несправедливо сужу об их пустоте)»*** (Кулиса НГ, № 1, 1997). Естественное ощущается как принудительное. Екатерина отмечает, что приходилось общаться с «подружками», женами совгенералов, женами мидовцев – спекулянтками. ***«Все они были "едины". Объединяло их то, что они были "за!": Советскую власть, Советское кино, Советскую журналистику, дипломатию, историю»... «Все были за Женю Евтушенко, когда он тявкнет против, и против Жени Евтушенко, когда лезет с повинной, – это все было в обиходе семьи и дома»...*** (Кулиса НГ, № 1, 1997). И первое, и второе, и третье были они сами. С чего бы это выступать против самих себя – советской власти, советского кино, журналистики и дипломатии? Рассказ нашей героини хорошо объясняет, зачем и при каких обстоятельствах это стало и возможно, и необходимо.

Итак, сдвиг состоит в том, что *дикой* оказывается собственная среда героини, среда привилегированных. Негативную оценку получает здравый смысл группы. То, что воспринималось как данность, внезапно меняется. Возникает *отношение* к занимаемой позиции. Роман с Алешей именно потому занимает центральное место в тексте, что он – первичная травма, создавшая саму возможность *отношения к собственному «Я»*. Роман с Алешей действительно травматичен. Алеша то предельно взвинчен и сексуален, то столь же беспредельно жесток. Менее чем через год после начала романа он крайне жестоко расстается с Екатериной: ***«...цепная реакция отбирания у меня любви, чтоб камня на камне от нее не осталось,***

чтоб она в ненависть превратилась, красной режущей нитью тянется через всю мою жизнь от того рокового дня» (Кулиса НГ, № 9, 1998).

Еще раз напомним: ситуация «жизненной важности» случившегося возникла лишь к 1990 году. Недаром в воспоминания об Алеше Екатерина постоянно «вчитывает» позднейшие интерпретации.

Вот, например, дед-отец превращается в носителя *«красной бесовщины»*. Красная бесовщина вряд ли входила в языковой репертуар 1960-х. Алеша (вполне в духе эпохи!) для легитимации собственных суждений обращается к высказываниям Крупской о Сталине. Впрочем, тут же могут использоваться и другие классификации: Троцкий и Бухарин – трусы, смелый – Мандельштам.

Кризис идентичности выражен и в метафоре бездомности, пребывания в чужом месте: ***«Моя сиреневая комната с кактусами на подоконнике, Аделининым ковром на полу, с голубым шкафом, там на Горького того времени тоже была не чужая все-таки. Теперь чужое все и чужие все, жизнь прожита не на своем месте. За что так наказывают?»*** (Кулиса НГ, № 1, 1998).

Текст позволяет сделать наблюдение, заслуживающее внимания интерпретатора. До сих пор я изучала главным образом написанное доминируемыми. Большей частью они не участвовали в реальной и символической борьбе. Подобно античному хору, они лишь вторили главным героям социальной драмы, подчиняясь заданным не ими самими правилам, пользуясь готовым языком. Та часть доминируемых, которая «чуяла» возможность изменения социальной позиции и стремилась вырваться из собственной среды, отказывалась или, по крайней мере, отходила от отцов, которые раздражали. Они тоже пользовались определениями *«дикий»*, *«отсталый»*. Но этими категориями эти люди неизменно наделяли и *самих себя*. Так, имела место *самостигматизация*, которая сопровождала превращение крестьян и некрестьян. Подобный кризис идентичности наверняка переживал отец-дед Екатерины.

Екатерина стигматизирует кого угодно, вплоть до отца родного, кроме себя самой. Она своего рода элитарный Павлик Моро-

зов. Текст – *письменный отказ* от родителей, символический жест порывания. Именно отсутствие самостигматизации рождает другой тип превращения, который называют *реконверсией*. Пишущая принимает новые классификации, но стремится сохранить позицию (а значит, и силовой баланс) «в свою пользу». Наша героиня перемещается в социальном пространстве, но исключительно горизонтально[19]. Имеет место стратегия «максимизации выгод». А мы еще раз становимся свидетелями социальной мощи и эффективности представления.

История и миф

Кризис идентичности, который испытала Екатерина, разрешается. Распад маски завершается вполне благополучно. Рассказчица обретает новое *лицо*. Процесс облегчен тем, что наша героиня открывает, что она действительно не дочь своих родителей. Здесь ключик от механизма отказа, а также свидетельство того, как легко рассказ о превращении подвергается мифологической обработке. Когда я читала записки бывших крестьян, этот мотив неизменно присутствовал: а вдруг я не сын своих родителей, таких «неправильных», социально не одобряемых...

Екатерине повезло. Действительно, ее бабушка-мать и дедушка-отец – приемные родители. От настоящих она вовсе не отказывается. Напротив, она обретает отца, и «новых» бабушку и дедушку – правильных, воплощающих желанную идентичность: ***«Но я же была внучкой той, своей, той, которая была подругой молодости К.Г. и коллегой»*** (Кулиса НГ, № 2, 1998).

Она должна была быть не Московская, а Сергеева. ***«Все представления о жизни, о матери, о родственниках, которые семнадцать лет лгали мне день за днем, о своем месте (я всегда ощущала себя чужой и в детстве даже "догадывалась", что меня взяли из детского дома) в этой семье, все странности моего детства, жизни, все вставало на свои места»*** (Кулиса НГ, № 4, 1998). Свет на реальное положение вещей проливает, естественно, Алеша.

Ее бабушкой (со стороны отца; ее приемные бабушка и дед – родители матери) оказывается Аделина Адалис.

«Вам это имя что-то говорит? Нет. Да откуда вам в вашей совдеповской семейке слышать такие имена... Ваша бабушка великолепный поэт, вдова Валерия Брюсова, она перевела на русский язык весь Восток, она из семьи Ефрон – тех, что с Брокгаузом... Ваша бабушка узнала, что вы живете с Алешей, она с Паустовским еще с Кара-Бугаза, даже раньше, еще по Одессе знакома, еще до 17-го года, вы понимаете? Кстати на Кара-Бугазе, о котором писал КГ, она познакомилась с вашим дедом, а дед ваш уникальный человечище и к тому же вице-президент Всемирной Ассоциации ЭСПЕРАНТО. И географ и писатель... А позже Аделина вышла за него, так появился ваш отец. Ваш отец тоже поэт, тоже член Союза писателей – Сергеев Владимир Иванович. Ну так как? Я дам вам телефон вашей бабушки? Ее зовут Аделина Ефимовна...» (Кулиса НГ, № 4, 1998).

Да, дом был утрачен, но быстро вновь обретен: *«Вот он, родной дом, найден, найден, найден!»* (Кулиса НГ, № 5, 1998). Путь не был длинным и мучительным. Обнаружение факта родства с Аделиной Адалис выступает в качестве спасительного легитимирующего хода: ведь бабушка была знакома с самой Мариной Цветаевой. В тексте обсуждается и возможное родство Аделины с Сергеем Эфроном: *«А если и не по крови, так по духу!»*

Происходят стремительные сближения. Они осуществляются разными средствами. Сближение через аргумент крови – главный: накось, выкуси... Идея предопределения выражена в научном дискурсе, со ссылкой на генетику. Судьба как необходимость случайного появляется на сцене повествования в форме рода натуральной телеологии: *«...в генетике закодировано такое, до чего ни один генетик еще не докопался: возможный повтор событий, смертей и возможность разорвать генетический код молитвой, просьбой, воплем о помощи, несогласием отдать самое дорогое»* (Кулиса НГ, № 5, 1998). Отношения заданы генетически, но ни в коем случае не социально.

Оказывается, Алеша тоже знал о том, как было «на самом деле». Это на «самом деле» и для него индульгенция на общение с девушкой из стана врагов. История-миф конструируется и про-

растает со всех сторон. Сторона Паустовских тоже работает на эту версию. Опасные связи с представителями вражеского стана *«крупных советских начальников»* (Кулиса НГ, № 7, 1998) легитимируются через аргумент родства: *«...обо мне навели справки, и я смогла войти в этот дом только как дочь, внучка и правнучка совершенно других людей, мне неведомых. И никогда не смягчило бы приговора то обстоятельство, что редактор, мой папа-дед, – добрейшей души человек, широкой души; это никого не убедило в необходимости пустить в свою святая святых человека из стана классово-духовных врагов»* (Кулиса НГ, № 2, 1998).

Как пишет Екатерина, *«моя бабушка Аделина выкупила мою душу из этого хоровода, заплатив за мое будущее»* (Кулиса НГ, № 7, 1998). Риторика крови звучит в высказываниях Алеши, во всяком случае, приписанных ему Екатериной: *«ты должна быть очень благодарна Богу, что по Его воле в твоих жилах течет благородная кровь и сильно забивает хамскую»* (Кулиса НГ, № 4, 1998). «Хамской» названа кровь бывшего крестьянина, принадлежащего к когорте тех, кто изобрел своей жизнью советское общество и кто создал для Екатерины «позицию» письма.

Отметим, что и этой риторикой Алеша вряд ли мог пользоваться (напомним, что он умер в 1976 году). Данный отрывок – пример неоднократных «вчитываний», переописывания свершившейся истории в новом языке.

В пространстве и времени мифа легко происходят любые сближения по типу бриколажа. Одни – посредством семантики. Семантическая единица «союз молодых гениев» – из языкового репертуара 1960-х годов. Дружеский союз Олеши, Катаева, Ильфа, Петрова, Инбер, Аделины Адалис (имевший место в 1920-е годы) пишущая называет *«известным всему городу объединением молодых гениев»* (Кулиса НГ, № 5, 1998).

То же касается и пространства. Угол Старосадского и Петроверигского переулков – адрес Аделины. Напротив ее окон расположился особнячок – Художественный фонд Союза художников СССР: *«бухгалтерия, социальный отдел, где я буду получать деньги, куда буду относить больничные листы по уходу за сыном, где буду получать путевки в "Коровник", на "Сенеж", как член Союза художников»* (Кулиса НГ, № 4, 1998).

Опять Екатерина оказывается в «нужном» социальном пространстве!

Осуществляются и другие контаминации. Екатерина начинает переописывание истории семьи. Вот, например, отрывок о ее прабабушке, матери мамы-бабушки («девочки из хорошей интеллигентной семьи»): ***«Прабабушка Мария Федоровна ... убежав от мужа-грека, поселилась с братом Колей и сестрой Шурой недалеко от Тверской. <...> Если ее спросишь, она не будет помнить ничего, Сталин хорошо выучил их молчать. А ведь многочисленные члены царствующего дома, в честь которых были названы дети – Федоровны и Федоровичи, – Мария, Александра, Николай... они были еще живы и маленький еще не убиенный цесаревич был почти ровесником моей бабушки, шалил, учился»*** (Кулиса НГ, № 4, 1998).

Вот здесь возникает несуразица. Жили-то они в Козихинском переулке. Этот переулок – место, где селилось в конце XIX – начале XX века демократическое студенчество[20]. В интеллигентской среде детей вряд ли называли в честь членов царствующего дома. Называли не в честь императора Николая, а скорее в честь Николая Гавриловича Чернышевского... Впрочем, и невозможное возможно! Дочь прабабушки Юлия (мама-бабушка Екатерины) ходит в гимназию, которая была расположена в здании будущей элитарной школы № 175. Словом, и здесь род телеологии, столь свойственной любимому народом жанру мыльной оперы.

Здесь читатель вправе исторгнуть крик души: помилуйте, но ведь факты, которые приводятся в тексте, имели место!? Да, имели. Однако «медицинские факты», приводимые Екатериной, на удивление напоминают другие, всем известные. Была ли Октябрьская революция, залп Авторы, штурм Зимнего? Но ведь спорят сейчас, не был ли штурм Зимнего артефактом Н. Евреинова, продуцировавшим миф...

Как писал К. Леви-Строс, «сущность мифа составляют не стиль, не форма повествования, не синтаксис, а рассказанная в нем *история*»[21]. Рассказанная история удовлетворяет критериям мифа, ибо работает на создание новой системы временного отсчета, которая удовлетворяет «первоначальным допущени-

ям». Эта история объясняет прошлое, настоящее и будущее. Французский антрополог отмечает: для возникновения индивидуального мифа необходимо наличие двух травматических ситуаций. Роман с Алешей выступает в качестве первой. Именно поэтому эпизод с Алешей централен для данного повествования и дает ему имя. Вторая травматическая ситуация – «перестройка». Между смертью в одном качестве и рождением в ином – процесс инициации. Процесс инициации в социологическом смысле – как социальный переход – был не слишком тяжел, годы перестройки были пересижены, пусть даже в Африке. Результаты перестройки подобно плоду упали в руки той группы, к которой принадлежит Екатерина, то есть советской элиты. Ее женская инициация оказалась крайне тяжелой, а результаты ее проблематичны.

Вернемся к социологическому чтению. Екатерина ссылается на ряд событий, отдаленные последствия которых ощущаются нами, хотя они дошли через ряд промежуточных необратимых событий. Последовательность жизненных событий позволяет создать историю-схему, которая объясняет современную ситуацию героини, равно как общества в целом.

Екатерина ищет частных определений (правда о семье), которые можно представить как всеобщие, а значит, навязать «остальным». Угроза безопасности группы (ситуация советской элиты в начале 1990-х) превращается в гарантии ее единства. Происходит удостоверение реальности системы. Героиня, по существу, «признается», участвует в признании, которое обретает новую силу. Из возможного обвиняемого она становится обвинителем. Грех «совдеповского» происхождения перестает отягчать сознание как совокупность неясных чувств и плохо сформулированных представлений. Идеи обретают реальное бытие. Хаос замещается системой. Угроза безопасности становится гарантией духовного единства. Импровизируя, она искренне живет в своей роли.

Еще раз обратимся к К. Леви-Стросу: «...цель мифа – дать логическую модель для разрешения некоего противоречия (что невозможно, если противоречие реально), но это приводит лишь к порождению в его структуре бесконечного числа слоев, при-

чем каждый будет несколько отличаться от предыдущего. Миф будет развиваться по спирали, пока не истощится породивший его интеллектуальный импульс»[22]. Наша героиня создает многослойный миф именно потому, что рисуемые противоречия не вполне реальны. В жизни они разрешались достаточно легко.

Пройдя через инициацию, героиня умирает в качестве члена «совдеповской семейки» и уже в 1970-е годы оказывается в кругу левых, но, как она сама их определяет, «дозволенных обласканных»: ***«Дружба с Юрой Красным, Женей Умновым, Купером. За стеной Боря Мессерер, напротив вся семья Бисти. Когда заканчивались спектакли и съемки, знаменитости съезжались к нам "на огонек": Настена Вертинская, Галя Волчек, молоденький бакинец Юлий Гусман-КВНщик, Алик Григорович, Вика Федорова, балерины из Большого, знаменитые манекенщицы с адвокатами на белых "мерседесах", Слава Зайцев с Дорианом Греем – Бабятинским из Малого, Саня Дыховичный с моей подружкой детства Олей Полянской – новобрачные.***

В этой компании дочки номенклатуры изгоями не считались, правда, "нас оставалось только двое" (обратим внимание на цитату из песни «На безымянной высоте»! – *Авт.*). ***Люда Хмельницкая, все Плисецкие, Витя Щапов с Ленкой-козликом, Игорь Кваша.., Коля Бурляев, ... Саша Митта... ах, да мало ли еще кто, вот мадам Надя Леже...»*** (Кулиса НГ, № 7, 1998). Последующая история свидетельствует, что эта вроде бы единая когорта советской «творческой элиты» 1970-х разошлась по разным лагерям... Этот круг и тогда вряд ли был столь уж един. При чтении данного отрывка в сознании невольно всплывает образ Ноева ковчега, где плотоядные и травоядные вынуждены были мирно сосуществовать...

Реконверсия произошла, доминируемая часть элиты сблизилась с доминирующей, в том числе и через брачные стратегии.

«Им все разрешали, им много платили, они оформляли лучшие книги, лучшие спектакли в лучших театрах, делали лучшие декорации, о них писала центральная пресса, иногда легонько поругивала для большой рекламы, они играли в самых-самых фильмах. А Алешка оставался там, в андеграунде, на

бульдозерной выставке, среди нищих и иногда, редко, правда, гениальных, но чаще просто пьяниц... И мне, чистоплюйке, холеной и модной, брезгливой и избалованной, не могло полотно показаться гениальным... Я не успевала увидеть гениальное полотно, потому что бежала из грязи и вони...» (Кулиса НГ, № 7, 1998).

Преображение ознаменовано воцерковлением. Преобразившись, она искренне молится за М. Булгакова: ***«А в это дикое хамское время, вы многих и многих обратили к вере. Вы сделали великую работу, служение для умерщвленной совдепами русской души русских, вы привели их в церковь, вы для нескольких поколений ошельмованных бесами молодых и успевших состариться в атеизме людей произнесли забытое, а то и неведомое им Благословенное имя Христово»***[23] (Кулиса НГ, № 2, 1997). Вера ее действительно нетрадиционна. Она представляет собой некий постмодернистский коллаж: ***«И постом я пренебрегаю, и когда читаю "Верую во единую Святую соборную апостольскую церковь...", думаю и о кришнаитах, и о вуду, и о Рерихах, и об инопланетянах, и почему-то не чувствую себя виноватой...»*** (Кулиса НГ, № 3, 1998).

Екатерина не чувствует вины как член социальной группы привилегированных; как женщине вина ей навязана. Воцерковление можно трактовать (помимо того, что это знак нового фундаментализма) как попытку изживания мазохизма, сопровождаемого чувством вины и навязываемого социокультурно. Возникает новое семантическое поле: Ангел-хранитель, Ангел мой. Иоанн Кронштадтский, ежевечерняя молитва. Чтение строгого моралиста Иоанна Кронштадтского сочетается с многообразными и поливалентными сексуальными практиками. Проекция мечты – коллаж из севрского фарфора, камина, старинных напольных часов с боем, блеклого фисташкового абажура и православной святой Руси. Екатерина живет в мире новых классификаций, однако привилегированный топос позволяет проверять происходящее в современной России на соответствие норме, которая обозначается как «православная Русь»: ***«Переименоваться в Россию можно, но стать православной святой Русью...»*** (Кулиса НГ, № 1, 1998). Понятно, что проблема массового воцерковления в среде бывшей советской элиты требует специального разговора.

Возможность бытования данного текста в виде мифа обусловлена и тем, что налицо вера рассказчика в действенность своих приемов, в свою миссию. Екатерина не сомневается, что говорит истину, «последнюю и завершающую»: ***«Мы о себе все знаем»*** (Кулиса НГ 5, 1998). Кроме того, существует люди, на которых ее приемы действуют. Между постсоветским и советским обществом в риторике возводится граница. Поля размечены по-новому, возникают новые классификации. Так, в данной социальной среде раньше сказать *«не в Москве»* значило *«в ссылке»*, теперь – *за границей*. Однако текст еще раз свидетельствует: нет границ в том смысле, что практики осуществляются непрерывно. Непрерывность обеспечивается соответствующими габитусами. Возникает и действует гравитационное поле уже новых социальных связей и отношений.

В рассказе неоднократно упоминается семья художника Лактионова. В семье было семь детей, большая часть детей сумела воспроизвести семейный капитал и сделать «правильные» инвестиции. Алексей ***«живет, придя к Богу, венчанный с Ксенией,***

в своей Голландии». Писал портреты Клаудии Кардинале и Софи Лорен. ***«...Сережа, меломан, бизнесмен, еще в те годы богатый человек»***. Один сын спился, то есть не воспроизвел семейный капитал (Кулиса НГ, № 2, 1998). Дочери осуществили «правильные» брачные стратегии.

У самой Екатерины тоже вроде бы все в порядке: ***«Господь отправил моего мужа на работу в Вашингтон»*** (Кулиса НГ, № 9, 1998). Но она рыдает отчего-то в своей гостиной, ***«изысканной, мягкой и очень чистой и тихой»*** (Кулиса НГ, № 9, 1998). Вероятно оттого, что как член группы она принадлежит к доминирующим, а как женщина – она доминируемая. Разные подходы (социологический и гендерный) дают разные картины. Но в любом случае исследователь получает благодатную возможность рассмотрения механизмов господства (в том числе патриархальных), равно как способов воспроизводства элиты через взаимодействие различных ее частей. Но главное, мы узнаем, как *сделан* (обществом и культурой) правдивый рассказ о себе.

***

Текст Е. Московской позволяет хорошо ощутить, что нынешние реформы – «логический» результат предшествующей реальной и символической борьбы. Он дает возможность проследить как ее перипетии, так и способы борьбы за монополию на порядок, за власть в области социальных классификаций. Предлагаемый анализ позволяет схватить моменты символической борьбы разных групп элиты задолго да того, как эти процессы проявились в автономном политическом поле. Оказывается возможным «увидеть» точки прерывности, которые еще отнюдь не связаны со сменой режима, не маркированы «историческими событиями»[24]. Лишь впоследствии все мы стали свидетелями институционализации, того, что называют переменой общественного строя. Это заставляет согласиться с мыслью, высказанной П. Бурдье: классифицирующие схемы – категории политические[25]. И неважно, идет ли речь о макро- или микрополитике. Значительная часть нынешних властных позиций оказалась занята людьми из той группы, которая описывается в тексте.

Проблемы воспроизводства элиты и форм господства, интересующие интерпретатора, оказались представленными в кон-

центрированном виде. В принципе, можно было бы сделать то же самое на другом материале, но для этого пришлось бы привлечь большое число источников, в которых рассматриваемые темы представлены лишь в оговорках и проговорках.

Я прекрасно осознаю, что позиция исследователя, занимающего более низкое место в социальной иерархии, чем исследуемый, достаточно сложна. На эту сложность обращали внимание французские социологи. Вполне возможна и такая реакция коллег на написанное: да ты ей просто завидуешь! Действительно, героиня явно обладает большим набором различных видов капитала, чем исследователь. Можно полагать, однако, что это скорее увеличивает интерпретационные возможности. Неучастие автора данной статьи в изучаемых практиках создает саму возможность наблюдения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Что сказать в заключение? Нельзя не признать, что в результате проделанной работы остается ощущение, что находишься только в начале пути, хотя собственная твоя жизнь клонится к закату[1].

В работе присутствует «желание объективности». Одновременно она явно носит нарциссический характер, ибо сверхзадача интерпретирующего чтения – понять не только источники, но и саму себя, впечатать собственную траекторию в жизнь общества и людей, понять, откуда не просто *все мы*, но и *лично я* пришли. Еще раз стало понятно, что источники превращаются в научный факт в результате интерпретации. Только так можно преодолеть границы нашего собственного опыта, сегодняшнего уровня понимания и заменить частные определения корпусом объективного знания.

В данном случае речь идет о советском обществе в его истории. Не изменив представления о советском обществе, невозможно понять российское настоящее. Этот процесс переосмысления можно обозначить как *переписывание.*

Полифония репрезентаций соответствует многообразию позиций, занимаемых людьми, напоминая о принципиальной множественности социальной реальности[2]. Я прекрасно отдавала себе отчет, что, читая тексты, производя тексты о текстах, переписываешь их заново. Каждый проинтерпретированный здесь текст репрезентирует определенную позицию в социальном пространстве. Понятно, что чем больше таких позиций, тем лучше. А потому признаю, что мною сделано пока очень мало. Впрочем, работа в предложенной методологии требует целого коллектива единомышленников.

Почему избран был этот трудный путь?

Хорош тот теоретический подход, который позволяет объяснить социальные процессы и изменения. За последние десять лет мы были свидетелями теоретических неудач в объяснении социальных процессов в России, основанных на классических политэкономических и социологических представлениях. Сейчас вполне очевидно, что модель *от тоталитаризма к либеральной рыночной системе*, объясняющая ход социальных изменений, не работает. Концепция не работает, ибо не позволяет объяснить практики.

Сейчас, когда прошло десять лет после СССР, видно, что картина сегодняшнего российского общества далека от идеальной либеральной модели. Тоталитарная модель советского общества также видится неудовлетворительной. Все больше становится ясно, что как апологетические, так социально-критические (перестроечного и постперестроечного периода) концепции советского периода не имеют ничего общего с адекватным описанием советского общества. Ведь получается, что происходящее ныне либо не имеет предпосылок вообще, либо имеет в качестве таковых жесткую конструкцию, которая лишь теперь *размягчается*.

За эти годы появилось множество текстов (научных и публицистических), в которых история советского периода была переписана «наоборот», допустим, с советологической точки зрения. Вначале это казалось новым и свежим. Сейчас, по прошествии времени, хочется задать вопрос: ну и что?.. Как тогда объяснить бесчеловечные проявления сегодня – пережитками тоталитаризма? Можно, конечно, ответить на этот вопрос новой историософией: вот, мол, есть некий код российской истории, который постоянно воспроизводится. Однако современного исследователя такой ответ вряд ли может удовлетворить.

Советское общество – предпосылка того, происходит здесь и теперь. Это, вероятно, наш единственный ресурс. К сожалению, мы действительно знаем о советском обществе непростительно мало. Нет теоретической картины того, что именно представляли собой общественные структуры советского типа. Как сказал известный французский социолог П. Бурдье в интервью журналу «Люмьер-экспресс», «этот вопрос мало изучен, потому что

русские не смогли проработать его как следует», оставаясь в рамках псевдополемических концепций вроде «тоталитаризма»[3].

Само понятие тоталитаризма не столько описывает реальность обществ в условиях коммунистических режимов, сколько предписывает идеологические рамки видения этих обществ. Представляется, что здесь имеет место смешение языка политической теории и языка социального и тем более антропологического исследования.

Пространство выбора, которое открывается отдельному индивиду, зависит от структуры общества и положения дел в том человеческом объединении, в котором этот индивид живет и действует. «Ни в одном виде общества подобные пространства выбора не отсутствуют вовсе»[4], – писал Н. Элиас. Индивидуальная активность одних людей, их способность выбирать является общественной связью других. Индивидуальность и общественная обусловленность человека есть две различные функции людей в рамках отношений друг с другом, в которых одна не может существовать без другой.

Л.Г. Ионин совершенно справедливо замечает: «Наблюдение реальных процессов внутри тоталитарных режимов показывает, насколько они не соответствуют «предписываемым» теорией тоталитаризма нормам»[5]. Он пишет также, что «степень тоталитаризма – это число доступных миров опыта в определенном обществе»[6]. Опираясь на учение А. Щютца о конечных областях значений, он делает вывод, что в советском обществе обеспечивалось достаточное число степеней свободы, которая осуществлялась на уровне реализации потребностей и интересов нормального человека. Исключение составляла сфера политической деятельности. Для большинства населения, не имеющего прямого интереса к политике и политического опыта, отсутствие политической свободы не ощущалось как отсутствие свободы как таковой (тем более если учесть русские коннотации концепта *«свобода»*, о которых упоминалось в тексте).

Можно сослаться и на мнение американского исследователя Ст. Коткина, который также выступает против манипулятивной модели объяснения. Он обращает внимание на то, что была не-

кая история-повествование, которую люди готовы были принять. Эта история должна была затронуть воображение, и ее можно было выразить в собственных словах. Сам же процесс артикуляции санкционированного словаря был далек от произвольного. Этот процесс был тесно связан с проблемой доступа к еде и жилью, с безопасностью собственной жизни и жизни родных. Наличие явного принуждения не означает отсутствия воли. Искренняя вера в идеал не исключает энергичного преследования собственных интересов. Как неоднократно показано выше, работу системы люди всегда оборачивают в свою пользу[7]. Специфическая форма этой системы тесно связана с деятельностью людей. Объективная и субъективная стороны подобны валентностям молекулы. Они неразделимы.

Обращение к миру повседневности позволяет нарисовать картину, в корне отличную от той, которую дает политическая концепция тоталитаризма. Язык концепций тоталитаризма «не совпадает» с тем, как этот мир обговаривался людьми. В процессе писания мне часто вспоминалось высказывание Андрея Платонова: только сверху кажется, что внизу масса, а внизу люди живут... Картина то обжитого, то неуютного повседневного мира, восстанавливаемого по человеческим документам, разительно отличается от той картины, которую дает политическая концепция тоталитаризма. Словно проваливаешься в зазор между языками, оказываешься на краю безмолвия. Окунувшись в человеческие документы, я не могла уже думать и писать на языке, на котором говорят о массовом распространении вины, об омассовлении, к которому прямиком ведет страх исчезновения, о *мегамашине уничтожения*... Картина еще более усложняется, если вербальный ряд дополняется визуальным.

Столь же двусмысленна проблема тоталитарного языка, которая столь активно обсуждалась в последние годы. Написано множество слов о словах в жестком сцеплении деспотического письма[8]. Исследователи тоталитарного языка исходят из совершенно верной предпосылки относительно связи между языком, образом мышления и образом жизни. Как показано выше, тот язык, который определяется как тоталитарный, обладает потенциалом высвобождения и складывания субъектности. Проб-

лема, таким образом, видится значительно более сложной, чем она вырисовывается из концепций тоталитарного языка, и требует активного переосмысления, осуществить которое помогут и теории культурной гегемонии А. Грамши, и концепция языка и власти П. Бурдье.

Неудачи концепции *от тоталитаризма к либеральному рыночному обществу* заставляют исследователей искать новых средств объяснения и интерпретации. Работающие в разных областях социального и гуманитарного знания стремятся реконструировать «недостающие звенья».

Историки в рамках социальной истории обращаются к новым источникам и новым способам их интерпретации. Экономисты разрабатывают проблемы «неформальной», или эксполярной, экономики. Социологи все больше сосредоточивают внимание на семейных экономиках и локальных сетях поддержки и обмена[9], на отношениях симбиоза (села и города, семьи и предприятия), на социальных технологиях повседневного сопротивления. Они погружаются в повседневные практики той или иной общности (будь то мир семьи, женские практики, мир малого бизнеса, так называемое этническое предпринимательство, мир медицины). Отсюда – пристальное внимание к социальности традиционного типа, к моральной экономике, к обмену, осуществляемому согласно принципу дара, к так называемым иным формам рациональности (иным по отношению к веберовской *целерациональности*). Недаром в настоящее время продуктивно развиваются крестьяноведение, гендерные исследования. Понятно, что исследователи в названных областях отнюдь не всегда держат в уме проблемы исследования именно советского общества, однако достижения всех этих областей знания работают на переосмысление советского общества как цивилизации, как *социального изобретения*.

Происходит переосмысление представлений о выживании – смещение от понимания выживания как существования «на элементарном уровне» к пониманию выживания как воспроизводства.

Задумываясь о социальной конструкции советского общества, еще раз понимаешь справедливость мысли, которая нынче

даже попадает на страницы учебников, что было бы ошибкой считать цивилизационными ценностями лишь нормы либерального сознания. Даже в наиболее «либеральных» странах Запада они не являются безраздельно господствующими. Разве потеряли значимость ценности сострадания, альтруизма, справедливости, примерами которых полна данная книга? Подрыв этих ценностей означал бы не движение вперед, а разрушение основ цивилизации, ведущее к торжеству принципа «война всех против всех». К сожалению, часто ссылка на социальные и экономические трудности нынешнего периода камуфлирует разрушение человеческих цивилизационных начал.

Сегодня я лично ощущаю потребность взглянуть на свершившееся по-иному, более «позитивно»... Понятно, что этот поворот главным образом обусловлен переходом с масштаба общества в целом к масштабу повседневности «маленьких людей», их желаниям, их выборам, осознанием недостаточности включения в предмет исследования лишь того, что эпоха сама о себе говорит профессиональным языком. Следует подчеркнуть, что данный тип социального анализа не является по жанру микроанализом, то есть исследованием отношений в небольшой группе. Это способ работы, где в макродискурс об обществе включаются «голоса» людей, его составляющих, где антропологический угол зрения, обращение к субъективной стороне социального как раз и позволяет задать ряд существенных вопросов.

Еще один важный контекст вышесказанного – контекст вхождения в модерн (Modernity). Процесс этот всегда имеет человеческое измерение. В терминологии одного из самых проницательных «социологических писателей» XX века П. Бергера это измерение можно характеризовать *когнитивно-нормативными темами современности*[10]. В числе этих тем называют Абстракцию, Будущность, Индивидуацию, Освобождение и Секуляризацию. Эти темы как бы пронизывают человеческую жизнь во всех ее телесно-духовных жизненно-практических проявлениях, причем их исторические реализации не только приносят блага, но и порождают трагические дилеммы. Рассмотрение этих тем ставит широкий спектр философских, социально-исторических вопросов. Исследователи видят корни абстракции в

капиталистическом рынке и бюрократическом государстве, в господстве индустриальной технологизированной экономики, абстрактных калькулирующих и легитимирующих систем. Будущность подразумевает глубинные изменения темпоральной структуры человеческого восприятия. Появляется биографическая идентификация, на уровне биографии индивидуальная жизнь начинает подвергаться планированию. На уровне общества в целом появляются планы и долгосрочные программы. Как следствие отделения человека от коллективных общностей традиционного типа возникает Индивидуация, самым тесным образом связанная с абстракцией. Индивид способен воспринять себя как «отдельную личность» – сложную и уникальную, с собственной неповторимой судьбой – именно вследствие возникновения абстрактных социальных мегаструктур, которые сами по себе вряд ли могут обеспечить потребность в личном участии, в обоюдной теплоте, которую испытывает каждый человек. В случае советского общества в качестве такой системы выступала марксистско-ленинская идеология.

Индивидуация – ключевая тема модерна, она порождает болезненные проблемы в любом обществе. Освобождение («высвобождение») порождает ситуацию множественности выборов и сосуществует с ужасом перед хаосом. В послереволюционной России такая ситуация была массовой, то есть касалась людей, представляющих любые слои общества. Она была вдвойне болезненной для бывших крестьян, составлявших большинство тогдашнего населения. Что же касается секуляризации, то в «классических» своих проявлениях современность оказывается враждебной трансцендентному измерению человеческого бытия.

И последнее – по порядку, но не по значимости – формирование рациональности нового типа. Складывание этих тем – эпифеномен превращения деревенского крестьянского общества в городское индустриальное[11].

Темы модерна-современности ассоциируются с Западом, который считается их родиной. Но было бы неверно считать, что они складываются только под прямым воздействием Запада. Опосредованно и эндогенно они возникают в незападных обществах как ответ на жизненные потребности, как продукт мечта-

ний «об Америке». Ныне модернизация уже не видится равной капитализму, а капитализм равным пуританству. Новому дается зеленый свет – часто без особой радости и восторга, под давлением требований повседневности, ее маленьких выборов, о которых, собственно, и написана эта работа. Темы современности возникают и как продукт случайности, игры конкретных противоречивых реальностей – игры по правилам и без правил, законной и плутовской. А кроме того, новация никогда не охватывает все общество – многослойное, многомерное, стохастическое. Последнее относится, естественно, и к Западу.

Раньше (в период господства классических методологий) полагали, что темы современности возникают прежде всего как результаты открытого процесса в экономике. Сегодня значительно большее внимание уделяется так называемым вторичным носителям – бюрократизации, образованию, идеологической и другим видам культурной, символической деятельности, словом, всему, что создает онтологические рамки повседневности. Отсюда – вся значимость для анализа тех работ, где модерн рассматривается как мир письма, понятого в качестве визуальной практики (М. Фуко, М. ДеСерто, Ж. Деррида и др.). Выше предпринята попытка показать, каким образом вербальное письмо становится не только принципом социальной иерархизации, но условием выделения из массы новой социальной группы (страты), советского среднего класса.

Это очень значимый для интерпретации нашего материала момент. А. Гидденс высказал идею, что капитализм и индустриализм являются различными институциональными измерениями модерна, разными и равнозначимыми источниками его динамизма как цивилизации. Капиталистические общества с их разделением государства и экономики, гражданским обществом, с товаризацией труда и постоянной технологической инновацией – варианты модерна, а значит, не единственно возможные его варианты. А. Гидденс показал, что существуют другие, не менее важные измерения модерна. К числу важнейших из них он относил рождение символических знаковых систем, функционирующих безотносительно к специфическим характеристикам индивидов и социальных групп. В качестве главных из них он

называл деньги и средства политической (идеологической) легитимации. Деньги считают символом модерна. Но это не его единственный символ. Таковым являются и легитимирующие метанарративы (по Лиотару, Большие рассказы). Кроме того, Гидденс называл (вероятно, вслед за Элиасом и Фуко) еще одно значимое институциональное измерение модерна – развитой аппарат надзора и монопольный контроль за средствами насилия[12]. Деньги вряд ли можно счесть символом советского модерна, однако второе и третье институциональные измерения явно присутствуют, компенсируя слабость первого.

В ранее опубликованных работах основное внимание уделялось типам социального превращения бывшего крестьянина. Только что перебравшиеся в города из деревни, они становились тем топливом, которое молох государства забрасывал в горнило модернизации. Именно они рыли каналы и котлованы по всей стране. Они обретали новую телесность, меняли «физическое естество», обращая вспять естественный ритм организма: например, учились спать днем и просыпаться в самые глубокие ночные часы, когда надо было идти в третью смену. Скорость всех движений увеличивалась, и организм трансформировался в живое орудие труда. Обучиться новому делу – обрести новый ритм... Их «нормировали» (цивилизовали, если цивилизация – мир норм) через закон о двадцатиминутном опоздании. Они производили, а общество производило их самих. Так или иначе, они перешли в искусственный мир, лишенный «естественной непосредственности». В первую очередь по отношению к ним действовал аппарат надзора и централизованные средства насилия. Они попадали в мир письма, но единственный вид его, с которым они были знакомы, было *«письмо на теле»*.

Другие, культивирующие самоконтроль и самонормирование, попадали в поле воздействия легитимирующих Больших рассказов идеологии, в мир вербального письма. Особенностью данной работы является введение в «сюжет» тех людей, которые не были крестьянами, то есть главными агентами *изобретения* советского общества. Однако роль в этом процессе тех, кто пришел из других социальных пространств, трудно переоценить. Советское общество, каким оно было, продукт общей игры разных агентов.

Те, кто инициировал модернизацию сверху (во всяком случае то, что происходило, понималось ими как модернизация), легитимировали свою деятельность идеей прогресса как ключевым элементом дискурса Просвещения. Большевистское просвещение – тоже просвещение, хотя и провинциальное просвещение третьей волны. Их деятельность – попытка реализовать идею, согласно которой на место многослойных обычаев-пережитков, веками складывающихся привычек легко поставить новые «разумные» правила. Правда, правила эти основывались на том, что сами просветители полагали «естественным правом». Отечественным просветителям тематика «очистки человечества» оказывалась как-то ближе, чем права человека или эмансипация индивида. То, о чем написано выше, – симптоматика приобщения крестьянства к просвещению, превращение просвещения в массовый процесс. Отсюда и «роман с Марксом», и «комплекс "Искры"» как разделяемая и элитой и массой беззаветная вера в неограниченную силу печатного слова. Отсюда – вся огромная роль стратегий просвещения в советской модернизации. Отсюда вербальный характер основного цивилизационного кода советского общества. В процессе написания работы меня временами охватывало чувство удивления в связи с постоянной регенерацией подобных представлений уже в постсоветской России.

«Краткий курс истории ВКП(б)» был упомянут в качестве прецедентного текста эпохи, ключевой точки на когнитивной карте достаточно большого числа людей. «Краткий курс» был Евангелием так называемого *поколения 1938 года*, поколения победителей, победителей «игры в слова». В России практически никогда не читали Библию так, как делали это в протестантских странах. Быть может, «Краткий курс» – первая книга, которую читали массово: в армии, на гражданке, в кружках системы политпросвещения, а часто и для себя. Ее читали индивидуально. Можно высказать мысль, что чтение «Краткого курса» было родом обучения новой рациональности.

Специалисты, исследовавшие различие городского и сельского когнитивного стандарта, пишут, что городской стандарт – истина как определенность, сельский – истина как неопределенность[13]. Идея контроля над переменными как непредсказуе-

мыми безличными силами входила в сознание людей через идею исторической необходимости, как она воплощалась в «Кратком курсе». Поиск врагов был близок традиционным составляющим их сознания. Так или иначе – *прогресс* становился ключевой точкой на когнитивной карте. В «Кратком курсе» воплощалось нормативное целеполагание. Это последнее добровольно воспринималось прежде всего теми, кто хотел получить жизненное вознаграждение за «дисциплину мышления». Социальные исследователи проблем рациональности отмечают, что условием и фундаментом индустриализации является человек, способный не просто к дисциплине и организованности самим по себе, но к рациональному поведению, основанному на дисциплине. Для рационального поведения важно – как результат – не потребление «здесь и теперь», а отсрочка вознаграждения с целью накопления и инвестиций[14]. Советская культура также диктовала «экономику жертвы» и аскетизм. Вот она, наша аскеза, об отсутствии которой скорбят исследователи провеберовской ориентации! Потребление отложено до «светлого коммунистического будущего». (Читатель заметил, конечно, что гедонистические устремления тоже присутствовали на социально-исторической сцене.) Накапливал, однако, прежде всего Левиафан государства.

Рациональность касается также отношения между целями и средствами. Психологически для «отдельного человека» она является именно средством, а не конечным состоянием. Через рациональность человек получает воздаяние, обретает социальное спасение. Читая «Краткий курс», как читали Евангелие протестанты, бывшие деревенские жители получали социальное одобрение. Они спасались от погибели или, по крайней мере, считали, что спасались. Утратив доверие друг к другу, они обретали доверие к абстрактной легитимирующей системе. Они научались мыслить практическими абстракциями. Однако риск стать человеком со встроенной в тело языковой машинкой был здесь, конечно же, велик (как, впрочем, и неизбежен). Однако, так или иначе, жизнь втискивалась в рамки проектной логики модерна.

Некоторое время назад исследователи писали так: «В этом смысле новый идеологический проект, антропологической со-

ставляющей которого был «советский человек», ставил своей целью массификацию общества, устранение традиционных (синонимичных в этом контексте «отсталым») компонентов культуры и образа жизни, локальных особенностей организации общества»[15]. Да, действительно, такой проект несли большевики как представители третьего просвещения. Вопрос, однако, состоит в том, какова, собственно, была реализация этого проекта, что получалось, когда проект сталкивался с «почвой», которая поддавалась и сопротивлялась и в которой создавалось поле желания.

Советскую цивилизацию можно назвать цивилизацией слов в том смысле, что основной ее код имеет вербальный характер (можно назвать его комплексом «Искры» в память о ленинской газете). Социокультурная возможность построения советской системы как стабильного исторического образования открылась с приходом коммуникативной стратегии письма как системы упорядоченных знаков. Тема строительства нового как тема модерна представляет проект писания на уровне общества в целом, стремящегося конституироваться в качестве чистого листа относительно прошлого, производить себя как свою собственную систему, продуцировать новую историю, переделывать ее в соответствии с моделью прогресса. Эту характеристику можно отнести ко всем обществам, входящим в модерн. Ядро советской культуры базируется на проговаривании текстов. Не только производство идеологических текстов и литература, но и музыка, живопись, архитектура лишь во вторую очередь ориентировались на создание особых художественных миров, главным все же был «пересказ» того, что следовало воспринять с помощью чувств. В создании «большой массы» эпохи сталинизма огромную роль сыграли другие средства коммуникации – кино, радио, зрелища, совокупное воздействие которых было во многих отношениях сильнее, чем воздействие печатного слова. Однако именно печатное слово эксплицитно ставилось в этом обществе превыше всего, быть может, в силу явно просветительской ориентации власти. Просветительская политика большевиков ставила целью преобразование общества на основе приобщения масс к письму, чтению, печати. Однако технология письма и печати в принципе элитарна, она не может приобщить всех.

В этом, возможно, одно из ключевых противоречий советской культуры. Недаром успешно овладевшие практикой письма составляли отнюдь не *маргинализированную массу*, но советский средний класс.

Обольщаться всесилием «слов» в советском обществе вряд ли следует, да и невозможно. Сила слова гарантировалась не только и не столько идеологией и авторитетом вождей, сколько совокупностью внеречевых практик, которую современные исследователи обозначают метафорой «машины террора». Как известно, в эти машины попадали и успешные игроки в слова. Впрочем, такова история человечества.

Проблема вхождения в современность – не только и не столько проблема объективных предпосылок воспроизводства (или изобретения). Это проблема людей, у которых есть мотивы отвергать существующее положение вещей и желать изменения собственных жизненных обстоятельств и себя самих. Разные люди по-разному понимали изменение, но множественные усилия по изменению объединялись. Советское общество – побочный продукт. Мы не можем сказать, что те-то и те-то изобрели это общество. Речь идет действительно о *непреднамеренном социальном изобретении.*

Процесс вхождения в модерн неотъемлем от феноменального расширения горизонта повседневности индивида. Революция, войны выбросили крестьянина из локальной общности в большой мир. Были вырваны с корнем и выходцы из всех других слоев. Понятие локального становилось фантасмагорическим, оформленным в терминах социального влияния и социальных отношений, непосредственно не связанных с ними по своей природе. Пространство становится независимым от определенного места и региона. Изученные «документы жизни» свидетельствуют, насколько интенсивной была миграция в советском обществе.

Люди наивны и невинны, и вменить им вину невозможно. Они попадаются в ловушки. Желаемое состояние, с одной стороны, манило, с другой – порождало тревоги, тревоги вхождения в современность.

Анонимность социальных связей в большом обществе, их компоненциальность (аналогия – обращение современных тех-

нологий с материальными объектами) переносится на индивидуальные связи, на само человеческое. Социальные отношения утрачивают «прозрачность», ясность, доверие человека к человеку снижается. Институциональная ткань, социальная и политическая жизнь анонимны, непонятны и аномичны для основной массы населения. Люди ощущают, что общество и его символы «абстрактны». Доверие к абстрактным системам и абстрактным возможностям принимает формы власти безличных обстоятельств. У обычного человека это доверие как бы поддерживается знанием, в котором сам человек не разбирается (в том числе представленным «Кратким курсом» и тому подобными текстами). Симптоматика возникновения широкого контекста всеобщего анонимного общения – «вежливое невнимание». В российском случае (и не только в случае советского общества) так и хочется сказать «невежливое невнимание».

Тревоги порождаются и плюрализацией жизненных миров. Жизнь становится мобильной, постоянно меняющейся. Индивидуальная биография начинает ощущаться как последовательность движения по разным мирам, ни один из которых не воспринимается как «дом». «Бездомность», по мысли П. Бергера, – ключевая метафора современности. Она же – метафора советской жизни.

Это уже новые онтологические метки. Наличие большого числа мемуаров, дневников и других письменных свидетельств о дореволюционной российской жизни (написанных теми, кто принадлежал к образованным классам) заставляет невольно недооценивать значение превращения крестьянина в некрестьянина. «Я» начинает осмысливать себя в терминах автобиографии в массовом порядке. Возникает то, что называют «Я»-проектом, за который вроде бы отвечает сам индивид. Это осуществление целостного, постоянно корректируемого биографического повествования в контексте поливариантного выбора. Человек оказывается способным возвращаться в прошлое, заглядывать в будущее. Именно жизненный цикл, а не события внешнего мира выступают доминантой траектории «Я». На целостность связанного биографического повествования опирается ценность самоидентичности. Происходит постоянный диалог со временем,

выделение личного времени в общественном. Времени, лишь опосредованно связанного с внешним порядком. Это тоже событие и процесс, которые имели место в советский период российской истории.

Именно поэтому в один ряд становятся такие события, как «вступил в комсомол» и «научился танцевать вальс», или: «Я женился в год смерти Сталина». Человеческие документы содержат множество свидетельств тому, как личным событием становились то статья Сталина «Головокружение от успехов», то постановление 1934 года о том, что человек, пять лет честно проработавший, то есть занимающийся общественно полезным трудом, восстанавливается в избирательных правах, получает возможность учебы, что не могут быть лишены прав члены их семей. Эти «судьбоносные» статьи и постановления бережно сохранялись и хранятся до сих пор в семейных архивах. Сам факт появления тех биографических нарративов, на которых построена основная часть работы, связан с непрерывностью самотождественного «Я», которое постоянно присутствует в повествовании. Автобиография составляет ядро самоидентичности в условиях современной социальной жизни.

Представление о «Я» как рефлексивном проекте возникает далеко не у всех. Не каждый есть субъект. Однако человек, который предпринял усилие письма, несомненно, произвел субъектное действие. Это касается всех наших героев, включая Евгению Григорьевну Киселеву, которая писала наивно и неканонически.

Чаще биографическая идентификация вырабатывалась через другие техники: заполнение личного листка для отдела по учету кадров, рассказывание автобиографии при приеме в комсомол и в партию, «экзорцистские» техники чисток. Так или иначе, сам способ биографической идентификации складывался у большой массы людей.

Перед вырванными и вырвавшимися из традиционной общности открывалось неведомое будущее. Надо отметить, что и различные виды политической манипуляции были связаны с мистикой современности, с видениями лучшей жизни, которые воплощались и в образах города-сада и в индустриальных фаб-

риках жилья. Кажущиеся нынче неразумными, нецелесообразными и нерентабельными планы новых городов выполняли важную функцию: они представляли чувственно-наглядное символическое воплощение прекрасной будущей жизни. В них звучала тема будущего, ради которого можно было пожертвовать настоящим. Кроме того, общество обещало людям совместное претерпевание страданий. Это обещание мы можем оценить лишь сегодня, когда никто и ничто не обещает этого.

Социалистическая модернизация обещала радикальное изменение жизненных обстоятельств. Причины принятия социалистической идеи, таким образом, отнюдь не сводятся к умышленной и хитроумной обработке сознания. Так «само получалось»... И власть и масса участвовали в игре номинаций. Научный социализм, он же социалистический миф, по проницательному замечанию П. Бергера, обещал «исполнение как рациональных мечтаний просвещения, так и разнообразных ожиданий тех, для кого просвещение было чуждым[16]. О том, каковы были эти мечтания, говорилось выше. Пусть паллиативно, пусть временно, противоречия, порождаемые самим вхождением в модерн, находили разрешение. «Приверженность коммунистической идеологии» выступала как стремление сочетать «ценности прогресса» с сохранением общности. То лихорадочно-спонтанные, то планомерные попытки сохранить старые типы коллективности подавались и воспринимались как тип новой социалистической коллективности. Модерн подавался *в одном флаконе* с общностью. Язык идеологии прикрывал зазор между импульсами изменения снизу и политикой модернизации сверху. Это несомненно способствовало «укреплению» цивилизационного кода.

Недаром эти люди готовы были все *простить* государству в любой подходящий момент. И этот момент прощения, восстановления попранной было чести (отмена раскулачивания, возвращение отобранных избирательных прав, получение паспорта, проскальзывание на рабфак и тем более в вуз) для многих, вероятно, был переломным моментом в жизни, после которого они, благодарные, начинали этому государству служить – конечно, с разной степенью истовости.

Представляется, что эта интерпретация советской истории может внести скромный вклад в кажущиеся уже нескончаемыми дискуссии об итогах советского периода. Итак, в соответствии с антропологическими критериями можно сделать вывод, что в модерн мы вошли. Темы современности звучат внятно. Это во-первых. А во-вторых, коль скоро модерн уже не видится равным капитализму, а капитализм – протестантизму, то вполне можно помыслить себе модерн без гражданского общества. Недаром сегодня серьезные социальные теоретики во все большей степени осознают, сколь узки те социально-исторические рамки, в которых существует гражданское общество, человек экономический и человек политический. Во всяком случае, чем глубже и разносторонней будет понимание того, что уже произошло, тем лучше можно понять, что именно с нами происходит.

***

И еще одно, уже заключительное замечание. Я прекрасно сознаю, что мною сделано очень мало: время ограниченно, методология трудоемка. Тем не менее уже сделанное не позволяет видеть советское общество как тотально-одномерное, а также дает возможность оценить, что именно произошло с российским обществом в советскую эпоху.

Что же касается поколения тех людей, которые, проживая жизнь, попутно изобрели советское общество, то это уже уходящая натура. Кое-кто из них жил в высотных домах, где вестибюли были украшены мозаиками А. Дейнеки. Возник советский средний класс, его представители могли иметь автомобиль, дачу и сберегательную книжку с рублями, которые, казалось, не знали девальвации. Но большая часть этих людей населила стандартные микрорайоны больших и малых городов. Мы помним их. Он – в пальто с каракулем, она – *с норочкой.*

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Самое интересное в больших музеях – обычные вещи, которых уцелело куда меньше, чем шедевров искусства. Самые интересные музеи – так называемые народные. Это милые кунсткамеры, на стенах и столах которых можно встретить все что угодно: от треснутого флакона из-под духов «Красная Москва» до помятой фляжки, на которой по-немецки выцарапан куплет из рождественской песенки.

Как-то в некогда польском Зацлаве, а ныне украинском Изяславе мне довелось оказаться в военном городке, построенном еще при императоре Франце-Иосифе. В каптерке у ротного старшины обнаружились седла и уздечки, ремни, стремена и нагайки, частью пересохшие, частью вполне пригодные к употреблению. Еще там был восхитительный документ – опись имущества. Записи «сдал» датировались начиная с 50-х годов, а вот записи «принял» были сначала по-польски, в 39-м по-русски, в 41-м по-немецки, с 44-го вновь по-русски – надо полагать, с 91-го пошли записи и на украинском. И еще там было два мешка так и не отправленных домой писем немецких солдат: принято чохом, да так и осталось, раз однажды принято.

Ученики Фернана Броделя могли месяцами просматривать церковные книги Бретани, отслеживая график вторжений и перемешиваний народов через смену имен, дававшихся при крещении. Могли, потому что эти книги целы и на месте. По множеству причин у нас всего сохранилось мало, а найти, где именно лежит уцелевшее, по-прежнему сложно. Как-то мне надо было разыскать пару пунических надгробий в Эрмитаже, чтобы снять копии надписей. Добрый ангел из числа нешумных музейных героев выслушал меня в служебной пещере дворца, кивнул

и исчез в лабиринте столов и шкафов. Минут через пятнадцать ангел выпятился из-под стола задом, вытянув за собой тяжелый камень. Роскошный хламовник скрывается под сводами Политехнического музея, изумительный – в коридорах Мосфильма, но до всего этого так трудно добраться, и никому не ведомо, когда можно надеяться на полные, на дисках, рабочие каталоги с фотографиями.

Тут бы опереться на тексты, но и с этим дело обстоит далеко не просто.

Массив мемуарной литературы советских времен в целом гораздо менее информативен, чем можно было бы ожидать. В этом убеждается всякий, кто ставит перед собой предметную задачу – скажем, разобраться в наполнения и стоимости потребительской корзины обитателя какой-нибудь Калуги в 60-е годы ушедшего века. Есть, к тому же, и специфический парадокс: чем выше образованность автора писем или дневников, тем, как правило, меньше можно из них узнать. Отчасти это связано с традиционным для российских образованных слоев пренебрежением к деталям обыденной жизни, отчасти – с нехваткой места в малогабаритных квартирах, отчего так много выбрасывалось, но в еще большей степени – с осторожностью, для которой было предостаточно оснований. Когда умерла мать и я разбирал немногочисленные следы ее довольно долгой жизни, уцелевшие в переездах (одна эвакуация чего стоила, и кто бросит камень в тень оставшихся в Москве соседей, которые растапливали буржуйку книгами и рукописями), обнаружились две пачки писем отца, перевязанные выцветшей ленточкой. Совсем не помню отца, который погиб в мясорубке наступления под Ржевом 1942 г., и я не удержался – прочел. Вернее, просмотрел. Все эти письма, отправленные из командировок, сообщали только одно: жив, все в порядке. Более ниче-го. Если бы не почтовые штемпели на конвертах, угадать, откуда отправлено то или иное письмо, было бы решительно невозможно. Никаких деталей. А ведь отец был как-никак киносценаристом, так что трудностей с изложением мысли на бумаге не испытывал. Лучше было без наблюдений и без имен.

Мать с удовольствием переводила детективы для приятельниц, но ничего не писала сама. Только рассказывала иногда, ча-

ще вступая в разговор с неожиданной репликой, вроде того, что туфли и шелковые чулки могла до 38-го года купить только у жены Кольцова, наладившей конвейер из Испании, или что Квислинг был очень хорошенький – а я и не знал, что предводитель норвежских фашистов вообще приезжал в Москву...

Еще хуже обстоит дело с текстами людей известных, которые свои заметки переписывали не один раз, приноравливаясь к переменчивым обстоятельствам, редактируя под смену обстоятельств, вставляя, выкидывая, снова вставляя целыми кусками.

Благодаря любезности знакомой машинистки мне довелось тайком прочесть три тома жизнеописания родителя весьма известного литературного критика. Жизнеописание было трудолюбиво составлено по документам и письмам человека, вполне заурядного по способностям, зато обладавшего несокрушимым стремлением добиться жизненного успеха, что не спасло его от гибели под бомбежкой по дороге на фронт. Интересно было читать не только исходный текст, но также и правку – правку текста, предназначенного не для публикации, а для передачи в пределах семьи. Нет, критик достаточно себя уважал, чтобы добавлять нечто к тексту, но удержаться от выбрасывания сомнительных в этическом плане мелочей, от общего выглаживания событий, было выше его сил.

В начале 80-х в Москве долго работал Тимоти Колтон, ныне возглавляющий кафедру русистики в Гарварде. Он собирал материал для книги о генеральном плане Москвы, и я, как мог, ему содействовал, получая в виде гонорара книги – цена информации, тем более цена умозаключений была нам тогда неведома. Не знаю, работал он на ЦРУ или нет (в КГБ меня вызывали, но без последствий), но работал он хорошо, отслеживая, среди прочего, карьерные траектории моссоветовских чиновников среднего уровня. Наш обмен был, пожалуй, эквивалентным – это Колтон научил меня читать газеты и расписания поездов. По вполне понятным причинам работать с первичным материалом мы тогда не умели, ведь и в Архивном институте, не говоря о прочих, слишком многое было ограждено от любопытства, да и технология вопросов и запросов была скорее подчинена заранее заданным ответам.

Новое умение пригодилось. Это теперь мы, к примеру, недурно знаем о том, что творилось внутри «зоны», издырявливавшей все пространство страны, но как мало известно о людях, которые были по внешнюю сторону проволоки. Это хотелось понять, и вот (я тогда возглавлял сектор социальных проблем советской архитектуры в соответствующем НИИ) была выработана формула: «исследование состояния среды обитания на территориях ограниченного доступа». No problem: и тему утвердили, и милиция проставила штамп на командировочных удостоверениях, и поехали мои сотрудники в мордовскую Потьму, и в другие столицы лагерных краев. Открылся мир, в котором почти единственным местом работы для выпускников школ была зона, где по грибы километрами ехали в местном поезде по коридору между ограждениями лагерей, где ходили в кино, и сражались за путевки, и добывали талоны на ковер – рядом, бок о бок с царством теней, структура которого считывалась местными единственно как система гарантированных рабочих мест.

Теперь при желании можно узнать почти все, но «много званых, да мало призванных».

Среди прочих проектов я готовил к заседанию правления фонда «Культурная инициатива» (он же – Фонд Сороса) заявку на грант, с которого началась история «Народного архива». В Джорджа Сороса последнее время летят попеременно обвинения одних и предметы, пачкающие костюм, от других, и часть этих обвинений не лишена резона, но как квалифицированный свидетель могу утверждать: наряду с проектами, имевшими политическую подкладку и, несомненно, сыгравшими свою роль в раскручивании перестройки, еще до конца 1990 года фонд поддержал несколько десятков первоклассных проектов сугубо культурной направленности. Надо отдать должное членам правления (Ю. Афанасьев, Г. Бакланов, Д. Гранин, Е. Евтушенко, Т. Заславская) – возражений против присуждения весьма солидного гранта авторам «Народного архива» не было. Первое в стране доступное каждому собрание документов обыденной истории было учреждено.

Архив – действующий, и тем не менее, его богатство используется обидно мало, неприлично мало. То ли исследователи в

нашей стране перевелись, то ли они заняты вещами все более возвышенными, но, насколько могу судить, читателю предложен первый капитальный труд, созданный по материалам архива до времени ушедшей из жизни г-жой Козловой. Истории борьбы за существование, истории борьбы за место под солнцем, рассказанные в дневниках и письмах людьми незатейливыми и не очень грамотными, говорят за себя сами. Здесь нет великих взлетов и грандиозных падений, большие трагедии страны задевают героев лишь отчасти и явно находятся на дальней периферии их сознания. Именно поэтому на первый план выходят обычные человеческие драмы завершенной эпохи, о которой все большая доля российских граждан имеет либо отдаленное и искаженное представление, либо не имеет никакого представления.

Быть может, я бы обошелся без излияний эгоцентричной особы, представляющей в книге золотую молодежь брежневской поры, и вместо этого поместил бы записки колхозного счетовода или лесничего, но выбор составителя и комментатора состоялся – он таков, какой есть. Быть может, не стоило, словно ища поддержки и оправдания, так много ссылаться на философов постмодернизма – они не много могут добавить для лучшего понимания героев сугубо нашей, отечественной истории. Но книга есть завершенный артефакт, и читатель, не лишенный любознательности, может почерпнуть из нее больше, чем из великого множества скороспелых обобщений по поводу жизни советского человека в советской (по номиналу) стране.

Вячеслав Глазычев,
директор издательства «Европа»

Вместо введения. Подопытный наблюдатель

[1] Кибиров Т. Сантименты. 8 книг. – Белгород: Риск. – 1993. С. 152, 153.
[2] Олеша Ю.К. Книга прощания. – М.: Вагриус. – 1999. С. 185–186.
[3] Юнгер Э. О боли // Юнгер Э. Рабочий. Господство и гештальт. – СПб.: Наука. – 2000. С. 513.
[4] Фуко М. Археология знания. – Киев: Ника-Центр. – 1996. С. 130.
[5] Harre R. Social being. A Theory for Social Psychology. – Oxford: Blackwell. – 1979. P. 18.
[6] Россия на рубеже веков / Под ред. М.К. Горшкова. – М.: РОССПЭН. – 2000.
[7] Сандомирская И.И. Книга о Родине. Опыт анализа дискурсивных практик Wiener Slawistisher almanack Sonderband 50. – Wien. – 2001. P. 232–233. См. в особенности заключение «Регенерация Родины».
[8] См.: Центр документации «Народный архив». Справочник по фондам / Под ред. Б.С. Илизарова. – М., 1998.
[9] Центр документации «Народный архив» (далее ЦДНА), ф. 30, ед. хр. 5, л. 43. Данный и все последующие отрывки из документов приводятся в соответствии с орфографией и пунктуацией писавших.
[10] Там же. Ед. хр. 17, л. 11.
[11] ЦДНА, ф. 115, ед. хр. 3, л. 6.
[12] Там же. Ед. хр. 2, л. 9–10.
[13] ЦДНА, ф. 433, ед. хр. 1, л. 2.
[14] См.: Шюц А. Формирование понятия и теории в общественных науках // Американская социологическая мысль. – М.: Изд-во МГУ. – 1994. С. 494.
[15] Мерло-Понти М. Око и дух. – М., 1996. С. 10.
[16] Витгенштейн Л. Дневники 1914–1916. – Томск: Водолей. – 1998. С. 105.
[17] Бурдье П. Практический смысл. – СПб.–М.: Алетейя, Ин-т экспериментальной социологии. – 2001. С. 56. Там же П. Бурдье продолжает: «Интеллектуализм есть, если можно так выразиться, интеллектуалоцентризм. С помощью представлений, сконструированных для объяснения изучаемой практики (правила, модели и т. п.), он приводит к ее обоснованию через отношение к социальному миру, которое есть отношение наблюдателя, а следовательно, через социальное отношение, делающее наблюдение возможным».
[18] См., например: Бурдье П. За рационалистический историзм // Sociologos'97. Альманах Российско-французского центра социологических исследований Ин-та социологии РАН. – М.: Ин-т экспериментальной социологии. – 1996.
[19] Пруст М. Обретенное время. – М.: Наталис. – 1999. С. 177.
[20] Кибиров Т. «Сквозь прощальные слезы» // Тимур Кибиров. Сантименты. – Белгород: Риск. – 1994. С. 129.
[21] Как пишет об этом Э. Левинас, «с помощью памяти я обосновываю себя задним числом, обратной силой: сегодня вбираю в себя то, что в прошлом, в его абсолютном потоке не имело субъекта, чтобы быть принятым, и с тех пор давило, как фатальность. Память делает то, что в принципе невозможно: она ретроспективно вбирает в себя пассивное про-

шлое и господствует над ним» (Левинас Э. Избранное. Тотальность и бесконечное. – М.–СПб. – 2000. С. 92).

[22] Бурдье П. Практический смысл. – СПб.–М.: Алетейя, Инт экспериментальной социологии. – 2001. С. 113 (сноска).

[23] Вебер М. Избранные произведения. – М.: Прогресс. – 1990. С. 620.

[24] Там же. С. 631.

Методологический контекст

[1] Речь идет о работе, которая вышла только в 1996 г. (Козлова Н.Н. Горизонты повседневности советской эпохи. – М., Институт философии РАН, 1996).

[2] Батыгин Г.С., Девятко И.Ф. Миф о «качественной социологии» // Социологический журнал, 1994, № 2.

[3] Там же. С. 33.

[4] Там же. С. 37.

[5] Термин, который обычно переводят как «обоснованная теория», принадлежит J. Corbin и A. Strauss (см.: Strauss A., Corbin J. Basic of Qualitative Research. Procedures and Techniques. – Newberry Park, London: New Dehli. – 1990).

[6] Батыгин Г.С., Девятко И.Ф. Миф о «качественной социологии» // Социологический журнал, 1994, № 2. С. 39.

[7] Там же. С. 32.

[8] Там же. С. 35, 36.

[9] См., например: Шампань П. Делать мнение: новая политическая игра. – М., Socio-Logos, 1997; Пэнто Л. Докса интеллектуала // Sociologos'96. – М., Socio-Logos, 1996; Пэнто Л. Философская журналистика // Sociologos'97. Альманах Российско-французского центра социологических исследований Ин-та социологии РАН. – М., Ин-т экспериментальной социологии, 1996.

[10] См.: Bourdieu P. Practical Reason. On the Theory of Action. – Cambridge: Polity Press. – 1998.

[11] Шанин Т. Методология двойной рефлексивности в исследованиях современной российской деревни // Социологический журнал, 1998, № 3/4. С. 104.

[12] Рикер П. Время и рассказ. Т. I / Пер. Т. Славко. – М.–СПб. – 2000. С. 30.

[13] Леви-Строс К. Структурная антропология. – М.: Наука. – 1983. С. 256.

[14] Мерло-Понти М. Око и дух. – М.: Искусство. – 1992. С. 39.

[15] Там же. С. 108. Эта характеристика может быть обозначена и по-другому. Например, П. Бурдье пишет о двойной историзации или двойной объективации.

[16] См. подробнее: Методология и методы социологических исследований (итоги работы поисковых проектов 1992–1996) / Институт социологии РАН. – М., 1996.

[17] Бессмертный Ю.Л. Что за «казус»?.. // CASUS. Индивидуальное и уникальное в истории. 1996 / Под ред. Ю.Л. Бессмертного и М.А. Бойцова / Российский государственный гуманитарный университет. – М., 1997. С. 7–24.

[18] Впрочем, работ, в которых звучит только рассказ историка, предостаточно, и это даже при том, что активно используются свидетельства «маленьких людей».

[19] Бессмертный Ю.Л. Что за «казус»?.. // CASUS. Индивидуальное и уникальное в истории. 1996 / Под ред. Ю.Л.Бессмертного и М.А. Бойцова / Российский государственный гуманитарный университет. – М., 1997. С. 8–9.

[20] Об этой проблеме см., например: Advances in Social Theory and Methodology: Towards an Integration of Micro and Macro-sociologies / Knorr-Cetina K. and Cicourel A.V. (eds). – L., 1981; Fielding KG., Fielding J.L. Linking data. – Beverly Hills, London: New Delhi, 1986.

[21] Репина Л.П. «Персональная история»: биография как средство исторического познания // CASUS. Индивидуальное и уникальное в истории. / Под ред. Ю.Л. Бессмертного и М.А. Бойцова / Российский государственный гуманитарный университет. – М., 1999. С. 77.

[22] Здесь прежде всего следует назвать работы Ш. Фицпатрик: Fitzpatrick Sh. Education and Social Mobility In the Soviet Union. 1921–1934. – Cambridge, 1979; Fitzpatrick Sh. The Russian Revolution 1917–1932. – Oxford; New York, 1982.
См. также: Kuromiya H. Stalin's Industrial Revolution. Politics and Workers, 1928–1932. – Cambridge, 1988; Hoffmann D.L. Peasant Metropolis. Social Identities In Moscow, 1929–1941. – Ithaca and London: Cornell University Press. – 1995.

[23] Ст. Коткин обращает в связи с этим внимание на значимость официальных источников, которые полезны исследователю как представляющие официальные правила и нормы.

[24] Kotkin St. Magnetic Mountain. Stalinism as a Civilization. – Berkeley, London: University of California Press. – 1995.

[25] Людтке. «История повседневности» в Германии после 1989 г. // CASUS. Индивидуальное и уникальное в истории. – М., 1999. С. 122.

[26] См.: Harre R. Social being. A Theory for Social Psychology. – Oxford: Blackwell. – 1979. P. 132–134.

[27] Бурдье Н. Начала. – М., Socio-Logos, 1994. С. 264.

[28] В философии можно назвать работу: Трубина Е.Г. Рассказанное Я: проблема персональной идентичности в философии. – Екатеринбург, 1995. Использованию нарративного анализа в отечественной социологии посвящен ряд работ, весьма немногочисленных. См.: Ярская-Смирнова Е.Р. Нарративный анализ в социологии // Социологический журнал, 1997, № 3. Ее же: Социокультурный анализ нетипичностей. – Саратов, 1997; Цветаева К.Н. Биографические нарративы советской эпохи // Социологический журнал, 2000, № 1/2; Цветаева Н.Н. Биографический дискурс советской эпохи // Социологический журнал, 2000, № 3/4.

[29] Трудно переоценить значимость философских подходов. Философы мало писали специально о советском обществе (разве что в контексте большой философии истории. См., например: Ахиезер А.С. Россия: критика исторического опыта (социокультурная динамика России). Новосибирск: Сибирский хронограф. – 1997). Специально антропологическим проблемам советского общества посвящена работа: Барулин В.С. Российский человек в XX веке. Потери и обретения себя. – СПб.: Алетейя. – 2000.

[30] См. по методологическим проблемам источниковедения: Источниковедение: Теория. История. Метод. Источники Российской истории / И.Н. Данилевский, В.В. Кабанов, О.М. Медушевская, М.Ф. Румянцева. – М., РГГУ, 1998; Кабанов В.В. Источниковедение советского общества. – М., 1997; Профессионализм историка и идеологическая конъюнктура: Проблемы источниковедения советской истории. – М., 1994.

[31] См., например: Голос народа. Письма и отклики рядовых советских граждан о событиях 1918–1932 гг. / Отв. ред. А.К. Соколов. – М.: РОССПЭН. – 1997; Общество и власть: 1930-е годы. Повествование в документах / Отв. ред. А.К. Соколов. – М.: РОССПЭН. – 1998; Зубкова Е.Ю. Послевоенное советское общество: политика и повседневность. 1945–1953. – М.: РОССПЭН. – 1999; Левина К.Б. Повседневная жизнь советского города: нормы и аномалии. 1920–1930 годы. – СПб. Журнал «Нева» – Летний сад, 1999.

[32] Tagebuch aus Moskau 1931–1939. Aims dem Russischen _bersetzt and J. Hellbeck. – Deutcher Taschen Verlag, 1996.

[33] См., например: Земсков В.Н. «Кулацкая ссылка» в 30-е годы // Социологические исследования, 1991, № 10; Земсков В.Н. Спецпереселенцы // Социологические исследования, 1990, № 11; Рожков и др.

[34] Общество и власть. 30-е годы. Повествование в документах / Отв. ред. А.К. Соколов. – М.: РОССПЭН. – 1998.

[35] Как отмечается в предисловии, «мы старались не вмешиваться в само содержание источников, ограничиваясь в основном теми пояснениями, которые ведут от одного документа к другому и без которых их прочтение было бы невозможным. Раскодирование содержания сводится лишь к тому, чтобы установить временную и пространственную связь между ними. В этом отличие книги от исторического исследования, которое, следуя определенной модели повествования, зачастую односторонне трактует имеющиеся свидетельства

согласно взглядам и предпочтениям автора или его приверженности одной линии изложения событий, будь то романтический пафос социалистического строительства (советская историография) или трагически окрашенный список преступлений сталинского режима (*тенденции последних лет*)». (*Общество и власть*. С. 10–11.)

[36] Биографический метод: История. Методология. Практика. – М., Ин-т социологии РАН. 1994; Судьбы людей: Россия, XX век. Биографии семей как объект социологического исследования. – М., Ин-т социологии РАН. – 1996; Биографический метод в изучении постсоциалистических обществ. Материалы международного семинара / Центр независимых социологических исследований / Под ред. А. Воронкова и Е. Здравомысловой. – СПб., 1997.

[37] *Один из ярких примеров – деятельность североамериканского антрополога* У. Уорнера, исследование которого «Янки-сити» представляет яркий пример переноса антропологических методов на большое городское общество. Последний том этого исследования недавно вышел в русском переводе. См.: Уорнер У. Живые и мертвые. – М.–СПб.: Университетская книга. – 2000.

[38] Сартр Ж.-П. Идиот в семье. Гюстав Флобер от 1821 до 1857. – СПб: Алетейя. – 1998. С. 7.

[39] *Рикер П. Время и рассказ*. Т.1. – М.–*СПб*. – *2000*. С. 96.

[40] П. Рикер употребляет выражение «конституирующая операция нарративной конфигурации».

[41] Волошинов К. Слово в жизни и слово в поэзии // Из истории советской эстетической мысли. 1917–1932. М.: Искусство. – 1980. С. 385–387.

[42] Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. – М.: Русские словари. – 1996.

[43] См.: Сандомирская И.М. Книга о Родине. Опыт анализа дискурсивных практик // Wiener Slavistischer Almanack Sonderband 50. – Wien, 2001. С. 44.

[44] Витгенштейн Л. Голубая книга. – М., 1999. С. 7.

[45] Арендт Х. Vita activa, или О деятельной жизни. – СПб.: Алетейя. – 2000. С. 237.

[46] Так, Т.М. Николаева выделяет четыре группы клише: 1. Свое для своих; 2. Чужое для своих; 3. Свое для чужих; 4. Чужое для чужих. Она же обращает внимание на то, что в переходные периоды, например во время революций, возникает обилие лозунгов, которые *выполняют функцию социальной солидарности*. Сейчас в той же функции выступают рекламные слоганы (см.: Николаева Т.М. Качели свободы/несвободы: трагедия или спасение // Там же. С. 83–88).

[47] Неклюдов С.Ю. Стереотипы действительности и повествовательные клише // Речевые и ментальные стереотипы в синхронии и диахронии. Тезисы конференции. – М., Ин-т славяноведения и балканистики РАН, 1995. С. 79. См также: Сандомирская И.И. Стереотип *как суждение vs стереотип как нарратив* // *Там же*. С. 107, 409.

[48] Барт Р. S/Z. – М.: Ad marginem. – 1994. С. 20.

[49] См.: Luckman Th. Remarks on Personal Identity: Inner, Social and Historical Time // Identity: Personal and Socio-Cultural. A Symposium. – Uppsala, Acta Univ. Ups., 1983. P. 70.

[50] См.: Luckman Th. Op. cit P. 85–87. Т. Лукман обращает внимание на то, что термин «биография» в расширенном смысле относим к любой социально объективированной устной *или литературной схеме или модели течения* человеческой жизни. Такие схемы содержат нарративное ядро, то есть последовательную аранжировку событий и действий, формульных конденсаций, типичной, прямой и обратной «оптики». Каким образом такие модели становятся элементом корпуса социального знания (например, посредством экспертной теоретизации и систематизации), как и кем они распространяются, формируют ли они независимые жанры или растворены в не биографических по существу жанрах, входят ли *они в социализацию в качестве педагогических блоков или обретают определенную поэ*тическую автономию – все это варьируется от общества к обществу, от эпохи к эпохе. Такие понятия могут быть представлены в независимых жанрах, таких как легенды, агиографии, этиологические мифы, исповеди, дневники и автобиографии, которые делятся на катехизические и другие педагогические поджанры. Здесь обширное поле для этнологического, социологического и исторического исследования. Биографические модели *(в широком смысле) обнаруживаются во всех типах общества*. Они составляют основу

для индивидуальных жизненных проектов, для планирования, оценки и интерпретаций повседневных рутинных действий, равно как для драматических решений и критических порогов. Как же биографические схемы связаны с живым временем повседневной жизни? Категории, относящиеся к опытам и действиям, заполняющие жизнь индивида, более удалены из конкретных ритмов внутреннего времени, чем интеракциональные категории, действующие в интерсубъективной синхронизации. Собственные действия человека определяются интернализованными биографическими схемами. Именно таким опосредованным образом индивиды производят собственные личные идентичности.

[51] См.: Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. – М.: Центр, Медиум. – 1995. С. 386.

[52] Арендт Х. Vita activa, или О деятельной жизни. – СПб.: Алетейя. – 2000. С. 233.

[53] Там же. С. 236.

[54] По проблемам социальной мобильности бывших крестьян см.: Fitzpatrick Sh. Education and Social Mobility in the Soviet Union. 1921–1934. – Cambridge – London – New York – Melbourne, 1979; Goffman D.L. Peasant Metropolis. Social Identities in Moscow. 1929–1941. – Ithaca; London, 1994 et. al.

[55] Тем более перспективен взгляд исследователя. По словам Ф. Ницше, «чем больше глаз, различных глаз, сумеем мы мобилизовать для <...> узрения, тем полнее окажется наше "понятие" об этом предмете, наша "объективность"» (Ницше Ф. К генеалогии морали. Полемическое сочинение // Ницше Ф. Сочинения: В 2-х т. – М.: Мысль. – 1990. С. 490–491. Использование наших источников – попытка увеличить число перспектив. Это вопрос принципиальный. См. об этом: De Certeau M. Culture in the Plural. – Berkeley; Los Angeles; London: Univ. of California Press. – 1988.

[56] De Certeau M. The Practice of Everyday Life. – Berkeley; Los Angeles; London: Univ. of California Press. – 1988. P. 78–79.

[57] Ibid. P. 43–44.

[58] Элиас Н. Изменения баланса между Я и Мы // Элиас Н. Общество индивидов. – М.: Праксис. – 2001. С. 260.

[59] Элиас Н. Изменения баланса между Я и Мы // Элиас К. Общество индивидов. – М.: Праксис. – 2001. С. 253.

[60] Элиас Н. Общество индивидов. – М.: Праксис. – 2001. С. 260.

[61] См.: Рикер П. Повествовательная идентичность // Рикер П. Герменевтика. Этика. Политика. Московские лекции и интервью. – М.: Academia. – 1995.

[62] «Если некто имеет социальную идентичность, он помещен как агент в социальное пространство... Идентичность индивида установлена, когда участники социальных отношений кодифицируют его как определенного социального агента путем приписывания ему тех же значений идентичности, которые он признает для себя или объявляет сам. Когда социальная идентичность как кодификация и локализация в качестве социального агента и объявленная идентичность совпадают, она становится <...> значением и смыслом Я» (Кочанов Ю.Л. Проблемы ситуационной и трансверсальной идентичности агента социальных отношений // Социальная идентификация личности. – М.: Ин-т социологии РАН, 1993. С. 26).

[63] Там же. С. 26, 28.

[64] См.: Giddens A. Modernity and Self-Identity. Self and Society in the Late Modem Age. – Stanford: Stanford University Press. – 1991. P., 5 et al.

[65] Жизненные события вписываются в ритм природы, означаемы ритуальными метками праздников и ритмом жизни малой общности: «7. Сегодня два венчания... Днем ездил по сено. Каждый день валит снег. 8, суббота. Сегодня отелилась Чернуха. 9, воскресение, Мясное заговение. Умерла Сашка.... День ветреной, снегу навалило много. Вечером были просватай у Иванушка, просватали Машку. 10, понедельник Масляной недели. Сегодня привез воз сена с Ковды» (записи за февраль 1914 г.) // Дневник тотемского крестьянина Замараева. 1908–1922 годы. – М., Институт этнологии и антропологии РАН, 1995. С. 77–78.

[66] См.: Трубина Е.Г. Персональная идентичность как социально-философская проблема. Автореф. д. филос. н. – Екатеринбург, 1996. С. 12–13.

[67] См. об этом подробнее: Смирнова К.М. Исторические типы рациональности в социальном познании // Исторические типы рациональности / Под ред. В.А. Лекторского. Т.1. – М., 1995; Козлова Н.Н., Смирнова К.М. Кризис классических методологий и современная познавательная ситуация // Социологические исследования, 1995, № 11; Смирнова К.М. От социальной метафизики к феноменологии «естественной установки» / Ин-т философии РАН. – М., 1997.

[68] См., например, ряды контекстов употребления слова «совок», которые приводит Н. Гуссейнов в своем словаре социально-политического языка 1992–1993 гг.: Gussejnov G. Materialen zu einen russischen gesselshaft-politishen Worterbuch. 1992–1993. Einf_hrung und Texte. – Bremen, 1994.

[69] См.: Бурдье П. Начала. – М., 1994. С. 19–31 и др.

[70] Речь идет о ключевой проблеме социальной теории. Еще Г. Зиммель писал: «Существование индивида не просто отчасти социально, отчасти индивидуально. <...> Здесь то и другое образует единство, которое мы называем социальным существом, синтетическую категорию» (См.: Зиммель Г. Как возможно общество // Зиммель Г. Избранное. В 2 т. Т. 2. С. 521–522).

[71] Элиас Н. Общество индивидов. – М.: Праксис. – 2001. С. 82.

[72] Там же. С. 87.

[73] П. Бурдье пользуется категорией игры практически во всех своих работах. Труды французского социолога последние годы активно переводятся. См., например: Бурдье П. Социология политики. – М., Socio-Logos, 1993; Бурдье П. Начала. – М., Socio-Logos, 1994; Практический смысл. – СПб.: Алетейя; М., Ин-т экспериментальной социологии, 2001. Из работ Н. Элиаса можно назвать: Elias N. What Is Sociology? With a Forword by R. Bendix. – N.Y.: Columbia University Press. – 1978.

[74] Л. Витгенштейн так писал о правилах: «Что я называю "правилом, по которому он действует"? – Гипотезу, удовлетворительным образом описывающую наблюдаемое нами употребление слов; или правило, которым он руководствуется при употреблении знаков; или же то, что он говорит нам в ответ на наш вопрос о его правиле? Но что, если наблюдение *не позволяет четко установить правило и не способствует прояснению вопроса*? <.. .> Ну а как же определить правило, по которому он играет? Он сам его не знает. – Или, вернее: что же в данном случае должна означать фраза "Правило, по которому он действует"?» (Витгенштейн Л. Философские исследования // Витгенштейн Л. Философские работы. – М.: Гнозис. – 1994. Кн.1. С. 118).

[75] Бурдье П. Начала. – М., Socio-Logos, 1994. С. 100.

[76] См.: Уинч П. Идея социальной науки и ее отношение к философии. – М., Русское феноменологическое общество, 1996.

[77] Употребляя выражение «согласие», я имею в виду весь тот спектр значений и смыслов, которые вкладывает в этот термин и слово М. Вебер. Немецкий социальный мыслитель отмечал (и в этом пункте его воззрения схожи с точкой зрения А. Радклиффа-Брауна), что о согласии мы говорим, когда речь идет о действиях, ориентированных на ожидание определенного поведения других. Вследствие этого возникает эмпирически значимый шанс, что *ожидания оправдаются. Существует объективная возможность того, что* и другие аналогичным образом отнесутся к ожиданиям. Таким образом возникает корелляция между объективной значимостью шанса и субъективным ожиданием, что и создает причинную обусловленность, которую Э. Дюркгейм называл принудительностью. См.: Вебер М. О некоторых категориях понимающей социологии // Вебер М. Избранное. – М.: Прогресс. – 1990. С. 522–535.

[78] Radcliff-Brown A.R. Natural Science of Society. – Gleencoe, Free Press, 1948. P. 100.

[79] Волков В. «Следование правилу» как социологическая проблема // Социологический журнал, 1998, № 3/4. С. 158.

[80] Гадамер Г. Истина и метод. Основы философской герменевтики. – М.: Прогресс. –1988. С. 155.
[81] Там же. С. 148.
[82] Там же. С. 150.
[83] Элиас Н. Общество индивидов. – М.: Праксис. – 2001. С. 80.
[84] См: Elias N. What is sociology? Translated by St. Memel and G. Morrissey. With a Foreward by R. Bradix. – N.Y. – 1978. P. 112–113.
[85] Bourdieu P. Practical Reason. On the Theory of Action. – Cambridge: Polity Press. – 1998. P. 26.
[86] Bourdieu P. Practical Reason. On the Theory of Action. – Cambridge: Polity Press. – 1998. P. 34. См. также: Bourdieu P. Homo Academicus. – Cambridge: Polity Press. – 1998. P. 38.
[87] Последние десятилетия философия и социология многократно демонстрировали, что доминируемый не бессилен в системе отношений власти. Как отмечает, в частности, Ж.Ф. Лиотар, «даже самый обездоленный никогда не бывает лишен власти над сообщениями, которые проходят через него и его позиционируют» (Лиотар Ж.Ф. Состояние постмодерна. М.–СПб., 1998. С. 45). Можно сослаться и на концепции М. де Серто. Отрывок из его работы «Изобретение повседневного» печатался в НЛО (См.: Новое литературное обозрение, 1997, № 28).
[88] Добренко Е. Формовка советского читателя. Социальные и эстетические предпосылки рецепции советской литературы. – СПб., 1997.
[89] Добренко Е. Формовка советского писателя. Социальные к эстетические истоки советской литературной культуры. – СПб.: Академический проект. – 1999. Автор невольно представляет советское общество как «систему с пилотом» (см. указ. соч. С. 331, 381, 382 и др.).
[90] Кирилл – настоящее имя Константина Симонова.
[91] Иванова Н. Константин Симонов глазами человека моего поколения // Знамя, 1999, № 7. С. 195.
[92] Зощенко М. Рассказы о Ленине // Зощенко М. Избранные рассказы и повести. 1923–1956. – Л.: Советский писатель. – 1956.
[93] Жолковский А.К. К переосмыслению канона: Советские классики-нонконформисты в постсоветской перспективе // Новое литературное обозрение, 1998, № 1(29). С. 67.
[94] Elias N. The Civilising Process. – Oxford: Blackwell. – 1978; Elias N., Dunning E. Quest for Exitement: Sport and Leisure in the Civilising Process. – Oxford: Blackwell. – 1986.
[95] Б. Вальденфельс характеризует культуру повседневности как "изобретение без изобретателя" (см.: Вальденфельс Б. Мотив чужого. – Минск: Пропилеи. – 1999. С. 37).
[96] М. Фуко пишет, например, об изобретении новой политической анатомии, изобретении техник дисциплины, дознания, экзамена и пр. (см.: Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. – М., 1999. С. 202, 330).
[97] Р. Харре замечает, что биологические основы жизни – это скорее источник проблем, для которых изобретаются социальные решения, нежели источник решений проблем, поставленных социальной природой человеческих сообществ. Человек скорее изобрел, нежели унаследовал общество. Люди изобрели систему взаимосвязей практических и экспрессивных целей, которая в каких-то отношениях оказалась аналогичной унаследованным социальным структурам, которые обнаруживаются в сообществах животных и насекомых (см.: Harre R. Social being. A Theory for Social Psychology. – Oxford: Blackwell. – 1979. P. 18).
[98] Книга М. де Серто так и называется: «Изобретение повседневного» (M. de Certeau. L'invention du quotidien. – P., 1990).
[99] П. Бурдье употребляет выражение «социальное изобретение», когда речь идет о необходимости адаптации к бесконечно разнообразным ситуациям, никогда не бывающим абсолютно идентичными. Оно используется в контексте размышления о «социализированном агенте (а не субъекте) и стратегиях более или менее "автоматических", идущих от практического чувства, не от проектов или сознательного расчета» (Бурдье П. От правил к стратегиям // Бурдье. П. Начала. Choses dites. – М., Socio-Logos, 1994. С. 98).
[100] Арендт Х. Цит. соч. С. 241–242.
[101] Элиас Н. Общество индивидов. – М.: Праксис. – 2001. С. 292.
[102] О теоретико-методологическом потенциале этого понятия см.: Кочанов Ю.Л. Начало социологии. – М.–СПб., 2000. С. 174–180.

[103] Бурдье П. Практический смысл. С. 103–104.
[104] Элиас Н. Общество индивидов. С. 252.

Память и боль

[1] ЦДНА, ф. 330 (листы не указаны, так как фонд не описан).
[2] См.: Ван Дейк Т.А. Макростратегии // Ван Дейк Т.А. Язык. **Познание. Коммуникация. – М.:** Прогресс. – 1989. С. 48.
[3] Старый и новый быт. – М., 1924. С. 8.
[4] Цит по.: Обновленная деревня. – Ленинград, 1925. С. 31.
[5] Кто шел в комсомол в деревне? «С одной стороны, наивные, чистые, а с другой стороны, наиболее прожженные, буйные, те самые, которые когда-то мазали дегтем ворота неласковым девицам <...> Первые устраивают комсомольскую пасху или рождество в закрытом помещении – лекция, диспут, спектакль <...> Другие выносят комсомольское рождество на улицу, с уханьем и свистом и бродячими масками, покойника носят по домам, читают акафист, машут кадилом, а в кадиле куриный навоз. Но, в сущности, оба лица комсомольского действа связаны внутренней связью» (Революция в деревне. – М.–Л., 1924. С. 12).
[6] ЦДНА, ф. 330.
[7] Итак, Василий Иванович со товарищи дотронулись до «Капитала» Маркса. Это «дотрагивание» вызывает ассоциацию с мемуарами С. Цвейга, который посетил Россию в 1928 году: «В студенческих общежитиях подходили татары, монголы, важно показывали книги: «Дарвин», – говорил один, «Маркс», – вторил другой с такой гордостью, точно они сами написали эти книги» (Цвейг С. Вчерашний мир. Воспоминания европейца. Статьи. Эссе. – М.: Прогресс. – 1987. С. 385. «Дотрагивание» как тактильная практика не равно чтению. По меньшей мере это элемент фетишизма не столько текста, сколько книги.
[8] Город Белев – райцентр Тульской области.
[9] Подорога В.А. К философии архива. Заметки // Досье на цензуру, (14) 2001. С. 255.
[10] Хотелось бы привести еще один пример. Я натолкнулась на воспроизводство эпизода из фильма Эйзенштейна «Броненосец "Потемкин"» в алкогольном бреду. Позволю себе привести этот отрывок: "В ночь на 1 октября больного стал одолевать страх; пробегали, суетились пассажиры, создавалась атмосфера сутолоки. Стало казаться, что в зал проникают какие-то агенты. Они являлись одетыми то в форму моряков, то суетливо пробегали одетые в штатскую одежду. <...> Вскоре больной услышал (среди шума) разговор; прислушался. Речь шла о расстреле. Настаивал агент, просил начальника вокзала обставить дело так, чтобы не было излишней паники; последний обещал подать к перрону паровозы (паровозные гудки заглушат выстрелы). Через несколько минут раздался тревожный рев паровозных гудков. <... > В углу больной заметил нечто, прикрытое лошадиной попоной, решил, что это трупы расстрелянных пассажиров» (Цит по: Общество и власть. 30-е годы. Повествование в документах. – М.: РОССПЭН. – 1998. С. 169). Рассказ больного кажется спутанным пересказом сцены из фильма, когда матросов перед расстрелом прикрывают брезентом...
[11] *Les lieux de memoire/ Sous la direction de Pierre Nora. P., Gallimard. V. I. P. XIX. Цит по.: Автономова Н.С., Караулов Ю.Н., Муравьев Ю.А. Культура, история, память (о некоторых* тенденциях новейшей французской историко-методологической мысли) // Вопросы философии, 1988, № 3. С. 77.
[12] В другом месте своих воспоминаний он пишет: «Если бы наш народ видел хотя бы только движение войск IV Украинского фронта, он понял бы и высоко оценил свой труд по созданию средств обороны своей великой страны».
[13] Бергсон А. Материя и память. Исследование об отношении тела к духу. – СПб., 1911.
[14] Ницше Ф. К генеалогии морали. Полемическое сочинение // Ницше Ф. Сочинения в 2 т. Т. 2. – М.: Мысль. – 1990. С. 442.
[15] Юнгер Э. О боли // Юнгер Э. Рабочий. Господство и гештальт. Тотальная мобилизация. О боли. – СПб.: Наука. – 2000. С. 475.

Поэзия и правда

[1] Встает вопрос, почему крестьянская работа, которой Иван Иванович занимался до двадцати лет, не включена в категорию «трудовая деятельность», как она обозначена в листке по учету кадров? Вопрос этот дискуссионный. Существует и такое объяснение. Занимающийся крестьянской работой не ощущает себя занимающимся трудом. «Работа» так же относится к труду, как дар к торговле (см. об этом: Бурдье П. Практический смысл. – СПб., 2001. С. 218–240 и др.; Начала практической социологии. – М., 1996. С. 34–35.

[2] См., например, информацию о Каменском заводе в годы Первой мировой войны (запись от сентября 1981 г.).

[3] Schutz A.On Phenomenology and Social Relations. – Chicago, University of Chicago Press, 1970.

[4] Ван Дейк Т. Язык. Познание. Коммуникация. Сборник работ. – М.: Прогресс. – 1989. С. 91.

[5] Т. ван Дейк вводит понятия макростратегий, когнитивных схем и сценариев, позволяющих упорядочивать поток информации. См.: Ван Дейк Т. Указ. соч.

[6] *Николаева Г. Битва в пути. – М., 1959. С. 260.*

[7] ЦДНА, ф. 306. Различие между поэзией и правдой в тексте Ивана Ивановича проявляется не сразу. Оно не лежит на поверхности. Есть примеры прямого цитирования. В. Кононов (1943 года рождения, то есть принадлежащий к поколению детей Ивана Ивановича) написал огромные воспоминания «Письма к сыну». Событиям собственной жизни посвящена примерно одна десятая текста. Все остальное – о смене – калейдоскопической! – легитимных картин мира, которые пишущий добросовестно восстанавливает по журналам и газетам. Личный опыт не просто вписывается в контекст истории, история побеждает человека. К концу текста, когда речь заходит о недавних событиях постперестроечной эпохи, калейдоскоп отрывков из статей, которые все люди моего поколения читали, производит впечатление шизофрении: нет человека, нет рефлексивного «Я»-проекта, нет субъекта, выстраивающего свой мир в соответствии с собственным самопониманием. Осталась знаковая гиперреальность чужих текстов.

[8] О перспективности подобного анализа свидетельствует блестящая работа, в которой исследуется роль романа Н. Чернышевского «Что делать?» в складывании поведенческих кодов российского общества второй половины прошлого века: Паперно И. Семиотика поведения: Николай Чернышевский – человек эпохи реализма. – М., Новое литературное обозрение, 1996.

[9] П. Бурдье в статье «Назначение "народа"» спрашивает: «А все то, что произнесено "настоящим" "народом", является ли "настоящей" "народной" правдой? Рискуя дать фарисеям "народного дела", осуждающим иконоборческое покушение на картинки народной жизни, еще одну возможность подтвердить их доброжелательность, я скажу, что нет ничего более неверного. <...> Штампы были переданы и внушены крестьянам трудом многих поколений культурных посредников: учителей, кюре, воспитателей и т. д. и восходят, если рассматривать их генеалогию, к той очень специфической категории авторов, которые неотвязно следуют из года в год по учебникам начальной школы...» (Бурдье П. Назначение «народа» // Бурдье П. Начала. – М., Socio-Logos, 1994, С. 228).

[10] См.: Сафронова Л.А. К истории советской агиографии // Славяноведение, 1993, № 5. С. 1247.

[11] См: Гройс Б. Утопия и обмен. Стиль Сталин. О новом. Статьи. – М., 1993. С. 48–49.

[12] Поэт Давид Самойлов в дневниках обратил внимание на эту функцию деревенской прозы. Он писал: «Деревенская проза – литература полугорожан, победивших и пришедших к власти. Оказалось, что вся революция свершилась ради этой победы. Деревенщики подспудно это понимают, и поэтому редкие из них революцию и все ее последствия бранят. Они пишут свою историю, то есть историю своего восхождения. Деревенское детство, его скудость, его беды с достигнутых вершин кажутся законным истоком, а нынешнее положение – как бы заслуженной наградой. Никакого другого понимания им не нужно. Деревенская ностальгия – масонский знак победивших полугорожан. Внутри этого законная

гордость. "Вона кем мы были, и звона – кем стали"» (Самойлов Д. Общий дневник. Искусство кино, 1992, № 5. С. 108). Д. Самойлов пишет жестко, перечитав те документы, которые оказались лично в моих руках, так жестко судить не могу.

[13] Нора П. Вопросы философии, 1988, № 3. См. также: Nora P. Between Memory and History: Les Lieux de Memoire // History and Memory in African-American Culture. – N.Y. (Oxford): Oxford University Press. – 1994.

[14] Имеется в виду выселение судетских немцев после Второй мировой войны.

[15] Bourdieu P. Practical Reason. On the Theory of Action. – Cambridge: Polity Press. 1998. P. 53. «Самая большая сила государства состоит в том, чтобы продуцировать и налагать (особенно через школьную систему) категории мышления, которые мы прилагаем ко всем вещам социального мира, включая само государство» (там же, с. 36).

Прежде и теперь, или Любовь к Сталину

[1] См.: ЦДНА, ф. 366, ед. хр. 3, л. 16.

[2] Там же. Л. 16 об.

[3] Там же. Л. 16 об., 17, 17 об.

[4] Витгенштейн Л. Дневники 1914–1916. – Томск: Водолей. – 1998. С. 96.

[5] ЦДНА, ф. 366, ед. хр. 3, л. 4 об.

[6] Ему нравится выражение «героический советский народ» – как не обижающее крестьянство.

[7] ЦДНА, ф. 366, ед. хр. 3, л. 179.

[8] Там же. Л. 25.

[9] Там же. Л. 29.

[10] Там же.

[11] Там же.

[12] Там же. Л. 34.

[13] Там же. Л. 38–39.

[14] Там же. Л. 33.

[15] Там же. Л. 38.

[16] Там же. Л. 41.

[17] Там же. Л. 40 об.

[18] Там же. Л. 41.

[19] Там же. Л. 40 об.

[20] Там же. Л. 45.

[21] Там же. Л. 45 об.

[22] Там же.

[23] Там же.

[24] Муж сестры участвовал в войне, а после войны вернулся в родной Пятигорск. В рукопись вклеена фотография этой семьи, сделанная в 1962 г. Обычная советская семья. У мужа орден Красной звезды на лацкане, у сына – октябрятская звездочка на груди. Дочь оканчивает *потом Московский институт иностранных языков, сын – Московский же химико*-технологический институт. Нынче они живут в Москве в Ясеневе.

[25] ЦДНА, ф. 366, ед. хр. 3, л. 45.

[26] Там же. Л. 49.

[27] Там же. Л. 50.

[28] Там же. Л. 58 об.

[29] Там же. Л. 61 об.

[30] Районный отдел народного образования.

[31] ЦДНА, ф. 366, ед. хр. 3, л. 70.

[32] Там же. Л. 72 об.

[33] Там же. Л. 71 об.

[34] Именно так, заглавными буквами в рукописи.

[35] В фонде, в одном из томов, которые составлял наш герой, приводится текст гимна СССР в редакции 1944 г.: «Нас вырастил Сталин /На верность народу/На труд и на подвиги/Нас вдохновил». Владимир Ильич тщательно перепечатал текст на машинке (ЦДНА, ед. хр. 4, л. 202).
[36] ЦДНА, ф. 366, ед. хр. 3, л. 72.
[37] Там же. Л. 176.
[38] ОПШ – Областная партийная школа.
[39] ЦДНА, ф. 366, ед. хр. 3, л. 75.
[40] Там же. Л. 82 об.
[41] Там же. Л. 82–82 об.
[42] Там же. Л. 80, 81.
[43] Андрей Платонов. Счастливая Москва // Новый мир, 1991, № 9. С. 57.
[44] «Робко решал я дела: незнание дел на месте мешало мне» (там же, л. 80 об.).
[45] ЦДНА, ф. 366, ед. хр. 3, л. 82 об., 93. В другом месте рукописи он говорит о себе самом и о своей жене как о членах партии, не выступающих на собраниях.
[46] Там же. Л. 83 об. «Тяжело было у меня на сердце. Сопротивляться было бесполезно, т. к. отказ вел к недоверию по партийной работе и увольнению меня с этой работы. Я дал согласие» (там же).
[47] Там же. Л. 86.
[48] Там же.
[49] Там же. Л. 92.
[50] Там же. Л. 93.
[51] Он пишет: «Самое большое напряжение нервной системы у меня наступило в 1971 году. После освобождения от работы в совхозе я долго был возбужденным, ночью вскакивал, казалось, что мне звонили по телефону, снились тяжелые сны, продолжались приступы астматического дыхания и спазм на сердце» (ЦДНА, ед. хр. 4, л. 163).
[52] ЦДНА, ед. хр. 4, д. 20.
[53] Там же. Ед. хр. 3, л. 110 об. ЖЭК – жилищно-эксплуатационная контора.
[54] Там же. Л. 166.
[55] Там же. Ед. хр. 4, л. 56–56 об.
[56] Там же. Л. 57.
[57] См.: Под созвездием топора. Петроград 1917 года – знакомый и незнакомый. – М., 1991. С. 35.
[58] См.: Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. – М., 1999. С. 121.
[59] Эта концепция соблазнительна, хотя сам Фуко не придерживался ее так уж строго. Любопытно, что представления времен перестройки и гласности сегодня стали элементом школьной доксы. Современный школьник или студент сегодня, в начале XXI века, склонен излагать именно так: «Определяющим признаком тоталитарного общества является контроль над всеми – всеми без исключения – областями социальной жизни. Ни одна сфера жизни не остается непрозрачной для власти. Все просвечено ее лучами и охвачено щупальцами. Блокируется любая возможность ухода человека от контроля государства, будь то семейные, дружеские, интимные отношения, личные вкусы, мнения и привычки» (Гозман Л., Эткинд А. Культ власти. Структура тоталитарного сознания // Осмыслить культ Сталина. – М.: Прогресс. – 1989. С. 341). Подчеркивается и крайнее единообразие общества.
[60] См.: De Certeau M. The Practice of Everyday Life. – Berkeley; Los Angeles: London, 1988, P. XI–XII.
[61] Ibid. P. 14–15.
[62] De Certeau. Op.cit. P. 93–116, 71.
[63] Ibid. P. XVIII–XX.
[64] ЦДНА, ф. 366, ед. хр. 4, л. 1.
[65] Там же. Л. 8.
[66] Там же. Л. 9.
[67] Там же. Л. 52 об.
[68] В круг чтения 1979 г. входят «Лед и пламень» И.Д. Папанина, Н.М. Шверник, А.И. Мельчина, «Голубая моя планета» Германа Титова, «Лев Ландау» Ливановой, мемуары «Под гро-

хот батарей», «Островский в Щелыкове» А. Ревякина, «Марионетки» М. Стуруа, «Основы дипломатической службы» В. Зорина, «Тайны Уайт-Холла и Даунинг стрит», «Великая эстафета» И. Андронникова и пр. В этом списке все, что «бездефицитно» продавалось тогда в книжных магазинах. В 1980 году прочитан «Долгий отдых» В. Личутина и «Маркс и Энгельс» Г. Серебряковой, «Мао Цзэдун и его наследники» Ф. Бурлацкого, «Избранное» М. Пришвина и «Избранное» А. Блока, стихи К. Батюшкова, «Война» И. Стаднюка, «Раздумья о здоровье» Н. Амосова, а также Новый завет Господа нашего Иисуса Христа.

[69] Перед поездками туристы-северяне прошли инструктаж. «В областном партбюро нас инструктировали, как себя вести, предупреждали, что за столом надо соблюдать правила приличия: не чавкать, не швыркать, правильно пользоваться столовыми приборами, т. е. знать, как следует держать нож: в правой руке, а вилку в левой. Говорили об одежде, но было уже поздно, за другой одеждой не поедешь домой. Некоторые мужики одели прорезиненные длинные отечественные плащи, широкие брюки. Я в брюках с манжетами – все это было не модно» (ЦДНА, ед. хр. 4, л. 128 об. – 129).

[69] ЦДНА, ф. 366, ед. хр. 3, л. 136.

[70] Там же. Л. 135.

[71] Там же. Ед. хр. 4, л. 76 об.

[72] Ладки – чугунные или глиняные сковороды для приготовления пищи в русской печи. – Прим. ред.

[73] Там же. Л. 67 об.

[74] ЦДНА, ф. 366, ед. хр. 3, л. 6–8.

[75] Там же. Л. 8 об.

[76] Там же. Л. 25, 27.

[77] Там же. Ед. хр. 6, л. 3.

[78] Там же. Ед. хр. 12, л. 4.

[79] Там же.

Неудачник

[1] См.: Алексеев А.Н. Дневник, письмо и статья как соотносительные формы коммуникации // XII Любищевские чтения. – Ульяновск, 2000.

[2] Tagebuch aus Moskau 1931–1939. Aus dem Russischen _bersetzt mit J.Hellbeck. Deuscher Taschenluh Verlag, 1966. Отрывки из дневника печатались также в издании: Intimacy and Teror/ Soviet Diaries of the 1930s/ V.Gamros, N. Koranevskaia a T. Lahusen, eds. – New York: The New Press, 1995. Интерпретацию И. Хельбека см: Hellbeck J. Fashioning the Stalinist Soul: The Diary of Stepan Podlybnyi (1939–1939) // Jahrb_cher f_r Geschichte Osteuropas 44 (1996). H. 3. S. L–29. Я также работала с этим фондом еще в начале 90-х гг., а потому считаю возможным предложить свое прочтение этого источника, тем более что здесь он поставлен в контекст других.

[3] Удивляешься, как этот дневник сохранился. В начале 1935 г. сам Степан Филиппович записал: «Пишу я и думаю попадись моя тетрадка в НКВД загонят меня куда Макар телят не гонял. Ну что же больше света увижу, а затем мыслить тоже имею право. А говорить я этого никому не говорю» (ОДНА, ф. 30, ед. хр. 15, д. 15, л. 17). Степан Филиппович побывал там, куда Макар телят не гонял, но дневник уцелел, а мы можем его почитать...

[4] ЦДНА, ф. 30э ед. хр. 33. Все отрывки приводятся в орфографии оригинала.

[5] Там же. Ед. хр. 11, л. 1.

[6] Там же. Л. 3–4.

[7] Там же. Л. 4

[8] Там же. Л. 18.

[9] Там же. Л. 25 об.

[10] Там же. Л. 26.

[11] Там же. Л. 32 об.

[12] Там же.
[13] Там же. Л. 29 об.
[14] Там же. Л. 35.
[15] Там же. Л. 47 об.
[16] ЦДНА, ф. 30, ед. хр. 12, л. 51 об. – 52.
[17] Там же. Л. 44 об.
[18] Там же. Л. 51.
[19] Там же. Л. 50.
[20] Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. – М., 1987. С. 216.
[21] См: Советский простой человек. Опыт социального портрета на рубеже 90-х. – М., 1993. С. 167–197.
[22] По Аристотелю метафора – перенесенное слово, несвойственное имя (см.: Аристотель. Собр. соч.: В 4 т. Т. 4. – М., 1984. С. 669). О роли метафоры в конструировании социальной реальности см.: Теория метафоры / Вступ. Статья и составление Н.Д. Арутюновой. – М.: Прогресс. – 1990.
[23] ЦДНА, ф. 30, ед. хр. 11, л. 41.
[24] Во втором издании Большой советской энциклопедии графология определяется как «псевдонаука» (см. т. 12, с. 472). Статья очень короткая. В первом издании 1930 г. графологию определяют как «исследование почерка для определения естественных способностей, характера, темперамента и других свойств личности». Предполагалось, что результаты графологических исследований могут использоваться в психиатрии и юриспруденции (см.: Леонтьев А., Сурков А. Графология. Большая советская энциклопедия. Т. 18. – М., 1930. С. 851–855).
[25] ЦДНА, ф. 30, ед. хр. 12, л. 45, 46.
[26] Зуев-Инсаров – самый известный тогдашний графолог, автор книг по графологии.
[27] ЦДНА, ф. 30, ед. хр. 12, л. 48.
[28] «В риторике <...> отражается универсальный принцип как индивидуального, так и коллективного сознания (культуры)», (см.: Лотман Ю.М. Риторика // Лотман Ю.М. Избранные статьи. В 3 т. Т. 1. – Таллин: Александра. – 1992. С. 178.
[29] О социальных и культурных кодах см. подробнее: Барт Р. Избранные работы. – М.: Прогресс. – 1989. С. 316, 317, 456–457.
[30] ЦДНА, ф. 30, ед. хр. 12, л. 50 об.
[31] Там же. Ед. хр. 13, л. 63 об.
[32] Там же. Ед. хр. 15, л. 9 об.
[33] Сандомирская И.И. Указ. соч. С. 158.
[34] ЦДНА, ф. 30, ед. хр. 12, л. 54 об.
[35] Там же. Ед. хр. 11, л. 45.
[36] Там же. Л. 46 об.
[37] Там же. Л. 48 об.
[38] Там же. Л. 54 об., 55, 56.
[39] Там же. Л. 18–18 об.
[40] Там же. Л. 56.
[41] Там же. Л. 60.
[42] Там же. Л. 71.
[43] Там же. Л. 63 об.
[44] ЦДНА, ф. 30, ед. хр. 1, л. 17.
[45] Там же. Ед. хр. 11, л. 44.
[46] Там же. Л. 49.
[47] Там же. Л. 52 об.
[48] Речь идет о параде и демонстрации 7 ноября 1932 г., описание которой приводится ниже.
[49] ЦДНА, ф. 30, ед. хр. 12, л. 5, 5 об.
[50] Там же. Л. 85 об.

[51] Там же. Ед. хр. 13, л. 26, 26 об.
[52] Там же. Ед. хр. 32.
[53] Сталин И.В. Соч., т. 13. – М, 1951. С. 308, 358, 360 и др.
[54] ЦДНА, ф. 30 ед. хр. 53, л. 80.
[55] Там же. Ед. хр. 13, л. 24.
[56] Там же. Л. 27.
[57] Там же. Ед. хр. 16, л. 35.
[58] Там же. Ед. хр. 15, л. 26.
[59] Там же. Л. 84 об.
[60] Там же. Ед. хр. 12, л. 1.
[61] Там же. Л. 44 об.
[62] Там же. Ед. хр. 14.
[63] Там же. Ед. хр. 57.
[64] Там же. Ед. хр. 46.
[65] Там же. Ед. хр. 12, л. 45.
[66] Там же. Ед. хр. 17, л. 7–7 об.
[67] Там же. Ед. хр. 16, л. 31, 32.
[68] Там же. Ед. хр. 12, л. 17.
[60] Там же. Л. 18.
[70] Там же. Л. 18 об., 19.
[71] Там же. Л. 27 об. – 29.
[72] Там же. Л. 32, об.
[73] Там же. Ед. хр. 15, л. 22 об.
[74] Там же. Л. 35.
[75] Там же. Л. 49.
[76] Там же. Ед. хр. 13, л. 24 об.
[77] Степан Филиппович имеет в виду «отряды легкой кавалерии». Эти отряды с 1928 года создавались в ячейках ВЛКСМ и действовали под руководством Контрольной комиссии с целью борьбы со всеми проявлениями несоциалистического поведения – курением, пьянством, нарушениями трудовой дисциплины и т. п. – Прим. ред.
[78] ЦДНА, ф. 30, ед. хр. 11, л. 70.
[79] Там же. Л. 75 об., 76.
[80] Там же. Л. 73.
[81] См. на эту тему: Hoffmann D.L. Peasant Metropolis. Social Identities in Moscow, 1929–1941. – Ithaka; London: Cornell Univercity Press. – 1994.
[82] ЦДНА, ф. 30, ед. хр. 12, л. 6.
[83] Там же. Л. 6, 6 об.
[84] Там же. Л. 8 об., 9.
[85] Там же. Л. 9.
[86] Там же. Л. 13.
[87] Там же. Л. 55 об.
[88] Там же. Ед. хр. 13, л. 46.
[89] Там же. Л. 48–49.
[90] Там же. Л. 49 об., 50.
[91] Там же. Л. 51 об.
[92] Там же. Л. 52 об. – 54.
[93] Там же. Л. 64–65.
[94] Там же. Ед. хр. 15, л. 22–23 об.
[95] Там же. Л. 28 об. – 29.
[96] Там же. Л. 43.
[97] Там же. Л. 87 об.
[98] Ницше Ф. Генеалогия морали // Ницше Ф. Соч. в 2 т. Т. 2. – М.: Мысль. – 1990. С. 464.

[99] ЦДНА, ф. 30, ед. хр. 11, л. 72.
[100] Там же. Л. 72 об.
[101] Там же. Ед. хр. 15, л. 4.
[102] Там же. Ед. хр. 12, л. 33.
[103] Там же. Л. 44.
[104] Там же. Ед. хр. 13, л. 25.
[105] У графолога.
[106] ЦДНА, ф. 30, ед. хр. 13, л. 37 об. – 39.
[107] Там же. Ед. хр. 15, л. 5–5 об.
[108] Имеется в виде убийство С.М. Кирова.
[109] ЦДНА, ф. 30, ед. хр. 15, л. 6–8.
[110] Там же. Ед. хр. 17, л. 9.
[111] Там же. Ед. хр. 15, л. 10, 11.
[112] Там же. Л. 12, 12 об., 13, 14.
[113] Там же. Л. 10.
[114] Там же. Л. 16.
[115] Там же. Л. 46.
[116] Там же. Ед. хр. 16, л. 37.
[117] Там же. Ед. хр. 15, л. 58 об., 59.
[118] Там же. Л. 81 об., 82.
[119] Там же. Ед. хр. 16, л. 14.
[120] Там же. Л. 16 об., 17.
[121] Там же. Л. 16.
[122] Там же. Л. 16 об.
[123] Там же. Ед. хр. 17, л. 4.
[124] Там же. Ед. хр. 16, л. 24.
[125] Там же. Ед. хр. 17, л. 17, 18.
[126] Там же. Л. 30.
[127] Там же. Ед. хр. 12, л. 3–4.
[128] Там же. Ед. хр. 13, л. 74–75.
[129] Там же. Ед. хр. 15, л. 55–55 об.
[130] Март 1938 года. – Прим. ред.
[131] ЦДНА, ф. 30, ед. хр. 17, л. 4–5.
[132] Там же. Л. 3.
[133] Там же. Л. 15 об., 16.
[134] Там же. Ед. хр. 38.
[135] Там же.

Победитель: живущий в языке плаката

[1] Дневник является частью личного фонда И.И. Белоносова, хранящегося в Центре документации «Народный архив» (ЦДНА, фонд 306). И.И. Белоносов заведовал архивом ВЦСПС. Вероятно, дневник Н.А. Рибковского попал к нему именно потому, что последний стал в конце войны одним из руководителей Ленинградского горкома профсоюзов (с июля 1943 г. он – зам уполномоченного ВЦСПС по г. Ленинграду). Здесь не приводится точная отсылка к соответствующим единицам хранения, т. к. фонд И.И. Белоносова еще не описан.

[2] Все отрывки приводятся в соответствии с орфографией и пунктуацией источника.

[3] Адамович А., Гранин Д. Блокадная книга. – М.: Советский писатель. – 1983.

[4] «Представление, составляемое агентами о своем и чужом положении в социальном пространстве, <...> вырабатывается системой схем восприятия и оценки, которая сама есть инкорпорированный продукт того или иного социального положения (то есть некоторого

положения в распределениях материальной собственности и символического капитала) и опирается не только на показатели коллективного суждения, но и на объективные индикаторы реально занимаемого в распределениях положения, которое уже учитывается в этом коллективном суждении» (Бурдье П. Практический смысл. С. 276).

[5] См.: Дюркгейм Э. *О разделении общественного труда*. – М.: Канон. – 1996. С. 91–93.

[6] Иногда говорят, что масса потому и является массой, что у нее нет своего представителя. Посредством делегирования создается группа. Можно высказать предположение, что представительство от имени массы – симптоматика тех обществ, которые обозначают эвфемизмом тоталитаризм. См. о проблеме делегирования: Бурдье П. Делегирование и политический фетишизм // Бурдье П. Начала. – М., Socio-Logos, 1993.

[7] См.: Giddens A. Modernity and Self-Identity. Self and Society in the Late Modern Age. – Stanford: Stanford University Press. – 1991. P. 5 et al.

[8] Bourdieu P. The Logic of Practice. – Stanford: Stanford University Press. – 1990.

[9] *Jacobson-Widding A. Introduction // Identity: Personal and Socio-Cultural. A Symposium.* – Uppsala, Acta Univ. Ups.,1983. P. 30.

[10] См. по проблеме языка и социальной биографии: Luckman Th. The Sociology of Language. Indianopolis, 1975.

[11] См.: Пропп В.Я. Морфология сказки. – М.: Наука. – 1969. С. 82.

Те, кто за пределами игры?

[1] См.: Козлова Н.Н., Сандомирская И.И. «Я так хочу назвать кино». «Наивное письмо»: опыт лингвосоциологического чтения. – М., Гнозис – Русское феноменологическое общество, 1996.

[2] ЦДНА, ф. 115, ед. хр. 3, л. 44.

[3] ЦДНА, ф. 115, ед. хр. 2, л. 74.

[4] Там же. Л. 63.

[5] Там же. Ед. хр. 3, л. 56.

[6] Там же. Ед. хр.1, л. 59.

[7] Там же. Л. 10–11.

[8] Там же. Л. 78–79.

[9] Там же. Л.51.

[10] Там же. Ед. хр. 2, л. 64.

[11] Там же. Л. 15.

[12] Максимов С.В. Нечистая, неведомая и крестная сила. – М.: Книга. – 1989; Максимов С.В. Литературные путешествия. – М.: Современник. – 1986.

[13] ЦДНА, ф. 115, ед. хр. 2, л. 29.

[14] Там же. Л. 87.

[15] Там же. Л. 80.

[16] Там же. Ед. хр. 3, л. 5.

[17] Там же. Л. 50.

[18] Там же. Ед. хр. 2, л. 25.

[19] Там же. Ед. хр. 3, л. 8.

[20] Там же. Л. 50.

[21] Барт Р. S/Z. – М., РИК «Культура», изд-во Ad Marginem, 1994. С. 32–33. Как пишет Р. Барт, «все высказывания, принадлежащие культурному коду, суть имплицитные пословицы; все они излагаются в том обязывающем тоне, с помощью которого дискурс выражает всеобщую волю, формулирует требования общества и придает своим утверждениям характер неотвратимости и неизгладимости» (с. 118).

[22] ЦДНА, ф. 115, ед. хр. 1, л. 55.

[23] Там же. Ед. хр. 3, л. 14.

[24] Там же. Ед. хр. 2. л, 3.

[25] Там же. Ед. хр. 3, л. 74.
[26] Там же. Л. 52.
[27] Там же. Л. 77.
[28] Там же. Л. 83.
[29] Там же. Ед. хр. 2, л. 15.
[30] Там же. Ед. хр. 3, л. 31.
[31] Там же. Л. 56.
[32] Там же. Л. 53.
[33] См.: Гаспаров М.Л. «Письмо о судьбе» Александра Ромма // Понятие судьбы в контексте разных культур. – М.: Наука. – 1994.
[34] См.: Bourdieu P. The Logic of Practice. – Stanford: Stanford University Press. – 1990. P. 99, 102–103.
[35] ЦДНА, ф. 115, ед. хр. 2, л. 73.
[36] Там же. Л. 88–89.
[37] См.: Лотман Ю.М. Культура и взрыв. – М.: Гнозис, изд. группа «Прогресс». – 1992. С. 56.
[38] ЦДНА, ед. хр. 1, л. 19–20.
[39] Факт поражающей воображение встречи с поездом отмечает В.И. Едовин. Виктор Михайлович Мальков впервые увидел поезд при печальных обстоятельствах: это был поезд, на котором ему как члену семьи раскулаченного предстояло отправиться в ссылку: «Когда я услышал слова «Железнодорожная станция», у меня даже промелькнул момент радости, что вот, наконец, я смогу увидеть этот загадочный для меня поезд» (Мальков В.М. Раскулачивание: как это было. Воспоминания о прожитом и пережитом с 1920 по 1939 год. – Юргамыш, Екатеринбург, 1996. С. 51).
[40] ЦДНА, ед. хр. 1, л. 22–23.
[41] ЦДНА, ед. хр. 2, л. 62.
[42] Там же. Л. 32.
[43] Там же. Ед. хр. 3, л. 73–74.
[44] Там же. Л. 73.
[45] Там же. Л. 60–62.
[46] Характеристику крестьянского существования как бытия «на грани» см.: Великий незнакомец. Крестьяне и фермеры в современном мире / Сост. Т. Шанин. – М.: Прогресс-Академия. – 1992.
[47] ЦДНА, ед. хр. 3, л. 68–69.
[48] Там же. Ед. хр. 1, л. 17–18.
[49] Там же. Ед. хр. 3, л. 66–67.
[50] «Миг, когда ты пережил других, – миг власти. Ужас перед лицом смерти переходит в удовлетворение от того, что сам ты не мертвец... Ты утвердил себя, поскольку ты жив» (Канетти Э. Человек нашего столетия – М.: Прогресс. – 1990. С. 418–419).
[51] ЦДНА, ед. хр. 3, л. 75.
[52] Там же. Ед. хр. 2, л. 9.
[53] Там же. Л. 9.
[54] Там же. Ед. хр. 1, л. 42–43.
[55] Там же. Л. 88–89.
[56] Там же. Ед. хр. 2. л. 35–36.
[57] Там же. Ед. хр. 1, л. 73–74.
[58] Там же. Ед. хр. 3, л. 45.
[59] Там же. Ед.хр. 3, л. 5–6.
[60] Там же. Ед. хр. 2, л. 3.
[61] Там же. Л. 7.
[62] Там же. Л. 31–32.
[63] Там же. Л. 74–75.
[64] Платонов А. Из записных книжек // Новый мир, 1991, № 9. С. 72.

[65] См.: Бернштам Т.М. Молодежь в обрядовой жизни русской общины XIX – начала XX века. Половозрастной аспект традиционной культуры. – Л.: Наука. – 1988.
[66] ЦДНА, ф. 115, ед. хр. 2, л. 52.
[67] Там же. Л. 53.
[68] Там же. Л. 44.
[69] Там же. Ед. хр. 1. л. 44–45.
[70] Там же. Л. 69–70.
[71] См.: Elias N. The Civilising Process. – Oxford: Blackwell. – 1978; 1982; Elias N. What is Sociology? – N.Y.: Columbia University Press. – 1978.
[72] Elias N. What is Sociology? P. 156–157.
[73] ЦДНА, фонд 115, ед. хр. 1, л. 53–54.
[74] Tonnies F. Einfohrung in die Soziologie. – Stuttgart, Enke, 1931; Redfield R. The Little Community and Peasant Society and Culture. – Chicago; London: University of Chicago Press. – 1973.
[75] См.: Громыко М.М. Традиционные формы поведения и формы общения русских крестьян XIX в. – М.: Наука. – 1986; Громыко М.М. Мир русской деревни. – М.: Молодая гвардия. – 1991.
[76] ЦДНА, ф. 115, ед. хр. 2, л. 38.
[77] См., например, ед. хр. 2, л. 39–41.
[78] Там же. Ед. хр. 1, л. 92–93.
[79] См. об этом. Бурдье П. Кодификация; Бурдье П. Начала. – М.,1994. С. 121–124; Барт Р. S/Z. – М., РЖ «Культура», изд-во Ad Marginem, 1994. С. 32–33.
[80] Письмо Е. Киселевой от 13.01.80. // ЦДНА, фонд 115, ед. хр. 7.
[81] ЦДНА, фонд 115, ед. хр. 2, л. 83.
[82] Там же. Ед. хр. 1, л. 45–46.
[83] Там же. Л. 81–82.
[84] Там же. Л. 43–44.
[85] Там же. Ед. хр. 3, л. 30.
[86] См.: Scott J. Weapons of the Weak. Everyday Forms of Peasant Resistance. – New Heaven; London, Yale University Press. – 1985.
[87] Энгельгардт А.Н. Из деревни. 12 писем. – М.: Мысль. – 1987. С. 56–60.
[88] ЦДНА, фонд 115, ед. хр. 3, л. 70–72.
[89] Там же. Ед. хр. 1, л. 75.
[90] Там же. Л. 63.
[91] Там же. Ед. хр. 3, л. 20.
[92] Там же. Л. 57–58.
[93] Там же. Л. 7–8.
[94] См.: Elias N., Dunning. E. Quest for Excitement: Spoil and Leisure in the Civilising Process. – Oxford: Blackwell. – 1986.
[95] См. например: Lewis O. La Vida. – New York: Random House. – 1966; Lewis O. A Study of Slum Culture. – New York: Random House. – 1968; Valentine Ch. Culture and Poverty. – Chicago-London: University of Chicago Press. – 1968. У нас эти исследования только начинаются. См., например: Воронков Е.М., Фомин Е.А. Типологические критерии бедности //Социологический журнал, 1995, № 2; Яротенко С.С. Синдром бедности // Социологический журнал, 1994, № 2.
[96] ЦДНА, фонд 115, ед. хр. 2, л. 12.
[97] Там же. Ед. хр. 3, л. 69.
[98] Там же. Л. 25–26.
[99] Там же. Л. 18.
[100] Там же. Л. 28–29
[101] Там же. Ед. хр. 3, л. 6.
[102] Там же. Ед. хр. 2, л. 11–12.

[103] Там же. Ед. хр. 3, л. 69.
[104] Там же. Ед. хр. 2, л. 90.
[105] Там же. Ед. хр. 1, л. 36.

Жертва

[1] ЦДНА, ф. 332, ед. хр. 5, л. 3.
[2] Там же. Л. 3.
[3] Там же.
[4] Там же. Л. 5.
[5] Там же. Ед. хр. 2, л. 2.
[6] Там же.
[7] Там же. Ед. хр. 5, л. 10.
[8] Там же. Л. 10 об.
[9] Там же. Л. 12.
[10] Там же. Л. 12.
[11] Там же. Л. 12.
[12] Там же. Л. 14.
[13] Там же. Л. 15. Лариса Николаевна дожила до восстановления храма Христа Спасителя. В фонде есть свидетельство, что в 1996 г. на восстановление храма она пожертвовала некоторую сумму (см.: ф. 332, ед. хр. 42).
[14] Там же. Л. 15.
[15] Там же. Л. 15 об.
[16] Там же. Л. 13 об.
[17] Там же. Л. 16.
[18] Там же. Л. 21.
[19] Она училась в Николаевском музыкальном училище в 1934–1938 гг., но не окончила его (в фонде есть копия справки – ф. 332, ед. хр. 37).
[20] ЦДНА, ф. 332, ед. хр. 5, л. 21.
[21] Там же. Л. 38.
[22] Там же. Л. 17.
[23] Домработница – самоочевидность тогдашней культуры. Молодой инженер и учащаяся техникума могли себе позволить.
[24] ЦДНА, ф. 332, ед. хр. 1, л. 4.
[25] ЦДНА, ф. 332, ед. хр. 5, л. 38–39. По ее мнению, государственное советское правосудие в принципе несправедливо: «Я вдруг оказалась народным заседателем в нарсуде, выборов никаких не было, просто предложили председатель Сельсовета и начальство районное заседать. Кроме меня, назначены были еще Тарасова бухгалтер, эвакуированная из Брянска, и кладовщица колхоза. <...> На мой вопрос – какова тенденция Нарсуда в случаях, когда обвинения в действиях против государства – осудить или разобраться в деле? – он ответил «осудить». Вот такое правосудие» (там же, л. 34–34 об.).
[26] Там же. Ед. хр. 1, л. 5.
[27] Там же. Л. 5.
[28] Там же. Л. 24 об.
[29] Там же. Ед. хр. 5., л. 34 об. В фонде сохранились эти самые талончики. В других мемуарных отрывках она так рассказывает об этом: «Не помню с какого времени, я стала получать деньги... Так вот – я, жена шпиона, получаю семейное пособие сто рублей в месяц, даже во время войны. <...> Жены солдат, за которыми я ухаживала в госпитале, работая санитаркой, денег не получали. Я сдала в Народный Архив талоны переводов с обратным адресом: от Начальника Спецтюрьмы ТА СССР» (ед. хр. 1, л. 6).

[30] Л.М. тщательно сберегла письма мужа из шарашки (ЦДНА, ф. 332, ед. хр. 86). Сохранила она и шкатулку из оргстекла с васнецовскими тремя богатырями, сделанную Иваном Черновым в заключении.
[31] ЦДНА, ф. 332, ед. хр. 86.
[32] Там же. Ед. хр. 5, л. 42 об.
[33] Там же. Л. 27.
[34] Там же. Л. 28.
[35] Там же.
[36] Там же. Л. 28 об.
[37] Там же. Л. 32 об.
[38] Там же. Л. 30.
[39] Там же. Л. 30 об.
[40] Там же. Л. 30. Другой вариант рассказа: «Я не была верующей, после смерти отца в 1936 г. перестала молиться. Вот сплю я в своем углу на голом полу, еще не оправившись от болезни, без продуктов и вижу сон. Я в церкви, слабая, на коленях стремлюсь к священнику, чтобы поцеловать крест в его руке, а он отстраняется от меня. Я из последних сил поползла и поцеловала крест. Еще в полусне, я, перекрестившись, произнесла "господи, помилуй". В тот же день я была принята в госпиталь вольнонаемной санитаркой» (там же, л. 94).
[41] Там же. Л. 32 об.
[42] Там же. Л. 32.
[43] Там же. Л. 33.
[44] Там же. Л. 31.
[45] Там же. Л. 32.
[46] Там же. Л. 96.
[47] Там же. Л. 31 об.
[48] Там же. Л. 35.
[49] Там же. Л. 35 об.
[50] Там же. Л. 30 об.
[51] Приведу рассказ З.Г. Степанищевой, в котором регистрируется аналогичный опыт. «"Зиночка, у вас есть что-нибудь покушать? – У меня, конечно, ничего не было. – Тогда поставьте чайничек. У меня что-то есть, вместе поедим". А когда и у нее ничего не было, то говорила: "Тогда давайте Чехова почитаем"» (ЦДНА, ф. 433. «Вот так и жизнь прошла». – М., 1995–1998. л. 42). В эвакуации с маленьким ребенком, в тяжелейших условиях З.Г. выкраивает время на занятия музыкой. Причем не просто музицирует, а поступает в музыкальное училище: «Каждый день после работы я приходила в Училище, находила свободный класс и играла сколько влезет 2–4–5 часов подряд. И забывала все сводки Совинформбюро, отступление наших войск, бесконечные похоронки, трупы на улицах, беженцев, спящих на голой земле, вечно сосущее чувство голода в желудке... Наигравшись, я выходила из Училища в ту же самую жизнь, где ничего за эти часы не изменилось... Но я была уже не та! Я как бы выходила из лечебной оздоровительной ванны» (там же, л. 29).
[52] ЦДНА, ф. 332, ед. хр. 5, л. 32.
[53] Как пишет А. Вежбицкая, «во всех русских словарях свобода толкуется с упоминанием слов стеснять или стеснение, производных от тесно, как если бы свобода состояла, по сути своей, в "освобождении" из своего рода смирительной рубашки, материальной или психологической» (Вежбицкая А. Понимание культур через посредство ключевых слов. – М., Языки славянской культуры, 2001. С. 234–235). Владимир Даль пишет: «Свобода – своя воля, простор, возможность действовать по-своему, отсутствие стеснения, неволи, рабства, подчинения чужой воле» (Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. В 4 т. Т. 4. – М., 1982. С. 151).
[54] Рассказ о бюстгальтере как символе женского военного опыта приводит и С. Алексиевич: «И хочется оставить все, как Вере Сергеевне Романовской хочется сохранить в музее любую мелочь из партизанского быта: деревянную кружку, коптилку из гильзы, женское бе-

лье, сшитое из парашютов. "Недавно одна партизанка, – рассказывала она, – принесла в музей блузку из парашюта, бюстгальтер из парашюта, какие мы шили в отрядах. Она хранила все это сорок лет, а когда тяжело заболела, испугалась, что вдруг умрет, принесла к нам в музей. А в музее посмеялись: зачем, кому это нужно? Что тут героического?.. "» (Алексиевич С. У войны не женское лицо.)

[55] ЦДНА, ф. 332, ед. хр. 5, л. 33.

[56] Там же. Л. 33.

[57] Там же. Л. 37 об.

[58] Там же. Ед. хр. 1, л. 2.

[59] Там же. Ед. хр. 5, л. 39.

[60] Там же. Л. 40 об.

[61] Там же. Л. 41.

[62] Там же. Ед. хр. 1, с. 32–34.

[63] Там же. Ед. хр. 5, л. 39 об.

[64] Там же. Л. 47. Об отмене Лариса Михайловна не жалела. Их с сестрой больше привлекали иные способы заработка: «Мы с Танечкой работали над эскизами к керамическим работам для выставок. Это заработка не давало, мы были свободные художники и пока свободные от зарплаты. Но вот появилась возможность зарабатывать сдельно на копиях. Писались они с эталонов, сделанных с шедевров в Третьяковской галерее. Тоже наши копии утверждались при сравнении с эталоном Художественным советом и Главлитом. Эта работа была мне по вкусу, я с детства увлекалась копированием с открыток полюбившихся картин. <...> Я даже стала хорошо зарабатывать и подумывать о приобретении пианино, которого у меня до сих пор не было». Но работа копиистов также вскоре прекратилась.

[65] Там же. Ед. хр. 62, ед. хр. 182.

[66] Там же. Ед. хр. 5, л. 30 об.

[67] Там же. Л. 14 об.

[68] Там же. Л. 62.

[69] Там же. Л. 62.

[70] В дальнейшем осложнения все же возникли. Когда в 1953 г. Ларису Михайловну уволили по сокращению кадров, у нее чуть не отняли ее служебную жилплощадь. Получив «бумагу, строго запрещающую меня выселять, отменившую санкцию прокурора на выселение, я шла по Пушкинской улице и ревела, не могла сдержать эту реакцию на напряжение в течение восьми месяцев. Комната осталась за мной, я и сейчас в ней живу, но остался и приобретенный тогда холецистит» (ед. хр. 5, л. 47 об).

[71] «В Дзинтари была раз пять-семь, была и зимой» (там же, л. 54 об.).

[72] ЦДНА, ф. 332, ед. хр. 5, л. 48.

[73] Там же.

[74] Там же. Л. 52 об.

[75] Лариса Михайловна приводит примеры: «Р. хороший скульптор, вот пусть он и представляет коллектив на выставках, а в правление его выбирать не надо. Впрочем – машину, мастерскую он уже имеет, выберем, чтобы он мог построить дачу» (ед. хр. 5, л. 53).

[76] ЦДНА, ф. 332, ед. хр. 5, л. 53.

[77] Там же. Л. 54.

[78] Там же. Л. 55. Аналогичная запись: «Дом творчества в Гурзуфе в 3-х корпусах – на самом берегу у пирса, тоже Коровинский, к нему примыкает на скале чеховский домик для "высших". При мне там жил Л. Кербель. А я больше ездила по курсовке и жила неподалеку от Дома. <...> Очень понравилась экскурсия в Судак, где на высоком прибрежном холме, похожем на пирамиду, только выше и острее, возвышалась крепость генуэзская. Сохранились башни и стены, не помню какого века. Там тоже сделала ряд удачных снимков» (ед. хр. 5, л. 56).

[79] Там же. Л. 48 об. Она пишет, например, что литовский Каунас – «город тоже Европейского стиля, интересен и старинными кварталами».

[80] Там же. Л. 55 об.

[81] Там же. Л. 11. См. также в другом месте: «Не имею никаких специальных знаний, будучи в юности аполитичной, но всегда не равнодушно относилась к взаимоотношениям людей. <... > Общаясь с неграмотными крестьянами 20-х годов, я не могла не уважать их. Была какая-то своя культура. Не унижались, уважая пришедших служить на село интеллигентов. Проявлений хамства не было (это при невежественности). Невольно сравниваю; самое настоящее хамство в поведении так называемой народной интеллигенции с дипломами о высшем образовании. Например, в среде художников и мат и полное неуважение к женщине и пожилым людям» (там же, л. 14).

[82] Там же. Л. 17 об.

[83] Там же.

[84] Там же. Л. 15.

[85] Там же. Л. 45 об.

[86] Там же. Л. 21.

[87] Там же. Л. 57 об.

[88] Там же. Л. 53 об.

[89] Там же. Ед. хр. 1., л. 8.

[90] Анализ Большого рассказа о Родине см.: Сандомирская И. Книга о родине. Опыт анализа дискурсивных практик // Wiener Slawistischer Almanach. Sonderband 50. – Wien, 2001.

Охота к игре

[1] См.: Бурдье П. Поле литературы / Пер. М. Гронаса // Новое литературное обозрение, 2000, № 5 (45). С. 22–87. См. также: Гронас. – М. «Чистый взгляд» и взгляд практика: Пьер Бурдье о культуре // Там же. С. 6–21.

[2] См. подробнее: Козлова Н.Н. Волны Российского просвещения, или Зачем люди играют в слова // Общественные науки и современность, 1993, № 6.

[3] Такие стихи писал Степан Филиппович Подлубный в молодости.

[4] Добренко Е. Формовка советского писателя. Социальные и эстетические истоки советской культуры. – СПб.: Академический проект. – 1999. См. в особенности главы «Между читателем и писателем (массовое литературное движение и массовая советская литература)» и «Литература читателей». Есть у Е. Добренко и книга, посвященная советским читателям. Чтение обеих книг дает почувствовать гомологию биографий тех и других. См.: Добренко Е. Формовка советского читателя. Социальные и эстетические предпосылки рецепции советской литературы. – СПб.: Академический проект. – 1997.

[5] Чуковский К. Дневник. 1910–1929. – М.: Советский писатель. – 1991. С. 239.

[6] Там же. С. 288.

[7] Чуковский К. Дневник. 1910–1929. – М.: Советский писатель. – 1991. С. 275.

[8] «Гориллы, самцы и самки, с тупым интересом внимали моему монологу...» (Готье Ю.В. Мои заметки. – М.: Терра. – 1997. С. 36), «подлые и глупые гориллы» (там же, с. 289). С прямотой и определенностью еще до революции высказался К. Чуковский. «Доброе старое мещанство! – восклицал он. – Каково б оно ни было, – оно социология, а Нат Пинкертон – ведь это уже зоология» (Чуковский К.И. Нат Пинкертон и современная литература // Чуковский К.И. Критические рассказы. – СПб., 1911. С. 44). Зоологическая метафора не то что намекает, но прямо говорит, что те, о ком идет речь, не совсем люди. «Нет, это даже не дикари. Нет, они даже не достойны носовых колец и раскрашенных перьев. Дикари – мечтатели, визионеры, у них есть шаманы, заклятья, фетиши, а здесь какая-то мистическая пустота, какая-то дыра, небытие... Даже страшно среди этих людей» (там же, с. 31).

[9] Черняк Я. Записи 20-х годов // Воспоминания о Борисе Пастернаке. – М.: Слово. – 1993. С. 121.

[10] «Мы последний остров Ренессанса, <...> в обставшем нас догматическом море; мы, единственно мы, сохраняем огоньки критицизма, уважение к наукам, уважение к человеку; для нас нет ни господина, ни раба. Мы находимся в высокой башне, мы слышим, как яростные

волны бьются о гранит» (Вагинов К.К. Козлиная песнь. Романы. – М.: Современник. – 1991. С. 56). Писатель говорит, что «идея башни присуща всем моим героям» (там же, с. 107).

[11] Кузмин М. Дневник 1934 г. – Спб.: Изд-во Ивана Лимбаха. – 1998.С. 88.

[12] Кузмин М. Дневник 1934 г. – Спб.: Изд-во Ивана Лимбаха. – 1998. С. 95.

[13] Кузмин М. Дневник 1934 г. – Спб.: Изд-во Ивана Лимбаха. – 1998. С. 96.

[14] Вагинов К.К. Козлиная песнь. Романы. – М.: Современник. – 1991. С. 36. У К. Вагинова так: «Ругнули современность. Духовно плюнули в проходивших пионеров. – Экое поколение растет, без всякого гуманизма, будущие истинные представители средневековья, фанатики, варвары, не просвещенные светом гуманитарных наук. – Да пакость, гадость вокруг – одичание».

[15] Там же. С. 95.

[16] Вагинов К.К. Козлиная песнь. Романы. – М.: Современник. – 1991. С. 85

[17] Олеша И.К. Книга прощания. – М.: Вагриус. – 1999. С. 242.

[18] Там же. С. 140.

[19] П. Бурдье обсуждает многозначное и емкое понятие габитуса практически во всех своих работах. См., например: Bourdieu P. Dispositions. Critique of the Social Judgement of Taste. P. 26. См. также: Бурдье П. Практический смысл. – Спб.–М., 2001. С. 100, 127.

[20] Чуковский К. Дневник 1930–1969. – М.: Современный писатель. – 1994. С. 34.

[21] Там же. С. 36.

[22] Осокина Е.А. За фасадом «сталинского изобилия». Распределение и рынок в снабжении населения в годы индустриализации. 1927–1941. – М.: РОССПЭН. – 1998. С. 105.

[23] Пастернак З.Н. Воспоминания // Борис Пастернак. Второе рождение. Письма к З.Н. Пастернак. З.Н. Пастернак. Воспоминания. – М.: ГРИТ. – 1993. С. 286, 288.

[24] Дневник Елены Булгаковой. – М.: Книжная палата. – 1990. С. 220.

[25] Воспоминания об А.Н. Толстом. – М., 1982. С. 17.

[26] Там же. С. 256.

[27] Там же. С. 243–244. Соединение художников, героев труда, военных на пиру стало в 30-е годы общим местом в культуре. См., например, описание начала пира у А. Платонова в «Счастливой Москве»: «Вечером в районном клубе комсомола собрались молодые ученые, инженеры, летчики, врачи, педагоги, артисты, музыканты и рабочие новых заводов. Никому не было более двадцати семи лет, и каждому немного стыдно от ранней славы, и это мешало жить. Пожилые работники клуба, упустившие свою жизнь и талант в неудачное буржуазное время, с тайными вздохами внутреннего оскудения привели в порядок мебельное пространство в двух залах – в одном для заседания, в другом – для беседы и угощения» (Андрей Платонов. Счастливая Москва // Новый мир, 1991, № 9. С. 21).

[28] Кирсанова Р.М. Костюм в русской художественной культуре XVIII – первой половины XX в. (Опыт энциклопедии). – М.: БРЭ. – 1995. С. 101.

[29] Чуковский К. Дневник. 1930–1969. – М.: Современный писатель. – 1994. С. 99.

[30] Там же. С. 100.

[31] Там же. С. 141.

[32] Там же. С. 59.

[33] Там же. С. 74.

[34] Там же. С. 93.

[35] Там же. С. 105.

[36] Там же. С. 94.

[37] Там же. С. 98.

[38] Дневник Елены Булгаковой. – М.: Книжная палата. – 1990. С. 84.

[39] В 1935 г. Постановлением ЦИК СССР были установлены военные звания лейтенанта, майора, полковника и пр.

[40] Дневник Елены Булгаковой. – М.: Книжная палата. – 1990. С. 66.

[41] Чудакова М.О. Опыт историко-социологического анализа художественных текстов (на материале литературной позиции писателей-прозаиков первых пореволюционных лет) // Чтение: проблемы и разработки. – М.: Государственная библиотека им. В.И. Ленина. – 1985. С. 129.

[42] Напомню из дневника С.Ф. Подлубного 1932 г.: «Почему мне так нравятся иностранцы, почему я их так уважаю? Кажется многим заплатил бы, чтобы пожить в их обществе, в их культурности» (ЦДНА, ф. 30, оп. 1, ед. хр. 11, л. 43.)

[43] Герштейн Э.Г. Тридцатые годы // Воспоминания об Анне Ахматовой. – М.: Советский писатель. – 1991. С. 254.

[44] Чуковский К. Дневник. 1930–1969. – М.: Современный писатель. – 1994. С. 39.

[45] Там же. С. 98.

[46] Там же. С. 56.

[47] Гинзбург Л.Я. Человек за письменным столом: Эссе. Из воспоминаний. Четыре повествования. – Л.: Советский писатель. – 1989. С. 307.

[48] Там же. С. 305. «Напрасно люди представляют себе бедственные эпохи прошлого как занятые одними бедствиями. Они состоят и из многого другого – из чего вообще состоит жизнь, хотя и на определенном фоне. Тридцатые годы – это не только труд и страх, но и еще множество талантливых, с волей к реализации людей, и унаследованных от прошлого, и еще больше, растормошенных революцией, поднятых на поверхность двадцатыми годами» (там же, с. 306).

[49] Иванова Т. Борис Леонидович Пастернак // Воспоминания о Борисе Пастернаке. – М.: Слово. – 1993. С. 254.

[50] Дневник Елены Булгаковой. – М.: Книжная палата. – 1990. С. 120.

[51] Там же. С. 236.

[52] Там же. С. 263.

[53] Там же. С. 279.

[54] Там же. С. 267.

[55] Я имею в виду уже приводившийся выше отрывок: «Был в саду <...> на собрании. Взял с собой Карла М. Когда Сакун (секретарь комсомольской ячейки. – Авт.) посмотрел что я читаю он расхохотался... Правда он немножко осел когда узнал, что я уже прорабатываю Сталина. Спешу время нехватает» (ЦДНА, ф. 30, ед. хр. 12, л. 50).

[56] Чуковский К. Дневник. 1930–1969. – М.: Современный писатель. – 1994. С. 194.

[57] Чуковский К. Дневник. 1930–1969. – М.: Современный писатель. – 1994. С. 159.

[58] Московская Е. Моя жизнь с Алешей Паустовским // Независимая газета. Приложение «Кулиса», 1997, № 1.

[59] Дневник Елены Булгаковой. С. 140.

[60] Ивенсен М. Счастливое детство // Общественница, 1936, № 7/8. С. 31

[61] Бурдье П. Поле литературы // Новое литературное обозрение, 2000, № 5 (45). С. 37.

[62] Чуковский К. Дневник. 1930–1969. – М.: Современный писатель. – 1994. С. 275.

[63] Там же. С. 333.

[64] Там же. С. 205.

[65] Там же. С. 287.

[66] Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. – М., 1994. С. 498.

[67] Трифонов Ю. Из дневников и рабочих тетрадей // Дружба народов, 1999, № 6. С. 119.

[68] Трифонов Ю. Из дневников и рабочих тетрадей // Дружба народов, 1999, № 2. С. 109.

[69] Рушкис В. История одного перевода // «Я жил и пел когда-то...» Воспоминания о поэте Арсении Тарковском. – Томск: Водолей. – 1999. С. 262.

[70] Аграновская Г. Звездочет // Там же. С. 46.

[71] Андрей Платонов. Воспоминания современников. Материалы к биографии. – М.: Современный писатель. – 1994. С. 81.

[72] «Наивные художники, названные так из-за их неосведомленности в логике игры, на самом деле создаются и «освящаются» в качестве наивных самим полем. Чтобы убедиться в этом, достаточно провести методическое сравнение между Таможенником Руссо – своего рода «художником-объектом», творением и марионеткой поля, и, с другой, Марселем Дюшаном <...>, создателем искусства живописи, состоящего не только из умения произвести шедевр, но также из умения произвести себя как художника» (Бурдье П. Поле литературы // Новое литературное обозрение, 2000, № 5. С. 49).

[73] Андрей Платонов. Воспоминания современников. Материалы к биографии. – М.: Современный писатель. – 1994. С. 14

[74] Ксения Некрасова. Стихи. – М.: Советский писатель. – 1973. С. 34–35.

[75] Историю этого отказа см.: Чертова Н. Моя Ксения. Воспоминания о К. Некрасовой // Альманах «Поэзия», 1986, № 46.

[76] Добренко Е. Формовка советского писателя. Социальные и эстетические истоки советской литературной культуры. – Спб.: Гуманитарное агентство «Академический проект». – 1999. С. 208.

[77] Платонов А. Возвращение. – М.: Молодая гвардия. – 1989. С. 31.

[78] Андрей Платонов. Воспоминания современников. Материалы к биографии. – М., 1994. С. 101.

[79] Чуковская Л.К. Отрывки из дневника // Воспоминания о Борисе Пастернаке. – М.: Слово. – 1993. С. 416.

Сцены из частной жизни периода «застоя»: семейная переписка

[1] Центр документации «Народный архив» (ЦДНА), фонд 424. Все цитаты приводятся в соответствии с орфографией источника. Ссылки на единицы хранения и листы отсутствуют, так как фонд еще не описан.

[2] Имя главной героини изменено.

[3] П. Бурдье отмечает, что семья – это не просто слово, но слово-пароль или, скорее, категория, коллективный принцип конструирования реальности. Социальные отношения есть социальные фикции, не имеющие других оснований, кроме социального конструирования. Они действительно существуют, поскольку коллективно распознаются (см.: Bourdieu P. Practical Reason. On the Theory of Action. – Cambridge: Polity Press. – 1998. P. 66–67).

[4] Harre R. Op. cit. P. 134.

[5] Так было на протяжении всего советского периода. См., например: Осокина Е.А. За фасадом «сталинского изобилия». – М.: РОССПЭН. – 1998.

[6] См.: характеристику этих процессов: Фадеева О. Межсемейная сеть: механизмы взаимоподдержки в российском селе; Штейнберг И. Русское чудо: локальные и семейные сети взаимоподдержки и их трансформация // Неформальная экономика / Под ред. Т. Шанина. – М.: Логос. – 1999.

[7] См.: Мосс М. Очерк о даре // Мосс М. Общества. Обмен. Личность. – М.: Восточная литература РАН. – 1996; Бурдье П. Практический смысл. – Спб.: Алетейя, Ин-т экспериментальной социологии. – 2001.

[8] См.: Клямкин К.М, Тимофеев Л.М. Теневая Россия: экономико-социологическое исследование. – М., Российский Государственный гуманитарный университет, 2000.

[9] В качестве примера можно привести работы, в которых теоретики размышляют над такого рода практиками: Scott J. Weapons of the Weak. Everyday Forms of Peasant Resistance. – New Heaven; London: Yale University Press. – 1985. De Certeau M. The Practice of Everyday Life. – Berkeley – Los Angeles – London, 1988; Bourdieu P. The Logic of Practice. – Stanford (California): Stanford University Press. – 1990.

[10] По проблемам легитимных нарративов как риторических схем, вокруг которых организуется действие, см., например: Luckman Th. Remarks on Personal Identity: Inner, Social and Historical Time // Identity: Personal and Socio-Cultural. A Symposium / Ed. by A. Jacobson-Widding / Uppsala: Acta Univ. Uppsala. – 1983. P. 85 et al.

Реконверсия

[1] Московская Е. Повесть о жизни с Алешей Паустовским // «Независимая газета», приложение «Кулиса», 1997, № 1, 2; 1998, № 1–5, 7–9. Далее в тексте мы ссылаемся на соответствующие номера приложения к «НГ».

[2] Эта статья еще не была закончена, когда в очередном номере «НГ» в разделе «Почта» появился отклик под названием «Радуюсь вашей смелости»: «...в течение ряда лет я прора-

ботала в крупнейшем московском издательстве «Советский писатель». Именно эта ностальгическая память и заставила меня написать вам и поблагодарить за литературную находку...» («Независимая газета», 1998, 18 апреля). Вскоре была опубликована развернутая рецензия на текст Е. Московской, которая также свидетельствует, с одной стороны, об *остром интересе, а с другой – о том, что причины интереса замаскированы* (см.: *Киреева* А. Смерть и жизнь во власти языка. У каждого есть свой Алеша Паустовский // «Независимая газета», 1998, 21 апреля). Рецензия вращается вокруг «вечных вопросов» – жизни, смерти, любви, земного и небесного существования. Автор рецензии отмечает: «собирая осколки своей судьбы, молодая писательница вольно или невольно сумела достаточно много сказать и о том, "что вокруг"». А вокруг – «замечательные люди». Одни – уже далече, а другие «сегодня также заняли свои ниши и так же формируют тех, кто идет за ними». Рецензент зачарован, ибо ему свойственна столь же неразложимая двойственность в отношении к описываемым персонажам, как и Е. Московской. Эти персонажи одновременно числятся по ведомству подлецов и героев. История окутывается покрывалом «вечного», а в этом случае социологический угол зрения попросту невозможен. Анализ смысла «женской судьбы» автора и героини также не проводится. Но можно ли в этом случае разобраться в происшедшем?

[3] *Об «историях» как корпусе социального знания писал известный лингвист* Т.А. Ван Дейк. См.: Ван Дейк Т.А. Язык. Познание. Коммуникация. – М.: Прогресс. – 1989. С. 12–41, 190–197.

[4] Концепции «я», языки, в которых формулируются эти концепции, коммуникативные жанры, позволяющие, облегчающие и ограничивающие такие формулировки, варьируются в зависимости от эпохи и типа общества. См.: Luckman Th. Remarks on Personal Identity: Inner, Social and Historical Time // Identity: Personal and Socio-Cultural. A Symposium / Ed. by A. Jacobson-Widding / Uppsala: Acta Univ. Ups. – 1983. P. 70.

[5] Lejeune P. Pacte autographique. – P., Settle, 1975.

[6] См. О различении этих двух видов идентичности: Камиллери К. Идентичность и управление культурными несоответствиями: попытка типологии // Вопросы социологии, 1993, № 1/2. С. 103.

[7] См.: Рикер П. Повествовательная идентичность // Рикер П. Герменевтика. Этика. Политика. *Московские лекции и интервью.* – М.: *Akademia.* 1995.

[8] См.: Бурдье П. Социология политики. – М., Socio-Logos, 1993. С. 37, 65 и др.

[9] См.: Giddens A. Modernity and Self-Identity. Self and Society in the Late Modern Age. – Stanford: Stanford University Press. – 1991. P. 60–64.

[10] Речь идет об осени 1967 г. Здесь я сама могу выступить свидетелем. В тот год я училась в Московском университете и могу подтвердить, что эти элементы одежды встречались крайне редко. Основная масса студентов была одета очень плохо.

[11] Не могу не отметить, что эта самоочевидность сохраняется и сейчас. Совсем недавно слышала по телевидению: «Ильюшенке ЦКБ век не видать». Речь шла о бывшем и. о. генпрокурора А. Ильюшенко, который, выйдя из заключения, заболел и вынужден был лечиться в обычной больнице.

[12] Свобода от необходимости распространяется крайне широко. Привилегированные могут не быть пушечным мясом во время конфликтов и войн. Последние годы опубликована масса мемуаров, записок, переписки. Большая часть текстов о советском обществе написана привилегированными: либо теми, кто имел отношение к власти политической, либо теми, кто властвует над языком и над классификациями, то есть интеллигентами-интеллектуалами. Монополизируются даже свидетельства. Благодаря снятию как цензуры, так и самоцензуры исследователи получают огромный материал о жизненных практиках привилегированных, которые даже и не подаются как выражение общественной потребности, «заботы о народе». Эти практики уже не надо реконструировать из оговорок и проговорок. Вот, например, свидетельство сына поэта Бориса Пастернака Евгения Борисовича Пастернака: «В конце года (речь идет о 1942 г.) меня стали вызывать в военкомат. Прибли-

жался срок призыва. Мама, да я и сам тревожились. Разнесся слух, что при Академии бронетанковых и механизированных войск откроют краткосрочные курсы подготовки танковых техников. Получив очередную повестку, я зашел к Ивановым попрощаться, не зная, вернусь ли домой из военкомата. В ходе разговора Тамара Владимировна взяла телефон и позвонила генералу Ковалеву – начальнику Академии. Представившись ему как жена писателя Всеволода Иванова, она попросила меня принять. На следующий день я пришел к нему на прием. После короткого разговора и заявления с просьбой принять меня на подготовительные курсы в военкомат были посланы бумаги о моем призыве в армию и зачислении в военную академию. 16 февраля я собрал вещички и мама с Мишей Левиным проводили меня в военный городок за пивоваренным заводом. 23-го, в день Красной армии я был приведен к присяге. Неожиданно выяснилось, что никаких краткосрочных курсов, которые я надеялся быстро окончить, нет, – это формировался основной курс инженерного факультета академии. На него приезжали кадровые военные с фронта и из училищ, призывались студенты высших учебных заведений. Было отделение детей генералов и их знакомых, куда я попал поначалу. Потом всех пересортировали, и начались занятия, длительность которых была еще долгое время неизвестна. В результате я проучился в академии четыре с половиной года и окончил ее лишь летом 1946-го» (Существованья ткань сквозная. Борис Пастернак. Переписка с Евгенией Пастернак (дополненная письмами к Е.Б. Пастернаку). – М., Новое литературное обозрение, 1998. С. 436.

[13] См. гл. «Женщина "под сексуальным взглядом"» в кн.: Клименкова Т. Женщина как феномен культуры: взгляд из России. – М.: Преображение. – 1996.

[14] Именно социальным траекториям людей, принадлежащих к этому поколению, посвящены мои предшествующие работы. См.: Козлова Н.Н. Горизонты повседневности советской эпохи: Голоса из хора. – М., Институт философии РАН, 1996; Козлова Н.Н. Сцены из жизни «освобожденного работника» / Социологические исследования, 1998, № 2.

[15] Оппозиция молодых и старых появляется тогда, когда возникают структурные изменения, формирующие расхождение различных когорт и определяющие организацию биографий, их «агрегирование в класс биографий, оркестрованных и подчиненных одному ритму" (Бурдье П. Политические позиции и культурный капитал // Бурдье П. Социология политики. – М., Socio-Logos, 1993. С. 145).

[16] См. комментарии Г.А. Лесскиса к роману: Булгаков М.А. Собрание сочинений в пяти томах. Т. 5. – М.: Художественная литература. – 1992. С. 611.

[17] «Маргарита была женою очень крупного специалиста ...Маргарита Николаевна со своим мужем вдвоем занимали весь верх прекрасного особняка в саду в одном из переулков близ Арбата. Очаровательное место! ... Маргарита Николаевна не нуждалась в деньгах... Маргарита Николаевна никогда не прикасалась к примусу. Маргарита Николаевна не знала ужасов житья в совместной квартире... Она была счастлива? Ни одной минуты» (Булгаков М.А. Мастер и Маргарита // Булгаков М.А. Собр. соч. в пяти томах. Т. 5. – М.: Художественная литература. – 1992. С. 210.

[18] См.: Леви-Строс К. Структурная антропология. – М.: Наука. – 1983. С. 151.

[19] «Находящийся в упадке класс или слой класса, то есть класс, ориентированный на прошлое, когда он со всеми своими свойствами более не способен воспроизводить состояния и позиции и когда самые молодые члены класса должны в значительной степени для воспроизводства своего общего капитала и поддержания своей позиции в социальном пространстве (например, семейного происхождения или актуально занимаемой позиции) осуществлять как минимум реконверсию своего капитала, которой сопровождается смена состояний, отмеченная горизонтальным перемещением в социальном пространстве» (Бурдье П. Политические позиции и культурный капитал // Бурдье П. Социология политики. – М., Socio-Logos, 1993. С. 144–145).

[20] В Большом Козихинском переулке была группа домов, «которые в 1880–1889 гг. выразительно назывались "Ад", где были квартиры беднейших студентов, живших на грани полной нищеты ... В первой половине марта 1906 г. в доме 14/1 на углу Большого Козихин-

ского и Большого Палашевского переулков ... у И.И. Скворцова-Степанова несколько раз бывал В.И. Ленин, приезжавший в Москву для подготовки к предстоящему IV съезду РСДРП для ознакомления с результатами Декабрьского вооруженного восстания 1905 г. Дом имеет давние революционные традиции – здесь же помещалась и нелегальная студенческая библиотека, связанная с народовольческим движением!» (Романюк С. Из истории московских переулков. – М.: Московский рабочий. – 1988. С. 210).

[21] Леви-Строс К. Структурная антропология. – М.: Наука. – 1983. С. 187.

[22] Леви-Строс К. Структурная антропология. – М.: Наука. – 1983. С. 306.

[23] Приход к Христу, а тем более к православию через М. Булгакова не вполне традиционен. Специалист по творчеству М. Булгакова Борис Соколов отмечает: «ершалаимские сцены «Мастера и Маргариты» представляют собой изложение ранней истории Христа, весьма далекое от канонической версии Евангелий... Встает вопрос об отношении Булгакова к Христу и вере в Бога вообще, принимая во внимание, что столь вольную трактовку евангельского сюжета вряд ли позволил бы себе правоверный христианин – православный, католик и даже представитель какой-либо из многочисленных протестантских конфессий» (Соколов Б.В. Булгаковская энциклопедия. – М.: ЛОКИД-МИФ. – 1996. С. 509).

[24] См.: Бурдье П. Социология политики. – М., Socio-Logos, 1993. С. 46.

[25] См.: Бурдье П. Начала. – М., Socio-Logos, 1994. С. 44.

Заключение

[1] С аналогичным ощущением завершал свой многолетний труд американский историк Стивен Коткин. Он писал: «Я завершаю с чувством, что мне удалось лишь поскрести поверхность» (Kotkin St. Magnetic Mountain. Stalinism as a Civilization. – Berkeley; London: University of California Press. – 1995. P. 373).

[2] Подобный способ письма имеет место и в художественной литературе. Например, роман Г. Грасса, подытоживающий результаты XX века, построен в форме коллажа из рассказов разных людей (см.: Грасс Г. Мое столетие. – М.: Фолио. – 2001).

[3] Люмьер-Экспресс, 1996, № 2. С. 3.

[4] Элиас Н. Общество индивидов // Элиас Н. Общество индивидов. – М.: Праксис. – 2001. С. 82.

[5] Ионии Л.Г. Свобода в СССР. Статьи и эссе. – Спб., 1997. С. 13.

[6] Там же. С. 14.

[7] См.: Kotkin St. Magnetic Mountain. Stalinism as a Civilization. – Berkeley; London: University of California Press. – 1995. P. 358.

[8] Одна из самых влиятельных концепций тоталитарного языка см.: Клемперер В. LTI. Язык Третьего рейха. Записная книжка филолога. – М.: Прогресс-Традиция. – 1998. О русском тоталитарном языке см.: Гусейнов Г.Ч. Ложь как состояние сознания // Вопросы философии, 1989, № 11; Купина Н.А. Тоталитарный язык: словарь и речевые реакции / Уральский государственный университет. – Екатеринбург–Пермь, 1995.

[9] Под локальной сетью социальной поддержки понимается «система социальных отношений, направленных на осуществление материальной и психологической поддержки членов локального сообщества на основе дружественных связей между ними и норм социальной помощи, принятых в данном сообществе» (Штейнберг И. Русское чудо: локальные и семейные сети взаимоподдержки и их трансформация // Неформальная экономика: Россия и мир / Под ред. Т. Шанина. – М., 1999. С. 339). См. также Воронков В. За пределами публичного пространства (рефлексия социолога) // Там же.

[9] См.: Berger P. Facing up to Modernity. – N.Y., 1977; Berger P, Berger B., Kellner H. The Homeless Mind. Modernisation and Conscionssness. – N.Y., 1974. Ch. 1; Бергер П. Понимание современности // Социологические исследования, 1990, № 7.

[10] Названные темы и дилеммы формулируются, понятно, не только П. Бергером, но во множестве работ по проблемам вхождения в модерн. См., например: Inkeles A., Smith D. Becoming Modern. Individual Changes in Six Developing Countries. – Cambridge (Mass.),

1974; Giddens A. The Consequences of Modernity. – Stanford, 1991; Giddens A. Modernity and Self-Identity. – Stanford, 1991; Maffesoli M. Le temps des tribus. Le declin de 1'individualism dans les societes de masse. – P. 1988 et al.

[11] Giddens A. The Consequences of Modernity. – Stanford, 1990. P. 19–56.

[12] См., например: Бейли Ф.Дж. Представления крестьян о плохой жизни // Великий незнакомец. Крестьяне и фермеры в современном мире. – М., 1992. С. 238.

[13] См.: Этциони А. Масштабная повестка дня // Новая технократическая волна на Западе. – М., 1986. С. 294–296.

[14] Советский простой человек. Опыт социального портрета на рубеже 90-х. – М., 1993. С. 138.

[15] Бергер П. Социалистический миф // Социологические исследования, 1990, № 7. С. 137–138.

СОДЕРЖАНИЕ

Глеб Павловский. «Жизнь в СССР и «советская проблема» 3
ПОСВЯЩЕНИЯ И БЛАГОДАРНОСТИ 7
ВМЕСТО ВВЕДЕНИЯ. ПОДОПЫТНЫЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ 9
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ (раздел, который читать не обязательно) 23
Индивидуальное как предмет исследования 23
Текст и чтение, или Междисциплинарность 34
Рассказ и опыт 38
Несколько замечаний по проблеме идентичности 53
Понятийная сеть 57
Субъект и актор 59
Игра как средство репрезентации социального 63
Непреднамеренное социальное изобретение 68
ПАМЯТЬ И БОЛЬ 75
ПОЭЗИЯ И ПРАВДА 107
ПРЕЖДЕ И ТЕПЕРЬ, ИЛИ ЛЮБОВЬ К СТАЛИНУ 145
НЕУДАЧНИК 187
Маркс — ставка в социальной игре, или жизнь в языке плаката 197
Желания и реальности 204
Быть культурным 209
Паспортная кампания и ментальные классификации 220
Раздвоение 225
Контроль и самоконтроль, или закалка 234
Свидетель и рассказчик, или праздники и будни 246

ПОБЕДИТЕЛЬ: ЖИВУЩИЙ В ЯЗЫКЕ ПЛАКАТА 255
Слой первый: свидетельство 258
Игры чтения 260
Классификация социального мира 270
Еще один образ, или идентичность как процесс 279
ТЕ, КТО ЗА ПРЕДЕЛАМИ ИГРЫ? 289
Мир, где все знакомы 292
Логика практики 296
Черты переходности 302
Женское и мужское 308
Соотношение внешнего контроля/самоконтроля 314
Этика выживания 322
Малая общность и большое общество: новые коды? 325
ЖЕРТВА 333
Жена заключенного 341
Военная одиссея. Страдания тела, культурный капитал и русская свобода... 345
Фарфор, керамика и Сталин 358
Член Союза художников и туристка 363
ОХОТА К ИГРЕ 373
Бывшие люди в новом обществе 377
Восстановление нормы 380
Общее пространство игры 390
На краях 397
СЦЕНЫ ИЗ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ ПЕРИОДА «ЗАСТОЯ»: СЕМЕЙНАЯ ПЕРЕПИСКА 405
Государственное мясо и моральная экономика 412
Динамика ценностей и язык 418
Женские будни 426

РЕКОНВЕРСИЯ 435
Генеральский поселок «Трудовая»,
или По праву гордые 439
Алеша Паустовский как трикстер и культурный герой 448
Стратегии изменения, или Письменный отказ 456
История и миф 461
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 471
Послесловие 489
Литература 495